

*75-річчю
Донецької області
присвячується*

Донеччино моя!

*Антологія творів майстрів
художнього слова Донбасу*

ПП «ЦСО»
Донецьк
2007

ББК 84(4Укр)6

Д 67

**УКЛАДАЧІ КНИГИ: С. В. Жуковський,
В. С. Логачов**

Д 67 Донеччино моя! Антологія творів майстрів художнього слова. – Донецьк: ПП «ЦСО», 2007 – 464 стор.

ISBN 966-96444-8-8

Автори цієї книги – письменники Донеччини різних років. Серед них багато іменитих: В. Сосюра, Б. Горбатов, Н. Анциферов, Л. Жаріков, Ю. Чорний-Діденко, П. Байдебура, П. Беспощадний, М. Рибалко, І. Костиря, В. Стус та ін.

І старше, і нинішнє покоління поєднує одне: любов до рідного краю, до Донбасу. Створюючи книги і видаючи їх, автори з невідомим почуттям створювали образ Країни вогню та металу, прославляли ширих патріотів землі донецької.

Антологія складена з прозаїчних і поетичних творів письменників та поетів Донбасу й присвячена 75-річчю утворення Донецької області.

*Видано за замовленням
Донецької облдержадміністрації
та Донецької обласної ради*

ISBN 966-96444-8-8

© ПП «ЦСО», 2007

ДОНЕЧЧИНО МОЯ!

*Донеччино моя, твоїх вітрів дихання
я відчуваю знов, як в ті далекі дні,
коли квітки в росі солодкого світання
над голубим Дінцем всміхалися мені.*

*Немов душею п'ю твого труда весну я
у радості степів, у гомоні дібров,
і музику гудків твоїх я знову чую,
Донеччино моя, життя мого любов!*

*Знов шахти на горі... Дивлюсь на них крізь вії,
і піснею тремтять закохані вуста.
Нехай сніги кругом, та в серце маєм віє
у стороні моїй — і серце розцвіта.*

*І знову юний я, і лине в карі очі
проміння звідусіль, і весь у ньому я,
мов райдуга, звучу, і в жилах кров клопоче,
неначе музика, Донеччино моя!*

*Іду полями я, а в глибині, під ними,
у штреків плетиві підземний дивний світ
зітхає, і гримить, і дзвоном повнить рими,
такий близький мені іще з хлоп'ячих літ.*

*І мов летять туди думки мої прозорі,
у мареві загадок сплітаючись у спів,
летять у глибину, де лампочки, як зорі,
хитаються й пливуть під кроки шахтарів.*

*Донеччино моя, героїв світла мати,
твоїх заводів дим, як прапор, у очах.
Ти з піснею мене, коли гули гармати,
послала, щоб тебе прославив я в піснях.*

*Донеччино моя, моя ти батьківщино,
тобі любов моя і всі мої чуття!
Я до твоїх грудей приникнув, як дитина,
щоб знов набратись сил для пісні і життя.*

Володимир СОСЮРА

ДУМА О ЗЕМЛЯКАХ

Землячество! Сколько бы ни думал о сути этого извечного понятия, столько раз и волнуюсь подспудно.

Ну откуда, откуда в нем такая всевластная и неистребимая сила? Как зов крови!

Наверняка она черпается из глубины прадавних родовых живительных родников. А еще из неиссякаемых ключей доброй воды, которой были вспоены в отчей земле и пращуры наши, и мой прапрадед с прадедом и дедом, и мой отец с матерью. Ибо чувствую, что привязанность и к роду своему, и к родной земле живет во мне смалу в неразделимом единстве.

Не однажды испытал и на себе, что значит землячиться — называться в земляки, дружиться как с земляком — и с теми, кто, как и ты, родился в одной и той же местности, и с теми, кто лишь какое-то время обретался в твоём крае, но для которого он тоже стал сродственным, — зная обо всех этих чувствованиях не понаслышке, все равно не устаю удивляться и поражаться всесильности полученной отродясь тяги к отчему краю и к его людям, то ли коренным жителям, то ли выходцам из других земель, но так или иначе связавшим свою судьбу с ним.

Могучее, неистребимое чувство!

Хотя не сразу, далеко не сразу осознал неоднократно слышанное от бывалых людей, что нет силы выше землячества!

Как трудно было взять в толк и другое: «На чужбине и поляк с русским землячится».

Ведь каких только ссор и распрей, и воен не было между Россией и Польшей, без конца посягавшей на ее немеренные, необъятные благодатные просторы. Как, впрочем, и по отдельности Украины-Руси. А поди ж ты, сила землячества ставилась даже превыше всего этого. Знать, и впрямь она необорима и могущественна, как никакая другая, свойственная человеку от пуповины.

Со временем ощутив ее и в себе самом, уже совершенно по-иному относишься к этим давно знакомым понятиям — землячиться, землячество, земляк.

Из преклонения пред ними хочется обособить их и написать с заглавной буквы:

Землячиться! Землячество! Земляк! Или — Земляки!

И еще по-нашенски, попросту — ласковое Земеля!

И все они, как производное, — от Земли родной! Наверное, потерять эти ощущения, это чувство — все равно, что остаться круглым сиротой.

Любая пядь земли в подлунном мире, в том числе и твоей отчины, из которой ты сделал первый шаг в широкий свет, остается безвестной до тех пор, пока ее не откроет, не обживет, не преобразит себе и соотечественникам во благо и не прославит в ближайшей округе, а то и по всем дальним далям своими неутомимыми радениями, своими подвижническими деяниями и талантом человек.

Так случилось и с Донбассом. Его всемирный авторитет тоже сложился благодаря людям, нашим землякам.

Быть бы ему по-прежнему необжитой степью, Диким Полем или, по географическому определению, просто Донецким кряжем, да и то без собственного имени, если бы не перво-поселенцы, не первооткрыватели его подземных кладов и не перводобытчики горячего камня, соли, железных руд и ртути, редких глин и камня строительного и если бы не первопроходцы в отечественной науке и литературе, впервые осмыслившие невиданные богатства земли донецкой и рассказавшие об этом крае всему человечеству; если бы не художники, запечатлевшие на своих полотнах и в скульптуре и явившие миру и его неповторимый облик, и тех, кто этот облик наравне с природой сотворил, да и преобразил на свой лад, изо дня в день неусыпно торя новые пути в познании его тайн и богатств, осваивая их и множа трудовую славу этого преимущественно рабочего края; и если бы не соловьиные певцы, поведавшие по чужим и чужестранным городам и весям о бессмертной душе шахтерской отчины.

Это сейчас он такой, наш Донбасс, что одно его имя — уже как визитная карточка! Оно вроде бы даже опрокидывает устоявшееся понятие: «Не место красит человека, а человек место». Куда там! Он, он, Донбасс, нынче красит каждого-всякого человека, связавшего с ним свою жизнь.

Стоит лишь заикнуться где-либо, что ты донбассовец, как тут же тебе, еще не ведая о твоих личных достоинствах, выкажут почтительное внимание, окажут радушный прием, скажут приветливые слова, а вдобавок еще и одарят приятственной улыбкой.

Что и говорить, велика притягательная сила и мощь земли по имени Донбасс!

И все же создали это имя люди, наши земляки. За многие десятилетия, а то и столетия до нас.

Донецкому краю повезло на великих земляков. Не каждая страна в Европе или на ином каком континенте может похвастаться таким их числом, целым созвездием мировых имен, как нынче принято уподоблять людей звездам, дабы подчеркнуть их высоту.

Перво-наперво, классик украинской песни, автор давно ставших народными «Дивлюсь я на небо» и «Взяв би я бандуру...» — Михаил Николаевич Петренко, который родился в Славянске в 1817 году. Его слова, положенные на музыку, со временем как бы отринули от него самого и зажили в народе своей независимой жизнью. Зачастую эти песни исполняют, не упоминая об авторе. Но в этом и завидная судьба поэта — он стал неотъемлемой частицей души своего народа и будет жить с ним вечно.

Более того, песню «Дивлюсь я на небо» поют и россияне, в собственном, похожем, народном переводе, на свадьбах или других праздниках:

*Гляжу я на небо
И думку гадаю:
Чаму я не сокол?
Чаму не летаю?
Чаму ты мне, Боже,
Да крыльев не дал?
Я землю б спокинул
И в небо слетал.*

Эту песню в подлинном звучании слышал и весь мир. И не просто со сцены, а из космоса. Пел ее там космонавт Павел Попович. Было это в августе 1962 года. Впоследствии он писал в Славянск, на родину поэта, местным краеведам: «На Донецкой земле родился прекрасный поэт М. Н. Петренко, автор стихов и песен, исполненных радости, жизни, любования природой. Я люблю его произведения, особенно песню

«Дивлюсь я на небо...», которая стала народной и которая волнует своей глубокой искренностью, философскими размышлениями о Вселенной, о бесконечности. Исполняя ее, словно обретаешь крылья, и возникает желание быть полезным людям и Отчизне».

Сюда же прислали свои письма Олесь Гончар и Анатолий Соловьяненко. С высокой оценкой творческого наследия нашего земляка и благодарностью за память о нем. Ведь долгие годы мало кто знал, где родился Михаил Петренко и где его могила. Не осталось даже фотографии поэта-песенника.

Благо стихотворения Михаила Петренко оказались и адресными:

*Ось-ось Слов'янськ!
Моя родина,
Забилось серденько в грудях...
Слов'янськ, Слов'янськ!
Як гарно ти
По річці Тору, по рівнині
Розкинув пишнії садки...*

В другом стихотворении, рассказывающем о кручине некоей Грицихи, которая молится и о сыне, ушедшем с казаками в степь воевать татарина злого, и о муже, «що попався вражим ляхам при лихий годині», и о дочери, отправившейся молиться в Святогорский монастырь, поминается и Самара — «в степу, за Самар'ю, кура піднялася», и более близкие места на северных отрогах Донецкого кряжа, что за несколько десятков километров от Славянска:

*Одпустила її з братом
В далеку дорогу,
Аж на Донець в Святі гори,
Помолитись Богу...*

Адресна и песня его «Ходить хвиля по Осколу».

И потому краеведам, литературоведам и историкам в конце концов удалось установить, что родился Михаил Петренко в Славянске, а похоронен в Лебедине Сумской области. Умер в чине коллежского асессора. И что на хуторе Лихвин у него гостил в 1859 году Тарас Шевченко во время своего последнего пребывания в Украине.

Во-вторых, это художник Архип Иванович Куинджи, уроженец Мариуполя. Его предки-греки были переселены в

Приазовье из Крыма по велению Екатерины II под конец XVIII века. А он родился в 1842 году.

Его полотна дышат поэзией родной ему природы! Конечно же, впечатления детства и юности, проведенных на берегах и Азовского моря, и в особенности реки Кальмиус, которая протекает через город, прежде чем впасть в морские воды, послужили художнику первоначальной основой для создания таких выдающихся, всемирно известных художественных полотен как «Украинская ночь» или «Лунная ночь на Днепре».

Они, как и все творчество художника, отличаются смелыми, не применявшимися до него, эффектами освещения, обозначенные его собратьями-передвижниками как «свет Куинджи».

Что бы там ни писали об этих полотнах, но, хочешь не хочешь, а все-таки угадывается в них, помимо Днепра, и донецкий Кальмиус с его крутыми берегами и окрестной степью приазовской, над которыми столь пронзительно, столь ярко сияют в почти что черном в летнюю пору небе и звезды, и луна. И такая же лунная дорожка протягивается по его водной глади. И тишина стоит до небес. Собственно, слияние в одном образе этих двух украинских рек — и есть Украина!

С того же Азовского побережья, а точнее с Кривой косы, родом и полярный исследователь Георгий Яковлевич Седов, 1877 года рождения. В 1912 году он организовал к Северному полюсу экспедицию на судне «Святой Фока».

Из-за трудной ледовой обстановки ему довелось дважды зазимовать в пути — сначала на Новой Земле, потом на Земле Франца-Иосифа. Видя, что судну дальше не пробиться по торосистому льду, Седов решил достигнуть полюса на санной упряжке. Будучи тяжело больным, уже привязанным к саням, чтоб не свалиться от ветра, он все же понуждал двух матросов, сопровождавших его, двигаться по направлению к вершине земли, пока и не остановилось сердце...

Позже имя Седова было присвоено одному из суден арктического флота, купленному русским правительством в Англии спустя два года после гибели прославленного полярника. Но и этому «Георгию Седову», как и самому Седову, выпала в итоге горькая участь. Совершив более-менее удачную Карскую экспедицию к устьям Оби и Енисея, он был в октябре 1937 года затерт льдами в море Лаптевых, у острова Бельковского, и до января 1940 года — 812 дней! — дрейфовал в

высоких широтах Арктики. Вполне возможно, что и вблизи бесследно затерявшейся на одном из тамошних островков могилы Седова.

В туманы и дождь, в снежные бури, когда мглистое небо соединилось с непроходимыми торосами, корабль «Георгий Седов», влекомый могучими неуправляемыми льдинами, мог, пожалуй, показаться случайным очевидцам Летучим Голландцем. Будто призрак самого Георгия Седова. Седова, который перед смертью, 17 февраля 1914 года, обращая мыслью к родным и близким, записал в дорожном дневнике неверной, ослабшей донельзя рукой свои последние слова — как последний вздох увековечил в то первое утро нарождающегося полярного дня: «Увидели выше гор впервые милое, родное солнце. Ах, как оно красиво и хорошо! При виде его в нас весь мир перевернулся. Привет тебе, чудеснейшее чудо природы. Посвети нашим близким на родине...»

Думается, в этом «перевернутом мире» промелькнули и картинки детства, приазовские, а слова «на родине» означали в те роковые минуты и отчий край, донецкий. Потому что так, скорее всего, и бывает, когда настает пора прощаться навеки с миром сушим, — миг озаряется молниеносной памятью все прошлое, начиная с первых осознанных лет до последнего часа.

В своей судьбе Георгий Седов словно оттолкнулся от родного азовского берега — кривокосского! — и навечно ушел в бессмертное плавание по бездонным океанам человеческой истории.

Тешу себя надеждой, что последующие молодые поколения, поражаясь его подвигу, восхищаясь им и немея пред ним, как перед «безумством храбрых», непременно будут дознаваться, откуда же родом этот легендарный человек, а заодно и открывать для себя неведомый, быть может, до того Донецкий край, обращать на него взоры с благодарностью за сына, какого он подарил всему миру.

Таким же великим сыном нашего края, ставшим сыном и всей планеты Земля, является композитор Сергей Сергеевич Прокофьев.

Он родился в селе Сонцовке, затерянном в донецкой степи при слиянии речек Соленькой и Щурова ручья, что неподалеку от нынешнего Красноармейска. И прожил здесь с 1891 по 1910 год, пока не умер отец и овдовевшая мать не покинула этих мест навсегда, уехав в Петербург.

Позднее Сергей Сергеевич в своих воспоминаниях писал о донецком родном селе: «В начале XX ст., то есть когда мне было лет десять-пятнадцать, Сонцовка представляла собою большое село с населением в тысячу душ. Пять улиц, некоторые до двух километров длиной, раскинулись пауком от центра в разные стороны. На пригорке стояла Свято-Петропавловская церковь, основанная в 1840 году, на другом склоне — школа. Было два сада, в обоих — баня, пасека, малинник и огород с искусственным орошением. И все-таки это был еще захолустный угол: железная дорога — в двадцати пяти километрах, врач и больница — в двадцати трех, почта — в восьми и работала дважды в неделю, шоссе отсутствовало, интеллигентные соседи тоже».

Добавим, что отец композитора, Сергей Алексеевич, ученый-агроном по образованию, был управляющим Сонцовским имением. И немало сделал для того, чтобы здешняя сельская жизнь оживилась с помощью завезенных им сельскохозяйственных машин — косилок, жнеек, паровых молотилок.

Нынче это уже и вовсе оцивилизованный уголок донецкой земли. Правда, село Сонцовку по поветрию двадцатых годов переименовали на Красное. Тогда все поклонялись этому цветку, как огню.

К 100-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева в селе была отчуждена мемориальная зона и открыт музей композитора, воссоздана порушенная в начале двадцатых XX века Свято-Петропавловская церковь. И сюда теперь не стыдно возить гостей из-за рубежа. А ко всему и Донецкую областную филармонию с уникальным органом нарекли именем великого земляка.

Всего каких-нибудь десять лет тому назад было воздано должное ему. Действительно, в своем отечестве пророков нет! Подозреваю, что сия забывчивость только нам, славянам, присуща. Ей-право.

Хотя и не удивительно: у нас в стране предпочтение отдавалось физическому труду. Причем каждому, казалось бы, известно было непреложное: не одухотворенные культурой промышленность и экономика обречены в конечном счете...

Да к тому же и Прокофьев долгое время находился в опале за свое новаторство в отечественной музыке, поиски и эксперименты, на «ура» воспринимаемые во всем мире, только не у

нас дома. Творчество Прокофьева, ученика Римского-Корсакова и Лядова, перехлестнуло и запреты доморощенные, и границы, сделалось образцом для подражания далеко за рубежами его родины.

Только беглое перечисление сотворенного им способно поразить и смутить любой ум: да неужто все это было под силу одному человеку?!

Прокофьев создал 8 опер! Среди них — «Любовь к трем апельсинам», «Война и мир»...

И 7 балетов! Таких как «Ромео и Джульета», «Золушка», «Сказ о каменном цветке»...

И 7 симфоний!

И 14 сонат!

И кантату «Александр Невский», и ораторию «На страже мира», и сюиту «Зимний костер»!

И написал музыку к популярным в свое время кинофильмам «Александр Невский», «Иван Грозный» и многим другим.

Сработал за несколько жизней! При этом прожив всего шестьдесят два года, а творческих лет — и того меньше.

Но как живо, как памятно рожденное его душой! Оно бессмертно!

Тем самым обессмертил он и свой отчий край.

Прирастала слава Донбасса трудами и Казака Луганского, выдающегося лексикографа, этнографа и писателя Владимира Ивановича Даля, родившегося в 1801 году в рабочем поселке Луганский Завод, ныне Луганск. Ведь эти земли тоже объемлет Большой Донбасс. А значит и Даль был нашим коренным земляком.

Всю жизнь он собирал народные сказки, песни, пословицы, поговорки, прибаутки. Более 30 тысяч включил в свой первый сборник!

А над «Толковым словарем живого великорусского языка» трудился свыше 50 лет! Труд этот останется в веках. Без него мало кто из приверженцев изящной словесности, едва он вышел в 1863-1866 годах, обходился, обходится и вряд ли обойдется в будущем. Содержит он около 200 000 слов. В том числе и южно-русского говора, то есть нашенского, донбасского. За словарь Владимир Иванович был удостоен Ломоносовской премии Академии наук и звания почетного академика. Под конец XX века благодарные потомки-астрономы

Крымской обсерватории назовут в его честь и малую планету во Вселенной — Далия.

От себя, как от бывшего врача, с особым чувством глубочайшего почтения добавлю: Даль, родившийся в семье врача и сам получивший в Дерптском университете изначально врачебное образование, неотлучно находился у постели смертельно раненного на дуэли Пушкина, с которым был дружен. И поминутно вел запись о его изменявшемся к худшему состоянии. Эти записи он назвал «Скорбным листом». От него-то, от этого «Скорбного листа», и пошли всем хорошо известные нынче «больничные листы».

Учитывая, что Владимир Иванович Даль приятельствовал не только с Пушкиным, а и с Крыловым, Гоголем, Языковым, Гребинкой, был хорошо знаком с Шевченко, поддерживал творческие отношения с Квиткой-Основьяненко, русским филологом, палеографом и этнографом Срезневским и украинским ученым-энциклопедистом Максимовичем, автором первой в Украине фундаментальной «Истории древней русской словесности» и трех сборников украинских народных песен, дум, изданных в России и оказавших огромное влияние и на Пушкина, и на Шевченко, — учитывая все это, нетрудно предположить — да и правомочно! — что, ведя разговоры об истории Киевской Руси, Даль поминал и отчий край, когдашнее Дикое Поле, а в фольклоре усматривал выявление национального духа своих соотечественников, южан, как тогда называли жителей нашего края.

В среде творческой интеллигенции по-другому и не могло быть. И потому говорю об этом без малейшей натяжки. С позиций, скажем, пресловутого «квасного патриотизма». Напротив — с убежденностью. Да и творчество всех, с кем общался Владимир Иванович Даль, кому заронил хотя бы несколько слов о своей отчине, так или иначе, а подтверждают такое убеждение.

А уж когда заходила речь о «Слове о полку Игореве» и «Битве на реке Калка», будь то в отдельных изданиях или летописных изложениях, тут они все до единого вместе с Далем обращали мысленный взор к нашей, по тем временам еще дикой степи. И ни для кого из них не проходило бесследно такое приращение...

Как не должно остаться бесплодным и наше причастие к таким землякам как Владимир Иванович Даль.

Не менее ярким и по-хорошему вероломным было вхождение в отечественную культуру, в русскую классику, в частности, во второй половине XIX века, и другого нашего земляка Всеволода Михайловича Гаршина, известного писателя, несмотря на то, что его творческая жизнь была недолгой и так трагически оборвалась — находясь на пределе душевного, умопомрачительного срыва, он бросился в лестничный пролет...

Очевидно, все же сказались бесконечные размолвки отца с матерью, свидетелем, а часто и ответчиком, и источником которых он был по своему малолетству, и из-за каприза взрослых — родители то и дело делили его меж собой либо на два, либо на три месяца.

Родился Всеволод Гаршин в поместье бабушки Акимовой — Приятная Долина Бахмутского уезда — в 1855 году. Затем его перевезли на Старобельщину, а оттуда — в Петербург. И хотя он обмолвился в «Петербургских письмах» о том, что «я не петербуржец по рождению, но жил в Петербурге с раннего детства...», все-таки дух отчины, степей бывшего Дикого Поля вошли в него буквально с молоком матери. И — навсегда.

Об этом свидетельствует описание степи близ Старобельска в рассказе «Медведи», который и начинается, хоть и завуалированно, но вполне ясно для краеведов: «На степной речке Рохле приютился город Бельск...»

«Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то желтая от сенокосов, на которых густо разросся негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то лилово-черная от поднятой недавно целины, то серебристо-серая от ковыля. Отсюда она кажется ровною, и только привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии отлогих, невидимых, глубоких лощин и оврагов, да кое-где виднеется небольшим возвышением старый, распаханый и вросший в землю курган, уже без каменной бабы, которая, может быть, украшает в качестве скифского памятника двор Харьковского университета, а может быть, увезена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку загона для скотины».

Этому живописанию предшествует строчка о берегах степной речки: «... некоторые из них белеют своими обнаженными от почвы меловыми вершинами...»

Да, это наша степь, это наши меловые кручи! Их нельзя спутать ни с какими другими. Ибо водило рукой мастера художественного слова не одно вдохновение, а и любовь к отчей земле.

Однако в сердце своем унес писатель из детства не только картины первозданной природы, оно сумело запомнить и быт, нравы, социальные расслоения в провинциальном городке.

В очерке «Подлинная история Энского земского собрания» угадывается тот же Старобельск, потому-то в рукописи, дабы читатели в точности не определили, о каком городе написано, редактор газеты «Молва» А. А. Жемчужников предложил молодому Гаршину заменить первоначальное «Буржумское земство» на «Энское». Но каким сарказмом дышит этот очерк!

Вот для примера короткий отрывок.

«Буфет берется приступом. Рюмки водки и бутерброды исчезают с невероятной быстротой; под влиянием винных паров языки представителей нужд и потребностей населения делаются еще развязнее. Какой-то оптимист, с рюмкой водки в одной руке и с куском балыка на вилке в другой, ликует и восторженно разглагольствует:

— Вот, господа, как наш-то уезд себя знать дает! Мужскую прогимназию открыли, женскую откроем! Письма по почте земской посылать будем! Железную дорогу выстроим! Вот как у нас!

Водка и балык исчезают.

— Вы бы прежде позаботились о мерах против голода, — грустно говорит какой-то маленький человечек — не земец».

Когда я впервые читал эти строки, я лишь ухмыльнулся — столь далеким показалось описываемое. А сейчас перечитал и вздрогнул: «Будто о сегодняшнем дне! И о современных витиях из госучреждений!»

В том и сила настоящего искусства, что оно, повествуя, допустим, о давешнем безвременье, способно высветить и сегодняшнее, поскольку не стареет, не подвластно времени.

Подтверждением тому — глубоко психологические, социально заостренные, сострадательные по отношению к людям рассказы Всеволода Гаршина «Красный цветок», «Трус», «Ночь», «Сигнал», «Медведи», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Надежда Николаевна»; сказки «Лягушка-путеше-

стенница» и «Сказка о жабе и розе»; очерки, статьи о живописи, стихотворения...

Что тут еще добавить?

В 1877 он пошел добровольцем на русско-турецкую войну, был ранен под Аясларом, ныне Светлен, где ему поставлен памятник как национальному герою Болгарии. Так что Гаршин, русский писатель, еще и породнил народы Болгарии, России и Украины, откуда он был родом, а стало быть, и Донбасс сроднил с ними своим ратным подвигом.

В 2000 году в Лондоне издан объемистый труд, посвященный творчеству Всеволода Гаршина. В него вошли работы не только зарубежных литературоведов и критиков, а и наших, донбасских.

Во второй половине XIX века маленькое село на донецкой земле Нескучное Мариупольского уезда Екатеринославской губернии тогдашней Новороссии, как называлась по тем временам южная, прилегающая к Черному и Азовскому морям территория Украины, приковывало к себе внимание видных прогрессивных умов того времени. Здесь, в родовом имении матери родился и затем, после учебы в петербургском Александровском лицее, жил и работал видный просветитель, педагог и методист, выдающийся деятель народного образования Николай Александрович Корф.

Основоположник педагогической науки и народной школы в России Константин Дмитриевич Ушинский, чья деятельность оказала огромное влияние на развитие педагогики и в других славянских странах, писал Корфу, своему последователю: «Читая каждую Вашу статью, чувствуешь, что Вы говорите о деле, в котором сами вращаетесь и которому отдались бескорыстно и прямодушно. О, если бы Вас можно было помножить на число губерний, не говоря уже уездов, через 10 лет Россия была бы уже другая. Но Вы и так делаете много только одним своим примером: и имя Ваше будит не одно сонное земство».

Велика оценка нашего земляка! Но и заслуга его не меньше.

Корф открыл в окрестных селах, таких как Камар, Улак-лы, Майорское, Времьевка, Богатырь, Больше-Янисоль, Андреевка и многих других, более 40 школ. Издал несколько учебников и пособий для учителей: «Руководство по обучению грамоте по звуковому способу», «Русская начальная

школа», «Наш друг», — явившихся неоценимым подспорьем для школьного обучения. А в помощь самообразованию учителей ежегодно составлял и издавал «Отчеты Александровского уездного училищного совета», который он одно время возглавлял, а потом — и «Отчет члена Мариупольского уездного училищного совета», куда он был избран впоследствии. Собственно, это был последний его отчет. В 1883 году, окончательно подорвав здоровье неусыпным трудом, общественной деятельностью, Николай Александрович скончался.

В память о нем в 1895 году в Нескучном, которое перешло по завещанию Корфа сначала к дочери Марии, а потом — Екатерине, была построена начальная школа. На ее открытие, заметим попутно, приезжала видный деятель народного образования, тоже последовательница Ушинского и соратница Корфа, Христина Даниловна Алчевская, работы коей высоко ценили Лев Толстой, Антон Чехов, Владимир Короленко, Максим Горький, Иван Франко, Леся Украинка...

Школу построил виднейший театральный деятель, режиссер, драматург и писатель Владимир Иванович Немирович-Данченко вместе со своей женой, дочерью Корфа, Екатериной Николаевной.

С 1887 года и по 1917 год, пока отчий дом Екатерина Николаевна и Владимир Иванович не передали в дар крестьянским детям Нескучного под школу, они почти каждое лето приезжали сюда и подолгу живали. Отсюда Владимир Иванович слал письма Льву Толстому, Антону Чехову, Константину Станиславскому, Максиму Горькому. Сюда же приходили и ответы. Шла подготовка к репертуарной реформе.

В Нескучном Немирович-Данченко много и плодотворно работал. Здесь он переделал и завершил роман «Мимо жизни», издававшийся после под названием «Мгла», начал роман «Старый дом», или «Мертвая ткань», повесть «Губернская ревизия», о которой высоко отозвался Чехов: «По тонкости, по чистоте отделки и во всех смыслах это лучшая из всех ваших вещей, какие я знаю...»

Много разъезжая по Екатеринославской губернии, накапливая впечатления от увиденной жизни на донецкой земле, а затем уединяясь в уютном доме, окруженном старым садом и изгибом тихой речки Мокрые Ялы, Владимир Иванович на собранном материале писал свои произведения. Это и рассказ

«Отдых», и очерк «Образцовая школа», и повесть «В степи», и комедия «Новое дело», и так, к сожалению, и не завершённый роман «Пекло».

В 1877 году неподалеку от Макеевки (Ханженково) родился видный кинопредприниматель и кинодеятель, создатель российского кинематографа Александр Алексеевич Ханженков. Памятник ему взялся создать всемирно известный скульптор Зураб Церетели.

И еще об одном незаурядном земляке, родившемся в XIX веке на нашей земле, а именно — 3 января 1868 года в слободе Торская Алексеевка (ныне село Октябрьское Красноармейского района Донецкой области), хочу хотя бы вкратце помянуть — об известном украинском писателе Николае Федоровиче Чернявском.

С его именем связано издание первой художественной книги в Донбассе. В 1898 году в Бахмуте, где Чернявский преподавал пение в бурсе, которую и сам раньше, до поступления в Екатеринославскую духовную семинарию, закончил, он издает на украинском языке свой сборник «Донецкие сонеты» («Донецькі сонети»). О чем была эта книга — первая донецкая ласточка! — можно судить по строкам из сонета, который называется «В Донецком крае» («В Донецькім краї»):

*Ревуть гудки. Дими стовпами
Повзуть за вітром по степу.
А там під степом, у склепу
Шахтар зомлілими руками
Б'є камінь, вугілля добува,
У землю вік свій зарива.*

Глубокое сочувствие к насущным проблемам трудового люда Донецкого края в ту пору присуще всей книге.

Он писал и прозу. И уже в 1927-1931 годах выходят его произведения в десяти томах.

Да прогрессивного, озабоченного нуждами простых рабочих писателя в 1937 злосчастном году репрессировали. В лагере он и умер в 1946. А реабилитировали лишь посмертно — в шестидесятые годы.

Горькая участь! Тем дороже нам, его землякам, его доброе имя. И этими скупыми строчками воздадим ему скромную дань.

Все названне выше земляки пеклись о духовности нашего края. Если хорошо покопаться в архивах и краеведческой литературе, вполне возможно, что еще найдутся призабытые имена. И благодарным потомкам, не утратившим любопытства и чувства землячества, разыскать их будет в радость и не без пользы для национального самосознания. Извлекая из забвения имена великих земляков, мы и сами возрождаемся духовно.

Как, скажем, случилось с «открытием» видного украинского ученого, писателя, общественного и политического деятеля Никиты Ефимовича Шаповала, который родился 7 июля 1882 года в селе Серебрянка Бахмутского уезда.

В своей автобиографии он писал:

«Мій батько (Юхим Олексійович) навчався грамоті на військовій службі. Брав участь у русько-турецькій війні (1876-77 рр.). Мати (Наталя Яківна) неграмотна.

...В голодні роки 1891-92 було страшно і сумно. Тоді батько переїхав за 60-70 верст од Сріблянки у Долинівку, біля шахт. А я жив із бабою у Сріблянці.

...Це літо (1892 р.) ходив на поденну роботу (полов хліба) по 15 коп. у день, потім сортував кокс на шахті (за три версти) по 20 коп., потім чистили парові котли (по 25 коп. за день).

...Зиму 1894-95 рр. батько працював на шахті, а Дорощ і я — на щоденній роботі: вибирали породу з вугілля. 1896 р. був «за хлопця» в конторі при шахті, за 3 рублі в місяць. З найбільших вражень цього часу — проводка електричного світла, яку вів монтер-німець Ключе...

Незабутнє враження зробив на мене селянський революційний рух 1902 року. Я ще тоді хотів відправитися у район розрухів, але повстання селян було задушене зразу...

«Програма» у нас була соціалістів-революціонерів. Щоб перевірити «правильність» світогляду, Мицюк їздив до Києва на побачення зі студентом-демократом Винниченком. Повернувшись, розповів свої враження, і ми вирішили, що наша програма краща... був вражений що хтось з його родини говорив по-російськи. З того часу в мене повстала хвиля національно-загострених почуттів честі, і так дійшов до думки «мстити за Шевченка»...

В 1908 году выходит в свет первый сборник поэзии Никиты Шаповала «Сини віри» («Сыны веры»), в 1910 — «Самотність» («Одиночество»)...

В 1917 году он избирался членом Центральной Рады Украинской народной Республики, назначался министром.

Впоследствии был вынужден эмигрировать.

Он тосковал по отчей земле, даже находясь в Украине. И потому, наверное, часто подписывался под своими произведениями псевдонимом — М. Сріблянський.

В таком забвении находился до недавнего времени и знаток древнерусской и мировой старины, философ Юрий Петрович Миролюбов, который родился 30 июня 1892 году в Бахмуте. Он очутился в эмиграции из-за того, что во время гражданской войны служил в рядах вооруженных сил Центральной рады, а потом — Добровольческой армии генерала Деникина...

Одной из важнейших заслуг Миролюбова является обработка и подготовка к публикации так называемой «Влесовой книги» — о происхождении, истории, быте и обычаях стародавних славян, написанной древнерусскими буквами на деревянных дощечках.

За границей вдова философа издала восемь книг его: «Русский языческий фольклор», «Русская мифология», «Славяно-русский фольклор» и другие.

Недавно в России издан двухтомник под общим названием «Сакральное Руси».

В предисловии вдова написала: «Наконец-то он (Миролюбов) станет известен на горячо любимой родине. Всю свою жизнь Юрий Петрович жил и работал для нее».

Думается, под словом «родина» наверняка имелась в виду и малая родина философа — отчий Донецкий край, с родным ему Бахмутом.

А в Славянске родился известный живописец Петр Петрович Кончаловский. Будущий тесть советского писателя Сергея Михалкова и дедушка видных кинорежиссеров Андрона (Андрея) Кончаловского-Михалкова и Никиты Михалкова. Кстати, имение Михалковых было в Амвросиевке на донецкой земле.

Ну как такими земляками не гордиться? Как не воздать им должное?!

К духовному становлению Донбасса так или иначе причастны и те, кто временно жил на его территории, работал и мучал вместе с донбассовцами.

Видный украинский композитор Николай Дмитриевич

Леонтович начинал свою творческую деятельность на стыке XIX и XX веков учителем пения в рабочем поселке Гришино, ныне — Красноармейск.

Не менее известный украинский писатель и педагог Степан Васильевич Васильченко (по настоящей фамилии — Панасенко), гонимый за революционные воззрения и подталкиваемый желанием «бурхливого життя», оказался на Щербиновских рудниках (нынче это Дзержинск), учительствовал там. Но в 1905 году за участие в рабочих демонстрациях и сочувствие к ним был арестован и брошен в Бахмутскую тюрьму, где просидел более полутора лет.

В селе Алексеевке на Луганщине, в школе известного деятеля народного образования Христины Даниловны Алчевской работал учителем в 1887-1893 годах писатель, собиратель фольклора, автор четырехтомного «Словника української мови» Борис Дмитриевич Гринченко...

Уверен, при усердных поисках откроются и еще какие-нибудь имена, узнав которые, только ахнем: «Да как же мы не ведали о них?!» Или: «Да как же мы могли забыть их?!»

И далее, огорчаясь, будем сетовать: почему, мол, не дознались на протяжении стольких лет? Неужто память отшибло или не достало обыкновенной привязанности к отчей стороне, ее прошлому? Ведь познавая прошлое родной земли, рода своего, познаешь и самого себя, не так ли?

Хотелось бы впредь избежать подобных огорчений и сожалений, равных запоздалому покаянию.

В разных энциклопедических словарях и книгах по краеведению наши великие земляки называются по-разному: то русскими, то украинскими деятелями искусства и науки, исследователями...

В то время, как, допустим, Михаил Пришвин в своих дневниках на этот счет высказал оригинальное суждение, как бы обезоруживающее все попытки «перетянуть одеяло на себя».

Он записал эту мысль в таком виде:

«Когда личность в своем высшем развитии выходит за границы своего национального происхождения, то ведь это нация цепляется за нее и венчает «национальным» поэтом, артистом, ученым или что там еще. Но личность сама по себе освобождается от этих уз. Шекспир становится похожим на русского, Толстой — на англичанина, Моцарт, Чайковский,

Бетховен... Да, мы, люди, в творчестве своем — как вода: каждый ручеек стремится преодолеть косность условий своего происхождения и уйти в океан».

По большому счету, все, возможно, так и обстоит. Но трудно представить Гоголя без Миргорода и Украины, а Льва Толстого — без Ясной Поляны и России! Без земли, с которой они, взяв ее энергию и народный дух, стартовали в человеческий космос Вселенной. Точно так же, думаю, обстоит дело и с нашими великими земляками.

Поминутно ловлю себя на том, что рука порывается написать «мы» вместо собственного «я». Должно быть, подсудно хочется о выдающихся земляках говорить и от имени других людей, проживающих на донецкой земле и породненных узами землячества. Вроде не я сам вызвался поведать о них, а мои современники доверили мне сию ответственную миссию. Иной раз даже робость подкатывает к сердцу сквозным холодком. Да и не удивительно: такие недосягаемые для простых смертных вершины, такие потрясающие имена мирового значения! И все они, как и ты, причастны к Донбассу впрямую. Только они уже возвысили его на земном шаре, подобно отдельному континенту. Ты же — лишь у подножия его.

Тем не менее, когда пишу от собственного имени о Донбассе и донбассовцах, во мне все равно многогласно постоянно прорывается это самое «мы» земляческое, и я чувствую, что не одинок ни в ответственности, ни в гордости, ни в признании в любви к нашим знаменитым предшественникам. Как и по отношению ко всему отчему краю.

Причисляя к землякам и тех, кто не родился на нашей земле, а все же так или иначе связал с нею свою судьбу, свои поиски и открытия, кто посвятил ей и ее людям свои духовные творения и тем самым возвысил дух нашего края и поведал о нем миру, доведется волей-неволей снова возвратиться в прошлое, когда едва-едва зарождалось промышленное, индустриальное могущество сегодняшнего Донбасса.

Принято считать, что Антон Павлович Чехов был одним из первооткрывателей в русской литературе Донецкого угольного бассейна — как страны огня. Действительно, его рассказ «Русский уголь» опубликован еще в 1884 году — задолго до многих других художественных произведений о нашем крае,

в которых рассказывалось о том новом, что появилось в нем с открытием и разработкой его подземных кладов.

Позже, специально попутешествовав по землям Войска Донского, проехав по Донецкой железной дороге до Славянска и побывав в Святых горах, Чехов, считая этот край родным, поскольку был уроженцем Таганрога, напишет и «Перекасти-поле», и «Печенега», и «В родном углу», и самое лирическое свое произведение «Степь», которые в совокупности являются ярким живописным словесным портретом Донбасса того времени.

Вслед за Чеховым «страну огня» будут открывать многие видные писатели прошлого.

И Николай Елпидифорович Каронин-Петропавловский своими «Очерками Донецкого бассейна», и Викентий Викентьевич Вересаев очерками «Подземное царство», рассказом «На мертвой дороге» и повестью «Без дороги», которые, собственно, и ввели его в большую литературу. И Николай Александрович Рубакин своим рассказом «Среди шахтеров». И Александр Иванович Куприн — очерками «Рельсопрокатный завод», «Юзовский завод», «В главной шахте», «В огне», повестью «Молох». И Алексей Иванович Свирский — циклом рассказов о каторжном тогдашнем труде шахтеров, их беспроектной нужде «Под землей». И Александр Серафимович Серафимович — очерками и рассказами «Мариупольские картинки», «Маленький шахтер», «На заводе», «Семишкара» и другими. И Сергей Николаевич Сергеев-Ценский — повестью «Наклонная Елена». И Константин Георгиевич Паустовский — ранними очерками «Приазовье», главой «Гостиница «Великобритания» из автобиографической повести «Беспкойная юность». И Александр Александрович Блок — стихотворением «Новая Америка». И Владимир Маяковский — более двадцатью произведениями, тематически связанными с Донецким краем, в том числе и «Сказкой для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный уголь»...

Так исподволь эстафета классиков передалась из XIX века в XX век. Но тут у Донбасса уже появляются, помимо ранее упоминаемого Миколы Чернявского, свои летописцы, сугубо донбасские, если можно так выразиться, потому что их произведения, многих из них, тоже стали своеобразной классикой — украинской, русской и греческой литератур.

В 1909 году учитель Спиридон Федосеевич Черкасенко,

работавший несколько лет в Юзовке на Лидиевских рудниках, издает свои зарисовки из шахтерской жизни «На шахте». Прежде они публиковались отдельно в разных киевских изданиях. Затем выпускает в свет книгу о детях и для детей «Маленький горбун и другие рассказы», рассказы для взрослых «Они победили», стихи, тоже посвященные подневольному труду и быту шахтеров Донбасса. Поэт, прозаик, драматург Спиридон Черкасенко оставил заметный след в украинской литературе первой половины XX века. Свой творческий и житейский путь он, к сожалению, закончил в эмиграции.

В 1921 году стремительно входит в украинскую литературу и становится ее хрестоматийным классиком уроженец Дебальцева Владимир Николаевич Сосюра. Он сразу издает две книги — «Поезії» и «Червона зима». То есть «Поэзии» и «Красная зима». Стихи и поэма. Столько и так влюбленно о Донетчине до него никто не писал.

А в 1930 году появляется сначала в Бахмуте, а потом переиздается в Москве под редакцией Эдуарда Багрицкого «Каменная книга» русского поэта, прошедшего, начиная с подросткового возраста, почти все шахтные профессии, Павла Григорьевича Беспощадного. В русской литературе он стал основоположником шахтерской поэтической традиции.

Входят во всеоюзную литературу один за другим коренные донбассовцы: Григорий Баглюк, Борис Горбатов, Юрий Черный-Диденко, Савва Божко, Леонид Жариков. А также те, кто навсегда связал свою жизнь и творчество с Донбассом: Илья Гонимов, Павло Байдебура... Русские и украинцы, захваченные общим устремлением — воспеть Донбасс XX века! Когда, по словам Беспощадного, один человек «будет, будто шутя, коногонить».

Песни же Михаила Голодного, родившегося в Бахмуте и затем переехавшего с родителями в Екатеринослав, такие как «Песня о Щорсе» и «Матрос Железняк», стали популярными не для одного поколения, они сражались вместе с испанскими республиканцами против фашизма, в первых боях с этой «коричневой чумой» XX века в Европе.

В эти же годы печатается и поэт греков Приазовья Георгий Антонович Костоправ. По злой иронии судьбы его книга с жизнеутверждающим названием «Здравствуй, жизнь!» стала последней прижизненной для него — в 1937 он был репрессирован и умер в лагерях в 1944 году.

О тех, кто жил в Донбассе и писал о нем, находя в этом и вдохновение, и долг свой сыновний отдавая, и кто живет и поныне на донецкой земле, я более подробно рассказал в книге «Слово о Донецком крае».

Сейчас же не могу не вспомнить о режиссере из Мариуполя Леониде Лукове. Одним из наиболее значительных фильмов его был «Я люблю», снятый по повести нашего земляка, макеевчанина Александра Остаповича Авдеенко. Повесть была опубликована в 1933 году и посвящалась рабочим Донбасса. Фильм снят в 1936 году. Затем Луков снимает фильм «Большая жизнь», в котором рассказывает о молодых шахтерах нашего края. Сценарий для него написал известный советский писатель Павел Нилин. В нем снимались видные актеры — Марк Бернес, Борис Андреев, Петр Алейников. Из этого же фильма выпорхнула и популярная до сих пор песня Бориса Ласкина «Спят курганы темные» с припевом: «Вышел в степь донецкую парень молодой»...

В самый раз помянуть о собирателях донбасского фольклора, который питал и питает творчество многих писателей.

Первую публикацию песен донецких шахтеров сделал еще в 1889 году писатель-демократ Глеб Иванович Успенский в газете «Русские ведомости». В XX веке эту работу продолжили Пясковский, Ковешников, Ионов, Тимофеев...

Из XIX века и начала XX века донес до нас живописные свидетельства тогдашней жизни и работы шахтеров великий художник Николай Алексеевич Касаткин, один из самобытных, ярких, крупнейших представителей когорты передвижников. О его полотнах — «Углекопы. Смена», «Сбор угля бедными на выработанной шахте», «Шахтерки», «Шахтер-тягальщик» и других — высоко отзывался Илья Ефимович Репин: «Мир фабричный, трудовой, со своими идиллиями радостей, со своими тюрьмой, сумой, с адскими шахтами, железными решетками и пр. — никогда не забудутся. Картины Касаткина так прекрасны и задушевные!»

Да и сам Репин, уроженец Харьковской губернии, как он уточнял в своей книге «Далекое близкое»: «В украинском военном поселении, в городе Чугуеве, в пригородной слободе Осиновке, на улице Калмыцкой...» — оставил нам среди множества гениальных полотен и связанные с Украиной: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» — а стало быть и с Диким нашненским Полем, на котором

разыгрывались нередко битвы запорожских казаков с турками и татарами, и «Вид Святогорского монастыря на Донце».

Кстати, со Святыми Горами связаны имена и Федора Тютчева, написавшего стихотворение «Святые горы», и Василия Ивановича Немировича-Данченко, родного брата Владимира Ивановича, скончавшегося в эмиграции и оттого долго замалчивавшегося, — он написал самую обстоятельную документальную книгу «Святые горы», и Ивана Алексеевича Бунина, запечатлевшего этот заповедный уголок земли донецкой в одноименном рассказе... А на горе, что возвышается над всей здешней округой, высится уникальный памятник большевику-донбассовцу Артему, созданный видным украинским скульптором, кинорежиссером, драматургом и сценаристом Иваном Петровичем Кавалеридзе в стиле кубизма...

Тут же, в монастырской усыпальнице знаменитого рода Иловайских, покоится прах Ивана Григорьевича Иловайского, крупнейшего донецкого, а точнее макеевского предпринимателя XIX века, который пожертвовал для Покровской церкви Святогорского монастыря самый большой колокол.

Звучат, звучат нынче колокола над Святыми горами, созывая паломников отовсюду, из разных далей, в древнейшую в нашем крае и, к счастью, возрожденную после многолетних надругательств обитель, тем самым являя захожему люду неповторимый облик заповедной донецкой природы, а заодно и всего Донбасса.

Собственно, с предпринимательства незабвенного Иловайского можно было бы начать рассказ и о земляках, которые в XX веке самопожертвенным, подвижническим трудом непосредственно творили индустриальную мощь Донбасса и возвысили его в глазах всего мира.

Но ведь до этой поры были и Евграф Павлович Ковалевский, разведавший недра и составивший первую геологическую карту Донецкого кряжа, дав ему при этом и имя собственное, и академик Григорий Петрович Гельмерсен, автор первых пластовых карт месторождений угля, и Леонид Иванович Лутугин, автор обзорной карты Донецкого бассейна, удостоенной в Турине золотой медали.

Были бахмутский управитель соляных промыслов Никита Веприйский и надзиратель крепости, капитан Семен Чирков, был Григорий Григорьевич Капустин, которые впервые от-

крыли уголь на бывшем Диком Поле: первые — в украинской его стороне, второй — в российской.

Был и выдающийся ученый Дмитрий Иванович Менделеев, несколько раз приезжавший в наш край в 1887—1888 годах и изложивший результаты обследований в докладе министру государственных имуществ: «О мерах для развития донецкой каменноугольной промышленности», а также выпустивший книгу «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца».

Был Виктор Егорович Графф, насадивший Великоанодольский лес и положивший начало степному лесоразведению в кряжистом, не так уж и богатому на воду крае. А еще — его последователь Василий Васильевич Докучаев.

Были также Самуил Соломонович Поляков, предприниматель, строитель донецких веток Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, и горный инженер Петр Николаевич Горлов, внедривший впервые в Донбассе на крутопадающих пластах Корсунской копи № 1, или Первого рудника, потолок-уступный способ выемки угля, и Джон Юз, соорудивший на берегах Кальмиуса жизненно действующий металлургический завод, и кузнец этого завода Алексей Иванович Мерцалов, который выковал из куска рельса ажурную чудо-пальму, сработав ее под стать тульскому «левше» из известного лесковского рассказа — она заняла поначалу достойное место на промышленных тогдашних выставках и в Нижнем Новгороде, и в Париже, а после была перевезена в Санкт-Петербург и установлена в музее Горного института. Сейчас ее прообраз стоит и в Донецке, более того — венчает герб Донецкой области. А также стараниями международного фестиваля «Золотой Скиф» их копии установлены в Киеве и Москве, где обосновались крупные донбасские землячества...

И выдающиеся металлурги-ученые Михаил Константинович Курако и Иван Павлович Бардин, работавшие помногу лет на заводах в Мариуполе, Юзовке, Краматорске, Енакиево и внесшие немало новшеств в доменное производство и интенсификацию металлургических процессов. И рыцарь долга Николай Николаевич Черницын, заведующий первой в России Макеевской горноспасательной станцией. Спасая горняков Горловского Первого рудника, он погиб сам.

Был и Никита Сергеевич Хрущев, проработавший на шахтах и заводах Донбасса двадцать лет в начале XX века; возглавив великое государство Советов, он с рабочей смелостью разоб-

лачил культ личности Сталина, довлевшей над каждым из нас...

Был и маршал Советского Союза, легендарный командарм Климентий Ефремович Ворошилов, бывший рабочий Луганского паровозостроительного завода...

Был и председатель КГБ СССР Владимир Ефимович Семичастный...

Были и жертвы ГУЛАГа уже в наше, «мирное» время — правозащитник Олекса Тихий и поэт Василь Стус...

И репрессированные Микола Руденко и Василь Захарченко...

И был божьей милостью механик-самоучка из Первомайки Алексей Иванович Бахмутский — создатель первого в мире угольного комбайна...

Непосредственную же трудовую славу Донбасса в XX веке вершили поистине великие земляки: забойщики угольных шахт Алексей Стаханов и Никита Изотов, металлург Макар Мазай, машинист паровоза Петр Кривонос, трактористка Паша Ангелина.

Их героический труд вылился в стахановское движение, охватившее, точно бурное весеннее половодье, все необъятные просторы тогдашней страны Советов. А родилось оно в тридцатые годы первой половины XX века на донецкой земле благодаря усилиям каждого из этих подвижников.

О них обо всех можно было бы сказать словами Горького, адресованными Изотову: «Они возвысили свой труд до высоты искусства!»

Мы еще не раз будем мысленно возвращаться к ним, беря в пример их жизнь яркую и ориентироваться по ним, как по звездам, в сегодняшнем зыбком, подернутом маревом неразберихи дальнейшем пути. Ведь они радели не только ради личных выгод, а скорее — начисто забывали о них, чуть ли не кладя живот заради общего блага земляков своих, то есть нас, наследников их трудового подвига.

Мировая слава нынешнего Донбасса приращивалась в недавнем прошлом и приращивается сейчас выходцами из земли донецкой: маршалами Иваном Пересыпкиным и Кириллом Москаленко, генерал-полковником, героем Советского Союза Иваном Людниковым и юными молодоговардейцами во главе с Иваном Туркеничем, испытателем первых реактивных самолетов Григорием Бахчиванджи и летчиком-

космонавтом Георгием Береговым, народными артистами СССР Николаем Гриценко, Юрием Богатиковым, перво-классными солистами Киевской оперы Михаилом Гришко и Анатолием Соловьяненко, опальным литературоведом и критиком, ныне академиком Национальной Академии Наук Украины, Героем Украины Иваном Дзюбой с его крамольной по тем, застоynым, временам книгой «Интернационализм или русификация?», народным артистом Украины, актером кино и режиссером Леонидом Быковым с его фильмами «В бой идут одни старики» и «Аты-баты, шли солдаты», ставшими классикой украинского кинематографа, известным кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств РСФСР Ларисой Шепитько, актрисой кино, народной артисткой РСФСР Майей Булгаковой, народным артистом России и Украины Иосифом Кобзоном, мастерами мирового балета, народными артистами Украины Вадимом Писаревым и Инной Дорофеевой, композитором, заслуженным деятелем искусств Украины Иваном Карабицем, всемирно известным еще со времен второй мировой войны фотожурналистом Евгением Халдеем, скульптором, народным художником УССР Василием Полоником, народными артистами Украины, солистами Донецкого академического театра оперы и балета Валентином Землянским, Николаем Момотом, актером театра и кино Владимиром Талашко, популярным эстрадным артистом Евгением Мартыновым с его — нашим! — по-родственному, по-домашнему теплым «Отчим домом», Олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом и 35-кратным рекордсменом мира по прыжкам с шестом, Героем Украины Сергеем Бубкой и народным художником Украины, скульптором Николаем Ясиненко, создавшим в Донецке всемирно известному легкоатлету-земляку памятник, как бы символизирующий всю спортивную доблесть Донбасса, и совсем еще молодым Международным гроссмейстером, ставшим в прошлом году чемпионом мира по шахматам Русланом Пономаревым...

Приращивалась и приращивается мировая слава Донбасса и научной деятельностью известного профессора-биолога Федора Щепотьева, вырастившего несколько новых видов грецких орехов, и полярником, капитаном атомоходов, Героем Социалистического Труда Анатолием Ламеховым, и крупным ученым, академиком НАН Украины Владимиром Шевченко, известным исследователем по истории этимоло-

гии, лексике и фразеологии русского и украинского языков, профессором Евгением Отиным, своими трудами стершего немало «белых пятен» на топонимической карте Донецкого края, и профессором по истории и краеведению Романом Ляхом, талантливыми профессорами-медиками академиком Академии медицинских наук, Героем Украины Григорием Бондарем и действительным членом Нью-Йоркской Академии наук Владимиром Гусаком, и народным учителем СССР, перевернувшим отечественную педагогику, в чем-то закончелую, с ног на голову, кавалером международного ордена «Николая Чудотворца» Виктором Шаталовым, народным артистом СССР Юрием Гуляевым и соловьем Донбасса, народной артисткой Украины Алиной Коробко, и лауреатами Государственной премии Украины имени Т. Шевченко поэтами Николаем Рыбалко и Леонидом Талалаем, прозаиком Владиславом Титовым, потерявшим в шахте, спасая товарищей, обе руки и затем написавшим, зажав зубами карандаш, проникновенную повесть «Всем смертям назло», которая обошла весь мир в переводах на самые разные языки, и поэтами-песенниками Михаилом Матусовским и Михаилом Пляцковским, выходцами из Донбасса, и альпинистом, мастером спорта Международного класса Михаилом Туркевичем, покорившим в ночное время Эверест, и гимнасткой, Олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Лилией Подкопаевой...

Их имена у всех на слуху! А сделанное ими — неотъемлемая часть нашего общего ратного и мирного дела и нашего духа, духовности нашей, и, наконец, всеобщей культуры всего Донбасса.

Великие имена! Великие земляки!

Ощущая подспудно и осознавая явственно свое землячество с ними, вновь и вновь преисполняюсь неумного ликования и гордости, будто и сам вместе с ними, с их величием возвышаюсь в повседневных трудах своих. Почти физически чувствую, как радуется душа, обретая вдохновение, полученное от деяний великих предшественников и современников, моих земляков.

Но и ответственностью полностью! Дабы не уронить их чести, их высокого имени. А равно и возвышенного ими до звездной высоты авторитета отчей земли — Донбасса. Ни мыслью недостойной, ни поступком непотребным, ни каким

случайно сорвавшимся с языка или с кончика пера неправедным словом.

Точно так же и перед потомками, идущими по-землячески каждому из нас, донбассовцев, на смену.

Жизнь прожить, говорят, — не поле перейти.

Даже не Дикое Поле, добавлю от себя, находясь в постоянных раздумьях о его диком прошлом и его многовековой преобразующей нови.

Дай же, Бог, до последнего шага не утратить святое чувство своей земляческой причастности к Донбассу, ко всем дорогим моему сердцу землякам!

Леонид Губин

ОТКРЫТИЕ

*Глава из исторического романа «Камень-уголь» о том,
как костромской рудоведец Григорий Капустин
в Донбассе уголь нашел*

Несколько дней работали до изнеможения — Григорий спешил. Были причины. Начала портиться погода. С севера насунулись тяжелые тучи. Шли низко, клочьями, цепляясь за вершины осокорей. Вспугнутые, снялись с лиманов утки, ушли за леса. В Лисьей Балке нерадостно мычал скот, принишкли среди деревьев саманные хатенки, истошно гавкал дворовой волкодав, ему жалобно подвывали псы помельче.

Данилка прислушивался, ту же опоясывался кушаком по сермяге, ронял слова, крутя бурав с Григорием на пару:

— Воег, сатана, как на смерть. Аж в душе слякотно.

— Где? Что?

Григорий ничего не слышал, занятый своими мыслями. Работал до седьмого пота, рубаха на спине под кафтаном была мокра день и ночь.

— Да Бровко в хуторе, чтоб ему заляпило!

— Пусть. Его собачье дело — выть.

В таборе стало неуютно, серо и сыро. По ночам давились ревучим кашлем. Надо бы отогреться, обсушиться. Костры не

помогали. Костром лишь небо греть. Чувствовал Григорий: удерживал людей при работах только алтынный, исправно им плаченный.

А тут еще придавила бескормица. Кончались мука, пшено, соль. И взять было негде — городок от городка верст пятьдесят.

— В лесах можно достать и хлеб, и сало, — подсказал Трайвода, выслушав Григория. — В лесах есть избы и землянки. Живут в них вольные люди, ловят рыбу, рубят лес, сеют хлеб. К ним идти надо.

Посоветовались с Масловым. Решили послать за провизией. Вызвались идти трое мужиков и Иванко Жижкин. Дали им солдата с фузеей, лошадь и телегу. Уехали в леса впятером, вернулись через два дня лишь четверо. Иванко Жижкин пропал в лесу. Солдат, ездивший с ними, потупив глаза, сбивчиво рассказывал сержанту Маслову:

— Я с телеги-то прилачился и пальнул. Но всего-то и делов, что ранил ее. Заряд отсырел...

— Кого ранил? — нетерпеливо допытывлся Андрей.

— Стало быть, ее, косулю, господин сержант.

— На черта мне твоя косуля! — раздраженно кричал Маслов. — Человек где? Иван этот, Жижкин? Тебя спрашиваю, тетеря.

— А человек, что человек? — мялся солдат. — Человек, известное дело, за нею, за косулей-то.

— Ну и дальше-то? Что дальше? Не тяни.

— А что дальше? Взял из-под сиденья нож, и был таков. Теперь ни человека, ни косули.

— Тьфу, прости господи!

Матвей Жижкин схватил очумевшего солдата за грудки, затряс его бешено:

— Куда ты братана моего спровадил? Куда? Где Иванко мой — сказывай! Убью! Кровью за это заплатишь!

Его оттянули прочь. Солдат отряхнулся, мирно доложил:

— А сала и хлеба мы купили, господин сержант.

— Ты дурака не валий! — орал на него Маслов. — Человека искать надобно!

— Куда он денется? Ежели медведь в лесу не заломает — придет, — равнодушно рассуждал солдат. — Сыщется, господин сержант.

Людей на поиски все же послали: этого солдата, двух мужиков и Матвея Жижкина...

День был серый, унылый. Небо в плотных сплошных тучах. В Лисьей Балке выгнали на попас коров. Скотина по пузо забрела в реку, лениво пила воду. Пастух и подпасок стояли на песчаной отмели в колпаках, с кнутами через плечо, смотрели на рудознатский стан. Детворе, видимо, заказано было бегать в табор — с некоторых пор на бугре не показывался ни один малец.

Григорий пристроился у помоста, где вертели желонку, рисовал на бумаге чертеж месторождений, положив на колени дощечку.

Маслов чистил шомполом фузею, заглядывал через плечо на рисунок. Тоненькой струйкой из угла в угол бежал на бумаге Донец. Возле него натяканы кружочки — поменьше и побольше. Андрей присмотрелся, с натугой прочел возле них некоторые надписи: «Верхняя Кундрючья», «Трехизбенская», «Лисья Балка», «Бахмут». В самом нижнем углу — еще одна извилистая линия, она соприкасается с Донцом, по руслу написано: «Река Кундрючья». И совсем уж ниже, у жирной извилистой вилюжины, — крупный кружок. От него — слово: «Черкасскородок». А из угла в угол, от кружка, обозначающего Лисью Балку, до кружка с надписью «Верхняя Кундрючья», потянулись два слова, начертанные крупными литерами: «Оленьи горы». Там, где были найдены уголье или руда, чернели замысловатые знаки.

И вдруг от третьей ямы — истошные крики:

— Зовите сюда царева человека!

— Сюда господина рудоведца!

— Скорее зовите!

Григорий выронил карандаш, вскочил. На помосте бросили вертеть, шумнули:

— Чего там? Пошто орете-то?

— Сюда-а-а! — отозвались от ямы пронзительно тонко.

Григорий переглянулся с Андреем.

— Никак засыпало кого?

— Не дай бог. Тогда побьют. Мужики, они и убить могут.

Андрей никак не мог вынуть из ствола шомпол. Побледнев, Григорий бросился на крик. Маслов — ему вдогонку:

— Погоди. И я с тобою. Вот только шомпол выну.

У ямы толпились мужики. Двоих, тех, что были внизу, уже подняли наверх. Они топтались на куче земли, измазанные глиной. Третьего тянули вверх. Григорий подбежал, когда из

ямы показалась косматая голова и плечи этого мужика. Мужик сидел в бадье, заросший дремучим черным волосом, растягивал в улыбке рот до ушей.

— Ну? — подскочил к нему Григорий.

Мужик протянул ему аспидную глыбу, достав ее из-под себя, со дна бадьи:

— Кажись, есть, господин рудоведец... Это самое уголье в преисподней...

Григорий выхватил у него из рук глыбу, не знал, куда ее девать. Это действительно было уголье. От радости сел прямо на склизкую глину, покачал головой, все еще не веря в истинную удачу.

Мужик стоял рядом, сморкаясь, рассказывал:

— Тюкнул я кайлой — посыпал ось что-то. Тронул — нет, не глина. Сухое как будто. Говорю Миколе: «Давай фонарь-то, свети». Глянул, а оно... стало быть, вот оно...

Григорий вскочил, сгреб мужика в объятия, хлопнул по спине, сквозь радостные слезы пробормотал изумленному Маслову, кривя губы:

— Андрей — флетцами-то, а? Не я говорил, а?

Один Матвей Жижкин был безучастен. Он сидел невдалеке на мокрой траве, опустив к коленям голову и остро глядя из-под бровей на чужую радость. Сегодня до света они вернулись из лесов: Иванкиных не нашли следов.

Развеселил всех Грайвода.

— Не верю! — вдруг воскликнул он, растерев на ладонях крошину угля.

— Ей-бо, не верю. Разум не хочет принимать. Все видал, а такое — побей меня лихоман, впервой в жизни.

Григорий смахнул с лица радостную улыбку:

— Не веришь? А ты в дудку слазь, в ту самую, где долбили мужики.

— Слазю! Ей-бо, слазю! — мерцал глазами Грайвода. — Самолично пощупаю! Спускай в яму!

У ямы он снял сермягу, бросил ее на глину, поплевал на ладони. Оглядев налитанные невидимым солнечным светом облака, перекрестился, поднял серый голыш.

Над черной пастью колодца висела на веревке огромная бадья.

— Там никого нету?

— Нетути, — хором сказали мужики.

Грайвода бросил в яму голыш, прислушался. Камень рокотал внизу, гулко бился о стенки, мягко шлепнулся где-то на глубине.

— Давай бадью!

Григорий с Савушкой подали бадью, сунули Грайводе фонарь с сальной плоской, медленно стали спускать его вниз.

На рыхлых стенах колодца играл неровный свет. Струйками сыпалась мокрая земля. Но вот кончилась влага. Сухая пыль защекотала в горле. Грайвода вглядывался в жуткую глубину, не видел ничего.

Бадья мягко села на грунт, веревка свободно повисла над головой.

Он взглянул вверх и ужаснулся. Вместо широкого зева, какой была яма наверху, увидел крохотную дырочку и небо с овчинку.

«В преисподнюю занес нечистый. Дай-то силы, Господи».

Отогнал страшные мысли, осветил на дне. Под ногами переливчато сверкал аспидный камень. Тут же лежал брошенный им голыш.

— Верю, — сказал он сам себе, сел в бадью и дернул за веревку: — Эй, там, в мире праведном! Тяни-и-те!

Эхо понесло его слова вверх, как в трубу. Веревка натянулась. Бадья оторвалась от дна.

Кожаный кошель, в котором Григорий хранил деньги и который служил ему за пояс, был почти пуст. Люди, получив расчет, стали непохожи на сколоченную команду. Каждый теперь был сам по себе. Мужики сторонились друг друга, уязывали свое добро, готовились в путь.

Десятой дорогой обходили вырытые ямы и помост с барабаном. На барабане печально и ненужно болтался обрывок пеньковой веревки, дерево тягуче скрипело под ветром, оседала утоптанная глина. За невысокий частокол (Григорий приказал оградить шурфы, чтобы не угодили в них человек или скотина) боязно было взглянуть. Ямы пугали.

Лишь в шалаше Грайводы жило веселье. Анисим сбегал в Лисью Балку, у кого-то из тамошних мужиков купил водки, потчевал всех. Он слезно умолил и Григория с Андреем откушать напоследок вместе и был рад, что те не отказались, пришли. Хмелея, хлопал по плечу приунывшего Матвея Жижкина:

— Братана жалко — верю. Костей в лесу не нашли — значит, живой. Вернется, куда ему деться. Попетляет по лесу, выйдет к реке, а там люди подберут. Ты пей, весели душу.

Матвей взял из его рук жбан, вяло выцедил хмельное зелье через узкое рыльце, сочно хрупнул луковицей.

Савушка с Данилкой, раскрасневшись, пустились в длинный разговор; Харитон, икая, блуждал косоватым глазом по лицам. Веки у него слипались, словно смазанные медом.

Григорий не слышал их, мысли блуждали в розовом будущем с признанием и наградами.

Дождь перестал. Из-за туч пробились солнечные лучи, на траве жемчужно засверкала роса. Земля, словно сквозь радостные слезы, улыбнулась людям. Он выполз из шалаша. Расставив ноги, потянулся.

По соседнему бугру круто спускались в ложину тени. Вслед за ними спешили всадники — солнце било им в спину. Кони под ними добрые, наездники — человек десять — весьма умелые.

Среди них мелькнул зеленый мундир.

— Андрей, взгляни-ка: твой брат — солдат.

Маслов вышел из шалаша, прислонил к бровям ладонь.

— Кто такие? Откуда?

— Подъедут — узнаем.

Григория охватило волнение. Поджидая всадников, он мял руки.

Из шалаша высыпали остальные. Возле своих коней и телег встали мужики. К Маслову пристроились солдаты.

Всадники спустились в лог, к речке Беленькой. Они не лезли в реку напролом, как сделали бы люди пришлые, а умело правились к броду. По этому Григорий определил, что им эти места знакомы.

— Может, в Лисью Балку правятся? — неуверенно обронил Маслов и тотчас отряхнул мундир, поправил треуголку, звенькнул шпагой. Передние два всадника выткнулись из-за крутизны бугра по плечи, и в одном из них Андрей признал офицера:

— Мать честная, никак чин! Откуда здесь-то, в степях?

Все настроженно всматривались в подъезжающих.

На первом — кафтан дорогого сукна, шляпа с пером и галуном, парик.

Глядел вороном, топорщил черные смоляные усы, сидел в седле, словно в горнице на святом месте.

На втором — новенький мундир со сканым воротником, новая треуголка и шпага.

За ними несколько человек разномастной свиты.

— Святой Никола-угодник, ослобони! — ахнул за спиной Григория Грайвода. — Это ведь бахмутский лантрат Никита Вепрейский и капитан Семен Чирков собственной милостью.

Григорию показалось, будто голос Анисима дрогнул. Передний, не доезжая нескольких шагов, мгновенным широким жестом окинул табор:

— Чьи будете?

Григорий вышел наперед. Он уже знал, что придется показывать подорожный лист и царский указ, и загодя нащупывал их под рубахой в кожаном мешочке.

— А где твоё здоровье, господин лантрат? — впился взглядом во всадника. — Людям сперва здравия надобно пожелать, затем уж спрашивать чьи.

Сказал и поехал: куда ему до царского лантрата! Вепрейский кивнул, мягко, знающе объяснил:

— До кордона тут, господин подъячий, рукой подать. Живете смело. — Повертелся в седле, оперся рукой о заднюю луку. — Всем твоим людям желаю здравия и благочестия! — Но вышло все равно так, что все поняли: здоровается господин с холопами. — Что изволите делать?

Григорий догадался: Вепрейскому откуда-то все известно, спрашивает для порядка. «Может, в Бахмут новая бумага из Берг-коллегии пришла?» Об этом и хотел спросить.

Его опередил Андрей Маслов. Он сделал шаг вперед, по военному артикулу кинул два пальца к виску:

— Уголье сыскали, господин лантрат.

Семен Чирков, в свою очередь, слегка тронул шпорой коня:

— Тебе, сержант, прежде всех следовало бы доложить. Ходите у татарвы под носом. Чуть что — спасай вас.

— Я и докладываю, господин капитан. Нам татарва не в помешку. Службу несем исправно. Нас вон сколько. — Обернувшись, scomандовал вытянувшимся во фронт солдатам: — Слушай, на кра-ул!

Солдаты по артикулу подняли фузеи. Чирков довольно улыбнулся:

— Устава не забыли. Благодарю за службу!

— Рады стараться, господин капитан! — рявкнул Маслов, умело сбивая с начальства недовольство и спесь. — Уголье залегает флетцами — вот он доказал.

Григорий смутился, вежливо кашлянул в кулак.

— Как ты сказал? Повтори?

— Флетцами, — несмело повторил Маслов, опасаясь, что не так произносит иноземное слово, и потому поглядывая на Григория.

— Флетцами, господин лантрат, флет-ца-ми! — Григорий обрел уверенность и спокойствие, он понял, что этого Вепрейский не знает и потому проявляет к сказанному немалый интерес.

Вепрейский спрыгнул с седла, бросил повод подскочившему служке из своей свиты, подошел к Григорию, играя плетью.

— Что есть флетца, господин рудознатец?

Григорий терпеливо разъяснил:

— Флетца, господин лантрат, есть такая полоса, которая толста или тонка бывает и под землю горизонтально простирается, не так, как жила; в глубину падает, но в ширину раздается. Сигает она в чреве бугров на многие сажени, а может, и версты. У нас тут, — Григорий повел рукой, — флетца саженой на триста тянется от одного конца — у речки Беленькой до другого — вон там, у ручья под Лисьей Балкой.

В холодных, широко расставленных глазах Никиты Вепрейского угадывалось искреннее изумление и радость. Он быстро стрелял ими в сторону все еще сидевшего в седле Семена Чиркова — тот брезгливо отдувал губы, не улавливая смысла в изумлении и радости Вепрейского.

— От речки Беленькой до Лисьей Балки, говоришь? — переспросил он. — На триста саженой?

— Истинно, господин лантрат.

— Под землю целая жила?

— Не жила — флетца, плашт.

— Плашт? Так-так. В нутре бугра?

— Истинно, в нутре, под шиферным слоем.

Заложив руки назад, Вепрейский быстрыми шагами походил туда-сюда, остановился, сказал без строгости:

— Этак можно, начав с одного конца, копать и копать под землю, пока не достигнешь конца противоположного?

— Можно, господин лантрат. Однако, мыслю, вынять уголье — это уже из области рудного строения. Надобно будет ставить рудник, рыть штольни, ладнать рудный двор.

— Ого! — буркнул Вепрейский, переглянувшись с Чирковым, заискивающе предложил Григорию: — Может, к нам, в Бахмут, хлеба-соли откушать, господин царский ревизор?

И скептически оглядел худую, истрепанную одежду Григория. Григорий перехватил этот едва уловимый взгляд:

— Гостей назначаешь по одежке, господин лантрат? — улыбнулся тонко, печально.

— Дабы проводить по уму, господин ревизор, — нахмурился Вепрейский. — Мы с капитаном по-хорошему приглашаем. Тебя, сержант, тоже.

— Я — как он, — спохватился Маслов, указывая на Григория и моля его глазами согласиться.

— Спасибо, время не указывает, — обронил Григорий.

— Как не указывает? Долго еще вам мокнуть в наших степях?

— Завтра отъезжаем.

— А люди?

— И люди, конечно. Кто куда.

— Негоже это — кто куда. Пусть идут к нам соль варить, господин рудознавец. Капитан, проси людей у царского ревизора, — тонко льстил Вепрейский Григорию.

Чирков понял его, поклонился с усмешкой:

— Покорнейше прошу, господин ревизор.

Григорий сказал сдержанно:

— Это уж как люди. Не меня просите — их. Мы с ними рассчитались. Они теперь вольны распоряжаться сами собою.

— Та-а-ак, — протянул Вепрейский и, обогнув Григория, скрестился взглядом с Анисимом.

— Ты кто? — И не успел Анисим рот раскрыть, пошел дальше.

Григорию снова почудилось, будто Вепрейскому что-то известно. А тот шагал меж людей, таратора, влезая им в души:

— По чем платят? По алтыну? Скуповато. Идите, братцы, ко мне соль варить! По пятаку в день платить буду! А за особую сноровку — и все десять заплачу. Идите! За такую

плату через полгода хозяйство сколотить можно. Правда, капитан? У нас, братцы, кроме платы, — харч, казенный барак с печами, баня. Вот только с одеждой худо... В своей придется.

Ходил по рядам мужиков, хлопал кого по плечу, кого по спине, кому мял щеки. Мужики кривили угрюмые лица в скурых улыбках: видно было — вот-вот согласятся.

— А что, ребята, — шептал своим Харитон Кривой, — по пятаку в день, а? Дома-то что делать в слякоть? В холодной хате говеть? Как вы, а?

За Вепрейским в толпу поспешил и кое-кто из его свиты — писарь с чернильницей, красавец-егерь в колпаке с гроздью, служки в добрых сермягах. Один Чирков не шелохнулся, стоял, по-барски засунув ладонь за широкий офицерский пояс.

В толпе, перед которой ходил Вепрейский, слышались смех, веселые голоса.

Кундрюченские тоже мялись невдалеке. Наконец от них подошел к Григорию Савушка, снял с головы колпак:

— Что ж, прощай, господин рудозналец! Мы тут решили держаться пока вместях. Не обессудь, коли что не так.

— Прощай, Яков, — Григорий, волнуясь и неосознанно теребя пальцами рубаху на груди, еле сдержался, чтобы не обнять Савушку. — А то, может, домой подашься?

Савушка не ответил на это. Кланяясь, скрипел зубами, цедил тихо, чтобы не слышали другие:

— У меня своя дорога, Григорий. К худшему или к лучшему она, не знаю. Да возврататься к прежнему нет моей мочи. Прощай.

— Прощай. Прощайте и вы, побратимы!

— Прощевай, господин рудозналец! — ответили все хором.

Вскоре сопровождаемый десятью всадниками обоз с говором и весельем двинулся по дороге в Бахмут.

Позади всех, оживленно жестикулируя, ехали верхами Никита Вепрейский и Семен Чирков...

— Уголье твое ядрено, мил человек. Ух, ядрено! Топор я тебе выкую, такой топор, что с ним весь свет пройдешь и мне спасибо назад принесешь.

Кузнец-туляк блестел в темноте кузницы-цеха белыми зубами, смеялся во всю скулу.

— Здоровяк! Экой!

Григорий радовался, глядя на кузнеца.

На весь постоянный двор звенели наковальни. Человек пять мастеров в засаленных брезентовых фартуках, голых по пояс, стучали молотками. Подмастерья-молотобойцы следили за каждым ихним движением. Чуть повел бровью мастер — ловчись, куй вовсю. Зазевался — пеняй на себя: тут же по твоим плечам походит длинная рукоять.

В кузнице чадно и парко. В шиповках наковален куются гвозди и скобы, в горнах накаляются заготовки, под потолком гремят на блоках цепи, У мехов танцуют, нагнетая воздух, работные парни.

Картина — лучше не надо!

А дальше — в конце кузницы — и вовсе сущее чудо. Гудит кричная домница, поет свою песню. Хотелось и самому обласчаться в фартук, но время не указывало...

От Тулы гнали почти всю дорогу бегом. Под Серпуховом по тонкому льду переехали Оку. Пошли знакомые места — заставы, шлагбаумы, конные дозорцы. Близко чувствовалась столица. Избы в деревнях худые, черные от копоти, мужики угрюмые, — видать, часто поротые. Зато господские усадьбы сияли в своем великолепии. Из-за деревьев, опушенных инеем, показывалась звездастая колокольня святой обители, хором с бочкастой крышей, ворота с каменными львами.

В мягкий зимний день въехали в Москву.

Оставив обоз и людей на постоялом дворе за Москвой-рекой, Григорий поспешил в Кремль.

И он, и люди, безропотно снеся невзгоды, осунулись, пообносились. На солдатах смешно обвисли ветхие мундиры. Потертое сукно кафтанов продувало насквозь. Кашель душил каждого. Маслов от избытка чувств хорохорился, грозил им кулаком:

— Соломку ешь, а форс не теряй! На то ты солдат!

Мужики и вовсе задубели в сермягах, топтались в лаптях на умятом снегу, не спешили в кабак согреться — блюли заработанную копейку.

На мосту среди множества лавок и лавчонок сновали лотошники и скоморохи. Тут мяли кожи, чинили обувь, торговали всякой всячиной, веселились, плакали, дрались.

На ходу Григорий купил пирогов, на ходу съел их, словно за себя закинул с голодухи, запил горячим сбитнем. Он не почувствовал ни запаха, ни вкуса. Несся в Кремль, в обербергамт, не чуя под собою ног.

Ульем гудела Красная площадь, вся утыканная деревянными лавками, церквами, церковушками, часовнями. По унавонженному снегу визжали санные полозья, отовсюду доносился конский храп, акающий столичный говор.

У самых Спасских ворот, на мосту через ров, Григорий опомнился, оглядел себя. Сапоги — одно название, тулуп измят и истерт, рукавицы — лучше бы надо, да не было. В руках крепко зажатый кнут.

— Экой я! — ругнул себя с досады. — Словно память отшибло.

Повертел кнутовищем. Выбросить жалко и бесхозяйственно. Распахнув тулуп, сунул его за широкий кожаный пояс.

— Ну, с Богом! — проговорил самому себе, осенив рукотворного Спаса, сверкавшего на башне серебром и позолотю.

Недавно построенная сторожевая — от татар — крепость Бахмут огорожена по земляному валу дрекольем.

Вокруг крепости слобода и казацьи курени. Хаты-мазанки, веретена тополей, припорошенные первым снегом левады, вишневые сады, черная в белой кайме снегов вода Бахмутки.

Посредине детинец — хмурая дубовая стена с узкими бойницами. Деревянные избы, солдатские казармы. Хоромы лантрата Вепрейского и капитана Чиркова. Неумело срубленная церковь с пятью луковицами, по-русски, высокая каланча.

Особо — под земляной насыпью у стен, где ночью и днем не дремлют, похаживая, дозорцы, — длинные дощатые баракисолеварни. Вечно зияют распахнутые двери. Дым и чад, запах сожженных дров и выпаренной соли. Рядом — впритул — кабак.

Бахмутская сторожа. Кордон. Конец земли русской.

В кабаке народу — чихнуть некуда. От самого основания не видел бахмутский кабак такого столпотворения.

Пьяный говор, биенье кулаками в грудь, бульканье вина из стеклянных бутылок, звяк, дребезг, сизый парок под потолком, брань, плач, дурной визг.

Рядом с целовальничьей стойкой, поближе к двери, за покрытым камковой скатертью столом, — лантрат, в распахнутом камзоле и в парике; капитан — в мундире с кисейным шарфом на шее и писец. У писца рожа угодлива, борода клином, глаза бегающие, колкие. Меж глиняных

чашек с естой — бронзовая чернильница (человека убить можно).

Дальше в глубине за прокисшими невымытыми столами, вколоченными в земляной пол, — Савушка, Данилка, Харитон Кривой, работные из команды Капустина, мужики, дра-ная голь. Пьют с утра.

Темные люди, ярыжки из лантратовой свиты, шныряют меж столов, сами не пьют, других угощают.

— За здоровье хозяина! Ну-ка, опрокинь, братец! Огурчи-ком закуси.

— Нутро воротит от твоего огурчика.

— Тогда капустным рассолом, — медово поют лантратовы слуги. — Рассолец на меду, пей — не напьешься.

Савушка отнял от стола задубевшую хмельную голову, крикнул в который раз, бухнув кулаком по столу:

— Грайвода где?

Данилка, пошатываясь, еле ворочая языком:

— Н-не знаю, говорят тебе.

Савушка тряс его, схватясь за грудки, — и снова за свое:

— Анисима сюда, — в душу и в кровь!.. — Сгреб нагнув-шегося над ним ярыжку, сжал за горло на вытянутых руках: — Р-расшибу!..

Ярыжка, посинев, задушевно возопил:

— Кар-раул!

Савушка оттолкнул его прочь и вдруг осознанно:

— За что пьем, соколики? Ох, боюсь. Князь Федор Алексеевич Голицын в деревне Кресной, что в Устюжских лесах, вот так же поил. А потом! Потом я, братцы, на железодельном заводе... в кабале... Голова лопалась у раскаленных домниц. Нутро сохло. И немец-управитель над тобою хуже зверя лесного... Чую, в другой раз мне такое готовят... — Пьяно повел хмельными глазами по лицам, будто не узнавая друзей. — Данилка, Харитон есть. А где Матвей Жижкин?

— Матвей? — трезвея, переспросил Харитон. Встав, тоскливо окинул поверх голов кабак.

У столбов, подпиравших кровлю, на дощечках горели сальные свечи, в потные окошки заглядывал вечер. От двери задом робко двигалась чья-то фигура в сермяге и лаптях.

— Да вот он, Матвейка наш.

Сели. Матвей пробился к столу:

— Ох, братцы! — глотнул из оловянной кружки, подрожал.

Потом-тихо: — Со стражником сейчас разговаривал. Который возле лантратовых хоромов сторожует... Полушку ему сунул... Сидит, говорит, наш соколик в барском подвале в кирпичном мешке...

— Анисим, что ли?

— Анисим.

— За что?

Матвей развел руками. Немного погода, выпив и захмелев:

— Человек, говорит, какой-то его опознал. Он ведь не Грайвода и не Анисим.

Харитона словно вилами пырнули — вскочил:

— Кто же он?

Данилка и Савушка переглянулись. Пить перестали. Постепенно начинали трезветь.

Савушка, словно очнувшись, увидел у стойки стол, накрытый красной камкой, господ и писца, ахнул:

— Замышляют. Хорошего, братцы, не жди.

Капитан Чирков, дрожа сытыми щеками, говорил Вепрейскому:

— Затея твоя, господин лантрат, весьма опасная. Людишки-то все беглые, хотя и на вольном Донце ютятся. У каждого заместо пачпорта — кулак. С пачпортами которых — малая малость.

— На сечу идти — голову нести, — резко сказал Вепрейский. Злые складки побежали от переносицы вверх, разрезали бледный лоб надвое. — Как же тогда государевы указы насчет беглых соблюсти?

— Как да что! Указы!.. Их с толком читать надобно. Умеючи.

Писец будто и не слышал разговора. Жевал нарочно громко, сморкался, кашлял: про меня-де все одно. Чирков качнулся к уху Вепрейского.

— Иловайский в Валуях беглых бродяг к мельницам приписал, держал их два года, птица не знала. У него слуги верные, запоры добротные. Но... — в упор взглянул на писца, тот обмер, жевать перестал, едва пролепетал: «Могила, господин капитан. Режь — не скажу!» — досказал: — Ныне господин Иловайский в Томской крепости... в чине сержанта...

Вепрейский нервно дернул себя за ус:

— Думаешь, Демидов на Урале-Камне государевых указов

испугался? Как бы не так. Угольный рудник ставить, господин капитан, не в схиму стричься. Тут храбрость нужна. И сметка. И хитрость, изворотливость то есть. Мы люди коммерческие — так и купцы именуют себя. Я на все смотрю здраво, того же требую и от вас. В компаньоны идете — все равно что на сечу.

— Давай-ка перо, писец. Где писать?

— Тутось, — проскрипел писец.

Умело, с завитушками, вывел свою подпись Савушка. Вепрейский перехватил его руку с пером.

— Грамоте обучен?

— Был подьячим.

— Знаю.

— Не пытай, коль знаешь! — Савушка выдернул руку из цепких пальцев Вепрейского.

Тот спросил:

— Может, у меня в канцелярии послужишь? Нам грамотные нужны. Платить буду соответственно.

Савушка усмехнулся:

— Тебе, кабальщику?

— Но-но-но, холоп!

Савушка потянул скатерть, набросил ее на голову Вепрейскому, крикнул внутрь кабака, где еще допивали человек тридцать державшихся на ногах:

— Братцы! Соколики! Нас в кабалу отписывают! Бей их!

Стражники повисли у него на руках; наполнив звяком оружия кабак, оттеснили толпу вглубь.

Вепрейский выбрался из-под скатерти, вытирая облитый чернилами камзол, шагнул к Савушке, пружиня на носках:

— По-го-ди, шатучий, я тебе припомню! В цепи его! Отведите в кузню.

Крепкие руки ту же обхватили Савушку, поволокли во двор.

— Долго же тебя искали, атаман. Долго.

— Гад выдал.

— Не-е-ет. Воров не выдают. Их ловят верные государю слуги. На том держава стоит.

— Брешешь, капитан, не изменой сильна держава — верностью братству, кровной спайкой.

Грайвода стоял перед сидевшим на скамье Чирковым,

достойно глядя смертному врагу в глаза. Шапку с него сбили, когда брали, сермягу порвали — висела теперь ключьями; один рукав был оторван по шву, держался на нитке.

Под кирпичные своды пробивался сквозь узкую подвальную бойницу пепельный свет. Через нее виднелись блеклая полоска вечернего неба, часть деревянной кровли с шестом.

У двери — две тени. Молча, послушно застыли — стражники.

Чирков, звеня шпорой, насмешливо оглядел плененного, улыбнулся: «Попался, селезень, в расставленные силки». Но сердце ожег веселый взгляд узника. Усмешка расплылась на губах врага, поразила в самую душу.

— Повеселись, атаман, теперь уж недолго, — злорадно сказал Чирков.

— Пошто рожу-то скалишь, когда плакать впору? А компанства самим государем поощряются. Вот как надобно читать указы! — Вепрейский оживился, видя, что убедил напарника. — Дело сделаем, а там — отписку в Камор-коллегию: так, мол, и так. И людишек дадут, и похвалят: умные, дескать, головы у нас в Бахмуте, умеют не только соль варить.

— Тогда что ж, — вздохнул, все еще колеблясь, Чирков.

— Начнем, господин капитан, — сказал Вепрейский.

— Хорошо, — согласился наконец Чирков. — А с этим что делать? Который в подвале?

— С тем разговор особый. Дай тут управиться.

— Пойду его попытаю. Что скажет.

— Эй, писец, лисья голова!

Писец вскочил с места, распрямил на столе бумагу, разложил перья, моргнул ярыжкам. Те подхватили хмельного мужика из обозников, приволокли к столу.

— Вот здесь, божья душа. Приложи один перст. Да не тот, бычиное семья, большой!

Мужик мычал, шатался. Голова, словно лишняя, моталась на шее. Обмакнул пятерню в чернильницу, лапнул бумажку, оставив на ней пять жирных пятен.

— Готово! Подводи следующего! — кричал писец.

Кто расписывался, кто тыкал пальцем, кто ставил крестик — подходили, послушно делали то, что было велено, валились пьяные, одурманенные, икали, опорожнялись на грязный пол. Захмелевших до беспамятства ярыжки волокли вон из

кабака, бросали на синий вечерний снег, обливали холодной водой со льдинками — мужик приходил в себя, крестился на покрытые снегом избы, на луковки колоколен, воспаленной грудью хватал морозный воздух. Ему не давали опомниться, тащили внутрь, бросали в темном углу на гнилое сено.

Набралось человек пятьдесят.

Пошла очередь и до Савушки. Он уже отрезвел. Сидел на скамье, нервно щипал бороду. Видел, как Харитон послушно поставил крестик, как расписался хмельной Данилка, как ткнул пальцем в бумагу Матвей Жижкин. «Пропали теперь, — шептали губы. — Что же делать?» Затравленно повел глазами — окна маленькие, стены из толстых бревен, дверь распахнута, но не уйдешь: всюду стражники и ярыжки. Поймал на себе чей-то взгляд — словно кто клеймо прижечь собирался. У стола холодно посмеивался, сверля его взглядом, лантрат Никита Вепрейский.

Делать было нечего. Савушка поднялся. Подойдя к столу, хлопнул писца по плечу — тот присел, уронил перья.

— Покупаешь, значит, соколик? Ну что ж, покупай. Только надолго ли?

— Надолго! — рывкнул Вепрейский.

— Все равно уйду! — сквозь зубы процедил Савушка. — Не отковали еще на меня замков.

— Откуем.

Грайвода потоптался на месте — руки были связаны за спиной и конец веревки намотан на перекладину.

— Жалею, капитан.

— Кого?

— Тебя.

— Рехнулся, голубчик. Мне тебя жалеть, да жалость вся вышла.

— Запрошлый год под Острогжском, помнишь? Врубился я тогда с казаками в твою пешую рать. Припоминаешь? Ты на коне один был, шпагой игрался. Пожалел я тебя тогда, а то бы!.. Куда шпаге супротив казацкой сабли? Да и наездник из тебя никудышный...

— Ты! Каналья! Как смеешь?

Чирков вскочил с места, зардевшись. Стыдно было своих — стражники все слышали. С размаху ударил Грайводу по щеке — голова у того мотнулась, но взгляд не потух, по-прежнему у глаз кололись лучины морщин.

— Безоружного-то! Эх, капитан!

— Молча-а-ть! Убью!

Чирков замахнулся в другой раз, но тут скрипнула низкая дверь, и в подземелье вошел, пригибаясь, Вепрейский.

— Что здесь у вас?

— А-а, пустой разговор, — стыдливо пряча под белым платком рот, отмахнулся Чирков.

— Все еще не обзнакомились?

Вепрейский подошел к Грайводе, заложив руки за спину.

— Так уж и быть, новость сообщу тебе, атаман. Только что все добровольно похотели у меня отработать...

— Оно и видно, что добровольно. Весь камзол в чернилах.

— Верно. А ты глазастый. Это Яков, или как он сам тебе сознался — Савушка Грязной. Его пришлось связать. Остальные — по доброй воле записались. Угольный завод будем ставить в Лисьей Балке. Уголье-то под Лисьей Балкой отменное?

— Дюже отменное, лантрат. Сам лазил в дудку, доставал.

— И еще слазишь, нагребешь. Бочонок в Москву пошлем, в Камор-коллегию.

— Твоя воля, господин лантрат, — весело сказал Грайвода.

— Однако же то уголье Капустин сыскал, царский ревизор? Себе, никак, приписать зачесалось, господин лантрат?

— Нет, атаман. — Вепрейский походил перед носом Грайводы два шага туда, два — сюда. — Нет, надежа. Чужого я не возьму, а угольем похваюсь, коль оно здесь флетцами залегает. Уголье-то в коллегию предъявить надобно, коль собираешься угольный рудник ставить, — вот моя мысль. Господин Чирков в компаньоны ко мне идет.

Чирков поддакнул. Грайвода сказал:

— Как вороны, значит, на падаль. От тебя, лантрат, не уйдет, знаю. Солеварни у нас отнял, теперь и это готов отнять?

— Не отнять, атаман, — свое взять. — Вепрейский постучал себя в грудь концом плети. — Я — дворянин, ты — холоп. Холопу не положено подымать руку на своего господина. Это — извеку так. Не тобою выдуманно, не тебе, атаман, отменять. Зря ты, атаман, еще один грех взял на душу перед своей погибелью.

— Какой?

— Савушку на бунт подбивал, Данилу Пирожка, всю ва-тагу, то есть команду рудознатца. Ништо, этих мы угомоним. Мы и твоему господину ревизору Капустину это помоним.

— За что его-то трогать? Он ничего не знает! — встревожился Грайвода.

— А хотя бы за то, что тебя, злодея, пригрел, — отозвался капитан Чирков.

— Вот-вот, — сухо сказал Вепрейский.

— Не трогай его, господин лантрат, — взмолился Грайвода.

— Не трогай! Он хороший человек, плохого против государя не умышлял.

— Сейчас не трону. Опосля появится надобность, — мирно, без вызова и оттого страшно сказал Вепрейский. — А с тобою, атаман, пробил час поквитаться.

— Ныне тебе содеять это легче легкого, лантрат.

— Не разумею?

— Я говорю: со связанным-то и скованным врагом кто не сладит?

— Хочешь, чтобы развязали?

— Наверяд ты согласишься.

— Не соглашусь — верно. Вас развяжи или из желез раскуй, вы и голыми выслизнете. Не хотелось, но скажу. Только сейчас побег из-под стражи тот Савушка Грязной. Не успели в железа сковать.

— Убег-таки? А говорил: угомоним. Всех не угомонишь.

— Зря радуешься, атаман. Мы его поймаем. Весь Бахмут на ноги подыму, ежели надо будет. Но его и без того словят. С минуты на минуту сюда приведут.

— Не словят, лантрат, нет. Савушку не поймать. Савушка не тебе ровня. Он хитрее и умнее тебя.

— Ты научил? — встревожился Вепрейский и хмуро переглянулся с Чирковым.

Грайвода весело и лукаво смотрел на них на обоих, словно дразнил.

Глава Московского обер-бергамта ассессор Петр Ханыков, длинноногий, в чулках с бантами, стуча каблуками, через три ступени вбежал в приемные покои вице-президента Берг-коллегии Зыбина, только вчера прибывшего из Петербурга в Москву по весьма неотложному делу.

— Кто у господина вице-президента?

Коллежский секретарь, которого спросил Ханыков, покло-

нился, послушно сообщил, что у господина вице-президента сейчас пребывает президент Камор-коллегии князь Федор Алексеевич Голицын.

Князь Федор сидел в глубоком кресле с посохом в руках — по старинному боярскому обычаю; Зыбин, в коротком камзоле, в рогатом пышном парике, бритый и напудренный, стоял за огромным канцелярским столом, упершись кулаками в разбросанные на зеленом сукне бумаги.

Ханыков с радостью отрапортовал:

— Уголье в той земле, господин вице-президент, как общается подьячий Капустин, только что воротившийся оттуда, залегает жилами, а не гнездами.

Зыбин поморщился:

— Жилами! Сколько раз говорено: потрудитесь изъясняться по-научному. Не жилами, а флетцами.

— По-нашему — жилами, а по-басурмански — флетцами, — бухнул, не очень-то раздумывая, князь Федор и полез в широкий карман камзола за платком — утираться (вспотело под париком).

— Я требую, князь, от чинов Берг-коллегии научного изъяснения, а не мужицкой тарабарщины.

— Тьфу! — плюнул Голицын, вытирая под париком бритую голову.

Не все ли едино: хоть пеньком по голове, хоть головой о пенек.

— Что вы имеете в виду, князь?

— А то, что иметь полагается. Залегает оно жилами, али флетцами, али крапинками, али еще там как Господь Бог придумал, — все одно вам не сдобровать. Ты пойдешь и ляпни государю: жилами — он тебе навтыкает науки в ребра тростью из кости слоновой. Да еще и плюнет в рожу.

— Вы бы, князь, говорили внятно, поскольку я вашу речь что-то не разумею, — сдержанно попросил Зыбин.

— Можно и внятно, ежели в твою ученую башку не лезет мое слово, — согласился князь Федор и ошпарил Зыбина вопросом: — У тебя деревеньки есть? Именья, стало быть?

— Имеются, — растерялся Зыбин.

— И заводишки железные?

— Есть и... железные...

Князь Федор ткнул посохом в Ханыкова:

— А у тебя, ассессор?

Ханыков поклонился в пояс: он хорошо знал, кому и как надлежит кланяться.

— Как у всех, так и у меня, княже.

Князь Федор встал, грузно опершись на посох, искал глазами икону, таковой не нашлось, разогнулся было перекреститься на картину, висевшую за спиной Зыбина, да раздумал: на картине, круто падая на борта, бороздили морскую волну флотские бригантины.

Осенив лоб, изрек:

— Так вот, ежели и впредь по-научному изъясняться станете, то не будет у вас ни деревенок, ни заводешков. Да и самих вас на Соловки упекут, лишивши всех чинов и званий. Как князя Василия Долгорукова. Самого генерал-фельдмаршала Рюриковича! А вы-то кто такие будете? Давно ли у князя Василья башмаки чистили? — Колобком приблизился к Зыбину на коротких ногах. — Ты не в науку гляди, Алексей Кириллович, — в корень! А корень наш... — постучал посохом, протыкая острием ковры. — Одно слово — матушка Русь! Мы испокон веков корнем-то сильны... Вон гляди — крыльцо с шатерком. С того крыльца еще Иван Третий, выйдя к народу, говаривал: «Не ропщите, яко псы рыкающие, не тщитесь в суете земной, не учите владыку, ибо выше владыки лишь Бог-вседержитель».

Ханыков первый смекнул, к чему клонит Голицын. Не робея, подал голос:

— Мнится мне, господин вице-президент, князь Федор дело советует. Не с руки нам объявлять, будто того уголья у нас у самих непочатый край.

— Вот-вот, надуло-таки ума в гузно!

— Но за сокрытие правды от государя не только чинов, а и головы лишат, — побледнел Зыбин.

— Что твоя голова без чинов и деревенок? — Зыбин беспокойно застучал пальцами по столу. — Выходит?..

— Выходит, что с докладом повременить надобно, — подхватил князь Федор. — Доложишь, а тебя спросят: пошто годами тратил великие деньги на закупку в Голландии и Швеции земляного уголья, коль своего невпроворот? Пошто раньше-то не сыскал у себя, ежели оно — флетцами?..

— Так ведь то было делом главы казенной команды рудознатцев Василия Лодыгина, — попытался убедить Голицына последним доводом Зыбин. — С него и спрос.

Голицын своим доводом припер его к стене:

— А команда сия не под твоей ли рукой ходила? Да и с Лодыгина теперь спрос невелик. Он уж скоро самому Господу Богу отдаст отчет. — И уже поучал, не ожидая прекословия от растерявшихся вконец чиновников: — Рудознатца этого домой спровадить, чтобы зря не мозолил глаза в столице. Рудозналец-то этот Капустиным кличется? Не тот ли это Капустин?

Зыбин промолчал.

— Пошто молчишь?

— Это выше моих сил, князь.

— Выше твоих сил — я.

— Тот.

— Стало быть, тот самый. Были у меня в Устюжском крае свои домницы. В тайге хоронил. Мужики в тех домницах железо варили. Теперь те домницы в казну отписаны. Нынче что ни мужик — то царский ревизор. А Якову Вилимовичу, президенту-то вашему, я уж как-нибудь сам об этом скажу. Уголье же и руды, кои привез тот рудозналец, отдайте на пробу, солдат и сержанта отпустите в полк.

Григорий припал на колени перед ложем. На подушках лежал Василий Лодыгин. Слезы текли по его щекам, теряясь в усах.

Выслушав приговор в Московском оберг-берг-амте, Григорий сдал уголье и руды в пробирню на берегу Москвы-реки, отпустил мужиков и распростился с Масловым. Затем стремглав погнал сюда, на Басманную.

С тяжелым чувством переступил этот порог. Лодыгин лежал как восковой. Бледное костлявое лицо, ввалившиеся глаза, поверх покрывала покорно сложены руки — в чем только душа держалась?

— Плаштами... значит... не гнездами... — выдохнул с хрипением в груди Лодыгин.

— Так, Василий Михайлович... плаштами, — прошептал Григорий, нагнув голову.

За спиною сопели домашние и домочадцы, пускали слезу.

— Попа бы в самый раз, — едва прошелестела губами жена Василия, Матрена, комкая у распухших глаз платок. — Не велит.

Дети перешептывались рядом — от рослого красавца офицера до младшего девятилетнего мальчишки в розовой рубашке, повязанной шелковым пояском повыше пупка — чтобы животик рос.

В углу, на божнице, горели тонкие свечи, прилепленные к иконам. Венецианское зеркало накрыли попоной: срамно было в такое время рассматривать свою личину.

Лодыгин открыл глаза, взглядом попросил сдернуть с окна полог. Сдернули. В хоромах посветлело, хлынул мягкий рассеянный свет.

— Все прочь! — произнес властно и резко. — Григорий, подойди, нагнись.

Торопясь, все вышли вон, прикрыли высокую дверь.

— Подыми меня!

Григорий легко приподнял хилое, сухое тело, подмостил под голову подушки. Шумно дышал Лодыгин, долго смотрел в окно.

У деревянного моста через Язу мимо высоких хоромов и изб с резными воротами и без ворот, мимо колодца-журавля, опустившего хобот в польню на реке, с песнями, переплясами двигалась шутовская процессия.

В колпаках, звериных шубейках, с выпачканными в сажу и румяна лицами скоморохи кувыркались в снегу, задирались к будочникам, пугали собак.

В снегу, разгребая лошадиный помет, важно ходили вороны, отпечатывая желтые остроконечные следы.

То была жизнь.

— К государю надобно, Григорий! — воскликнул Лодыгин, гневно подняв вверх костистый длинный палец. — Нелегко тебе будет предстать пред его светлые очи, нелегко! Да свершить это надобно.

— Как же я свершу, Василий Михайлович? — Григорий смахнул слезу, присел рядом на гнутый стул. — Я простой смерд, небыль, а он — император всероссийский.

— Ты рудозналец, Григорий, знаменитый искатель, — сурово сказал Лодыгин. — Умельцев царь любит. Пробейся к нему, да гляди в ноги не падай, лишних слов не говори, поступай смело и прямо. Я тебе помогу. Вон в том шкафчике глыба уголья. Принеси.

Григорий принес глыбу. Лодыгин взял ее в руки.

— Это царский подарок, припоминаешь?

— Не забыл, Василий Михайлович.

— Дарю тебе. Храни. Ежели когда-нибудь добьешься до Петра Великого (при этом впервые услышанном слове мороз волной прошел по спине Григория), покажи ему сей камень — он вспомнит о Лодыгине, а заодно и к тебе благосклоннее будет.

— У меня другой есть, Василий Михайлович. Получше.

Лодыгин повертел в руках поданный Григорием кусок угля.

— Пожалуй, этот лучше. Но тот — дороже. Тот из царских рук, Григорий. Поднесешь ему оба и скажешь, что у нас на Руси есть свой земляной уголь. Камень-уголье. И еще скажешь: воля его исполнена, и старик Лодыгин из древнего рода боярина Кобылы отошел в царство небесное с чистой совестью. Мне уж его, великого державца, никогда не видеть, — Лодыгин облизал сухие губы, начал креститься размахисто и долго. На бледных щеках вспыхнул померанцевый румянец. Григорий, низко опустив голову, тихо и беззвучно плакал.

— И с тобою, рудный искатель, пора проститься. Пора, пора, не перебивай. Я еще поживу малость, но и тебя более не увижу! (Тонкие пальцы сами собою пошли перебирать покрывало, словно цеплялись за уходящую жизнь). Я, может, и жил-то твоим возвращением. Тебе не знать, что мною передумано. — И вдруг вспыхнул по-молодому, поднявшись на локте: — Я, Григорий, ныне две жизни прожил. Одну настоящую, до преклонных лет, а другую — в мыслях, с совестью своею наедине. Бог послал мне много времени на эту вторую жизнь — и ночи, и дни. Все отдал бы я сейчас, дабы очутиться на твоём месте.

Набитую до звона обручами четвериковую бочку поставили на краю насыпи. Вокруг шурфа торопливо расчистили снег. К барабану привязали веревку, в оглобли впрягли лошадей, к срубам подали бадю.

— Полезай, атаман, — кутаясь в шубу, повелел Вепрейский. Тонкие губы его были бледны, тело содрогала трясучка — он болел последние дни. — Ты уже бывал в этой дудке. Нагребешь уголья, подашь наверх. Мы тем угольем бочку наполним. Потом на этом месте будем ставить угольный рудник.

Грайвода усмехнулся, сбросил с плеч сермягу. Оставшись в одной рубахе, подошел к бадье.

- Нелегкую ты мне придумал смерть, лантрат.
- Какую Бог послал.
- Бог всегда делает так, как намыслит человек.
- Ты бы, атаман, Господу-то помолился все же.
- Помолюсь, не твоя забота.

Кругом чужие лица. Вепрейский да стражники. За ними, сойдя с насыпи, совестливо топтался на снегу капитан Чирков. Ни одного мужика на всю степь. В стороне — запорошенная снегом Лисья Балка. Мазанки по стреху в сугробах. Совсем недавно веселой компанией искали тут уголье с рудознатцем. Внизу скованный льдом Донец. Посреди реки парует черная полынья. За лесными далями, за буграми — так и не добытое в боренье счастье.

Все позади. Теперь вот — крепкая дубовая бадья, черный зев шурфа, и все.

— Что ж, лантрат, поймал злодея? — спросил Грайвода. Вепрейский вздрогнул. Он понял: Грайвода спрашивает про Савушку. И ныне, как и тогда в подземелье, Грайвода лукаво улыбался.

— Словлю, — зло ответил Вепрейский. — А покамест натешусь тем, что тебя не упущу.

— Не поймал. Ну, это хорошо. И мне от того легче.

— Спускайте его! — приказал Вепрейский. Стражник сунул в руки Грайводе зажженную плошку. Бадья, пошатываясь, уплыла вниз, мягко шлепнулась на пыльный грунт. Все замерло.

«Что же они медлят? Может, в самом деле хотят, чтобы я сначала нагрел уголья? Похоже, что так».

Кирка оказалась под рукою, Грайвода стал жадно рубить уголье и бросать груды в бадью. Вскоре бадья была полна. Он постоял немного, обливаясь потом и чувствуя, как немеют руки и ноги. Страх сковывал тело, плошка потухла. — Ирроды! — закричал он, дергая за веревку.

Бадья оторвалась от дна, уплыла, закрывая собою свет.

Тягуче текло время. Наконец свет пробился снова: бадью вынули.

Грайвода взглянул вверх. Там еще светился серенький клочок зимнего неба. Камень больно ударил по плечу. Грай-

вода прикрыл голову киркой, но земля и щебень посыпались на него ливнем, забило дух...

Домой. Домой. Весело бегут сани, черпая раскатами синие сугробы по обочинам дороги.

Утром длинные тени сопровождают с левой стороны, к вечеру — с правой. Морозно. Солнечно. Снежно. Спереди и сзади — куда ни глянь — обоз. Длинный, без конца и края. Московские купцы спешили к весне на Макарьевскую ярмарку. Путь лежал через Владимир, Суздаль, Палех, Кинешму. К ним пристал Григорий.

День в пути, ночь где-нибудь на постоялом дворе, а то и просто в лесу, у костра на ложе из еловых лап.

С вечера студенеет. Острые звезды горят в выси — на мороз. Шуршит, осыпаясь с ветвей, снег. У костра готовят мужики пахучий сбитень, медвежьими тесаками режут промерзший хлеб, жуют с веселым говором и россказнями.

Полдороги Григорий думал о Москве, о Лодыгине, о найденном уголье и рудах. Мысли бессвязно путались, он никак не мог понять, почему в Берг-коллегии, где так пеклись о земляном уголье, открытию как будто и не возрадовались. Уголье и руду в кадках спешно отдали на пробу, а самого Григория спровадили домой и приказали ждать. Чего ждать? Спасибо, жалованьем не обошли. В приказе Большого дворца дали на дорогу муки, мороженой говядины, круп, масла, овса, сена, а также выдали бумагу для предъявления в Даниловскую приказную избу: поставить его с хозяйством на поместный оклад. Деньгами же не дали ни полушки, пообещав наградить после. Григорий вез с собою три кадки с угольем и рудами, надеясь дома еще раз опробовать то, что нашел в донецких землях. В первые ночи, едва сомкнув веки, видел Лодыгина, слышал его хриплый надрывный голос: «К государю!»

А как ты достигнешь того государя? Ему, небось, и во сне не снится Капустин. Григорий издевался над собою, проклинал с усталости и уголье, и Берг-коллегию, и самого себя. Горячо пылал лоб, голова была как чугунный горшок, едкие мысли роились без конца и не давали покоя.

Но вот страсти улеглись. Начались родные места. Нет-нет, да и попадались знакомые перелески, стога на лесных полянах — шест, а вокруг него сложено в стожок сено, сосны в

три обхвата, скованные льдом речки, узкие мостки — одни перильца торчат из-под снега.

С полдороги им властно завладели мысли о доме. Теперь по вечерам он видел Ефросинью — она почему-то смеялась, щеки сжигал румянец, в глазах была бездна тепла и любви. Отец гонял по двору в полушубке ядерного борова, слепив снежок, швырял на кровлю сарая, куда повадился лазать петух с курами.

Вот только матери не мог представить. Образ ее неуловимо ускользал из сознания. Григорий стонал во сне.

— Эй! — толкал его в бок сермяжный мужик в хозяйском тулупе. — Пошто мычишь, Бога гневишь?

Григорий просыпался, переворачивался и снова засыпал, слушая, как тревожно стучит в груди.

В Кинешме он с легким сердцем отбился от обоза. Наскоро перекусив, выехал за деревянные ворота в крепостной стене и свернул на лесную дорогу. Кнут не переставал свистеть над спиной лошади.

К вечеру в лучах закатного солнца показалась вдали на бугре Успенская церковь с маленькими часовенками. Затем высунулись кровли господского дворца, Тюпиных хоромов и деревенских изб. Волнуясь, он ловил глазами родную кровлю; отыскав, погнал лошаденку, уже не в силах унять радостной дрожи в теле. Тулуп спадал с плеч, шапка сползла на затылок, уши покраснели — он не чувствовал холода. У самых ворот, увидев под дощатым навесом медный крест, спрыгнул с саней, припал к калитке, судорожно нащупывая засов. Торопливо ввел во двор лошадь под уздцы. Во дворе — только тропки, ни одного санного следа.

«Давно не ездили, видать», — мелькнуло в голове.

С крыльца, с порожек, сходила испуганная Ефросинья.

— Свет мой, Григорий, здравствуй на много лет!

В родных глазах увидел Григорий нажитую за эти годы тоску.

Запись в журнале:

«1722 года января 20 дня.

В Берг-коллегию из Камор-коллегии от президента князя Голицына прислано в бочонке земляное уголье, которое сыскано близ Бахмутских соляных заводов.

Подканцелярист Алексей Соколов».

ЮЗОВСКИЙ ЗАВОД

Глава из повести «Старая Юзовка»

Юзу было около пятидесяти лет, когда он прибыл в Донецкий бассейн.

Крепкий, с круглым лицом, заросшим короткой бородкой, Юз сильно наседал на свои ноги, вогнутые внутрь, как ноги бульдога.

С молитвенником, псалтырем и книгами Старого и Нового завета в чемодане, как английский миссионер, высадился Юз в Таганрогском порту.

Нарушали цельность впечатления ружье в клеенчатом футляре и пистолеты. Вместе с багажом для Юза выгрузили целую свору собак: бульдогов, пойнтеров, овчарок и пуделей.

«Охотник?»

«Патер?»

Юз сразу обратил на себя внимание русских углепромышленников и прослыл оригиналом.

Оригинальничанье Юзу нужно было, чтобы скрыть от окружающих некоторые технические вопросы и секретные мероприятия финансового порядка. В кассе Новороссийского общества, кроме устава, подписанного сиятельными лицами, не было ничего, так как из суммы 34500 рублей, собранной акционерами, значительная часть ушла на гербовую и актовую бумаги, на нотариальные расходы, на печатание устава, на публикацию, налоги и прочие «организационные расходы».

Пустой кошелек диктовал Юзу бережливость и скрытность. Лишнее знакомство связано было с расходами, чужой глаз может узнать о его планах, секретах.

Были у него и соперники. Была уже выдана концессия Самуилу Полякову, а концессия казацкому генералу Пастухову оформлялась.

Юз нанял у помещика Смолянинова одинокую сторожку, заброшенную в степи, покрытую камышом, и поселился в ней со своими собаками, инструментом для разведки недр, кухонной посудой.

Неудачи первых строителей Юз основательно изучил, рассмотрел проекты разных предпринимателей, добивавшихся концессий, проверил исследования различных экспедиций, работавших в Донецком бассейне.

Между молитвенниками смиренно лежали карты Новороссийского края, справочники, прейскуранты и книга Ле-Пле «Путешествие по Южной России».

Неудачи казенных строителей показывали Юзу, что ни на грушевском антраците, ни на лисичанском угле плавки наладить ему не удастся.

Район, избранный строителем Петровского завода, был самым удачным.

Земли Никитовского района, богатые углем, были давно известны. В этом районе пользовался известностью открытый графом Воронцовым Екатерининский рудник, вблизи которого 500 десятин земли было отдано Полякову под концессию на постройку металлургического завода.

В безводной степи вода имеет большое значение. Для завода она приобретает значение исключительное. Котлы, агрегаты и рабочие колонии нуждаются в постоянном запасе хорошей воды. Грязная щелочная вода выводит из строя котлы раньше срока и является источником различных эпидемий.

Заботы о воде, которые привели неудачного строителя первого русского металлургического завода в Донецком бассейне мистера Гаскойна к берегам Лугани, привели мистера Юза к берегам Кальмиуса.

В районе Смоляниновского хутора на казацкой стороне реки Кальмиуса жил хуторянин, бывший пастух помещицы Чеботаревой, Яков Иванович Древицкий.

Зоркий и неутомимый, как степной волк, Яков Иванович обшарил балки и курганы на сотни верст кругом, обрыскал лесочки и рощи, каменистые кряжи, торчащие из земли, глинистые овраги и черные, как сажа, сланцы — выходы угольных пластов.

На сотни верст в окружности Древицкий знал открытые шахтенки, крепость пород в них, мощность пластов, глубину залегания и угол падения.

Неграмотный Древицкий был своеобразным маркшейдером.

Юз сразу оценил Древицкого и вовлек его в круг своих

интересов. Древицкий вместе с бульдогами сопровождал Юза в его экскурсиях, доставлял ему образцы угля, камня, глин. Юз старательно записывал все сведения, добытые ему Древицким, в книги, наносил на карты.

Это Древицкий привел Юза к Кальмиусу, к котловине, оказавшейся громаднейшим резервуаром с широким плоским дном для весенней воды.

Близость каракубских железных руд, мощные угольные пласты, смежность огнеупорной глины, известняка, доломита определили место для завода. Для доменной плавки Юз решил пользоваться рудами Стылы, Ново-Троицка, Александровской, Благодатной и Николаевки. Но Юз не спешил.

Машины, котлы придут из Англии, а мелких инструментов — лопат, ломов, кайл, гвоздей, тисков, клещей и много других — нужно было немало.

Доставлять из Англии было далеко. Каждый гвоздь, каждую мелочь надо было везти на волах из Таганрога или Мариуполя, куда приходили английские суда. Юз открыл кузнечную мастерскую. Кузнецов на месте не было.

Удаленная от больших трактов и населенных пунктов беспредельная степь не имела притока рабочей силы. Приход работника был редким явлением. «Освобождение крестьян от земли», как тогда прозвали царскую реформу «освобождения» крестьян, создавало большие резервы рабочей силы для промышленности, но эти силы надо было привезти, чем-то прельстить и закрепить. Юз применил хитрость и коварство там, где дело шло о деньгах и расходах. Рабочий вопрос остро стоял во всей угольной промышленности, с развитием строительства металлургического завода он должен был стать еще острее.

Директор-распорядитель Новороссийского общества, механик кузнечного производства по специальности, сбросив крахмальную рубашку и повесив на гвоздь свою бархатную куртку, в одной из петель которой болталась золотая цепочка с компасом, взялся за молот.

Двух помощников Юз нашел и выковал в кузнице тачку. Перед самой хижинкой Юз сфотографировал ее и двух рабочих, помогавших ему ковать. Эффект получился необычайный.

Степь, одинокая пастушеская сторожка, покрытая камышом, низенькая псарня на пути к ней. Двое бородатых,

высоких крестьян вышли в степь и, задумавшись, остановились возле тачки: «Запрягаться или сбежать?»

Фотография должна была всех удивить своей оригинальностью и чудачеством.

- Чудак барин!
- Не барин, а кузнец!
- Барин. Цепочку золотую видел?
- А молотом как ворочает! Барин так не повернет.
- Барин!
- Кузнец! Англичанин!
- Кузнец-барин, кузнец-англичанин...

Юз прослыл кузнецом, английским кузнецом, который приходит на работу в бархатной куртке с золотой цепочкой в петлице, обучает крестьянских парней кузнечному делу, да еще и фотографирует их.

Фотография пошла гулять по степи, по шахтам и усадьбам, создала легенду о Юзе-кузнице, создала рекламу.

Юзу реклама была крайне необходима...

Не идут мужики в шахту: страшно работать в «чертовом пузе». Темно, сыро. Для того чтобы найти свой забой или «печку», нужно было с собой брать пачку лучин. Беда с ней, с лучиной. Только и знай что зажигай. Уж лучше б глиняный черепок с тряпочкой — каганец, но каганец в шахте только чадит и копотью душит, угольная пыль, смешанная с газом, вспыхивая, трещит вокруг огня, будто стреляет.

Не идут крестьяне в шахту, бабы чураются, когда шахтер возвращается с работы на черта похож!

Спускается шахтер в бадье, катится вниз, как ведро на коловорот. Оборвется, ведро и то обрывается.

Юз десять рублей подарил мужику. Не за работу, а только за то, что спустился в шахту.

Десять рублей! Спустись в шахту и поднимайся — получай десять рублей.

За фотографией пошла гулять десятка, единственная десятка, пущенная Юзом для рекламы, для приманки, покати-лась степью и, как полая вода, поплыла оврагами, ущельями, блеснула красноватым отблеском возле самой хижины бобы-ля.

Красненькая!

А вслед за ней молва:

— Чего там страшного?

— После воскресенья сходить разве? Да и ходу всего — верст сорок!

После воскресенья много народу толпится вокруг шахты. Кто спускается ради любопытства, а кто и поработать день-другой.

Крестьянин Науменко на арендованной у княгини Ливен земле посеял пшеницу. Посреди нивы Юз обнаружил выход угольного пласта. Пшеница еще только колоситься стала, а Юз повел разведки, начал раскопки и потоптал часть посева. Дешева была пшеница на берегах Кальмиуса, но Науменко запротестовал:

— Потрава!

— Правильно. За потраву получай пятьдесят рублей.

— Пятьдесят рублей!

— Пятьдесят рублей! Пять-де-сят!..

Можно было сторговаться рубля за два. Пять десятин посева мог бы купить Юз за эти деньги.

Пятьдесят рублей легендой покатались степью по крестьянским избушкам, по усадьбам, с восторгом и завистью повторяли уста крестьян:

— Вот где деньги!

— Загребают люди!

За десятки верст приезжали мужики смотреть на кузницу. Нанимались на работу к Юзу вначале на сезон, а потом на более длительный срок.

Трудности, переживаемые угольной промышленностью, были велики и разнообразны: трудности сбыта переплетались с трудностями транспортировки, техническая отсталость влекла за собой трудности с рабочей силой. Юз все это знал хорошо. Немало надежды углепромышленники возлагали на металлургическую промышленность. Выдача двух концессий на постройку металлургических заводов в одно почти время вызвала увеличение цен на угольные участки.

Опытные дельцы не очень-то надеялись на концессию Полякова. Они были уверены, что Полякову концессия на постройку металлургического завода в Донбассе навязана казной, и Поляков наконец изыщет способ, чтобы избавиться от нее, но в концессию Юза верили.

Всякий ажиотаж, вызванный строительством завода, был невыгоден Юзу. Постройкой кузницы он хотел отвлечь внимание соседей-шахтовладельцев от строительства завода.

Постройка кузницы должна была охладить пыл тех землевладельцев, которые захотели набивать цену на землю.

Юз, дескать, только лопаты кует, копать будет когда-то, а дураки уже сейчас разбогатеть захотели.

Летом 1869 года Юз, казалось, был занят производством всевозможных инструментов в кузнице, но на самом деле он закреплял за собою угольные и железорудные участки. Работа в кузнице вносила в его переговоры с крестьянами характер непринужденности. Спешить некуда.

За рубль-два крестьяне Стылы, Каракубы, Еленовки отдавали в аренду Юзу свои десятины. Юз арендовал и земли крестьян, и их инвентарь. Он давал крестьянам преимущество при перевозках и доставке ископаемого на место строительства, и этого было достаточно, чтобы крестьяне уступали. «Копейка» — редкий гость была в степи, за нею крестьяне ездили десятки верст в город. За копейку они возили продукты в город; пуд мяса стоил рубль, и барашек — рубль. Юз показал в степи копейку, и имя его прогремело.

С княгиней Ливен он заключил договор на эксплуатацию рудных богатств в ее имении, раскинувшемся во все стороны на десятки верст. Собственница громадных поместий поддавалась хитрости иностранца-англичанина, которому покровительствовали великий князь, придворные сановники. Княгиня почти даром отказалась от недр в пользу Юза. Правда, Юз обещал арендную плату, но ее нигде точно не оговорил, ничем не гарантировал. О гарантии, как обязательстве со стороны арендатора добывать ежегодно определенное количество минералов, нигде не упомянул. Юз мог добывать и платить, мог и не добывать и не платить, в то же время лишал права владелицу сдавать кому-либо другому в аренду недра или самой их эксплуатировать.

Срок договора определил в девяносто лет. Кроме того, княгиня предоставила Юзу 150 десятин земли по его выбору под сооружение завода и для эксплуатации недр бесплатно на 30 лет. Этот подарок обесценил и те мелочные выгоды, которые Юз обещал княгине Ливен, ибо этих 50 десятин было вполне достаточно, чтобы обеспечить будущему заводу уголь. Договор с княгиней Ливен дал Юзу неисчерпаемые источники угля, огнеупорной глины и каменных карьеров даром. Новороссийское общество прибрало в свои цепкие руки громадные просторы подземных богатств в Донецком бассейне,

не истратив ни одного фунта, кроме оплаты гербового и актового сборов.

Одновременно с Юзовским в Сулине был заложен Пастуховский завод.

Юзу было очень важно, чтобы его опытом не воспользовался Пастухов. Юз оттягивал свое строительство и пускал в ход всякие уловки, чтобы замаскировать свою работу. Он заложил шахту и начал изыскания для железнодорожной линии от Еленовских карьеров к заводу.

Осенью прибыли машины из Англии, прибыли и мастера, и, когда степь покрылась глубоким снегом, Юз начал строить основной цех завода, начал строить домну. Кузницу развернули в механический цех, кирпичный завод работал полным ходом целое лето, холод пригнал рабочую силу на завод.

По мере того как вырастала домна, росло и беспокойство многочисленных друзей и недругов Юза.

— Даст чугуна или не даст? — гадали углепромышленники, надеявшиеся, что завод станет покупателем их угля.

— Даст или не даст чугуна? — гадали соседи-помещики, которым успехи Юза сулили повышение цен на землю, рынок сбыта для сельскохозяйственных продуктов и оживление края.

— Даст чугуна или не даст? — гадали дипломаты и военные стратеги, и не только русские, но и иностранные. Metallургический завод в Донецком бассейне, вблизи моря, должен совершенно изменить русскую военную стратегию и вместе с нею и русскую политику. До сих пор пушки и чугунные ядра везли с Урала, за тысячи верст, а теперь пушки и ядра будут лить ближе и дешевле. Русское государство должно значительно окрепнуть.

— Не даст! — ехидно улыбаясь, шепотом говорили чиновники из горного департамента, которые наблюдали за деятельностью Юза, но видели только его собачники, кузницу и чудачества. Успех Юза был бы для них провалом, ибо навсегда оставлена была бы мысль о казенном строительстве. Судьба ее будет такая же, как и многих наших домен. Разве что-нибудь изменилось? Уголь, руда...

— Должна дать! — кашлянул, как разозленный бульдог, крепкий коротконогий Юз. — Тридцать пять тысяч фунтов, подаренных мне джентльменами из Лондона, должность несменяемого директора — не возвращать же обратно!

Юз оглянул степь, ставшую его собственностью, низенькие

сооружения, амфитеатром расположившиеся вокруг печи, рыжей, голой, похожей на открытый чан, рабочий муравейник, отдающий все свои силы шахтам и мастерским, и повторил: «Должна дать!»

Двадцать четвертого апреля 1871 года печь была задута, и через три дня после небольшой плавки осела. Сквозь фурмы было видно, как начал синеть настил. Футеровка не выдержала сильного дутья, огнеупорный кирпич стал плавиться, стгорели фурмы, и пошла вода в печь. Внутри печи образовалась громада, росла, ширилась и приняла форму рогатого чудовища.

— Козел! — прокатилось вокруг.

— Козел! — эхом отозвалось в Петербурге.

— Козел! — захихикали чиновники из департамента горных дел. У них воскресли надежды на казенное строительство и наживу.

— Козел! — чокаясь бокалами с шампанским, радостно восклицали уральские горнопромышленники. — За юзовского «козла»!

Местная руда оказалась бедной железом, местный кирпич слаб, дутье недостаточно, один уголь — жирный, коксующийся — соответствовал предъявленным к нему требованиям.

Криворожская руда в районе реки Саксагани в Дубовой балке была открыта Александром Николаевичем Подем в 1866 году и не была секретом для Юза. Поль направлял в департамент горных дел точные анализы найденных руд, отличавшихся большим процентом железа, искал капиталов и предпринимателей в России и за границей, но не находил — и разорился. Поль обследовал рудоносные земли не только в своей усадьбе, в Дубовой балке, размером в три тысячи десятин, но и соседние, помещичьи. Руда, оказавшаяся высококачественной, не нашла предпринимателей.

Земля была ценна только своей черноземной поверхностью; каменистые обрывы, меловые хребты, каолин и кварцит вызывали только сожаление у своих владельцев. Никому они не были нужны.

Юз снова оседлал Древицкого.

Потянулись длинные обозы от берегов Саксагани к брегам Кальмиуса. Юзовские обозы вывозили железную руду на глазах местных крестьян, и никого это не интересовало. Крестьяне сказали спасибо за то, что предприниматели про-

кладывают путь к их хуторкам, и новые люди появляются, новое слово услышишь.

Далеко от Кальмиуса до Саксагани, но до английского марганца еще дальше. А пришлось везти: Юз привез марганец из Англии. Нажать надо на возчиков, а еще сильнее на русскую казну, она должна заплатить за все неудачи. Не возвращать же обратно полученные акции. К караубской руде немного прибавить криворожской, и шихта готова.

Хотя и очень дешевый был воловий транспорт, но доставка руды должна была превысить всякие коммерческие расчеты.

Неужели Юз пойдет на такое дело? Неужели Юз рискнет?

Но Юз рискнул. Он рискнул идти на те расходы, на какие не решались идти казенные чиновники. Оплатить все расходы должен рабочий и крестьянин. Усилить надо нажим!

Не возвращать же аванса.

Надо выкручиваться. Что не подходит казенному строителю, то, может, подойдет частному. Юз решил в соответствии с этими новыми обстоятельствами составить расходную смету строительства завода и выжать ее всеми средствами.

Разбор печи для снятия «козла» тянулся долго. Спекшаяся комом, расплавленная и не совсем сваренная масса весом в сотни пудов застыла на дне домны, как мерзлая вода в чане, давила на стороны и формой напоминала усеченный конус.

Бегал кривоногий Джон Джонович Юз вокруг домны, взобрался наверх и полез в середину — кое-где кокс и известняки, обожженные огнем, застыли хрупкой коркой и напоминали гриву погрузившегося в середину чугуна черта-козла.

Из Англии приехал главный директор барон Вайзман, из Петербурга — генерал-майор Герн.

— Перенести! — шутливо сказал генерал Герн, заметив трудности в удалении «козла», которого можно было удалить, только разбивая его на части или взрывая порохом, но порох стоил дорого.

— Печь? — спросил покрасневший Юз. Шутка казалась неуместной при таком большом несчастье, угрожавшем всему Новороссийскому обществу разорением.

Генерал Герн, очевидно, не разделял отчаяния мистера Юза и разъяснил: «Козел» остался бы на месте, как опрокинутый пудинг».

— Генерал храбрый, — едко бросил барон Вайзман. — Русский воин все переносит, англичанин — нет.

В продолжение многих недель выбивали футеровку домны, ломали края «козла» и, когда он стал похож на гриб, разобрали дно и спустили в вырытую под ним яму.

Похоронив «козла», Юз взялся за перестройку домны, или, вернее, за постройку новой.

В те самые дни, когда меркла звезда Юза и «козел» угрожал ему разорением и позором, начала восходить звезда Пастухова, который задул свою домну, построенную русскими мастерами и без помощи иностранных капиталов. Самые лучшие друзья и доброжелатели Юза были уверены, что «проблему чугуна» в Донецком бассейне разрешит казацкий генерал Пастухов. Технические преимущества были на стороне Пастухова, который спроектировал плавку чугуна на антраците. Метод этот был проверен русскими металлургами на Керченском заводе, который хорошо варил чугун, но был разрушен во время осады Севастополя. На антраците варили чугун и американцы, а грушевский антрацит высокой калорийностью превосходил известные антрациты мира.

— Отобьет славу от директора Новороссийского общества, — шепотом говорили покровители Юза в Петербурге и Лондоне.

— Славу и привилегии! — добавляли конкуренты Юза.

Однако после нескольких превосходных плавков и Пастухова постигла неудача. Именно высокая калорийность антрацита и была причиной неудачи казацкого генерала. Высокая температура, которую развивал антрацит, расплавила летку, и домну пришлось выдуть.

Юз и его покровители вздохнули свободно. Не один Юз неудачник!

Правда, все видели, что неудача Пастухова менее значительна, чем неудача Юза. Переделать летку куда легче, чем переделать всю футеровку домны. Больше всех это видел и сознавал сам Юз. Пастухов мог бы быстрее Юза восстановить свою домну, но у Пастухова не хватало уже капитала для того, чтобы перестроиться и перейти на соответствующий уголь, не было у него и влиятельных покровителей, как у Юза. Министерские чиновники интересовались лишь результатами плавки, а они были плачевные у Пастухова.

Юз острее всех переживал опасность, которая грозила ему и Новороссийскому обществу со стороны предприимчивого казацкого генерала. Будь у Пастухова хоть часть капиталов,

которые русское правительство предоставило Новороссийскому обществу, разве имя Пастухова не значилось бы первым в ряду русских заводчиков, добившихся замечательных результатов в доменном строительстве?

Пока Пастухов обивал пороги банков и денежных тузов, пока казна раскошелилась и разрешила выдать ему по дешевой цене в виде помощи несколько сот тысяч пудов чугуна и лома из николаевского адмиралтейства, Юз успел построить новую домну, Пастухов же перестроил свой завод в переделочный.

Двадцать четвертого января 1872 года домну задули вторично. Она, как и предыдущая, отличалась технической отсталостью. Она стояла обнаженная, без брони, кое-как закованная в обручи, с открытым верхом-колошником для завалки шихты. Конуса не было. На мостике сверху приделали своеобразный коловорот, как над колодцем, удерживавший цепью крышку, закрывавшую домну, как вьюшка трубу в русской печи.

Дым и газы выходили в воздух через свечки, покрывали окрестность гарью и копотью. Вытесненные шихтой и дутьем огненные потоки окутывали рабочих, которые при авариях или малейшей неосторожности вспыхивали факелами. Осенью или зимой, когда беспрерывно дует морозный ветер, он, наверное, еще злее, чем внизу. Лицо, обращенное к печи, горит, а спина стынет. Капли пота замерзают, колют, как иголки. Без одежды работать невозможно, иначе волдырями покроется тело, особенно у новичков.

Смена работает за сменой, как будто все хорошо. Вагончик за вагончиком переворачивается, шихта падает в ненасытную пасть, превращается в огненную жидкость и растекается струями — чугун внизу, сверху шлак. Вдруг крышка от напора газов изнутри поднимается, вспыхивает огонь, усиленный снизу дутьем, охватывает одежду, жирную, будто промасленную нефтью, и насыщенную газом. Охватывает одного рабочего или сразу нескольких. Люди загораются, как факелы. Жертва бросается по узенькой лестнице вниз к воде, бежит и еще больше усиливает горение; пока добежит к воде, падает мертвой.

Жертву уберут, и на ее место станет новая. Все строительство Юза отличалось примитивностью: единственный принцип его — дешевизна. Строить дешево, тратить денег помень-

ше, побольше наживать на рабочем — было его главной заботой. Шахту он заложил вблизи завода, саженях в ста, чтобы можно было доставлять уголь вручную. Для выжига кокса он соорудил обыкновенные кирпичные стены в виде узкого коридора с завалкою сверху. Коридор был разделен внутри деревянными балками, уголь зажигали через оконце, через которое подавали воду. Кокс получался очень низкого качества, и выходило его мало. Гасить кокс приходилось тут же, возле самой печи, пожарным насосом, ведрами, а потом его выгребали из ямы печи, которую после значительного ремонта снова пускали в дело. Работа по выгребке коксовых печей была так же тяжела и вредна для здоровья рабочего, как и работа верхового на домне. Чтобы беспламенный коксовый огонь не сжег рабочего, другой рабочий лил на него воду, которая мгновенно превращалась в едкий пар, выедала глаза, легкие. На выгребке кокса работало обычно человек восемь и зарабатывали двенадцать рублей с печи. Выгребка кокса с печи длилась два дня.

Коксовые печи были построены тут же, возле домны; чтобы удешевить доставку, тачкой подвозили кокс к домне; вагонеткой прямо из шахты доставляли уголь; руду и известняки, привезенные на волах, выгружали рядом. Возле печи толкались волы, лошади, крестьяне-возчики, шахтеры и рабочие-доменщики. Крики и ругань возле печи создавали впечатление дикой ярмарки.

Для доставки угля из шахты к домне Юз устроил наклонный настил.

Нагруженная вагонетка прямо с эстакады катилась вниз к домне. Неопытному рабочему эта работа казалась легкой. Вагонетка сама катится вниз, рабочему тут и делать нечего. Присмотреть разве, чтобы она не опрокинулась. Но работа эта была адская. Подгоняемая собственной тяжестью, вагонетка развивала все большую и большую скорость на уклоне. Рабочему надо было зорко следить, чтобы вагонетка не опрокинулась, так как это грозило штрафом и увольнением. Рабочий становился впереди вагонетки; подгоняемая силой инерции, вагонетка била рабочего по спине, как будто подталкивая его, чтобы прибавил шаг.

Проработав так час-другой, рабочий изнемогал, спина покрывалась кровоподтеками и зачастую превращалась в рану. Малейшая оплошность грозила увечьем. Рабочий менял позу,

спускал вагонетку «на носках». И подставлял грудь. Борется с вагонеткой крестьянский парень, здоровый детина, час, другой, — всю тяжесть приходится выдерживать ногами, которые начинают млеть, словно по коленям били палкой, — и изнемогает. К вечеру самый выносливый человек выбивался из сил и терял способность сопротивляться. Наезды на товарища, опрокидывание вагонеток становились обычным явлением. Крики, брань и стоны покрывала наступающая ночь и прекращала новая смена.

Но эта варварская механизация ускоряла и удешевляла доставку угля, и Юз использовал ее как крупное изобретение.

Не менее тяжелой и изнуряющей «юзовской механизацией» были пудлинговые печи. На этих печах железо добывали простой ковкой. Несмотря на то, что мартеновские печи были известны, Юз, верный своему принципу — дешевизне, работал на пудлинговых.

В пудлинговой печи чугунную болванку разогревали до полужидкого состояния. Длинной кочергой рабочий переворачивал болванку множество раз, отчего болванка все более уплотнялась и превращалась в круглый комок, после чего ее ковали молотом. Чугунный хлам, старое железо связывали вместе и сваривали, затем рубили на полосы, снова связывали и варили в печи, ковали, а потом обжимали. После каждого нагрева иковки чугуна терял свою хрупкость, становился ковким железом.

Всю работу производили вручную. Поднимали горячую болванку пудов до сорока весом также вручную. Человек десять вынимали ее из печи длинными ухватами, тянули долго, награждая работу проклятьями и руганью. Работа требовала громадной физической силы, и Юз в этот цех отбирал особо здоровых и крепких людей.

Вынутую из печи тяжелую болванку рабочий «брал на себя» — то есть на плоскую двуколку, похожую на лестничку, и передвигал к обжимному стану. Одетому нельзя было работать возле пудлинговых печей, так как одежда быстро сгорала и, несмотря на ее дешевизну, не окупалась заработком.

Работа требовала особого проворства, быстрых движений, наименьшая задержка угрожала увечьем самому себе и товарищу, стоявшему рядом. Одежда мешала. Приходилось работать полураздетому, искры сыпались на голое тело, били, как пули. Кожа покрывалась волдырями, ранами.

Работа на пудлинговых печах была исключительно тяжела, но она не требовала никакой подготовки. Нужна была физическая сила, выносливость. Этого именно и требовал Юз от своих рабочих.

«Юзовская механизация» отличалась примитивностью, была рассчитана на дешевую рабочую силу, на дешевый уголь и руду. Пудлинговые печи пожирали много угля и кокса, но угля у Юза было так много, что беспокоиться о нем было нечего. Юз вел свое хозяйство в высшей степени хищнически. Самое главное было выгнать барыши. Во имя этих барышей Юз по-хищнически уничтожал уголь, во имя этих барышей он закрывал глаза на беспорядки, которые приводили рабочих к увечью и смерти.

Горный надзор был таков, что говорить о нем серьезно не приходилось.

Начальники горных разработок и окружные инженеры, как Фелькнер, Кеппен, Летуновский, а за ними бесчисленное множество чиновников и ученых специалистов горного департамента, как только приезжали в Донецкий бассейн, сразу прирастали к недрам; старались всеми мерами закрепить за собою угольные участки. Общность интересов окружных инженеров и промышленников диктовала общность мероприятий. Окружные инженеры были самыми жалостливыми плакальщиками о судьбе «бедных углепромышленников».

Технический успех увенчал Юза ореолом славы, вокруг его имени создавались легенды. Никого не касалась то, какой ценой и какими мерами достиг он этого успеха.

О своих рабочих Юз не считал для себя обязанностью заботиться больше, чем заботился о них сам Бог: верный своему принципу все иметь под рукой, он и кладбища строил недалеко от домны, в центре своих предприятий.

Первой жертвой Юза был безымянный, беспаспортный парень, которого привлекло тепло. Почерневший на поверхности шлак казался ему застывшей глыбой. Он неловко толкнул ковш — шлак брызнул на него огненной массой.

— Помяни, Господи, безымянного раба твоего! — пропел поп, приглашенный на похороны первой жертвы, и прибавил: — Воля Божия.

— Воля Божия! — согласился Юз.

Задумая 24 января 1872 года домна разрешила проблему чугуна в Донецком бассейне окончательно.

Нам эти главы интересны и своими историческими фактами, поскольку речь в них идет о зарождении промышленности в Донбассе, и тем, что это один из лучших образчиков новой литературы из затеянной Горьким истории фабрик и заводов. Ибо корнями своими она все-таки уходит в классическую русскую документалистику XIX века.

Григорий Баглюк

ИЛЬКО

Рассказ

Пять пальцев секретарских в голову полезли. Когда затруднительный случай, секретарь голове руками помогал, и она от такой помощи кудлатилась, как ветром растрепанная копна. Вопрос такой, что добрых трех минут не стоит, а вот уперлось в него бюро, как слепой щенок в угол. И выхода не найдет.

Дело в том, что на ближайший праздник воскресник назначили, спортплощадку оборудовать, а тут архиерея черт несет. И что ему, архиерею, нужно?

— Ну, ребята, на каком вы мнении остановились?

Секретарь еще раз провел от лба до затылка пятерней, восстановил на роже самое вопросительное выражение и глянул на свой актив. А актив: Афонька Олейник (он сейчас с настойчивостью охотника большим пальцем руки гонялся за мухой в окне, с предательской мыслью раздавить ее, как буржуазию), Илько, и точка.

Наконец Афонька Олейник муху догнал, раздавил ее до основания, вытер палец о полотняные штаны и сказал:

— Мое мнение остается при старом постановлении.

— При старом!.. А циркуляр читали? За самими настоящими подписями сказано, чтобы религиозных чувств верующих не задевать.

Илько вмешался:

— Мы их не будем задевать, они себе, а мы себе. Может, ихний архиерей все лето будет тут, так нам и спортплощадки

сделать нельзя. Не сделаем воскресника, весь авторитет перед молодежью потеряем. Скажут: «Архиерея побоялись».

И постановили: воскресник делать, секретарю в лесничестве столбов достать, а так как лошадей все равно никто не даст, площадку ярочком своею силой обвести. А Афоньке, как не имеющему ни отца, ни лошадей, плут притянуть.

Церковь к воскресенью разубрали. С самой среды возились бабы. Кругом ограды песком посыпали. Сторож церковный дорожку от церковных ворот до поповых сделал: посередине песок, а по бокам глина рудая, издали на ковер похожа. Окна ветками убрали, где были трещины — замазали и забелили. Казалось, что старуху, которую в гроб завтра класть, под молодицу приодели и морщины белилами замазали.

Служба в церкви тянулась долго. Сам архиерей служил, а после проповедь читал. Дребезжащие слова бросались в прихожан; еле долетали до дверей, и дальше им и не выйти.

Когда Семен, отец Ильков, из церкви вышел, в глазах архиерей мерещился, а в ушах слова архиерея:

— Две пути теперь у народа: правая и неправая. И пути эти накрест лежат. И крест этот Господь на народ возложил. Чада мои! Идите по пути правой.

Знает Семен, что за путь — правая. Это, значит, та, что по закону Божескому жить. Ну, Семен по неправой не пойдет. Вот Илько только, собачий сын, срамит перед народом. Что ему, Ильку, сделать, и сам не знает.

Семен за ограду вышел очень растроганный. Только за ограду... и глаза чуть на лоб не полезли. Прямо против церкви человек двадцать ребят возьтятся. Люди молятся, а они — кто ямки роет, кто столбы пилит, а человек шесть плуг на себе ташат. Не видали бы Семеновы очи.

Архиерей в это время вышел и тоже остановился. Поп и староста церковный под руку его поддерживают. Поп к Семену:

— Твой-то, кажется, тоже там?

Глянул Семен — и впрямь Илько. Загорелось у Семена в груди.

— Вот они пути неправые, — тихим шепотом преподобный. Угожливо изогнулся староста Павло Бурый.

— Он у него, ваше преподобие, комсомолист... На стариков, значит, наплевать и на законы Божие, прости Господи! Ты бы, его, Семен Панкратыч, поучил маленько.

Нечего говорить Семену.

Разве пойти на месте убить?

А глаза преподобные углями жгут. Кровь Семенову разжигают. Горит кровь, как солома в ветряную ночь.

Илька отец с зарею разбудил.

— Вставай, господин комсомолец. Волон запрягай. В сенокосное орать поедем.

— Сами поедем или спрятаться будем?

— Спрятаться, с Павлом Бурым.

Не нравится Ильку такой спрягач. Староста он церковный, и мужик преехиднейший.

Только выехали за ворота, Павло на своих серых погнал. Отец к Павлу на воз пересел. Долго о чем-то говорили. Видит Илько, отец сердится, а знает, если сердится — зверем делается... Приехали. Илько волов выпряг. Павло Бурый подошел, бороду поглаживает.

— Для чего это вы, комсомольское благородие, вчера столбы ставили, али вешать кого будете?

Илько молчит. Догадался, неспроста задирает. Павло к Ильку нагнулся:

— А знаешь, скоро всех вас в Архангельскую губернию погонят. Верные люди говорили.

Не стерпел Илько.

— Верные люди в Черном море рыб кормят, а ежели и остался кто, мы на столбах, что вчера делали, повешаем, — и плюнул.

— Это на нас, на стариков, плюете-то? Ваша власть, говоришь? Нет, голубчик, власть над вами еще наша, все можем, что схочем. Эх, не твой отец я. Я б тебя...

— А что отец? — и не договорил: кнут в Илькову спину врезался.

Стоит отец, глаза будто у кота, и борода трясется. Значит — на высшей точке.

— Ну, говори, что отец? — И еще раз кнутом.

Молчит Илько, и зубы сцепил. Отец упрям, а он еще упрямее.

— Что же ты молчишь? — и матерным словом.

— Они теперь молчать и должны, на манер быков, видал, пахали вчера против церкви-то.

Ильков голос слезами зазвенел:

— И будем пахать... А ваше дело людей в церкви грабить.

— А, собачий сын! Пахать?.. Запрягайся в ярмо.

Илько пнем в землю врос.

— Запрягайся! — И через лоб кнутовищем.

Илько в лес глянул. Дернуть бы сейчас, да рука отцовская тяжела, не вырваться. А отец совсем рассвирепел... Прикрутил к ярму вожжами, с другой стороны быка запрягли.

Павло наперед зашел.

— Что, значит, повешаете всех стариков-то? Цобе, серый.

У Илька в глазах птицы красные, полный рот слюны набрал и прямо Павлу в бороду. А дальше — не чувствовал. Тяжелый кулак отцов на голову обрушился... Зазвенело в ушах... Лес из зеленого красным сделался... Повис Илько на ярме. По первое число исполосовал Илька расходившийся отец.

В больницу к Ильку все бюро в гости привалило. Афонька на окне сел, секретарь на кровати, возле ног. А Мишка торопливо рассказывал:

— Клуб ты теперь не узнаешь, сцену настоящую сделали...

Шахта каждое воскресенье инструктора по спорту присылает... Во, а отца твоего под суд отдадим.

Сдвинулись Ильковы брови.

— Не надо.

— Ну а как же?

— Домой я теперь не пойду. А отца не троньте... Пусть его. А я... Я на шахту пойду.

Пять пальцев секретарских в голову полезли.

— Ладно, на бюро обсудим.



ТАК БУДЕ

Оповідання

Йому не треба було доповідати, хто він, де саме працює, або ж нагадувати, чого прийшов. Бригадира прохідників Романа Гайчука тут добре знали. Поява його в конторі шахти саме в цей час була без слів зрозуміла. На привітання і запитання «чи не даремно?..» касир мовчки, привітно посміхнувшись, кивнув головою, видобув із стосика паперів платіжну відомість і поклав її на столику перед шахтарем.

— Ось тут, Романе Івановичу, глядіть не залізьте пером на чужу дільницю, — жартував касир, ставлячи олівцем позначку навпроти прізвища. — А бригада ваша останнім часом нівроку солідно, солідно...

Гайчук глянув на цифри, під якими мав розписатися, і застиг від здивування. «Напевне трапилась помилка», — блискавично майнула думка. В одну мить пробіг очима всю відомість: навпроти прізвищ і решти одинадцяти членів бригади красувались такі ж самі чотиризначні числа. Це було порівняно вдвічі, а може, навіть трохи більше, ніж заробіток минулого місяця. Ніби не вірячи самому собі, він ще раз глянув на відомість — помітив: навпроти двох прізвищ, а саме — прохідників Климахіна і Загоруйка — вже поставлено позначки і розписи, товариші одержали повністю.

«Тут щось таке важливе не враховано або ж помилково нам начислено. І все це, напевно, пов'язується з новою машиною. Так, з новою...» — думав збентежений бригадир. А вписані у відомість цифри приковували погляд, приємно хвилювали. І в той же час в душу Гайчука закрадався якийсь мультяшкий неспокій, поволі наростав протест і потреба обов'язково вирішити, як бути...

Ще якихось півгодини тому, йдучи сюди, до контори, він заклопотано розмірковував над тим, як його найкраще було спланувати свої господарські справи. Та як не мудрував, виходило, куди не кинь, хоч там уріж, а тут доточи, а щоб якось звести кінці з кінцями, доведеться значну суму грошей у когось позичити, або ж продавати щось із хатніх речей. Так чи інакше, а роздобувати грошей треба негайно. І доки на-

дворі стоїть погожа днина, закінчувати розпочате будівництво дому. Та й біля такого дому поки що пуста. Два роки як почав ставити хату, а от ніяк не доведе її до пуття. А все через те, що неvistачало коштів. І ось, як знахідка: ніби той, хто визначав за останній місяць заробіток, завбачливо врахував оту його скруту.

«А чи заслужено визначено?..» — напрям думок змінився і обірвався. До слуху Романа Івановича долинуло знайоме шелестіння новеньких, цупких, уперше вживаних грошей. В руках касира, коли він відраховував їх, вони шурхотіли і виляскували, ніби крила раптово злітаючих голубів. Гайчук мимоволі скосив у той бік очі: на столику лежали недбало кинуті, перевиті смугастими, блідо-рожевими стрічками три пачки по десять карбованців, дві пачки по двадцять п'ять карбованців, а з рук із свистом і хрускотом злітали п'ятірки, а потім карбованці.

— Та розписуйтеся уже! — з докором зауважив касир, кладучи біля відомості гроші.

— Треба було б перевірити, чому саме така сума, — переконуючи самого себе, сказав Гайдук і обережно поклав на столик ручку. Вона перекотилась, перо торкнулося відомості, і тонкі прозорі розводи, ніби синяве полум'я, охопили краєчок паперу.

— Що перевірити? — запитав із стриманим роздратуванням касир.

— Нарахування оплати, — Гайдук піймав здивований погляд і криву іронічну посмішку свого співрозмовника, бачив, як той нетерпляче змахнув жмутом паперів і відійшов геть.

Біля Гайчука опинився завідувач розрахунковим відділом Бакалов. Він уважно вислухав заяву про те, що нарахування оплати треба було б звірити з визначеною бригаді місячною нормою та простежити, як виконувалися прохідниками щоденні виробничі завдання.

— Перевіримо, — сказав коротко Бакалов і в ту ж хвилину заходився звіряти рапорти і довідки, на підставі яких складалась платіжна відомість.

— Все законно і точно, товаришу Гайчук, — мовив дещо підкреслено офіційно завідувач. — Прошу, одержуйте належне, — додав уже м'якше і, посміхаючись, чемно вклонився. Це, напевне, означало підтвердження сказаного ним і те, що розмову на цю тему закінчено.

Але бригадир не відходив.

— Від товаришів, які вже одержували по цій відомості, здається, ніяких претензій не було? — звернувся навмисне з таким запитанням Бакалов до касира, передаючи йому папери.

— Ніяких розмов, ніяких претензій. Тихо, мирно, — відповів касир.

— Зрозуміло, — вже адресував до Гайчука завідувач, — бригаді, яка змагається, щоб зватися бригадою комуністичної праці, хотілося б мати ще кращі виробничі показники. Зрозуміло, але, на мій погляд, і те, чого ви вже досягли, досить високе.

— Зрозуміло, що ви нічого не розумієте, — заявив з серцем Гайчук. — Я весь час тлумачу вам про те, що в мене закрався, сказати б, сумнів, чи не завищено цей раз нашій бригаді заробіток. Егеж, такий сумнів...

Бакалов здвигнув плечима, випнув шию, здавалось, став аж навшпиньки і застиг в німому здивуванні:

— Переверіено точно, відомість стверджено... — чулося сказане кимсь із співробітників розрахункового відділу.

Гайчук якусь хвилину постояв, ніби все ще чекав продовження розмови, потім круто повернувся і рушив до виходу.

— Дивак, — вчулося зневажливе, глузливе. І в ту ж мить воно потонуло в людському гомоні. Біля каси товпилося десятків зо два шахтарів. Видавали зарплату. Хто сказав те образливе слово, було невідомо, та це й не цікавило Романа Гайчука. Він навіть готовий був погодитися з таким визначенням, почував себе вкрай збентеженим, закрадалася думка, чи варто було здійсмати зараз, у шахтній конторі, отаку рахубу. Бо ж якихось вагомих аргументів на підтвердження своїх сумнівів-здогадок немає. А в думці був певний: став на вірну дорогу. І ті, хто зараз не розуміє його, врешті решт повинні будуть зрозуміти. От тільки треба знайти спосіб розв'язати отой, кимсь зав'язаний вузлик з нарахуванням оплати прохідникам. А вузлик, мабуть, саме там, у штрєці, зав'язано.

В коридорі контори Роман Іванович зустрів бурильника своєї бригади Михайла Чепурного. Був дуже радий цій зустрічі. Михайло міг стати у пригоді і, принаймні, є з ким перекинутись словом, порадитись.

— Дають срібними і золотими? — запитав весело Чепур-

ний, показуючи рукою на двері, що вели до розрахункового відділу.

— Дзвінкими, — знайшов, що відповіді Гайчук, — тільки зараз не одержиш, немає дрібних, міняють, — пожартував Роман Іванович. — Платіжну відомість нашої бригади я опротестував, — поспішив уже серйозно повідомити. — Забракував. Треба дещо з'ясувати, уточнити. — Мав би сказати, що саме «уточнити», але вирішив, що говорити зараз, коли і йому самому не все ясно, мабуть, буде передчасним. Краще вже тоді, коли він свої міркування викладе перед своїм колективом.

З цієї хвилини Роман Гайчук почав активно діяти. Наказав Чепурному скликати прохідників до нарядної в дуже важливій справі, сам вернувся до розрахункового відділу, попросив, щоб нікому з членів його бригади поки що заробітку не видавали. Таку вимогу було розцінено, як безпідставну, навіть безглузду. Але Гайчук настояв на своєму. Платіжну відомість було вилучено.

В обідню пору в нарядній майже нікого не буває. Тихо, пусто. Отож Гайчукові ніхто не заважав займатися своєю справою. Опинившись у кімнаті, де щодня перед спуском в шахту збираються прохідники, Роман Іванович видобув із шафи записи нарядів, копії рапортів і почав простежувати роботу бригади за останні два місяці. Аналіз був простий, але загайний. Він співставляв виробничі завдання та виконання їх на вибір за окремі дні. Але виявилось, що це не дає певної і ясної картини. Тоді Гайчук заходився порівнювати ті ж виробничі дані за тим же способом, але з перших чисел місяця. Великої розбіжності не виявилось. Одного дня просування було на метр-два більше, другого — менше, а загалом працювали ритмічно, завдання проходження штреку перевиконувалось, правда, лише на кілька процентів, але перевиконувалось.

Та ось раптовий, майже катастрофічний спад. Кілька днів підряд виконання сягало ледве що за половину заданої норми, потім почало вирівнюватись, кращати. А ще за кілька днів пішли велетенські стрибки вгору. Так, восьмого числа бригада завдання перевиконала майже в півтора раза. А другого дня дала сто п'ятдесят процентів. Згодом цифра сягала до двохсот. Були дні, коли переступали навіть цей рубіж.

Гортаючи папери, Гайчук згадав усі подробиці роботи тих днів. Щоденно в рапорти вписувалися пройдені метри. Але то були, так би мовити, попередні неофіційні визначення. Всі чекали, що скаже остаточний маркшейдерський замір у штретці під кінець місяця.

І такий момент настав. Відвантажувались останні розкришені брили породи. Гуркітливий кам'яний потік обірвався, затих скрегіт заліза, осідав, клубочачись, густий сивуватий пил. Маркшейдери почали визначати обсяг проробленого.

Прохідники збилися до гурту. Всі з захопленням чекали, що скажуть замірники. І ось у проході востаннє ліг залізний метр біля стояка, поставленого впритул під глухою стіною штреку.

— Підземні ходи в Донбасі збільшилися ще на дев'яносто шість метрів, — сказав з нарочито офіційною підкресленістю маркшейдер. — А на нашій «Північній» це вперше такі темпи проходження штреку. Поздоровляю, товариші, з рекордом!

— Тепер він у нас буде гостювати щодня.

— І щодня наростатиме.

— Тільки наростати! — весело, в тон сказаному маркшейдером, відповіли прохідники. В їх словах була горда радість і впевненість у своїх силах. Як не як, а понатужилися, зуміли!

— Ось хто допоміг нам підскочити так високо, — сказав тоді ж після заміру штреку Михайло Чепурний, змітаючи сивувату пилюгу з породонавантажувальної машини «ППМ-4».

— Та й попередниця її нас виручала.

— Тепер попередниця та піде у відставку.

— Відпрацювала.

— Можна використати, якщо не тут, то десь на іншій проходці, — розмірковували шахтарі.

— Звичайно, можна. Машина справна, тільки потужність тієї набагато менша, — погоджувався Чепурний, показуючи на другу породонавантажувальну машину, що стояла в глибині штреку без діла.

— Ну от, мої припущення й підтвердились, — подумав Роман Іванович. — Це вона, ота породонавантажувальна, нам навантажила грошенят, та ще й чималенький капшук навантажила...

Гайчук посміхнувся своєму дотепові. Згадалось, коли го-

ловний інженер шахти запропонував їхній бригаді взяти занедбану на першій дільниці «ППМ-4» і працювати з нею, дехто з товаришів говорив: «Візьмемо, помучимось з нею, як наші сусіди, та й кинемо. Знизимо темпи в роботі — порожня буде кишеня». Побоювання такі були не безпідставні. Прорідницька бригада на першій дільниці майже два місяці «освоювала» ту нову машину і тільки даремно згаяла час. Бо внаслідок — ні роботи, ні заробітку. Бригаді Гайчука спочатку теж ніяк не вдавалося налагодити нормальну роботу. Машина вередувала, не слухалась: то ківш, що підбирає породу, застряне в ній і не може підняти, то він раптом злітає занадто швидко і розсипає дрібну жорстку. Довелося трохи помудрувати, дещо краще пристосувати в механізмах — і пішло на лад.

Але поринати в спогади ніколи — треба було подумати над тим, як повести справу, коли сюди незабаром збереться бригада. Гайчук уявив собі, що товариші вже в кімнаті. Розсідуються за столом, на ослонах. Декотрі з нетерплячки зразу ж, як тільки переступлять поріг, запитують, що сталося, чого так негайно довелося збиратись. Так, можливо й справді воно вийшло трохи аврально. Але ж справа не звичайна, навіть сказати б — виняткова, — виправдовувався сам перед собою Гайчук. Такі питання можна вирішувати тільки гуртом і в добрій згоді.

Так, справу треба вирішити гуртом... З цього він, певно, й почне, а потім доповість, що він був у шахтній конторі, слово в слово передасть свою розмову з касиром і завідувачем розрахунковим відділом і назве цифри, визначені в платіжній відомості.

На його слова «завишена», «треба уточнити» та «перерахувати» — зметнуться здивовані, допитливі погляди. А потім, напевне, — наперебій один одному:

- Але ж нараховано за встановленою нормою.
- Так, за нормами оплати проходження підземних виробок.
- Ми не зловживали, не завищували.
- Ні, не зловживали.
- Нам просто пофортунило.
- Справа не в фортуні, а в наполегливій роботі.
- Ніхто інший, а ми освоїли машину!

— А могли б погоріти...
— Як наші сусіди на першій.
— Керівництво шахти, мабуть, вважає законною таку оплату.

— Безперечно...

— Можливо, що й так, — підсумує Гайчук, — хай навіть так, але ж наша совість... Мабуть, не треба нам підшукувати оті «фортуни» чи «поталанило» і таке інше. Справа в тому, що ми зуміли налагодити роботу машини та й самі кращі дисциплінувались, і підвищилась продуктивність праці. Треба гадати, що ота «ППМ-4» надалі збільшить нам прохідницьку норму. А зараз, якщо бути справедливими, товариші, то треба провести перерахування оплати і одержати тільки те, чого справді варта наша робота.

В кімнаті стане тихо. Напружено. Кожен з присутніх зважуватиме сказане:

— Якщо треба, то що ж...

— Так, не інакше. Ми не рвачі! — почувлося ствердне.

Це хто сказав? Мовби Віктор Підгайний або ж Михайло Чепурний. Та хіба не все одно хто, аби тільки так було сказано... А може, розмова піде трохи інакше, не так просто й гладенько. Може.

— А коли б ми не здіймали отаке питання... — ніби між іншим, знехотя зауважить Іван Загоруйко.

— Так, так, можна було б і не вихоплюватись, не поспішати, — підтримує свого друга Семен Климахін.

«А в платіжній відомості розписались першими», — подумав Гайчук.

— Одержуй, чого насправді вартий твій труд.

— Це так, якщо чесно, по совісті.

— По-комуністичному...

Схвильований, нетерплячий, Гайчук заходив по кімнаті, виглянув у вікно. Дорогою, що вела з висілка до шахтного двору, йшли гуртом, не поспішаючи, члени його бригади.

«Хай навіть трохи не так, як я уявив собі, хай іншими словами, — вертілося у Гайчука на думці, — але щоб сказано ними було саме в такому напрямі, щоб суть була такою. Егеж, головне суть. І він певний — буде. Так буде...»

Гайчук згорнув папери і рішуче вийшов до коридора нарядної назустріч товаришам.

ПОДВИГ МАКАРА МАЗАЯ

Глава из повести «Поколение Макара Мазая»

Позже Макар с улыбкой вспоминал свои опасения и ту боязнь, которую испытывал некоторое время, когда нарушил «традицию», не выждав принятого подготовительного «стажа» в десять-пятнадцать лет.

Даже лучший мастер завода Иван Антонович Шашкин как-то в беседе с друзьями сказал, не скрывая удивления:

— Я называл его сначала просто Макашкой... Потом — Макарушкой... А теперь вон как величаю: коллега, товарищ Мазай!..

Бригада Шашкина по-прежнему считалась образцовой. Подручные в совершенстве знали свое дело. Только движение, только жест сталевара — и люди угадывали любой приказ, работали слаженно и легко. Они давали наиболее высокие съемы стали.

Может быть, сделают рельсы, и будут долгие годы проноситься по этим рельсам поезда. Может, на прокатном стане, на огромном «Маннесмане» превратится она в трубы, и уйдут эти трубы глубоко в землю, к нефтеносным пластам. А может и так случиться: выкуют из нее плуги, могучие плуги на силу тракторов, и скажет друг Василий в далекой станице:

— Добрая сталь, товарищи!.. Не наш ли Макар ее варил?

Сильное, гордое чувство, испытанное им в тот день, навсегда оставило свой отблеск в Макаре.

Однако работа бригады ладилась лишь первые дни. Теперь Мазай почувствовал, что казавшийся размеренным и плавным производственный процесс как будто лихорадит временами. Нехватало кранов, завалочная машина не успевала загружать все печи, отдельных рабочих переводили из бригады в бригаду. Случалось, плавки оставались в печах свыше двенадцати часов, это в корне подрывало выполнение плана. Сустились и нервничали даже старые мастера. Появлялось множество непредвиденной, лишней работы. И хотя Макар переживал эту производственную «лихорадку», как самое близкое, личное дело, в его бригаде также не обошлось без промахов.

Случилось, что плавка просидела в печи около 16 часов. Затем на четыре часа затянулась завалка шихты... Молодой начальник смены Моисеев, человек горячо, страстно преданный делу, всегда относившийся к Макару дружески, сказал, не скрывая обиды:

— Жаль... Мне очень жаль, Макар... Однако тебя придется снять с работы.

Мазай хорошо знал молодого начальника смены и, думая о его житейском пути, подчас не только удивлялся энергии, настойчивости Моисеева, но и завидовал ему.

Сын старого кадровика, Моисеев уже в 17 лет работал горновым на домне, потом был переведен на мартен, где проявил и знания, и способности и, главное, неутомимую энергию организатора. Пост начальника смены — высокий и ответственный пост. Если его доверили молодому мастеру, значит, это доверие он действительно заслужил. Поглощенный делами цеха, как будто окончательно забыв свою квартиру и переселившись на завод, Моисеев, оказывается, успевал еще и учиться. Он был студентом металлургического института. Макар узнал, что учился Моисеев на отлично. Можно было позавидовать этому человеку.

Но именно этот человек, у которого многому хотел бы поучиться Макар, дружбой с которым гордился, — повторил в присутствии всей бригады, в присутствии старых мастеров:

— Снять с работы...

Все-таки оказывалось, что старики правы. Слишком понадеялся молодой сталевар на свои силы. А тут еще произошел совсем анекдотический случай. Макару передали заказ на плавку, и начальник сказал:

— Прочтите всей бригаде вслух...

Мазай хотел было подождать, пока уйдет беспокойный этот начальник, но тот не уходил, сам приготовился слушать. Долго рассматривал Макар и разглаживал на ладони четвертушку бумаги, поворачивал ее так и этак, а когда начал читать, сбился на первом слове, покраснел, рукой махнул:

— Да к чему этот экзамен устраивать? Сами знаем, какую сталь варить...

Здесь были люди и из других бригад. Кто-то из них спросил:

— Как же ты, «профессор», других учишь, если сам смотришь на заказ и не разбираешься.

Макар молчал, он ждал, что скажет Моисеев, его упрека он особенно боялся. Моисеев, однако, ничего не сказал. Он только взглянул на Мазая несколько удивленно и тут же отвлекся каким-то делом.

По окончании смены они снова встретились у заводских ворот. Макару подумалось: Моисеев здесь не случайно. Неужели он ждал его, только что грозил увольнением, а теперь ждал?

Начальник смены заговорил первый:

— Ты извини меня, Макар, я, кажется, погорячился...

Но я и самого себя подчас готов обругать, что не везде поспеваю. Стыдно и больно становится: мы, ведущий цех завода, срываем план... Кто виноват? Мастер, начальник смены? Проще простого, конечно, одного, другого виновника отыскать. А виноваты я и ты... Цех — это наше хозяйство, и, значит, плохие мы с тобой хозяева.

Макар не чувствовал за собой вины:

— Сегодня скрапа не было, — сказал он. — Может, и в этом я виноват?

Моисеев удивился:

— А кто же? Или ты ждешь, пока тебе «создадут условия»? Нет, братец, их нужно организовать, эти условия.

— Сколько дней понадобится, пока мне самому позволят варить сталь?

— Быстро шагаешь, паренек, — сказал Махортов. — Раньше, бывало, за двадцать, за тридцать годиков человек добирался до этого поста. Тебе сейчас сколько — двадцать? Ну вот, присмотришься к сталеварам, моложе сорока лет не встретишь.

И удивили, и опечалили Макара эти слова. В далекой станице все представлялось ему значительно проще. За сроки, которые назвал Махортов, пожалуй, четыре раза можно выучиться на инженера. Однако, люди, варившие сталь, насколько заметил это Мазай, не отличались особой грамотностью. Среди стариков находились даже такие, что никогда не заглядывали в технические справочники и как будто гордились этим. Они называли себя «потомственными». А «потомственные» некогда отцы учили определять качество металла по цвету, по дымке, «по плевку»...

Даже прославленный мастер Шашкин, талантливый организатор и лучший сталевар завода, обычно больше надеялся на свое профессиональное чутье, очень редко обращаясь к специальным книгам.

У Макара неспроста создавалось впечатление, будто искусство сталевара — это особый, счастливый дар. Мастер цеха Иван Семенович Боровлев скоро, впрочем, рассеял новые сомнения Мазая.

— Многие наши «потомственные», — сказал он, — работают по старинке. То, что передано им отцами по наследству, — практика, — дело, конечно, важное и ценное. Однако первые сталевары были неграмотными людьми поневоле, не ради особого шика или хвастовства. Просто не было школ, и не было средств учиться. Они завещали нам свой опыт, за это наследство — честь им и хвала. Но разве они завещали и неграмотность? Нет, такое «наследство» нам не нужно.

Макар не изменил своему решению: он остался на заводе прочно, навсегда. Трудны были первая неделя, первый месяц. Постепенно совершенно исчезла боязнь огня. Стал с начала и до конца понятным производственный процесс, и четко обозначилось его особое место в этом процессе, — во многом оно определялось чувством времени, напряжением всех сил в решающие минуты.

Выплавка стали на заводе значительно возматала, но старых с многолетним опытом сталеваров теперь оказывалось недостаточно. Многие задавали вопрос: неужели нужен десяти-пятнадцатилетний срок, чтобы рядовой рабочий выучился на сталевара? Не слишком ли много значения придавали старые мастера давным-давно установившемуся порядку? С директором завода, с главным инженером первыми заговорили об этом комсомольцы. Они предложили создать на одной из печей комсомольский коллектив. Макар смутился, когда при обсуждении кандидатуры сталевара кто-то назвал его имя.

Только недавно исполнилось два года его работы у мартенов, и вдруг он — сталевар! Старики, пожалуй, вдоволь посмеются. Что же остается? Отказаться? Это еще хуже: скажут — трусил. Но ведь в течение этих лет Макар непрерывно и настойчиво изучал производственный процесс. Он был уверен, что справится с делом, и одного лишь побаивался — не ответственности за печь, а насмешки стариков. Еще в первые дни их знакомства Махортов говорил, что профессия сталевара требует, кроме всего, смелости. У Макара хватает смелости принять на себя ответственность за печь. Прав был синеглазый секретарь: хочешь добиться — добейся.

В сентябре 1932 года он впервые становится на вахту у мартеновской печи, как самостоятельный сталевар. Первая плавка... Осуществилась мечта Макара. Выдана сталь отличного качества. Дружно и слаженно работает молодая бригада. Молча поглядывают старики.

Дома почти всю ночь не может уснуть Макар... Так ли он действовал? Правильно ли распоряжался? Начальник смены сказал: «Браво, ребята, молодцы!» Не часто можно было услышать от него похвальное слово. Значит, молодая бригада себя оправдала. Завтра они дадут такую же плавку. Главное, не допускать ни малейшей оплошности, действовать уверенно, точно, быстро, с учетом каждой минуты, как действует бригада Шашкина, лучшего сталевара.

Первое, решающее испытание, — и такая удача. Кажется, теперь бы уснуть спокойным и радостным сном, но сама эта радость и не дает покоя. Давно ли это было, — скитался он в Ростове, в Нахичевани, по приазовским станциям, на пристанях Таганрога? Когда у него спрашивали: «Чем занимаешься?» — он не знал, что ответить. А теперь как он ответит? Он скажет:

— Делаю сталь...

Интересно, как будет использована первая его плавка?

— А скажи-ка, Василий, какая есть работа, чтоб самая важная была, самая нужная и большая?

Секретарь ответил, что много таких работ и каждая нужна, если приносит она хотя бы малую пользу.

— Нет, ты меня не понял, — сказал Макар. — Можно, конечно, веники плести, только уж это для стариков, тут силы и сметки немного нужно. А вот, если чувствуешь ты силу, как будто горы можешь сдвинуть, — выходит, что веник тебя не устраивает. Я, понимаешь, все время жалею об одном: мало учился. А ведь, может, инженером стал бы, новые дороги строил бы, мосты... Что ж, теперь уже поздновато, все-таки двадцать лет. Неудобно недоучкой с малышами на одной парте сидеть... И как ты ни смейся, а времени жаль. Я о такой работе мечтаю, чтоб пользы не меньше, чем инженерная давала.

Секретарь улыбнулся:

— Ну, и что же? Такую работу ты подыскал?

— Да, — сказал Макар уверенно. — Есть такая работа. Вот

только сегодня мы говорили: стали, железа не хватает в нашем селе. Да в одном ли нашем? Тянет меня на завод, Василий, издали я его видел — огнедышащая машина дымится, гул, звон. Там делают сталь. Великое дело! Недаром и слова такие гордые: мастер стали...

Быть может, рассуждения Макара показались наивными секретарю. Он заметил с улыбкой:

— Слово гордое, нет спору. Однако на мастера учатся не год и не два. Вот, скажем, придешь ты сегодня на завод и что скажешь? «Хочу быть сталеваром?»

— А что же здесь смешного? — удивился Макар. Так и скажу: хочу быть сталеваром. Пусть, кому не нравится, посмеются. Вспомни, ты сам говорил: хочешь быть инженером, профессором, капитаном — будь им.

— Значит, это решено? — спросил Василий.

— Решено, — сказал Макар.

Василий протянул ему руку:

— Ты парень упорный. Захочешь — добьешься... Желаю счастья, Макар.

Сборы в дорогу были недолги: котомку с запасом сухарей за плечи, и в путь. Он покидал станицу не один, с четырьмя товарищами, тоже увлеченными мечтой, которой не раз делился с ними Мазай.

Несколькими годами позже, вспоминая в книге «Записки сталевара» свои первые впечатления о заводе, Макар Мазай писал:

«С первого дня работы в мартеновском цехе во мне боролись два чувства — страх и любопытство. Мне было жутковато, когда по цеху проезжал ковш, наполненный жидкой сталью, но я, как очарованный, смотрел, как выпускали сталь, как ее разливали в изложницы. Бывало, засмотришься на это феерическое зрелище и забудешь, что ты в цехе...»

Макар Мазай был романтичным, мечтательным человеком. Однако эта мечтательность не была отвлеченной или беспредметной. Он увидел не только феерическое зрелище плавки, но понял, какой сложной, требующей большого навыка и познаний, является профессия сталевара.

Уже на следующий день четыре его товарища не вышли в смену. Казалось, их просто напугал огнедышащий цех. Сталевары шутили:

— Ну что, станичники обожглись. Этот завтра тоже завяжет котомку...

— Нет, — сказал Макар. — Я не уйду.

Он твердо решил остаться на заводе, не сразу же привыкли эти люди, работавшие у мартенов, к ослепительным, знойным печам. Наверно, сначала им тоже было не так-то все здесь просто и легко. Нужно сосредоточить волю, привыкнуть, осмотреться, крепко поучиться у мастеров.

Сталевар Махортов, спокойный, рассудительный, приветливый человек, в первую смену молча присматривавшийся к Макару, встретил его, как старого друга.

— Ты, парень, оправдал мою надежду. Тут между нами спор завязался: останется «станичник» или уйдет? Вчера я к тебе присмотрелся: вижу — робеешь, а жадность к делу, любопытство имеется. Нет, говорю, этот с характером, освоится, осмелеет. Пока по-моему выходит, а дальше увидим.

Они пошли вдоль цеха, и Махортов подробно рассказал Макару о сложных процессах, происходящих в печи, о правилах технической безопасности, разъяснил обязанности подручного.

В тот день они подружились. Махортову понравился деревенский парень с открытым характером, прямоотой, жадным интересом к работе цеха. Понравилась даже его наивность. Макар спросил: со знанием значительности дела — волнующим, творческим началом в самом высоком смысле этого слова.

Завод стал школой, огромной школой жизни, воспитывающей творческих, высококультурных, целеустремленных тружеников-мастеров.

Имя Макара Мазая широко известно даже за пределами нашей страны. Рядовой рабочий, он вырос в смелого новатора, в блестящего организатора производства. Он дал такие съемки стали, каких не знал ни один зарубежный завод.

Мазай учился у старых мастеров, помнящих, когда воздвигались стены этих корпусов, когда закладывались здесь первые мартеновские печи. Однако позже он многому научил своих учителей. Его молодые ученики, сегодня — знатные сталевары, с успехом продолжают дело, начатое и утвержденное Мазаем. Они уже превысили казавшиеся предельными его показатели.

СЛОВО — ЗАКОН

Глава из романа «Черноокая, чернобровая»

В высоком безоблачном небе хрустально вызванивали жаворонки; время от времени со стороны далекой станции доносились то короткие, то протяжные свистки паровоза. Пролетая высоко над степью, они пропадали в ней, не откликнувшись эхом, как это бывает в лесу или в горах.

— Садись, подвезу, Лука, — предложил Лихолету Степан Гречаный, парень лет двадцати семи, в хромовых сапожках, в смушковой кубанке, лихо сбитой на молодецкий затылок.

Он многообещающе повел бровью в сторону синего «Москвича», стоявшего у забора, и добавил:

— Не пожалеешь, с ветерком прокачу.

Лихолет посмотрел на чистое голубое небо, залитое молодым весенним солнцем, широко провел взглядом вокруг и отрицательно мотнул головой.

— Поезжай один, Степан, а я пройдуся. Утро уж очень хорошее.

— Как знаешь, дело хозяйское, — сказал Гречаный и пошел своей бодрой походкой к машине.

Он вывел «Москвича» на широкую, укатанную дорогу, местами уже просохшую от ночной росы, и дал полный газ.

Было воскресенье. Дорога, по которой в обычные дни без усталости сновали грузовики и легковые, лежала притихшая, пустынная.

Лука некоторое время смотрел вслед «Москвичу», думал о Гречаном и досадовал: «Не иначе, как на станцию махнул. Зачем Степану делать это? Разве ему не хватает того, что он зарабатывает? Парень он неженатый, непьющий и одевается не так, чтоб уж очень заметно. Куда деваются такие деньги?..»

Лихолет неторопливым шагом прошелся по дороге, потом свернул на узкую, каменистую тропинку, круто сбегавшую вниз, в широкую отлогую балку. В самом конце ее, там, где начинался реденький, еще не одетый в зелень перелесок из дубняка и терновника, притаились деревянные стандартные домики, весело отсвечивая на солнце своими окнами.

Тропка почти наполовину укорачивала путь к домикам. Но зимой редко кто отваживался ходить по ней: спускаясь в балку, она начинала замысловато извиваться по обрывистым выступам серого камня степняка, всегда обледенелого и небезопасного для пешехода. Теперь же, пригретая весенним солнцем и местами поросшая еще малоприметной молодой травкой, тропа, казалось, сама заманивала, звала в неразбуженные, заповедные места.

Спускаясь вниз, Лихолет увидел на большом вздыбленном камне, обросшем густым изумрудным мхом и серым лишайником, уютную семейку подснежников. Он невольно приостановился, залюбовавшись ими. Затем осторожно вырвал с корнем один стебелек, очистил кожуру с лукови, откусил матово-белый, величиной с горошину клубень и начал его жевать. Сладковато-терпкий вкус и нежно-молочный материнский запах пробудившейся земли напомнили детство.

Каждый год, бывало, белобрысый Лукашка с вагагой дружок-погодков уходил в степь встречать весну. Иногда забредал так далеко, что только к вечеру поспевали домой. За рубашками, забранными в штанишки с самодельными поясами, у каждого было до отказа набито подснежников. От этого все как будто убавлялись в росте; уродливые, толстые животы смешили до слез.

Вернувшись домой, Лукашка высыпал примятые цветы где-нибудь в углу сеней и, притихший от сладкой истомы, весь пропахший свежей землей и весенними травами, входил в комнату. Мать встречала его ласковой улыбкой и, проговорила: «Вот и пришло веснушко в нашу хату», — снимала с него рубашку и вела за руку к деревянному корыту, наполненному теплой водой. Она терла ему руки пеньковой мочалкой, скребла намыленную голову огрубевшими пальцами с таким усердием, что Лукашке хотелось зареветь.

Потом он ел горячую картошку, щедро залитую холодной, из погребя, простоквашей. Не закончив вечера, внезапно засыпал, обронив на пол ложку, привалившись к стене...

Волна нежности залила сердце Луки. Чтобы подавить спазму, вдруг перехватившую горло, он быстро побежал вниз по тропе, ловко лавируя меж каменных выступов.

По дну балки, извиваясь, протекал небольшой, но бойкий, похожий на горный поток ручей. Ударяясь о камни, он сердито разбрасывал по сторонам сверкающие на солнце

брызги и, пробившись к низинке, широко и сияюще-самодовольно разливался по ней.

То была шахтная вода. Ее непрерывно выкачивали мощными насосами из недр земли. В тех местах, где ручей протекал спокойно, не встречая на своем пути препятствий, всюду у бережков образовались несмываемые ржавые наслоения.

Зимой здесь все до ничтожной былинки пушисто обросло серебристым инеем. Густой молочный пар до погожих весенних дней курился над ручьем, приманивая к себе воробьиные стаи. Они слетались сюда попить теплой водицы. Некоторые, увлекшись и забыв о зиме, принимались купаться и тут же обмерзали и уже не в силах были взлететь.

Лука по камням перебрался через ручей к проезжей дороге, направился к общежитию. На ходу сорвал веточку, в раздумье мял набухшие на ней почки, с трудом расклеивая пальцы.

Он не торопился: утро было прекрасное, и ему, как в чужой дом, не хотелось идти в общежитие.

Вот взять бы сейчас да махнуть напрямик через сквозной, словно решето, молодой лесок в степь, на шахту «бис» к Дуське Донцовой и, забыв про обиды, все начистоту высказать: «Опостылело бездомье. Принимай какой есть, будем жить вместе...»

Почти у самого общежития, за грубо сколоченным, врытым в землю столом, парни играли в домино, отчаянно стуча костяшками.

Эти трескучие и всегда неожиданные звуки надоели Лихолету за долгие зимние вечера в общежитии. Он уже подходил к двери, как вдруг кто-то окликнул его. Лука обернулся. К нему подошел Жора Небылица, коренастый, русокудрый с беспечным удалым взглядом парень. Лихолет жил с ним в одной комнате.

— К тебе гость пожаловал, Лукашка, — загадочно весело подмигнул он.

— Кто такой?

— А поди знай, — беспомощно развел руками Жора, вскидывая рассыпчатые волосы, — только, видать, парень — во! Такие фокусы на картишках мне продемонстрировал! Куда там!.. — с мальчишеской завистью заключил он.

Луку действительно ждал в комнате незнакомый человек. Гость как бы нехотя поднялся со стула и, растерянно улыба-

ясь, шагнул Лихолету навстречу, несмело протягивая короткую, широкую в кисти руку.

— Не узнаешь, Лихолет? Вижу, — цепко всматриваясь в его лицо, сказал он.

Лука, не выпуская его руки из своей, внимательно рассматривал гостя, чувствуя какую-то странную неловкость и неудобство.

Это был приземистый, широкий в плечах, лет двадцати шести парень с потемневшим от загара, скуластым, почти квадратным лицом. Косая прядь ниспадала почти до самых бровей, прикрывая собой добрую половину немного впалого лба. Поверх тельняшки — уже не новая матросская шинель без погон и без металлических пуговиц, на одних крючках; на ногах — криво стоптанные кирзовые сапоги, забрызганные присохшей дорожной грязью.

— Извини, браток, но не могу припомнить, — откровенно признался Лихолет.

— А вот я тебя помню. Прочитал про вашу проходческую бригаду в газете и сразу же решил к тебе махнуть, — пояснил гость. И неожиданно спросил: — Ивана Жила знаешь?

Лука ничего ему не ответил, усадил на стул и сам сел против него на кровати.

Какой же это Иван Жила? Не тот ли, случаем, которого он знал еще по флоту? Но того судили за какое-то преступление, кажется, за кражу. Лука, насколько ему помнится, никогда не заводил с ним дружбы. Так что тому Жиле не было причины приезжать к Лихолету.

И все-таки, приглядевшись пристальнее, Лука убедился, что перед ним сидел тот самый Иван Жила, с которым он когда-то служил на эсминце «Внимательный». Ему вспомнился всегда веселый, бойкий на язык матрос Жила. Вспомнился его молодецкий разухабистый пляс в кругу моряков. Однако как все же мало в этом Иване Жиле от того, который летал, бывало, по палубе, точно птица. И прическа, помнится, была не такая — наверх, под бескозырку, а эта закрыла почти весь лоб. Она-то, пожалуй, и сбила с толку Лихолета.

— Волей-неволей пришлось приспособить маскировочку, — словно разгадав мысли Луки, пояснил гость и откинул плоскую прядь, показывая широкий, косиной через весь лоб синеватый шрам. — Недаром сказано: лес рубят — щепки летят. Так вот и со мной произошло: валили таежник,

отлетел сук и срезал наповал, точно осколком. — Он бережно прикрыл шрам прядью и мрачно пошутил: — Это еще мое счастье, что глаза не лишился, а то б куда кривому податься: девка не полюбит, вдова не приголубит ...

— А за что в тайгу попал? — поинтересовался Лихолет.

Жила недоверчиво поднял брови:

— А то и взаправду не знаешь? — пронизательно, в ожидании посмотрел он на него.

Лука промолчал. Конечно же, он не знал или просто забыл. Молчал некоторое время и гость, недовольно хмурясь, как будто припоминая что-то. Коротко вздохнув, он принялся рассказывать по-порядку все, как было:

— Приварили мне три года, скажу тебе по душам, вгорячах, потому как вина моя того не стоила. Но я ни на кого не в обиде, учти. Раз проштрафился, будь добр, получай свое. А провинность моя какая? — он иронически, чуть заметно улыбнулся. — Присвоил несчастную пару казенных одеял и еще кое-что из белишка, а когда стали на ремонт в Севастополе, загнал все это оптом одному спекулянту. Сбыл, значит, и своей дивчине именной медальончик купил. А она возьми да и проболтайся кому не положено. Дура! — зло сплюнул Жила и, немного помедлив, продолжал: — Ну и влип, как и водится в таких случаях. А теперь вот отбыл свое и решил к правильному труду приспособливаться.

Он тряхнул головой, словно желая избавиться от каких-то навязчивых мыслей. Затем спросил:

— Может, ты сомневаешься, Лука?.. Может, грешным делом, думаешь, я беспаспортный? Бродяга какой-нибудь?..

Не дожидаясь ответа, он вытащил из нагрудного кармана выдавший виды клеенчатый бумажник, бережно извлек из него новенький паспорт, протянул Луке.

— Что умеешь делать? — спросил Лихолет.

Точно такой же вопрос задали ему, когда он минувшей осенью приехал сюда, на строительство новой шахты. Не найдясь сразу, что ответить, и чувствуя себя немного неловко (у него не было специальности), Лука сказал тогда: «Посылайте куда хотите, жалеть не придется». И от Ивана Жилы он ждал такого же ответа, но услышал другое, совсем для него неожиданное, и обрадовался за парня. Оказалось, еще до призыва во флот он года два проработал плотником в Сева-

стопольском порту. Кроме того, был немного знаком со штукатурным делом.

— Да тебя, браток, здесь с фанфарами встретят! — ободряюще воскликнул Лихолет. — Плотники нам позарез нужны.

Но гость, видимо, не обрадовался этой радужной перспективе.

— В шахту хочу, Лука, — вздохнув, сказал он после некоторого раздумья. — Знаю, только там я человеком стану, за этим и приехал.

Он вдруг всем корпусом подался к Лихолету, доверчиво положил свои литые руки ему на колени и, горячо блеснув глазами, сказал:

— Помогите в вашу бригаду пристроиться... Проходчиком. Не пожалейте, Лука. Это тебе Иван Жила говорит, а у него слово — закон.

Лихолет незаметно отвел в сторону глаза, напряженно думая, что бы ему ответить. Рекомендовать его в бригаду он пока что не решался. Кто знает, что у него за душой, и надежный ли он вообще человек.

— Поработай попервах плотником, а там видно будет, — посоветовал ему Лука.

Жила промолчал, потупившись в какой-то неприступной отчужденности. Затем поднялся, пригладил косую прядь и сказал безнадежным голосом:

— Да, выходит, просчитался я. Не надо было тебе про свое ремесло объявлять. — И отправил бумажник обратно в карман.

— Это почему же? — с удивлением посмотрел на него Лихолет.

— И про тайгу зря разболтался. Тут моя промашка... — пропуская мимо ушей вопрос Луки, задумчиво проговорил он. Затем вдруг, приободрившись, тряхнул головой так, что плоская прядка взлетела птичьим крылом, и протянул Лихолету руку со слипшимися от напряжения пальцами.

— Ну, не поминай лихом... Лихолет, — с едва приметной усмешкой сказал он и прибавил: — Возможно, когда-нибудь еще встретимся. Всяко бывает, приятель!..

Он медленно натянул кепку и, вобрав голову в плечи, решительным шагом направился к выходу.

Лука почему-то решил, что, выходя из комнаты, Жила изо всех сил хлопнет дверью. Но дверь закрылась мирно, почти

бесшумно, и Лихолет долго еще слышал удаляющиеся гулкие шаги в коридоре...

Судьба бывшего матроса Ивана Жилы складывалась не так, как ему хотелось, но он на нее и такую не был в обиде.

Ехал он в Донбасс с добрым намерением: наконец-то настоящему, с головой окунуться в жизнь, которую он все время обходил стороной. Он никого не собирался чем-то особенным удивить. Ему просто хотелось много, во всю свою еще не растрченную силу работать, только чтоб труд его непременно был замечен и чтоб о нем, о Жиле, со временем заговорили. Этих своих условий он, разумеется, ни перед кем не собирался выставлять, но для него они были как бы путеводной звездой.

Жизнь Вани с самого детства пошла неровно. Потеряв в войну отца, а вслед за ним — мать, он долго бродяжничал, пока не попал в исправительную колонию для подростков. Там его обучили плотницкому делу. Но вскоре для него снова раскрылись двери в необыкновенный, заманчивый мир скитаний и дерзких приключений. Сбежав из колонии, он исколесил почти всю страну: побывал на многих крупных новостройках, но нигде подолгу не задерживался. Именно в это время Ваня сделал для себя неожиданное и радостное открытие, что он путешественник по натуре, поверил в это и еще с большей энергией закружил по стране.

Когда Ваня впервые увидел море, он назвал себя просто олухом: ему вдруг стало ясно, что годы, проведенные им в поездах, на больших и малых реках, где строились гидростанции, возводились мосты, — все они, казалось, потрачены им понапрасну. Только море, решил он, могло открыть ему дорогу в большую, увлекательную жизнь.

В то время Ване едва исполнилось шестнадцать лет, но за плечами у него был уже немалый житейский опыт. Он нередко помогал ему безошибочно решать многое в жизни.

Так он решил во что бы то ни стало пойти в морской флот. Вначале Ваня пытался попасть на какой-либо торговый корабль юнгой, но при всем его старании и находчивости это не удалось. Тогда он вознамерился тайком перебраться на первое попавшееся судно, отплывающее в дальний рейс, спрятаться в каком-нибудь укромном месте, и его, он почему-то был в этом уверен, непременно зачислят в команду.

И действительно, такой случай в скором времени предста-

вился. Когда из Одесского порта должен был отчалить в далекое плавание теплоход «Победа», Ваня, заранее узнав об этом, во время погрузки сумел незаметно проскользнуть в трюм и там спрятаться. Обнаружили его только на другой день, когда судно уже вышло в море.

Ваню привели к капитану, пожилому сухопарому человеку с большой глянцеватой лысиной. Разглядывая оборванного, выпачканного углем, но все же счастливо улыбающегося паренька, изумленный капитан спросил у матроса, который привел Ваню:

— Кто такой? Как он мог попасть на корабль?

Матрос вытянулся и собрался было объяснить, как все было, но Ваня опередил его:

— Я сам все расскажу, товарищ капитан. — Голос его прозвучал настойчиво и так, словно он и в самом деле собирался рассказать такое, что удивит не только капитана, но и его самого.

Капитан отпустил матроса и, указав Ване на стул, нетерпеливо сказал:

— Что ж, рассказывай, я готов тебя слушать.

Так, наверное, он говорил своим домашним, когда возвращался из далекого плавания и ему не терпелось узнать, как им жилось без него и что вообще у них нового.

И Ваня взволнованно, скороговоркой рассказал все.

Рассказывал и в то же время прислушивался к глухому, как бы с самого дна моря идущему гулу машин, и в нем все, до последней жилочки, пело, трепетало от счастья. Он был убежден, что из-за него одного не станут останавливать такую громадину, как «Победа», тем более никому не взбрдет в голову возвращаться из-за пустяка обратно в порт.

— Выходит, решил, несмотря ни на что, попасть в матросы? — выслушав Ваню, спросил капитан.

Ваня, смущенно потупившись, молчал.

— Что ж, мысль, прямо скажу, похвальная. В твои годы она и мне, окаянная, не давала покоя. Куда б ни пошел, за какое бы дело ни взялся, перед глазами все оно: море, море...

Капитан говорил, а Ваня все время в тревожном ожидании смотрел на него, пытался понять: говорит он серьезно или шутит?

Но когда в каюту вошел уже знакомый ему матрос и капитан приказал приодеть хлопца, Ване сразу же стало ясно,

что судьба его решена: с этого дня он уже не просто Ваня, а матрос Иван Жила.

А спустя какой-нибудь час, не больше, теплоход «Победа» причалил к Севастопольскому порту, где ему надо было взять дополнительный груз.

Капитан сошел с палубы на пристань вместе с Ваней.

Передавая ему небольшой запечатанный конверт, капитан просто, но твердо сказал:

— Отнесешь по адресу. Это мой приказ, и ты обязан его выполнить.

— А потом?.. — спросил озадаченный Жила.

— Выполняй! — не отвечая ему, все так же неуклонно повторил капитан.

Ваня разыскал на верфях седоусого прораба по фамилии Корабельник, вручил ему письмо. Прочитав, прораб самодовольно пригладил пышные усы, крикнул, словно выпив добрую чарку, и, молча обняв Ваню за плечи, повел в свою дощатую конторку.

Так Жила стал плотником на верфи. А когда подospel призыв в армию, его зачислили матросом. С той поры ему ни разу не довелось встретить ни капитана «Победы», ни седоусого прораба Корабельника, хотя в первые месяцы службы мечтал об этом, как о большом для себя празднике.

Но спустя некоторое время, когда Иван Жила поймался на воровстве, он вспомнил об этих людях, которые сделали ему добро, уже с боязливым чувством, словно они могли ненароком узнать или уже знают о его преступлении.

Жилу судили. Он обвинялся в краже личных вещей у своих товарищей. Все это ему понадобилось для приобретения подарка Клаве Корабельник — дочери прораба в день ее рождения. За время работы на пристани Жила встречался с Клавой всего лишь несколько раз, когда она, бывало, приносила отцу завтрак в алюминиевом ярко-начищенном трехэтажном судочке. Девушка всегда была в легком белом платье без рукавчиков, в белых коротеньких носках, едва прикрывающих щиколотки, и в белых тапочках. И, может быть, потому, что на ней так много было белого, Ваня не запомнил цвета ее глаз и вряд ли мог сказать, какого цвета у нее волосы: каштановые или русые?

Клава сама пригласила Жилу на свой день рождения,

случайно встретив его в приморском парке. И на этот раз она была также во всем белом, как невеста. Жила сказал ей тогда:

— Если не уйдем в плавание, обязательно приду, Клава.

— Конечно, вы никуда не уйдете, — полушутя, полусерьезно возразила она, — и папа будет вам рад. Так что — ждем.

И ушла, оставив в глазах молодого матроса слепящий свет нежной, душистой белизны.

Жила купил в ювелирном магазине золотой медальон-сердечко и в этом же магазине мастер выгравировал внутри на крышечке витиеватыми заглавными буквами: «Любовь — бессмертна»...

Когда его судили, вначале он как будто не совсем понимал значение происходящего и с виду был совершенно равнодушен: без особого любопытства оглядывал судейский стол, портреты на стенах комнаты, шторы и как бы между прочим отвечал на вопросы.

Уже перед самым приговором судья, высокий красивый brunet в форме морского капитана, вдруг спросил у него:

— Как вы думаете, что бы сказала ваша знакомая, если бы узнала за какие деньги приобрели вы ей этот подарок? — И подбросил медальон в руке. Жиле показалось, что то было его собственное сердце.

Он никогда над этим вопросом не задумывался и внутренне весь содрогнулся. Жила не ответил капитану, и только когда ему предоставили последнее слово, сказал:

— Вы меня куда-нибудь в Сибирь, в тайгу сошлите.

— А почему именно в Сибирь? — поинтересовался капитан.

— В тех краях я еще не бывал, — пряча глаза, пробормотал в ответ Жила.

Судья сдержанно улыбнулся.

Жилу устраивала не только Сибирь, любой отдаленный уголок страны. Он понял тяжесть своего преступления. Ему не хотелось даже случайно встретиться со знакомыми ему людьми.

Но вышло и в самом деле так, как этого хотел матрос. Ему пришлось отбывать свой срок наказания в таежных местах.

Прошло время, и оттуда Жила приехал в Донбасс.

ПИСЬМА К ТОВАРИЩУ

Родина

1

Товарищ!

Где ты дерешься сейчас?

Я искал тебя в боях под Вапняркой, под Уманью, под Кривым Рогом. Я знал, что найти тебя можно только в жарком бою.

Помнишь морозные финляндские ночи, дымящиеся развалины Кирка-Муолы, ледяную Вуокси-Вирта и черные камни на ней? Помнишь, обнявшись, чтобы согреться, мы лежали в землянке на острове Ваасик-Саари, говорили о войне и Родине? Над нами было маленькое небо из бревен в два наката. Чужой ветер дул в трубе. Чужой снег падал на крышу. Мы дрались тогда на чужой земле, но защищали безопасность нашей Родины. Каждый метр отвоеванного нами льда и снега становился родным: мы полили его своей кровью. Мы не отдали бы его ценою жизни — он принадлежал Родине.

Родина! Большое слово. В нем двадцать один миллион квадратных километров и двести миллионов земляков. Но для каждого человека Родина начинается в том селении и в той хате, где он родился. Для нас с тобой — за Днепром, на руднике, в Донбассе. Там наши хаты под седым очеретом — и твоя, и моя. Там про шумела наша веселая юность — и моя, и твоя. Там степь бескрайна, и небо сурово, и нет на земле парней лучше, чем донбасские парни, и заката красивей, чем закат над копром, и запаха роднее, чем горький, до сладости горький запах угля и дыма. Там мы родились под дымным небом, под глеевой горой; там до сих пор звенит серебряной листвою тополь, под которым ты целовал свою первую девушку; там мы плескались с тобой, товарищ, в мелком рудничном ставке, и никто меня не уверит, что в море купаться лучше. Но и спорить об этом не буду ни с одесситом, ни с севастопольцем. Каждому — свое.

Для нас с тобой, товарищ, Родина началась здесь. Здесь начало, а конца ей нет. Она безбрежна. Чем больше мы росли с тобой, тем шире раздвигались ее границы. Больше дорог — больше сердечных зарубок.

Помнишь городок на далекой границе — Ахалцых? Тут мы начали свою красноармейскую службу. Помнишь первую ночь? Мы стояли с тобой на крепостном валу и глядели вниз, на северо-зеленые камни зданий, на плоские крыши, на яблоневые сады, на весь этот непонятный и чужой нам мир, слушали непонятный, чужой говор, скрип арб, рев буйволов и говорили друг другу:

— Ну и забрались мы с тобой! Далеко!

Отчего же, когда через два года уходили мы отсюда «в долгосрочный», горько заныло сердце? Весь город шел провожать нас до Большого Прощального камня на шоссе у сахарной высотки, и полкового барабана не было слышно из-за гула напутственных криков.

— Швидобит! — кричали нам друзья-грузины, и мы уже знали: это значит — до свиданья.

— Будь счастлив в большой жизни, елдаш кзыл-аскер!¹ — кричали нам наши друзья-тюрки. Родные наши!

Так входили в наши сердца разноплеменные края нашей Родины: и апшеронские песчаные косы, и черные вышки Баку, куда ты ездил с бригадой шахтеров, и ржавая степь Магнитки, и снега Сибири. И хотя ты никогда не был на Северном полюсе, сердце твое было там. Потому что там, на льдине, плыли наши русские советские люди, плыла наша слава.

Вот и сейчас я сижу в приднепровском селе и пишу тебе эти строки. Бой идет в двух километрах отсюда. Бой за это село, из которого я тебе пишу.

Ко мне подходят колхозники. Садятся рядом. Вежливо откашливаясь, спрашивают. О чем? О бое, который кипит рядом? Нет! О Ленинграде!

— Ну, как там Ленинград? А? Стоит, держится?

Никогда они не были в Ленинграде, и родных там нет, отчего же тревога в их голосе, неподдельная тревога? Отчего же болит их сердце за далекий Ленинград, как за родное село?

И тогда я понял. Вот что такое Родина: это когда каждая

¹ Товарищ красноармеец.

хата под седым очеретом кажется тебе родной хатой, и каждая старуха в селе — родной матерью. Родина — это когда каждая горячая слеза наших женщин огнем жжет свое сердце. Каждый шаг фашистского кованого сапога по нашей земле — точно кровавый след в твоём сердце.

Товарищ!

Я не нашел тебя под Вапняркой, под Уманью, под Кривым Рогом. Но где бы ты ни был сейчас — ты бьешься за родную землю.

У Днепра мы задержали врага. Но, как бешеный, бьет он оземь копытом. Рвется дальше. Рвется в Донбасс. На нашу родную землю, товарищ! Я видел: уж кружат над нашими шахтами его стервятники. Уже не одна хата под очеретом зашаталась под бомбами и рухнула. Может, моя? Может, твоя?

Пусть ли мы врага дальше? Чтоб топтал он нашу землю, по которой мы бродили с тобой в юности, товарищ, мечтая о славе? Чтоб немецкий снаряд разрушил шахту, где мы с тобой впервые узнали сладость труда и счастье дружбы? Чтобы немецкий танк раздавил тополь, под которым ты целовал свою первую девушку? Чтобы пьяный гитлеровский офицер живьем зарыл за околицей твою старую мать за то, что сын ее красный воин?

Товарищ!

Если ты любишь Родину, — бей, без пощады бей, без жалости бей, без страха бей врага!

2

Товарищ!

Я хочу тебе рассказать об Игнате Трофимовиче Овчаренко из колхоза «Червонный яр».

Ты ведь знаешь, как рвутся мины? Точно хлопушки. Сначала свист, потом треск.

А старик Овчаренко сидел под дубом и думал свою думу, словно никаких мин не было. Странно было видеть штатского человека вблизи огневой позиции. Но огневая позиция была за церковью, в саду, а Овчаренко был здешний колхозник. Я подошел к нему.

— Вы бы ушли, товарищ, отсюда, а? — нерешительно сказал я и показал на разорвавшийся невдалеке снаряд.

— Невжели, — медленно, раздумчиво произнес он, словно думая вслух, — невжели немцы войдут?

За косогором виднелся краешек поля. Ветер доносил оттуда запах гречишного меда. Там шел бой. Если вылезть на косогор и поглядеть в бинокль, можно увидеть, как наступают немцы, падают в гречиху и снова идут.

— А вы что ж, не хотите фашиста? — спросил я и сам удивился глупости своего вопроса — какой советский человек хочет фашиста!

— Не желаю! — с силой ответил старик. — Не желаю я фашистов. Не согласен. Я вам поясню почему. Я политики касаться не буду. Я — мужик. И рассуждение мое мужицкое. Меня в колхозе, — он усмехнулся, — зовут Игнат Несогласный. Такое прозвище. В тридцатом году пришли меня агитировать в колхоз. Я говорю: нет, не согласный я. Шесть лет агитировали. Шесть лет я не соглашался.

Он сорвал былинку и стал ее жевать.

— И все шесть лет думал я. С печи слезу — думаю, в поле пойду — думаю, на базар поеду — думаю опять. А у мужика думка одна: как жить лучше? И как ни прикидывал, одна путь выходит: в колхоз! Выгоднее. Пять лет тому назад пришел я и говорю: согласный! Принимайте!

Он задумчиво смотрел мимо меня, в поле, где буйно цвела колхозная гречиха.

— Пять лет прожил, горя не видел, про горе думать забыл. Эх, военный товарищ! Як бы время, повел бы я вас к себе в хату, богатство свое показал, похвастался б. Что хлеба в амбаре! Что кавунов! Меда! Птицы на дворе! И все — колхоз.

Где-то совсем близко упала мина. На дубе встревоженно зашевелились листья. Игнат Несогласный нахмурился, вздохнул.

— Стреляют гады... — сказал я почему-то.

— Крушение жизни выходит, — тихо промолвил старик. — Вот где горе! — и тут схватил меня за руку, прошептал тоскливо, болестно: — Не могу я теперь без колхоза жить. Чуете? Не могу!

Вот и все, что хотел я рассказать тебе, товарищ, об Игнате Трофимовиче Овчаренко из колхоза «Червонный яр». Я ушел в бой, а он остался под дубом думать свою думу.

Большая эта дума, товарищ: о судьбах Родины. Миллионы Игнатов Согласных и Несогласных думают ее сейчас. Еще

вчера, до войны, бывало, ворчали Несогласные Игнаты, ругали по-простецки, по-мужицки, жаловались на то и на се, на беспорядки в колхозе. Но сейчас, когда беда раскинула черные крылья над Родиной, когда враг грозит Игнату «крушением всей жизни», всего родного и привычного порядка, горько, сурово задумался Игнат. Не может он без колхоза жить! Не может вернуться к старому. Без сельсовета не может. Без партии большевистской жизни ему нет. К кому пойдет он со своей крестьянской душой, где ответит душу, «ругнет бюрократов», но правды добьется? Обязательно добьется правды, ибо правда у нас у всех одна.

Он привык работать в дружном коллективе, среди земляков, работать на себя, труд измерять полноценным трудоднем, гордиться перед заезжим гостем своим богатым амбаром и требовать от кооперации «городского товара» получше. Что несет ему фашизм? Яρμο помещика. Вдовьи наделы. Волостного старшину с нагайкой. Крушение милого, привычного, родного порядка. Голод.

А мы с тобой, товарищ? Мы не знали другой власти, кроме родной, советской. И, значит, мы не знали безработицы, бесправия, черного дня.

Вот я проехал по прифронтовой полосе. Черт побери! Я и сам не знал, как наша земля богата. Оно скрывалось до войны по тихим животноводческим фермам, колхозам, эмтээсам, в стороне от большака, это богатство. Война выплеснула все на дорогу. Какие огромные стада у нас! Какие могучие, откормленные кони! Сколько птицы! Какие хлеба, какие сады шумят под ветром! Я ехал по дороге и видел: несколько километров подряд один к одному стояли у обочины комбайны, точно парад индустрии колхоза. А наши города? Те маленькие, захолустные, безвестные районные центры, куда, если бы до войны довелось, поехал бы сморщившись: глушь! Оказывается, и они расцвели, растянулись, украсились. Захолустья нет!

А дороги! Я к черту отбросил свою карту. Она устарела. Где на ней это великолепное профилированное шоссе? Но акциям всего пять лет, а моей карте шесть. Нет, не успеть никакой карте за ростом нашего богатства.

И все это богатство отдать врагу? Отдать гаду? Разве для него мы строили эти дороги, украшали города, откармливали скот, сады растили?

Товарищ! Если ты любишь Родину, и власть нашу, и богатство, и наше приволье — бей, без пощады бей, без жалости бей, без страха бей врага!

3

Товарищ!

Я расскажу тебе о ресторане в Каховке. Там был баянист. Он играл, а люди ели.

Говорят, он плохо играл. Не знаю. Я слушал два часа подряд и заслушаться не мог. Он играл одно и то же два часа подряд — «Каховку». Его лицо было торжественно серьезно, словно он пел гимн. Умел ли он еще что-нибудь играть? Не знаю. Но я другой музыки не хотел.

И она неслась над тихой Каховкой, песня о Каховке гражданской войны. И чудилось мне: пули поют, строчит пулемет, и «девушка наша в походной шинели горящей Каховкой идет». Песня о славе нашего оружия!

Они таяли, звуки этой песни, в степи под Херсоном, где высокие травы, где курган, под которым спит матрос Железняк, где некогда шумели легендарные битвы, где творилась легенда. А мы, потомки дел великих, сидели и слушали. И нащупывали наган на боку.

Вот и наш черед пришел, товарищ, для великих дел. В этой песне о Каховке не хватает куплетов про нас с тобой. Они будут!

Будем ли мы с тобой драться, как дрались наши отцы? Будут ли о нас песни петь или проклянут, как трусов?

Помнишь, завидовали мы отцам и старшим братьям? Нынче дети завидуют нам. Помнишь, мечтали о том, как умножим славу красноармейского оружия? Вот оружие в наших руках. Он пришел, наш черед. Отцы смотрят на нас с надеждой: ну-ка, дети, не опозорьте нас. Херсонские курганы зовут нас к славе. Матрос Железняк учит пробиваться штыком и гранатой сквозь вражеский строй. Пули поют над нами, южный ветер хлопает крыльями, бронепоезд вышел с запасного на боевой путь. И «девушка наша в походной шинели горящей Каховкой идет».

Товарищ! Если ты любишь Родину, и славу ее, и боевые традиции ее, — бей, без пощады бей, без жалости бей, без страха бей врага!

Товарищ!

Где ты был первого сентября?

Может, шел в атаку? Может, лежал в обороне? В этот день я ехал на фронт и видел то, чего никогда не забуду.

Шли дети в школу. Чистенькие, нарядные, торжественно, с сумками и портфельчиками, бережно несли чернильницы в бумажках, и ручонки их были уже закапаны синими чернилами.

Мимо них проносились военные машины, проходила артиллерия. Над ними пролетали самолеты. Они закидывали кудрявые головки, бесстрашно глядели в небо: наш или не наш? Они приветственно махали ручонками нашим и показывали кулачки врагу. И продолжали свой путь в школу.

И каждый мальчик — вихрастый, смелый, сероглазый — был похож на твоего сына, товарищ. И каждая девочка — курносенькая, быстроглазая, с косичками, что мышиные хвостики, — была точно моя дочка.

Товарищ!

Идешь ли ты в атаку, лежишь ли в обороне, помни: первого сентября наши дети пошли в школу. Они сидят сейчас за партами и решают свои проблемы: сколько будет семь раз по восемнадцать. Они говорят с гордостью: «Мой папа на войне! Он защищает Родину!» Они знают, что их папа — самый смелый, самый храбрый воин на земле. Они верят: он разобьет немца.

И когда мы вернемся с тобой домой, товарищ, твой сын и моя дочь спросят нас: «Как ты дрался, папа?» Смотри, товарищ! Бейся так, чтобы потом можно было глядеть в ясные чистые глаза своего сына.

Эти детские глаза... Мы уходили из Днепропетровска. Сквозь дым пожарищ шли мы по улицам; было тяжело видеть мертвые трубы заводов, слепые глаза домов. Но мы проходили суровым шагом сквозь дым и пламя. Это война.

А у нового парка Чкалова я увидел маленький паровозик, вагончики, рельсы. Прочитал на паровозе надпись: «Малая Сталинская», вспомнил, как играли здесь наши ребята, и...

Товарищ! Если ты любишь Родину и своего сына и будущее его дорого тебе, — бей, без пощады бей, без жалости бей врага!

Сентябрь 1941 г.

Село О. на Днестре

О жизни и смерти

1

Товарищ!

Сейчас нам прочитали приказ! С рассветом — бой. Семь часов осталось до рассвета.

Теперь ночь, дальнейшее мерцание звезд и тишина; смолк артиллерийский гром, забылся коротким сном сосед, где-то в углу чуть слышно поет зуммер, что-то шепчет связист...

Есть такие минуты особенной тишины, их никогда не забыть!

Помнишь ночь на 17 сентября 1939 года? В пять ноль-ноль мы перешли границу и вошли в фольварк Кобыля Голова. Тишина удивила и даже обидела нас. Только цокот копыт наших коней да стук наших сердец. Мы не такой ждали встречи!

Но изо всех окон на нас молча глядели сияющие радостью глаза, из всех дверей к нам тянулись дрожащие от волнения руки... И я... нет, этого не рассказать! Этого не забыть — тишины переполненных счастьем душ.

А полдень 13 марта 1940 года? В двенадцать часов дня разом смолкли все пушки, гаубицы и на всем Карельском перешейке вдруг воцарилась тишина — незабываемая, прочная тишина победы. И мы слышали тогда, как звенит лед на Вуокси-Вирта, как шумит ветвями красавец лес, как стучит о сосну дятел, — раньше мы ничего не слышали из-за канонады.

Когда-нибудь буду вспоминать я и сегодняшнюю ночь, ночь на 30 октября 1941 года. Как плыла над Донецкой степью луна. Как дрожали, точно озябшие, звезды. Как ворочался во сне сосед. А над холмами, окопами, огневыми позициями стояла тишина, грозная, пороховая тишина. Тишина перед боем.

А я лежал в окопе, прикрывая фонарик полою мокрой шинели, писал тебе письмо и думал... И так же, как я, миллионы бойцов, от Северного Ледовитого океана до Черного моря, лежали в эту ночь на осенней, жухлым листом покрытой земле, ждали рассвета и боя и думали о жизни и смерти, о своей судьбе.

Товарищ!

Очень хочется жить.

Жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой.

Но не всякой жизнью хочу я жить, не на всякую жизнь согласен.

Вчера приполз к нам в окоп человек «с того берега», — ушел от немцев. Приполз на распухших ногах, на изодранных в кровь локтях. Увидев нас, своих, заплакал. Все жал руки, все обнять хотел. И лицо его прыгало, и губы прыгали тоже...

Мы отдали ему свой хлеб, свое сало и свой табак. И, когда человек насытился и успокоился, он рассказал нам о фашистах: о насилиях, пытках, грабежах. И кровь закипала у бойцов, слушавших его, и жарко стучало сердце.

А я глядел на спину этого человека. Только на спину. Глядел не отрываясь. Страшнее всяких рассказов была эта спина.

Всего полтора месяца прожил этот человек под властью врага, а спина его согнулась. словно хребет ему переломали. словно все полтора месяца ходил он кланяясь, извиваясь, вздрагивая всей спиной в ожидании удара. Это была спина подневольного человека. Это была спина раба.

— Выпрямься! — хотелось кричать ему. — Эй, разверни плечи, товарищ! Ты среди своих.

Вот когда увидел я, с последней ясностью увидел, что несет мне фашизм: жизнь с переломленной, покоренной спиной.

Товарищ! Пять часов осталось до рассвета. Через пять часов я пойду в бой. Не за этот серенький холм, что впереди, буду я драться с врагом. Из-за большего идет драка. Решается: кто будет хозяином моей судьбы — я или он.

До сих пор я, ты, каждый был сам хозяином своей судьбы. Мы избрали себе труд по призванию, профессию по душе, подругу по сердцу. Свободные люди на свободной земле, мы смело глядели в завтра. Вся страна была нашей Родиной, в каждом доме товарищи. Любая профессия была почетна, труд был делом доблести и славы. Ты знал: каждая новая тонна угля, добытая тобой в шахте, принесет тебе славу, почет, награду. Каждый центнер хлеба, добытый тобой на колхозном поле, умножит твое богатство, богатство твоей семьи.

Но вот придет враг. Он станет хозяином твоей судьбы. Он

растопчет твое сегодня и украдет твое завтра. Он будет властвовать над твоей жизнью, над твоим домом, над твоей семьей. Он может лишить тебя дома — и ты уйдешь, сгорбив спину, в дождь, в непогоду, из родного дома. Он может лишить тебя жизни, — и ты, пристреленный где-нибудь у забора, так и застынешь в грязи, никем не похороненный. Он может и сохранить тебе жизнь, ему рабочий скот нужен, — и он сделает тебя рабом с переломанным, покорным хребтом. Ты добудешь центнер хлеба, — он заберет его, тебя оставит голодным. Ты вырубил тонну угля, — он заберет ее да еще обручает: «Русская свинья, ты работаешь плохо!» Ты всегда останешься для него русским Иваном, низшим существом, быдлом. Он заставит тебя забыть язык твоих отцов, язык, которым ты мыслил, мечтал, на котором признавался в любви невесте. Он заставит тебя выучиться немецкой речи и будет смеяться, слушая, как ты коверкаешь чужой язык.

Все мечты твои он растопчет, все надежды оплоует. Ты мечтал, что сынишка твой, выросши, станет ученым, инженером, славным человеком на земле, — но фашисту не нужны русские ученые, он своих сгноил в собачьих лагерях. Ему нужен тупой рабочий скот, — и он погонит твоего сына в ярмо, разом лишив его и детства, и юности, и будущего.

Ты берег, лелеял свою красавицу дочку. Сколько раз, бывало, склонялся ты вместе с женой над беленькой кроваткой Маринки и мечтал о ее счастье. Но фашисту не нужны чистые русские девушки. В публичный дом, на потеху разнузданной солдатне, швырнет он твою гордость — Маринку, отличницу, красавицу...

Ты гордился своей женой. Первой девушкой была у нас на руднике Оксана! Тебе завидовали все. Но в рабстве люди не хорошеют, не молодеют. Быстро станет старухой твоя Оксана. Старухой с согбенной спиной.

Ты чтил своих дорогих стариков — отца и мать, — они тебя выкормили. Страна помогла тебе устроить им почетную старость. Но фашисту не нужны старые русские люди. Они не имеют цены рабочего скота, — и он не даст тебе для твоих стариков ни грамма из центнеров хлеба, добытых твоей же рукой...

Может быть, ты все это вынесешь, может, не сдохнешь, отупев, смиришься, будешь влачить слепую, голодную, безотрадную жизнь?

Я такой жизни не хочу! Нет, не хочу! Нет, лучше смерть, чем такая жизнь! Нет, лучше штык в глотку, чем ярмо на шею! Нет, лучше умереть героем, чем жить рабом!

Товарищ! Три часа осталось до рассвета. Судьба моя в моих руках. На острие штыка моя судьба, а с нею и судьба моей семьи, моей страны, моего народа.

3

Товарищ!

Сегодня днем мы расстреляли Антона Чувырина, бойца третьей роты.

Полк стоял большим квадратом; небо было по-осеннему сероватое, и желтый лист, дрожа, падал в грязь, и строй наш был недвижим, никто не шелухнулся.

Он стоял перед нами с руками за спиной, в шинели без ремня, жалкий трус, предатель, дезертир, Антон Чувырин, его глаза подло бегали по сторонам, нам в глаза не глядели. Он нас боялся, товарищ. Ведь это он нас предал.

Хотел ли он победы фашистов? Нет, нет, конечно, как всякий русский человек. Но у него была душа зайца, а сердце хорька. Он тоже, вероятно, размышлял о жизни и смерти, о своей судьбе. И свою судьбу рассудил так: «Моя судьба — в моей шкуре».

Ему казалось, что он рассуждает хитро: «Наша возьмет — прекрасно. А я как раз и шкуру сберегу. Враг одолеет — ну что ж, пойду в рабы к немцу. Опять моя шкура при мне».

Он хотел отсидеться, убежать от войны, будто можно от войны спрятаться. Он хотел, чтобы за него, за его судьбу дрались и умирали товарищи.

Эх, просчитался ты, Антон Чувырин! Никто за тебя драться не станет. Здесь каждый дерется за себя и за Родину! За свою семью и за Родину! За свою судьбу и за судьбу Родины! Не отдерешь, слышишь, не отдерешь нас от Родины: кровью, сердцем, мясом приросли мы к ней. Ее судьба — наша судьба, ее гибель — наша гибель. Ее победа — наша победа.

И, когда мы победим, мы каждого спросим: что ты для победы сделал?

Мы ничего не забудем! Мы никого не простим!

Вот он лежит в бурьяне, Антон Проклятый, — человек, сам оторвавший себя от Родины в грозный для нее час. Он

берег свою шкуру для рабской жизни — и нашел собачью смерть.

А мы проходим мимо железным шагом. Проходим мимо, не глядя, не жалея. С рассветом пойдем в бой. В штыки. Будем драться, жизни своей не щадя. Может, умрем. Но никто не скажет о нас, что мы трусили, что шкура наша была нам дороже Отчизны.

4

Товарищ!

Два часа осталось до рассвета. Давай помечтаем.

Я гляжу сквозь ночь глазами человека, которому близостью боя и смерти дано далеко видеть. Через многие ночи, дни, месяцы гляжу я вперед, и там, за горами горя, вижу нашу победу. Мы добудем ее! Через потоки крови, через муки и страдания, через грязь и ужас войны мы придем к ней. К полной и окончательной победе над врагом! Мы ее выстрадали, мы ее завоюем.

Вспомни предвоенные годы. Над всем нашим поколением вечно висел меч войны. Мы жили, трудились, ласкали жен, растили детей, но ни на минуту не забывали: там, за нашей границей, сопит, ворочается злобный зверь. Война была нашим соседом. Дыхание гада отравляло нам и труд, и жизнь, и любовь. И мы спали тревожно. На дно сундуков не прятали старой шинели. Ждали.

Враг напал на нас. Вот он на нашей земле. Идет страшный бой. Не на жизнь — на смерть. Теперь нет компромиссов. Нет выбора. Задушить, уничтожить, раз навсегда покончить с гитлеровским зверем! И когда свалится в могилу последний фашист и когда смолкнет последний залп гаубиц, — как дурной сон развеется коричневый кошмар и наступит тишина, величественная, прочная тишина победы. И мы услышим, товарищ, как облегченно, радостно вздохнет весь мир, все человечество.

Мы войдем в города и села, освобожденные от врага, и нас встретит торжественная тишина, тишина переполненных счастьем душ. А потом задымят восстановленные заводы, забурлит жизнь... Замечательная жизнь, товарищ! Жизнь на свободной земле, в братстве со всеми народами.

За такую жизнь и умереть не много. Это не смерть, а бессмертие.

Светает...

По земле побежали робкие серые тени. Никогда еще не казалась мне жизнь такой прекрасной, как в этот предрассветный час. Гляди, как похорошела донецкая степь, как заиграли под лучами солнца меловые горы, стали серебряными.

Да, очень хочется жить. Увидеть победу. Прижать к шершавой шинели кудрявую головку дочери.

Я очень люблю жизнь — и потому иду сейчас в бой. Я иду в бой за жизнь. За настоящую, а не рабскую жизнь, товарищ! За счастье моих детей. За счастье моей Родины. За мое счастье. Я люблю жизнь, но смерти не испугаюсь. Жить, как воин, и умереть, как воин, — вот как я понимаю жизнь.

Рассвет...

Загрохотали гаубицы. Артподготовка.

Сейчас и мы пойдем.

Товарищ!

Над родной донецкой степью встает солнце. Солнце боя. Под его лучами я торжественно клянусь тебе, товарищ! Я не дрогну в бою! Раненый — не уйду из строя. Окруженный врагами — не сдамся. Нет в моем сердце сейчас ни страха, ни смятения, ни жалости к врагу — только ненависть. Лютая ненависть. Сердце жжет...

Это — наш смертный бой.

Иду.

Октябрь 1941 г.

С Новым годом, товарищ!

1

С Новым годом, товарищ!

Ну, доставай походную фляжку! Где бы ты ни был, чокнемся. За нашу победу, товарищ!

Простреленная, обугленная, поруганная, лежит вокруг меня земля, мы ее отвоевали сегодня. Еще дымятся остовы изб, еще плачут на пепелище люди, еще хрипит под забором неподохший фашист.

Сегодня нам не ночевать в тепле — пусть! Удирая, враг сжег хаты, разрушил дома — пусть! Все равно, утраченная и возвращенная родная земля во сто крат прекраснее чужих цветущих долин. Ее, как раненую руку, и нежнее любишь, и больше бережешь.

Мне рассказали: удирая отсюда, немцы кричали в ужасе: — О! О! Рус рассердился — Берлин капут!

Да. Рус рассердился. Люто рассердился. Душа переполнилась болью. Сердце распалилось. Гроздь гнева созрели.

Есть дни, которые никто не смеет забыть. Развороченные, они кровоточат, как раны; горькие, они зовут к мщению.

Забыл ли ты, товарищ, страшную ночь октября, когда Донбасс вздыбился в смертельной агонии и рухнул, взорванный, но не покоренный? Всю ночь земля дрожала от взрывов, и небо трепетало, охваченное заревом, и горький от дыма и гари ветер метался по донецкой степи, выл и плакал над рухнувшими копрами. Это наши шахты, не желая сдаваться врагу, кончали самоубийством. Это заводы умирали, как крейсера в море, взорвав котлы и окутавшись дымом. Мы сами взрывали их, мы, которые их строили. Макеевка, Горловка, Краматорск... И каждый новый взрыв в ночи — точно разрывает чье-то сердце.

Забыл ли ты эту ночь, товарищ?

Забыл ли ты виселицы в Ростове, и над тротуаром синие ноги повешенных, и трупы детей и женщин на армянском кладбище, и одичавшую немецкую овчарку, отбившуюся от своих хозяев, — собаку, глодавшую скелеты расстрелянных на главной улице Ростова? Мы с тобой это видели, товарищ. Своими глазами видели. Нам про это говорить не надо. Кто может, кто смеет это забыть, с этим смириться, это простить?

Кто смирился — тот трус, кто забыл — тот подлец, кто простил — тот предатель.

Нет сейчас в нашем сердце мира, — гнев. Не к благовесту зовет новогодняя ночь — к бою! И, прежде чем улыбнуться другу, я пошлю пулю врагу.

Ты ждешь от меня новогоднего тоста, товарищ? Слушай. Солдаты, мы поднимаем свой первый тост за гнев!

За гнев — мы взяли его на вооружение. За гнев — он стоит сотни снарядов. За ярость — она посылает снаряды. За ненависть — она несет фашисту смерть!

Товарищ!

Когда мы вошли в освобожденное село, к нам подошел дед Опанас и спросил:

— Откуда вы взялись, хлопцы, такие? Орлы, ну, чисто орлы! Из лезерва, что ли? Тут два месяца назад наши отступали, так тогда не такой народ был! Не, не такой!

— Так то же мы и были, дед! — засмеялись мы.

— Вы? — недоверчиво прищурился старик и стал нас осторожно разглядывать. — А може, и вы. Та что же с вами стало, хлопцы? Як отступали, так шли согнутые, сумные, и смотреть на вас тяжело было. А теперь пришли — ну, орлы, чисто орлы! И глаза у вас веселые, и голова гордая, и страху у вас никакого нет. Те вы, чи не те?

И те, дед, и уже не те. Ты думаешь, старик, нам просто дали эти полгода? Зря мы этот путь прошли? А мы, старик через все прошли: через горечь поражений и неудач, сквозь смерть. И дым оставляемых нами городов горькой копотью оседал на наши плечи, и слезы беженцев — соленые, кровавые слезы — падали в наши сердца. Мы сквозь все прошли, как сталь проходит сквозь огонь. Мы не заржавели, не сгорели, — мы закалились. Прокопченные, просоленные, обветренные, мы стали надолго солдатами, и блиндаж нам теперь — дом родной, а снег — пуховая подушка. Мы к посвисту бомб привыкли, к дыханию смерти притерпелись, миной нас не испугаешь, а пуля смелого не берет. Обстрелянные, протертые, ученые — да, мы теперь не те, старик! Откуда быть страху! То ли мы пережили! С чего нам горбить спину? Мы спину врага видели и пятки его, сверкающие на морозе.

Мы узнали вкус и запах победы. Она пахнет гарью, кровью и дается не даром, но слаще ее ничего нет. Труп врага хорошо пахнет. Вой врага — славная музыка. Горы расстрелянных немецких танков на снежном шоссе — лучшей картины в мире нет. А радостные слезы женщин в освобожденных селах — такая нам награда, такая, брат, награда, что за нее и умереть не жаль.

Нас теперь не повернешь, не остановишь. Каждый шаг вперед делает нас сильнее. Кто видел виселицы в Ростове, тот не попятится назад. Ненависть вооружает воина. Победа дает крылья.

Помнишь, стиснув зубы, клялись мы:

— Погоди! Мы за все расплатимся с оккупантами!

Вот он пришел, этот час. Час расплаты.

Помнишь, говорили, уходя из городов и сел:

— Мы еще вернемся!

Вот он пришел, этот час. Час возвращения.

Мы вернемся в Донбасс! Вернемся, чтобы заплатить врагам за расстрелы в Мариуполе, за зверства в Артемовске, за грабежи в Горловке.

Как в годы гражданской войны с яростным кличем: «Данешь Донбасс!» — ворвутся наши лихие конники и пехотинцы в шахтерские поселки и возьмут врага за горло: «Отдай, вор, Донбасс! Умри, гад, в Донбассе!»

Разве мало в Донбассе шурфов для фашистских трупов?

Разве замерзли проруби на Миусе, на Кальмиусе, на Торце?

Ты ждешь от меня новогоднего тоста, товарищ? Слушай! За нашу родную землю! За наш Донбасс!

3

Доставай же походную фляжку, товарищ! Где бы ты ни был, чокнемся. Пир — так пир.

Вот и елку рубить не надо, — вишь, стоит, мохнатая, раскинулась над блиндажом. И товарищей ждать недолго — здесь они, рядом, самые дорогие, самые близкие, надежные. Нет братства более кровного, чем братство в бою. Вместе воюем, вместе в глаза смерти смотрим, — как же не праздновать вместе?!

Мы встретим солнце нового года, как положено воину: под звон шрапнельных стаканов, под гул оружейных колоколов. Запасная пулеметная площадка будет столом для недолгого пира. Из тыла прислали подарки, — вот и закуска. Ну-ка, тряхни фляжкой, товарищ! А врагу пошлем свинца.

Здравица солнцу нового года — года великих побед!

За наши семьи, товарищ! Пусть мирно живут, не тужат, пусть едят нам почаще письма, пусть дочка пляшет под елкой, а сынишка штурмует снежную крепость, завидуя тебе и мне.

За славных летчиков в небе, за смелых подводников на море, за артиллеристов на огневой, за танкистов на исходном,

за нашу пехоту в окопе, за водителя на снежной дороге, за разведчика во вражьем тылу, за врача в госпитале, за повара у ротной кухни, за связиста на телеграфном столбе — за все наше славное воинство, а значит, и за нас с тобой, товарищ, имеющих честь и счастье служить под полковым знаменем в Великую Отечественную войну!

За наших соседей по фронту! За тех, кто бил врага под Москвой, дубасил его под Ельцом, гнал без штанов от Тихвина в леса Будогощи, добивал под Калинином, за бойцов Северо-Западного и Кавказского фронтов, за наших братьев по оружию!

За нашу победу, товарищи!

Ночь на 1 января 1942 г.
Станция Ф. в Донбассе

Пядь родной земли

1

Товарищ!

Задумывался ли ты когда-нибудь над этими простыми словами: «пядь родной земли»?

Мы стоим сейчас в большом и протяженном селе, половина его — наша, половина — немецкая, церковь, разрушенная снарядом, — ничья.

Давно уже нет жителей в этом селе, и хаты побиты рикошетами, и огороды ископаны воронками, и улицы днем пустынные; только пули ходят по селу, стучатся о ставни, да бойцы изредка перебегают от хаты к хате, прижимаясь к плетням.

Но каждую ночь на огороде, на нашем краю села, появляется эта женщина с тямкой. Никто не знает, где прячется она днем, откуда приходит ночью. Ей сурово говорят бойцы: «Эй, тетка, ты зачем тут?» — а она молча показывает на огороды. Там, наперекор войне, серебрится капуста, буйно цветет картошка, тянутся к небу три подсолнуха.

И всю ночь напролет ползает по огороду эта женщина, пропальвает грядки, и стук ее тямки тонет в артиллерийском громе. Иногда над ее огородом, свистя, пролетает снаряд или мина и рвется где-нибудь неподалеку. Тогда женщина всем

телом прижимается, приникает к земле и лежит, обняв грядки руками, словно хочет своим телом прикрыть и спасти дрожащие листья капусты. А когда пыль рассеивается, женщина снова начинает возиться на огороде — ползком, ощупью, пропальывает грядки, бережно расправляет листочки, побитые осколками, охаживает каждый кустик, словно ребенка, раненного бомбой, — и кровь раздавленных помидоров на ее руках.

Так всю ночь работает она на огороде — на крохотной пяди советской земли, а когда забрезжит рассвет, и на востоке дрогнет алая полоска зари, и поползут по небу солнечные штыки лучей, — подымается женщина. Распрямляет усталую спину. И, откинув со лба седую мокрую прядь, стоит, опершись о тяпку, и смотрит на запад — над западом еще клубятся ночные тучи. Так стоит она долго, прислушивается к артиллерийскому грому, и в глазах ее, товарищ, столько тоски и горя, что тяжело в эти глаза смотреть. Губы ее шевелятся. Что они шепчут? Молитвы, проклятья, заклинания?

А я гляжу на эту женщину, на ее седые виски, на морщинки под глазами и думаю: велика наша страна и широки ее просторы, а стоит нашей роте отступить на один шаг, на одну пядь, и пропал огород этой женщины, враги его растопчут.

И тогда я оборачиваюсь назад и там, за холмами и рекой, угадываю село, куда нас, бывало, отводили на отдых.

Ты знаешь эти прифронтовые села, товарищ. Ты знаешь там каждую хату, и хозяев их, и семейные фотографии в рамочках из ракушек, и историю каждой фотографии, и нарисованные масляными красками дешевые коврики на стене, и что на них нарисовано. Ты приходил в эти хаты со своими товарищами: пыльный, грязный, усталый, ты стучался у порога, словно пришел домой на побывку.

И женщины встречали тебя, как сына и брата.

— Все живы-здоровы? — тревожно спрашивали они. — А где Вася, что ночевал у нас прошлый раз?

— Вася ранен.

— Ой! Сильно?

— Нет! — утешал ты. — Воевать будет! — И спрашивал в свою очередь: — А у вас? Письма были от вашего?

И тебе показывали письма, и ты читал их вслух, солдатские, простые, беглым карандашом написанные письма, такие, как ты сам пишешь домой.

А потом тебя радостно вели в хату. Вся вода хуторских

колодцев обрушивалась на тебя, чтобы смыть походную пыль. Все перины, подушки, заветные наволочки с кружевами, невестины простыни вытаскивались из сундуков, чтоб служить тебе. На резную деревянную кровать клали тебя, как самого дорогого гостя. И пока ты спал, женщины стирали твою соленую от пота рубаху и тихо, чтоб не разбудить тебя, грустно пели.

— Вот и наш так где-то воюет! — вздыхали женщины и показывали тебе карточку «нашего» в рамочке из ракушек.

И с этой карточки глядело на тебя незнакомое и как будто очень знакомое лицо, словно это был товарищ из соседнего взвода: такая же пилотка, сдвинутая на правое ухо, тот же расейский нос, и честные, простецкие глаза, и веснушки, как звезды... И за долгие месяцы войны стали тебе эти прифронтовые села второй родиной, и старушка в подслеповатой хате — словно вторая мать, и дивчата — как сестры, и босоногие синеглазые ребятишки — точно родные дети. И не раз, глядя на них, думал ты растроганно: «Вот и мои где-то так...»

Но стоит тебе и твоей роте, товарищ, отступить на один шаг, одну пядь нашей земли отдать врагу, — и фашист ворвется в это село, чтобы грабить, жечь и убивать. У знакомого плетня, под вишнями, он расстреляет старушку за сына-красноармейца; знакомую тебе карточку в рамочке из ракушек, озоруя, изрешетит пулями; дивчат, которых ты целомудренно звал сестрами, изнасилует; босоногих ребят, твоих приятелей, продаст в рабство, село разорит, испакостит и взберется с грязными солдатскими сапогами на резную деревянную кровать, — на твою кровать, товарищ! — чтоб сыто храпеть среди чужого ему горя, слез и стонов.

На Дон я гляжу теперь, на тихий и вольный Дон, и там, в дыму и пламени, вижу Ростов, многострадальный Ростов, славу нашего фронта.

Забыл ли ты Ростов, товарищ, и ноябрьские дни, и лед на донских переправах, и виселицы в Ростове, и над тротуарами синие ноги повешенных? Забыл ли ты, как встречали нас — избавителей — мученики Ростова, и как бежали немцы, и вкус и запах победы, и сияние воинского счастья?

А мне вспоминается старушка в ветхой шубенке. Как бежала она за нами по тротуару, как, задыхаясь, кричала: «Деточки! Деточки!» — и, добежав, сунула мне в руку какую-то баночку.

— Что это? — удивленно спросил я.

Но она ничего не могла объяснить, только повторяла:

— Деточки! Деточки!

И я взял эту баночку — пузатую, какого-то старомодного вида, теперь не делают таких, — и на ней увидел ярлык. Старческим, аккуратным почерком было написано: «Гусиный жир. Смазывать в морозы нос, щеки, лоб».

Спасибо, бабушка! Мои ребята до дна использовали твою баночку. Гусиный ли жир, твоя ли материнская ласка согрели нас, но зимой у нас обмороженных не было.

И теперь, когда я вижу, как горит Ростов, мне вспоминается эта старушка, похожая на мою мать. Как бежала она за нами... Как крестила нас вслед мелкими-мелкими крестиками... И провожала долгим взглядом. А мы уходили по таганрогскому шоссе, навстречу новым боям.

Да, товарищ, велика наша Родина и широки ее просторы, но нет у нас клочка земли нелюбимого, пяди земли недорогой. Здесь каждый вершок полит кровью отцов и дедов, соленым, трудовым потом, горячей слезой. И на каждом клочке живут и трудятся родные люди. И за каждый вершок земли больно. И за каждый пустырь охота драться. И за каждое село глотку готовы мы перегрызть врагу.

Оглянись назад, товарищ, — родные села за твоей спиной, привольные донские степи, кубанские пшеничные просторы, и снежные гребни Кавказа, и черные вышки Баку... ни шагу назад, товарищ! Ни пяди врагу! Ни пяди!

2

Товарищ!

Мы деремся с тобой на родной земле, и донские степи — друзья нашей юности, и Северный Донец — река нашего детства.

Но вот рядом со мной дерутся узбек Аскар Шайназаров, и таджик Шотманбай Курбанов, и Хачик Авакьян из Армении, и Лаврентий Микава из Грузии, и азербайджанцы Исса Карджиев и Магарем Алиев — приятели из Шамхора. Они пришли сюда с кавказских гор и среднеазиатских степей драться за мой Донбасс и за твой Дон, товарищ. Немного оставалась для них чужой наша природа. Они осмотрелись,

привыкли и полюбили пропахшие порохом и полынью наши степи. Скоро они говорили:

— Эй! И у нас такой бугор есть. И у нас такой камень есть. И у нас такой сад есть. Только у нас сад больше. Га! Персик у нас, апельсин у нас... А тут вишня... ничего... Вишня тоже сладкий фрукт... Дон — тоже прохладная река...

И теперь казались грузину холмы и скалы донецкого кряжа отрогами Кавказских гор, и теперь казались узбеку пыльные донские степи продолжением бескрайних, знойных, солончаковых среднеазиатских просторов. И Дон стал для них Курюю, Тереком, Аму-Дарьей, как для украинцев Дон стал Днепром, для белорусов — Березиной, для уральцев — Камой, для сибиряков — Енисеем.

И люди в Донских хуторах и станицах, в донецких поселках и городах были все те же простые, родные, советские люди, ласковые к другу, лютые к врагу.

И земля у нас общая — дорогая, заветная, советская земля.

И друг у нас общий — злобный, ненавистный, проклятый враг.

...И когда вступал в партию Аскар Шайназаров, рекомендовать его вызвались трое: русский, украинец и еврей — его боевые товарищи. Потому что нет на земле братства более кровного, чем братство в бою. И нет друга верней и надежней, чем тот, с которым ты под одной шинелью спал, под одним дождем мок и в бою бился рядом.

...И когда санитар таджик Шотманбай Курбанов выносил раненых с поля боя, он не спрашивал их, какого они роду и племени, земляки или нет. Он просто подставлял свою могучую широкую спину и бережно нес их из огня боя навстречу жизни, как несут самого дорогого друга.

...И чтоб Хачик Авакьян не скучал и родного языка не забывал, его русские друзья по окопу приносили ему армянские книги и газеты. Они говорили:

— Читай, Хачик, читай нам вслух. Ничего.

Случалось, что вместо армянских книг они приносили ему грузинские. Он, смеясь, качал головой, а они смущенно оправдывались:

— Кто ж его разберет? Не по-нашему писано!

И они терпеливо учили Авакьяна русскому языку, и каждый учил по-своему, и теперь Хачик говорит на таком языке, какого и не придумаешь: в нем много и русских, и украин-

ских, и татарских слов, и одни слова он произносит по-волжски — окая, другие по-полтавски — гекая, словно отпечаталась в его языке многонациональная дружба военных парней из его окопа.

...И когда на хутор, коварно и неожиданно, глухой ночью ударили немцы, шесть человек стойко стали на защиту родного клочка земли. И эти шестеро были: грузины Микава и Тевдорадзе, украинец и веселый комвзвода Соселия, дирижер самодеятельного оркестра, в котором русская балалайка в лад пела с грузинским чонгури.

Они стали, эти шестеро, железной стеной, и ночь была глухая, и бой горячий, путанный, и тогда, чтоб бить врага вкруговую, стали шестеро спиной к спине, и спина грузина Лаврентия Микава тесно прижалась к спине Дубовика, а Штрихунов всей кожей почувствовал жаркую спину Гусейнова. Так они дрались, отстаивая хутор, и не было в этот миг для них земли родней и дороже, чем эта полынью пропахшая степь. И Лаврентий Микава бился за донской хутор и солнечную Грузию, а Гусейнов — за донской хутор и знойный Азербайджан, а Дубовик — за донской хутор и истерзанную Украину, а Штрихунов — за донской хутор и за Россию-мать и все вместе — за советскую Родину.

...И не было на всем нашем фронте воина более славного, более любимого, чем разведчик Сираджитдин Валиев, узбек из Ферганы.

На его родине, в золотой Фергане, вода журчит в прохладных ярыках, а драться Валиев пришел за мой пыльный и дымный Донбасс.

На его родине, под кипарисами, мирно спят его предки, а умер Сираджитдин Валиев в бою подле шахты и там похоронен.

Вся дивизия плакала, когда хоронили Валиева. Таманцы, железные воины, не скрывали своих слез. Полковник плакал, комиссар вытирал глаза. Но горше всех плакала маленькая штатская старушка: у нее на квартире жил Валиев, и она называла его своим третьим сыном.

Она показала нам карточку двух других, и мы увидели широкоплечих, рослых донских парней, и волосы у них были светлее ржи, и глаза синее неба. Вот какие у нее были сыны, товарищ, дрались они где-то на Западном. Но никто из нас не удивился, что третьим, названным, сыном она признала

невысокого смуглого узбека, с черными волосами и глазами, как горячие угли. Да, он был ей сыном, этот пламенный узбек, и хорошим сыном, товарищ, — он словно дрался за мать!

Товарищ! Ты любишь Родину так, как любил ее Сираджитдин Валиев. Он дрался за советскую землю, и каждую пядь земли, за которую он дрался, он считал родной. И отдал за нее жизнь.

Мы не забудем Валиева. Мы никому не позволим его забыть! Отшумит война, зарубцуются раны, задымят заводы, и люди освобожденного Донбасса благодарно вспомнят Сираджитдина Валиева, парня из далекой Ферганы.

Русские, украинцы, грузины, узбеки — мы станем на Дону железной стеной, как стояли те шестеро ночью в донском хуторе, станем спина к спине, чтоб бить врага вкруговую, чтоб чувствовать жар товарища, и свяжем себя великой воинской клятвой: ни шагу назад, товарищи! Ни пяди земли врагу! Ни пяди!

3

Товарищ!

Разве не слышишь ты, как стучится месть в твое сердце? Спроси свою совесть: разве расквитался ты с фашистом? Разве простил ты им замордованную Украину? Заплатил за взорванный Донбасс? Отомстил ли полной мерой за виселицы в Ростове, за руины Киева, за муки Таганрога, за слезы наших жен, матерей, детей?

Не оглядывайся назад, товарищ! Нам отступать нельзя. Смотри вперед. Видишь, снова ползет на нас лавина проклятых гадов. Слышишь, снова в ушах лязг их гусениц? Снова настали грозные дни. Что ж, мы не боимся пороха!

Теперь мы с тобой, товарищ, — воины Красной Армии, наследники севастопольской славы. На нас теперь с надеждой смотрит вся Родина. Здесь, на донских полях, решается судьба войны. Будем же, как севастопольцы, стойко стоять стеной!

И как для сибирских стрелков-таежников стали родными и дорогими камни Севастополя, на которых соль теплого моря, так и для нас, товарищ, откуда бы мы ни были родом, стала дорогой и родной донская степь и тихая вода Дона, — мы ни на шаг не отступим!

Будем же драться, товарищ, так, чтобы жены нас не высмеяли, матери не прокляли, дети нас не стыдились; драться так, как положено за родную землю.

Чтобы Дон помутнел от поганой фашистской крови!

Чтобы каждая пядь родной земли стала могилой врагу!

Чтобы, когда спросит тебя сын после войны: «Где ты дрался, отец, летом тысяча девятьсот сорок второго года?» — смело ответить: «На Дону, сынок!» — и услышать, как скажут о тебе люди: «Он дрался в самом горячем месте. Он ни пяди не отдал врагу».

Июль 1942 г.

Год спустя

1

Товарищ!

Где ты дерешься сейчас? На Карпатах, в Румынии, под Варшавой?

Ровно год назад шли мы с тобой по донецкой земле. За Миусом синели курганы, тлел опаленный ковыль на Саурмогиле, и степь после боя тяжело дышала, как утомленный конь, — сизый пар колыхался над нею.

Ты сказал мне, показывая на Миус, на терриконы:

— Вот мы и дома. Чуешь? Донбассом пахнет...

Я отвел от тебя глаза и тихо ответил:

— Нет. Чуешь? Больше не пахнет Донбассом.

И тогда мы оба жадно, нетерпеливо вдохнули запах родной земли — пахло разгоряченной степью, сухой травой, пылью, медовым клевером, чабрецом, горькой полынью... Только запахов угля и дыма не было.

Мы стояли с тобой на кургане, а перед нами, как многотрубный пароход, лежал Донбасс. Ни одна труба не дымилась!

Говорят, в те дни, как никогда, был чист воздух Донбасса, — да только нам с тобою этим «чистым» воздухом дышать было невозможно!

Небо без кучерявых заводских дымков — разве ж это небо Донбасса? Степной ветер без терпкого запаха кокса —

разве ж это ветер Донбасса? Ночь без зарева плавок? Утро без петухов и гудков? День без грохота молотов, шипения пара, крика «кукушек»? Тихий Донбасс — разве ж это Донбасс?

Только с терриконов да шлаковых отвалов, как и прежде, подымалась к нам буро-рыжая пыль. Пыль былой добычи, былой славы...

Мы прошли с тобой в те восемь дней весь Донбасс. Краматорск, Горловка, Макеевка, Сталино, Мариуполь... Кладбище городов и заводов... Лагерь уничтожения человеческого труда.

Товарищ!

Для нас с тобой завод, шахта, домна никогда не были мертвыми, неодушевленными созданиями. Каждый заводской гудок имел свой особый голос, каждый дымок — свой росчерк в небе, каждая домна — свои капризы, каждый «мартын» — свой характер, каждый угольный пласт — свое имя и свою «струю», каждый завод — свое лицо, судьбу и особенность. Были заводы красивые и некрасивые, веселые и сумрачные, чопорные и разухабистые; были пласты тощие и толстые, хитрые и простодушные, крепкие «алмазы» и танцующие «мазурки», точные «аршинки» и запутанные «никаноры»... Каждая балка на заводе, каждый обапол в лаве были тебе знакомы и дороги. В них вложен труд. Твой, твоего отца или твоего деда. И вот — нет ничего... Горы изуродованного металла. Крюк разрушенного мостового крана сиротливо болтается над руинами...

Мы много с тобой слез видели, товарищ, за эти годы — и детских, и девичьих, и бабьих слез. Здесь, в Донбассе, год назад мы увидели, как плачут шахтеры.

Страшные это слезы, товарищ!

Ты расстался с Донбассом на поле боя. Так прощаются с тяжело раненным другом. Смотришь, как уносят его санитары, провожаешь долгим вздохом: выживет ли? — и, смахнув слезу, снова бросаешься в огонь.

Так и ты на поле боя простился с тяжело раненным Донбассом. Посмотрел в последний раз на бездыханные трубы, вздохнул и по битому стеклу улицы Артема пошел вслед за танками дальше, на запад — мстить за Донбасс.

Товарищ!

Два года ты гонишь врага. Два года ты идешь по обугленной, растерзанной, разоренной земле. Ты видишь, как горят заводы, и никогда — как они дымят.

Что там делается, за твоей спиной, на освобожденной тобою земле, — того ты не видишь. Ты уносишь с собой в новый бой запах гари и горя. И новый заряд ярости.

Когда три года видишь, как падают срубленные снарядами сосны, трудно поверить, что где-то из таких же сосен делают корабельные мачты.

Ты сказал мне как-то:

— Небось в Донбассе все теперь бурьяном заросло...

— Нет. Почему же? Восстанавливают.

— Кто? — грустно усмехнулся ты. — Рабочие руки воюют или пушки на Урале льют. Нет, Донбасс — это послевоенное дело. Это нас ждет. Вот отвоюемся, придем на пепелище, будем строить...

— А хотелось бы в новый дом прийти? — засмеялся я.

— Да уж не грех солдату... Новый не новый, а все-таки...

...Как и ты, я год не был в Донбассе. Как и ты, унес я тогда на запад — как рану — горькую память о мертвом доме.

А сейчас — не во сне, вправду — стою на донецкой земле, гляжу не наглажусь на родную степь, дышу не надышусь ее дыханьем.

И вместе с тягучими запахами клевера и гречишного меда, вместе с горькой полынью и терпким чабрецом приходит ко мне знакомый запах. Запах победы.

Мы с тобой знаем, товарищ, как победа пахнет. Она пахнет дымом... Пороховой дым — там, фабричный — здесь. Нет, ты понял меня, товарищ? В Донбассе снова пахнет коксом, углем и дымом!

Пусть не все еще гудки поют поутру в Донбассе, пусть не все трубы дымят, пусть разрушенного еще больше, чем вылеченного, но дымок вьется сегодня над каждым — каждым! — заводом, над каждою шахтою.

Снова по зеленым балочкам Горловки бродят, щиплют траву задумчивые козы — «крупный рогатый скот» шахтера. Снова в горячих цехах Макеевки пьют мастера подсоленную сельтерскую воду и крикают в усы: эх, жаль, не водка! Снова

в Константиновке цепляются за бегущий трамвай мальчишки, и милиционер-девушка напрасно дует в свисток.

И маляры в розовый колер разделяют фасады домов на улице Артема в Сталино и протирают стекла до блеска. Стекла, целые стекла, товарищ, на улице, где — помнишь? — не было ни одного целого дома!

А местные люди суетливо пробегают мимо и не удивляются — привыкли, да и недосуг.

Только я один стою, изумленно разинув рот, и спрашиваю, как и ты бы спросил:

— Кто? Кто все это делает? Откуда руки, люди, материалы?

3

Товарищ!

Помнишь дороги 1941 года?

Людское море вышло из берегов и затопило большаки. Шли шахтеры с котомками за плечами. Шли строители целыми трестами, как раньше артелями. Шли мальчишки-ремесленники. Бабы устало гнали стадо. Доили коров прямо на дорогу, в пыль.

Люди шли на Восток...

Мудрая и сильная рука направляла и двигала их. И эти эшелоны, и этих людей, и усталую бабу со стадом.

Строители, шахтеры, металлурги Юга принесли на Восток свои золотые руки, свою рабочую славу. Там, в таежных делях, на Урале, на Амуре, в Сибири, обрели они опыт военного труда, дерзость, размах, вкус к риску.

Я встретил в Макеевке Арсения Васильевича Тищенко, инженера-строителя. На своем веку он немало доменных цехов воздвиг на Юге.

В дни войны он приплыл пароходом к Чусовой вместе с рабочими, их семьями и материалами строить домну. Чуть не на берегу его яростно встретил зам. Наркомстроя Павел Юдин.

— На пароходе плывешь? — загремел Юдин. — На пароходе?

Тищенко недоуменно посмотрел на него.

— На самолете надо летать в военное время! Сколько дней потерял! Вот тебе график, смотри: через пять-шесть месяцев пустишь домну.

Тищенко растерялся. Тщетно доказывал он, что ни за пять,

ни за восемь месяцев никто домен не строит ни в Америке, ни даже «у нас в Донбассе».

— Ничего, пустишь! — сказал Юдин. — Поможем!

И Тищенко пустил домну на Чусовой через шесть месяцев после этого разговора.

Ты б поговорил с ним и с его орлами, товарищ! Они восстанавливают сейчас Макеевку. Разве этих людей удивишь темпами, испугаешь трудностями? Они только усмеваются: то ли было там, в тайге!

Снова двинулись по дорогам эшелоны и люди. Война всех поставила на колеса. Со всех концов Украины и Белоруссии едет молодежь строить Донбасс.

Этих дивчат в вышитых петухами сорочках, этих синеглазых хлопцев в пиджачках не по росту ты встречал недавно, товарищ, на Черниговщине, на Волыни, на Подолии. Они выносили тебе на дорогу молоко в обливных глечиках и холодную колодезную воду. Ты, донецкий парень, принес им освобождение и жизнь. Сейчас они едут восстанавливать жизнь в твоём Донбассе.

Они едут с песнями, тягучими, деревенскими, с бабушкиными сундучками и печеными коржичками, с тайной тревогой. Они никогда раньше не уезжали из родной хаты. Они никогда не видели заводов. Они еще не умеют строить.

Их научат! К ним приставят знаменитых донбассовских мастеров. Те будут учить так: приведут строить баню. Через месяц-два и баня будет готова, и дивчата станут каменщиками, плотниками, штукатурами. Студенты строительного техникума здесь начинают свою учебу с восстановления техникума. Люди учатся труду в труде.

Что говорить, товарищ! Не хватает людей в Донбассе. Но здесь, как на войне, говорят: не числом, а умением. И то, что делали раньше тридцать, делают теперь три.

4

Сейчас в Донбассе убирают урожай, товарищ. Урожай горячего, бессонного рабочего года. Только и слышишь вокруг себя: сегодня пускают шахту в Горловке, задувают печь в Енакиево, дают первый «толчок» турбинам в Мариуполе и Макеевке...

Урожай! Богатый урожай!

Когда ходишь здесь по заводу — в Макеевке, например, — тебе рассказывают:

— Этот цех лежал на боку, — мы его подняли. Эта домна перекосилась, — мы ее выправили. Этого здания не было, — вместо него была гора завала высотой в тридцать метров.

Тот, кто не видел разрушенного Донбасса, не поймет и не поверит.

Мы с тобой видели.

И страшные горы завалов видели. И скособочившиеся цехи. И домны, из которых, как куски живого мяса, были вырваны горны...

Страшно было бродить в те дни среди этого железного хаоса. Как, чем они держатся, эти нависшие над головой железные балки, эти разорванные краны, эти качающиеся башни, эти обломки крыш, стен, колонн?

— Привычкой держатся, — смеясь, объяснил нам инженер.

Если бы пришел в те дни сюда старый инженер с молотками на фуражке, он бы сказал: все надо снести, расчистить и на голом месте строить заново.

А макеевские инженеры высмеяли бы его. Они гордятся тем, что все, что было пригодно к жизни на разрушенном заводе, они спасли и вылечили.

Здесь не всегда говорят: «Восстановить». Здесь часто говорят: «Вылечить».

И они лечили раненый завод, как добрые и умные доктора. Ампутировали мертвые конечности, выпрямляли живые, делали протезы, бетонные биндажи, подводили опоры, утолщали перекрытия. В «полевом лазарете» — в походных мастерских — лечили металлоконструкции, заботливо извлеченные из завалов. Правили металл, подрезали, клепали, сшивали... и снова пускали жить.

Как всякие подлинные хирурги, они не боялись риска. Они шли на дерзкие операции, невиданные и неслыханные в старой технике. Они верили в свои руки и в свой военный опыт. Они знали: время требует!

Они подняли лежавшую на боку стену газоочистки в пять дней. Просто подняли целиком вместе с кирпичным заполнением и железобетонным перекрытием. Они решили не демонтировать котлы на коксохиме, под которыми немцы взорвали фундаменты, а поднять их домкратами. И пока

строители заливали в фундаменты бетон, в «висячих» котлах над ними трудились монтажники.

Здесь это называют «укрупненным монтажом». Тебе не кажется, товарищ, это похожем на «массированный огонь»?

Строители научились поднимать и передвигать огромные массы металла. Они подняли обрушившийся на рудный двор грейферный кран-гигант в четыреста тонн весом. Они подняли его и поставили. У крана не было ноги. Они ее сделали. Они могут поднять своими гидродомкратами все, что угодно. Хоть весь завод.

— Только дайте нам точку опоры! — говорят инженеры.

В здании центральной электровоздуховной станции было трудно найти точку опоры. Собственно, здания не было. Была гора железного хаоса в двадцать девять тысяч тонн. Уцелел только клочок бетона. Небольшой клочок перекрытия, опирающийся на колонну. Он и стал плацдармом для наступления монтажников.

Вот так же, как мы с тобой, товарищ, уцепившись за клочок правого берега, перетаскиваем полегоньку свою технику для удара, так и монтажники подняли на высоту тридцати метров — на свой плацдарм — деррик и ринулись в бой.

Деррик потащил перед собой металлическую колонну. Поставил. Перешагнул ее. И понес новую колонну дальше. А внизу копошились люди. В одном месте еще разбирали завал, в другом уже бетонировали фундамент, в третьем монтировали воздуховку. Работали водопроводчики, электросварщики, штукатуры... Работали споро, яростно, лихо, как только советские люди умеют работать.

Ты знаешь, товарищ, что такое азарт боя. Когда смерть на смерть, и ветер в уши, и винтовка горит в руках.

Ну, а это — азарт труда.

Так еще никогда не работали!

5

Но я хочу тебе все-таки рассказать о подслеповатых окошках, товарищ.

Их можно заметить в восстановленных в прошлом году домах. Большое окно затянуто кирпичом, как бельмом, и только в уголку, как пугливый зрачок, кусочек стекла.

На эти подслеповатые окна невесело смотреть. Нет стекла. Нет леса для оконных рам. Война.

Да, война. Нет стекла, нет леса, нет кирпича. И все-таки... все-таки люди не хотят мириться с подслеповатыми окошками. Они не хотят восстанавливать свою жизнь крохами, нищенски, временно, кое-как. Они не хотят жить в заплатанных домах, работать в цехах-инвалидах.

Народ-победитель хочет и может восстановить свою мирную жизнь на прочных, богатых и красивых устоях, — мы это заработали своей кровью.

И это самое радостное из того, что я видел здесь. Ты вернешься, товарищ, домой, посмотришь на вылеченные цехи и не назовешь их инвалидами. Они стали куда прочнее, надежнее, словно горе, огонь и смерть закалили их. Честное слово, они даже похорошели, на мой глаз!

Я хотел бы, чтобы ты был сейчас со мною в Мариуполе, товарищ. Помнишь красавицу «Азовсталь» — завод на море? Мы видели ее с тобой и в дни ее величия, и в ее горькие дни. Пожалуй, этому заводу немцы навредили больше всего. И все-таки...

Ты помнишь старую электростанцию? Ее строили три года. Немцы разрушили ее в один день. И на развалинах ее мариупольские строители выстроили новую в шесть месяцев.

Она стала лучше, выше, просторнее и красивей старой станции, товарищ! Строители приняли в расчет все, что раньше было плохим и неудобным. Они сказали себе: жить после войны и работать после войны надо лучше, чем жили и работали раньше.

Они поставили котел не в девяносто тонн пара, как раньше, а в сто тридцать тонн. Пристроили подстанцию собственных нужд — ее раньше не было. Пристроили новые бетонные помещения: столовую, мастерские, контору.

Вместе со старым строителем Александром Павловичем Поборчим, выросшим здесь, на «Азовстали», ходили мы по заводу, и всюду видел я, как люди с азартом, с трудовым пафосом осуществляли свою мечту о лучшей жизни.

И, глядя на зияющие в цехах раны, думал я: что ж, обеднели мы в результате войны и разрушений? Нет. Богаче стали. Человеческой силой своей, опытом и умением.

Мы стояли с Поборчим на домне номер четыре — крупнейшей в Донбассе. Взорванная немцами, она осела и покосилась.

— Мы ее думаем поднять... — негромко сказал мне Поборчий.

— То есть как поднять? — не понял я.

— Да так. Очень просто, — объяснил он. — Подведем домкратики и того... поднимем... чуть передвинем и установим...

— Сколько же она весит? — закричал я.

— Больше тысячи тонн.

Ты помнишь бак на мартене в Макеевке, товарищ?

Он и сейчас цел. Словно нарочно. Для истории. Тогда мы с тобой считали чудом техники и победой смелого риска подъем этого бака на башню. Он весил около двухсот тонн.

А тут...

Подымет ли домну Поборчий своими «домкратиками»?

Отчего же не поднять! Разве не сумели енакиевцы в кратчайший срок воздвигнуть шедевр техники — единственную в Союзе металлическую угольную башню-красавицу? Разве, рискнув строить бетонную башню без строительных лесов, не победили макеевцы? Они впервые применили подвижную опалубку и выстроили сорокаметровую башню в двадцать пять дней вместо шести месяцев.

Было ли это штурмом? Нет, тут авралить было нельзя. Перекосишь башню. Это был «конвейер бетона». Движущаяся вверх опалубка создавала рабочий темп, от которого никто уж отстать не мог: ни штукатуры на своих подвесных люльках, ни каменщики на струнных лесах.

Нет, товарищ, добив немца, ты вернешься не на пепелище! Ты вернешься в Донбасс, охваченный радостной и дружной стройкой. Тебе дадут место на строительных лесах, и ты, засучив рукава, будешь строить новый Донбасс. Он будет еще лучше, богаче и красивее старого!

Разве не за это мы с тобой деремся сейчас, товарищ, на Карпатах, в Румынии, под Варшавой?

Сентябрь 1944 г.
Донбасс

ПЯТЫЙ

Рассказ

Они шли вдоль высокой железнодорожной насыпи, пыля сапогами по дороге, раскатанной танками и автомашинами. Фельдфебель Грюссинг шагал несколько сбоку, следя за тем, чтобы между конвоем и партизанами сохранялась дистанция, исключая возможность побега.

Хотя порученный его отделению расстрел, при всем желании, никак нельзя было причислить к боевым подвигам, однако Грюссингу льстило, что именно на нем остановился выбор командира, что именно он заслужил это доверие. «Дьявольская пятерка» стоила их батальону особенно много крови и нервов.

Ее окружили после того, как в молниеносном ночном налете ею полностью был уничтожен комендантский пост на соседнем руднике. Преследуемая по пятам пятерка пыталась уйти от погони глухой лесистой балкой, где когда-то журчал ручей шахтного водоотлива, и пришлось развернуть весь батальон для того, чтобы прочесать балку и затем сомкнуть кольцо вокруг отчаянно отстреливавшихся партизан. И уж такова была эта пятерка, что не оставила патронов даже для себя, а предпочла отправить на тот свет лишнюю пару эсэсовцев. Только поэтому и удалось схватить всех живыми. Правда, это не принесло никакого толка. Конечно, они могли бы рассказать о многом — о гектографе, листовки которого каждую неделю расклеивались по всему району, о местонахождении базы, где хранилась взрывчатка, отправившая под откос уже не один эшелон — да и мало ли еще о чем! Но вся изощренность, вся изобретательность обер-лейтенанта Губа оказались бессильными сломить упорное молчание этих людей. И вот сейчас избитые, окровавленные они шли по-прежнему молчаливые, бесшумно ступали босыми ногами впереди своих конвоиров. Обер-лейтенант Губ заявил, что он сам придет по их следам для того, чтобы лично убедиться в том, как выполнен его приказ, и, черт побери, лично пересчитать все трупы.

Грюссинг прислушивался, не раздастся ли позади знакомый шум малолитражки, но нет — ничего не было слышно. Ветер дул в сторону города и доносил только скуление бездомных, одичавших псов, забежавших в степь, да запах гари — тлели сожженные на корню вызревшие хлеба, стога прошлогодней соломы, и черная ночь ровно прорезалась вдали у невидимого горизонта золотисто-багровой змейкой огня.

— Уже скоро, ребята, скоро, — подбодрил Грюссинг, — еще сотня шагов и все.

Он относился к солдатам своего отделения с пренебрежительной снисходительностью. Альбер Шван — парикмахер из Мюнхена, Ширм — студент из Дюссельдорфа, Гартман, Штрейхер, Гейн — сыны кенигсбергских бюргеров — все они были еще совсем юнцы, но их с десяток лет воспитывал имперский союз молодежи, и можно было предполагать, что в конце концов из них вырастут настоящие завоеватели. Вот только этот увалень Клемер. И зачем направили в его отделение этого тирольского шлапака, которому впору продолжать доить коров на хозяйской ферме, или, в крайнем случае, таскать бревна в саперном батальоне.

Но присутствие в отделении Клемера как бы уравновешивалось Гансом Куртом, один вид которого — массивный низ лица, прямой жесткий рот — внушал уважение и которого Грюссинг давно метил в ефрейторы.

Впереди в неглубокой выемке темнел кустарник.

— Не хлопать ушами! — прикрикнул Грюссинг конвойным, напоминая им о внимании. Еще бы чего не хватало — допустить бегство. Да Губ тогда по меньшей мере загонит их всех в штрафной батальон. Что это, не почудилось ли? То ли смертники переговаривались между собой еле уловимым шепотом, то ли ветер шевельнулся и зашелестел в траве? Будь она проклята, эта адская крошечная темь. Нечего дальше плестись, пора кончать. Грюссинг хотел уже скомандовать остановку, чтобы не проходить опасное, заросшее кустарником место, когда неожиданно, сбив с ног Ширма, шагавшего слева, вся пятерка метнулась в сторону.

— Стой! — крикнул Ганс Курт и выстрелил вслед.

— Стой!

Пятерка бежала к насыпи, в тени которой ее трудно было разглядеть, и беспорядочные одиночные выстрелы гремели впустую.

— Ха! — злорадно выкрикнул Грюссинг. Ну, что же, они сейчас взбегут на гребень насыпи и там, отчетливо выделяясь на фоне озаренного пожарами неба, будут перестреляны, как перепела. Торопливо и резко он отдал команду. Солдаты мгновенно приготовились стрелять, выжидая появления живой цели. Но произошло непредвиденное. Наверху не показывался никто, а между тем тени бежавших словно растворились, слились с насыпью, вобрались в нее, и только гулкий, точно разносимый эхом топот ног позволял угадывать, что они все же где-то здесь, вблизи.

— Тоннель, проклятый тоннель, — догадался Грюссинг. Он разглядел небольшую черную дыру в насыпи, выходящую на противоположную сторону железной дороги.

— Да стреляйте же! — сорвавшимся от ярости голосом скомандовал он, и первый разрядил свой вальтер в зияющее темнотой отверстие. Вслед за ним выпустили очереди из автоматов и солдаты. Еще по одной очереди, еще и еще... В последний раз эхо повторило вскрик пораженных пулями людей и затем оборвалось, заглохло, прекратились и стоны.

— Ну, что же, неплохая получилась мышеловка, — хриплый смех Курта, после еще не прошедшего лихорадочного напряжения и поспешных выстрелов, прозвучал деланно, угнетенно. Они, теперь уже не торопясь, подошли к тоннелю, спотыкаясь о кремни, вымытые из земли и нанесенные на дно дождевыми потоками. Грюссинга сейчас беспокоило одно: насколько удачными и меткими были их выстрелы. И он приказал Клемеру проверить это. Клемеру не по сердцу пришлось такое поручение. Он в нерешительности закинул автомат за плечо, потом снял и также медлительно перезарядил его и наконец шагнул в темноту.

Но ему не пришлось далеко идти. Всего два шага от входа.

— Ну, что там? — требовательно спросил Грюссинг.

Свет клемеровского фонаря замер на месте, тускло освещая серые бетонные стены тоннеля и тела убитых.

— Ну, говори же, что там?

— Их только четыре, господин фельдфебель, — испуганно произнес Клемер.

— А впереди? Посвети вперед, увалень!

— Никого нет и впереди, господин фельдфебель. Они сделали пробку! — слышно было, как голос Клемера задрожал при этих словах, и он цокнул зубами. — Они сделали пробку!

— О какой пробке ты вспоминаешь, пьяная скотина? — рассвирепел Грюссинг, чувствуя, что дело оборачивается плохо, очень плохо. Ругаясь, он полез в дыру и остановился перед тем, что так испугало Клемера. Четыре тела плотно, наглухо закупоривали тоннель. Казалось, даже свинец, разорвавший живую человеческую ткань, не смог ослабить неимоверного напряжения мускулов рук и ног, упершихся в стенки, закаменевших в этом последнем отчаянном усилии. Это была подлинно сатанинская, предсмертная предприимчивость людей, расчетливо обрекающих себя на гибель, чтобы не быть перестрелянными по одному, и вернуть к борьбе своего товарища — может быть, своего вожака, чтобы снова гремела на рельсах взрывчатка, чтобы снова разлетались листовки.

Ярость полного бессилия перед этой смертью, упрямо утверждающей жизнь, вызвала холодок озноба по всему телу Грюссинга. Он оглянулся на своих подчиненных. Они молчаливо стояли у входа в тоннель и растерянно смотрели на убитых. Мучительная агония была в позах и лицах расстрелянных. Но с такой же, почти скульптурной, выразительностью изваян был и благородный волевой порыв, одухотворивший их. Пронизанный пулями, кудрявый юноша охватил рукой плечо обнаженного по пояс гиганта, чье огромное тело с чуть закинутой назад головой и связанными позади натруженными руками, поддерживалось спереди двумя упавшими к ногам товарищами, и, казалось, распирало узкий проход тоннеля, стремилось поднять и опрокинуть его тяжелые бетонные своды.

— Разобрать! — отрывисто распорядился Грюссинг. Хотелось поскорее оборвать, рассеять затянувшуюся паузу.

Клемер взялся за плечо гиганта, и тот мягко соскользнул на каменистое дно тоннеля. Так пепел, сохраняющий форму сгоревшего предмета, рассыпается при первом же грубом прикосновении.

Но и после того, как расстрелянных подтащили к выходу из тоннеля, боязливая растерянность солдат, предельная натянутость нервов продолжались, и они подбадривали себя то циничными шутками, то грубой бесцеремонной руганью.

— А как же... как же пятый, господин фельдфебель? Ведь сейчас придет господин обер-лейтенант, — спросил, по-прежнему лихорадочно вздрагивающий, Клемер.

— Пятый? Ну, что же поделаешь, пятым придется быть

тебе, — сердито нахмурившись, чтобы внушительней припугнуть этого неповоротливого увальня, произнес Грюссинг.

— Мне? Я — пятый? — жалкая, заискивающая улыбка искривила рот Клемера. — Зачем вы так шутите, господин фельдфебель?

— Я говорю вполне серьезно, не правда ли ребята? — обратился фельдфебель к солдатам. — Кому-то же надо быть пятым, чтобы выручить нас? Ведь Губ церемониться не будет. Он беспощаден.

— Конечно, правда, — подтвердил Курт, которому начала нравиться затеваемая шутка. — К тому же обер-лейтенант не станет требовать у мертвецов паспорта.

— Конечно, конечно, — согласились и поддакнули еще трое, радуясь, что после всего происшедшего есть повод ухмыльнуться. — Он просто пересчитает все трупы.

С минуту Клемер со странной блуждающей улыбкой всматривался в лица подступивших к нему сослуживцев, но тщетно он искал в их глазах усмешки, — мы, мол, позабавились, Клемер, — он ничего не мог разглядеть и потому, что ночь ступшеывала черты лиц, делала их одинаково насупленными, хмурыми, равнодушными.

Сильным, быстрым прыжком Клемер поднялся на откос насыпи.

— Что ты, что ты, Клемер? — обеспокоенно окликнул его фельдфебель.

— Почему я, почему же именно я пятый? — сипло зашептал Клемер, с ужасом озираясь.

— Ну полно, полно же, — почувствовав, что шутка зашла слишком далеко, сказал Грюссинг, — успокойся.

— Почему, почему я? — продолжал шептать Клемер. Казалось, что он задыхается и судорожным движением рук хватает воздух, балансирует на крутом откосе насыпи.

— Да перестань же паясничать! — прикрикнул Курт, подходя к солдату, — перестань же!

— Не подходить! — дико, иступленно крикнул Клемер. Быстрым движением он оттянул назад рукоятку автомата, повернул ее и остановил на боевом взводе.

Но Курт шел и уже поднял руку, чтобы хлопнуть Клемера по плечу, — извини, мол, давай забудем это, — когда раздался выстрел, и Курт покатился с насыпи с замершим, неоконченным проклятием.

— Идиот! — яростно завопил Грюссинг, хватаясь за револьвер. — Идиот!

Клемер пятился назад, вверх по насыпи, тяжело дыша и осыпая вниз песок. Длинная очередь его шмайсера ударила по стоявшим на дороге, и все шестеро, тяжело охнув, грузно опустились на землю.

— Сволочь, — сипел Грюссинг, которому пуля попала в живот. Там, в животе, все запылало и, однако, еще мучительней было удушье черного бешенства, неожиданно подступившее к горлу. С трудом приподняв голову над землей, он прицелился в Клемера, взобравшегося теперь на самый гребень насыпи и нажал спусковой крючок.

Секунду силуэт шатался, словно пошатнувшийся раздумывал, на какую сторону насыпи ему удобней скатиться, и затем с воплем рухнул, осыпая за собой песок и камни. Но Грюссинг, задыхаясь от боли и злобы, уже не видел этого. Не видел он и того, как вдали, на шоссе, засветились желтые пуговицы автомобильных фар. Это ехал Губ.

Публикация М. И. Диденко

Виктор Шумов

НАЧАЛО

Глава из повести «Смерти смотрели в лицо»

Леонид Чибисов ждал весточки от Андрея Андреевича Вербоноля. Необходимо было доложить о поступлении на работу в немецкую организацию «сельхозкоманда». Первое задание он выполнил — обеспечил себе возможность жить легально. Не терпелось рассказать и о Богоявленской. Привлечь бы ее к подпольной работе, но он не имел права входить в контакт с Августой Гавриловной без разрешения Вербоноля. С ним Леонида Чибисова познакомил капитан Шумко за месяц до прихода в город оккупантов.

— Обстановка будет сложная, — сказал капитан будущим подпольщикам. Он тщательно инструктировал их. — Почти

все вопросы придется решать самим. Андрей Андреевич, вы должны взять на себя боевую часть подполья. Товарищ Чибисов — организацию печатной пропаганды.

Вербоноль лет на пятнадцать старше Леонида. Высокий, плечистый, на голове густая черная шевелюра, зачесанная назад. Он понравился Чибисову выдержкой, неторопливым разговором, прямым взглядом чуть узковатых глаз под большими черными бровями.

От Шумко они вышли вместе. Вербоноль предложил посидеть в сквере Павших коммунаров... Андрей Андреевич опустил на скамью, положил руки на спинку и, запрокинув голову, тихо сказал:

— Осень. Деревья присмирели.

Людей вблизи не было. Только в глубине сквера из траншеи выбрасывали землю. Рыли укрытия и возле банка. Стоял безветренный полдень. На заводской стороне вскрикивали маневровые паровозы да тяжело посапывала воздуходувка. Раздавался резкий выхлоп на доменной печи и с протяжным завыванием несся над улицами, крышами домов и сквером, где сидели два человека, еще несколько часов тому назад не знавшие друг друга. Они, возможно, и раньше бывали в этом сквере, стояли рядом над могилами коммунаров. На чугунных щитах — фамилии павших двадцать лет назад. Андрей Андреевич знал некоторых из них. Он был в рядах красных партизан и воевал с бандитами, от рук которых погибли лежащие ныне под могильными плитами: Леонид родился год спустя после революции. Отец его завоевывал свободу. Теперь пришла пора сыну отстаивать ее.

Побуревший лист клена сорвался с ветки и, описав дугу, упал в чашу небольшого фонтана на центральной аллее. Посередине чаши на камнях стояла фигура девочки. Андрей Андреевич проследил за полетом листа и задержал взгляд на статуе.

В городе это был единственный фонтанчик со скульптурой. По вечерам вокруг него собирались люди и, тихо переговариваясь, любовались веселыми струйками, блестящими в электрическом свете. Вербоноль приходил в сквер до женитьбы. Когда обзавелся семьей и построил дом на Калиновке, сюда заглядывал редко — по пути в кинотеатр «Красный» или в драматический театр: они находились невдалеке от сквера, за базарной площадью.

Шумное место в Сталино — квартал от Госбанка до заводских ворот. В двадцатые годы людей притягивал цирк, потом — театр и кино. Затем поднялся крытый рынок — пассаж, а года два назад вырос огромный универмаг... Сейчас вокруг настороженная тишина. Фронт совсем близко. Все учреждения послали людей на рытье окопов. В городе, во дворах и возле каждого дома копают укрытия. С вечера по улицам ходят наряды милиции и добровольцы.

Месяц назад Вербонолю выдали удостоверение инспектора «Донгортопа». Он имеет круглосуточный пропуск. Так началась его подготовка к подпольной работе. Сталино могут захватить враги.

— Будем встречаться здесь, — прервал молчание Андрей Андреевич. — Каждую пятницу.

Он пожал руку Чибисову и пошел в сторону универмага. Походка неторопливая, твердая. Леонид с минуту смотрел ему вслед, потом направился к троллейбусу.

Пятого октября они встретились снова.

— Пойдем, — сказал Вербоноль. — Сидеть некогда.

С первой линии вышли на Пожарную площадь. По улицам ехали груженные машины. Их водители подавали нервные сигналы. Разного тембра и звучания — резкоголосые, вибрирующие, басовитые, визгливые — висели они над взбудораженным городом. По мостовым гремели брички, проскакивали пролетки, тархтели тарантасы. Возчики нетерпеливо понукали лошадей и хлестали их кнутами. Налетавший из переулка ветер подхватывал обрывки газет, бумагу и тащил по тротуарам. Хлопали двери учреждений, в квартирах плакали дети, кричали взрослые. Небольшими группками люди направлялись в сторону Макеевского шоссе.

Вербоноль и Чибисов шли молча. На какую-то секунду улицы заполонила тишина, и ветер донес тягучий гул со стороны Рутченково.

— Канонада, — проговорил Андрей Андреевич.

Пришли на десятую линию. У полутораэтажного дома Вербоноль заговорил снова:

— Запоминай. Я буду показывать конспиративные квартиры. Здесь наши люди. Знать их тебе не обязательно. До поры до времени, понятно. Встречи с ними только по паролю. Красный дом с зелеными воротами, что прошли, — первый. Запомнил?

Чибисов оглянулся и еще раз посмотрел на полутораэтажный дом.

— Запомнил, — ответил он.

На Двенадцатой линии подпольщик показал на приземистую хибарку с подслеповатыми окнами, и они по Институтскому проспекту направились к Кальмиусу. После непродолжительного молчания Андрей Андреевич спросил:

— А что у тебя?

— Целую неделю тренировался. Поначалу, как дятел, клевал — одним пальцем, — сказал Чибисов и широко улыбнулся. — Напечатал послание машинистке. Объяснился в любви... Вчера уехала и не попрощалась.

— Может, это и лучше, Леня. — Голос у Вербоноля дрогнул. — Меньше тревоги и прочего.

С Десятой линии по Институтскому проспекту спустились к Кальмиусу. То и дело налетал ветер. Оголенные деревья дрожали, как в ознобе. Над землей тяжело проплывали тучи... Возле мостика, перекинутого через Кальмиус, Вербоноль остановился.

— Прощаемся, — сказал он.

— Как? Вы уходите из города?

— Меня не будет дней десять. Все остается по-старому... Вот, брат, как все обернулось. Война достала и нас.

— А-а, — вздохнул Чибисов. — Проклятый туберкулез... Мне бы на фронт.

— Он здесь будет, Леня. А где труднее — неизвестно, — сказал Андрей Андреевич. Прощался и пошел через мостик, неторопливо, будто уходил на отдых после работы.

У Чибисова защемило сердце. Рядом, как рубеж, протекала черная речка. Кажется, стоит перейти ее — и все недавнее возвратится назад. Нет никакой войны, люди радостные, озорные и добрые окружают его. Впереди непечатый край годов, работа, любимая девушка и высокое-высокое небо. Сколько раз он подымался в неоглядную синь. Бывало, повиснет под белым куполом парашюта и не верит, что выше птиц забрался. А потом — болезнь. Рухнула первая мечта — небо перестало принимать его...

Вербоноль скрылся за домами. Леонид вверх по улице направился к центру города. Вышел к Дому Советов, где его сослуживцы упаковывали документы и ценные вещи для отправки в тыл.

Леонид возвратился домой на Пятую Александровку под вечер. В пути его застал холодный дождь, больно хлеставший по лицу. Сняв мокрое пальто, он прошел в свою комнатку и тяжело опустился на кровать. Раза два в комнатку заглянула мать, тихо окликнула его.

— Должно, уснул, — прошептала Наталья Дмитриевна. Но Леонид не спал, он вслушивался в тишину. Дождь прекратился, и, кажется, замерла вся жизнь. Молчит завод, со двора не доносятся ребячьи голоса, не слышно и тревожной канонады. Странно и жутко, будто город внезапно онемел или вымер. Минувший напряженный день, долгое хождение с Вербонолем, неожиданное расставание с ним и эта глубокая тишина утомили Чибисова, и он заснул.

За полночь подхватился от однообразного приглушенного шума. Выбежал за калитку и припал спиной к столбу. По раскисшей улице, трудно переставляя ноги, шли красноармейцы. Они покидали город. С Карьерной*, мощенной булыжником, улицы доносилось тарактенье телег и долетал тяжелый скрип оружейных лафетов.

Измученные в оборонительных боях остатки полков под покровом темноты двигались на северную окраину Сталино, чтобы организовать оборону за городом. По расчетам командования, Путиловский лес и пересеченная местность позволят как можно дольше противостоять врагу до прихода свежих сил. К тому же, бои в самом городе покалечили бы его и принесли неисчислимые жертвы среди мирного населения.

На рассвете 21 октября 1941 года гитлеровцы вошли в Сталино.

...И вот вместе с некоторыми из коллег по уполнаркомзагу, где Леонид Чибисов работал до войны, он стал служащим «сельхозкоманды». Что заставят делать новые власти, еще никто не знает, удастся ли использовать немецкую контору в интересах подпольной борьбы? Нужно присматриваться и выжидать. «Пока Вербоноля нет, посоветуюсь о делах с Тимофеем, — подумал Чибисов. — Завтра свидание с ним».

Они встретились в парке за Первым прудом.

Тимофей Оленчук сидел у воды на высохшем комле тополя. Он был в полупальто и в серой фуражке. От темно-

* Звездочки по тексту означают старые названия улиц и поселков города Донецка.

голубого пруда тянуло холодом. Небольшой морозец прихватил светлой ледовой корочкой лишь прибрежную кромку.

Чибисов издали увидел Оленчука и ускорил шаги. Под ногами шуршали сморщенные тополиные и кленовые листья. Тимофей Романович обернулся на приближающийся шорох и, узнав своего нового товарища, поднялся. Молча протянули друг другу руки и долго не отпускали их, радуясь, что увиделись. Они живы, они вместе. А ведь порой нелегкая дума теребила душу: вдруг напарника по подполью убили?

Чибисов рассказал о поступлении на работу:

— Даже документ получил. Вот.

Он вытащил из бокового кармана пиджака белую картонку, сложенную вдвое. Протянул ее Оленчуку.

— Аусвайс называется. Официальная бумага, — зло проговорил Леонид.

— Зато надежно, — отозвался Тимофей Романович. — Мне бы такую.

— А может, к нам?

— В одном месте двоим — жирно будет. Город большой. Своих расставлять нужно в разных точках.

Они медленно шли в сторону Второго пруда. Время встречи подходило к концу, а расставаться не хотелось.

— Ты бы, Леня, ко мне заглянул, — предложил Оленчук.

— На нашем поселке пока тихо. Я живу на отшибе.

— Не стоит, — ответил Чибисов и сразу же подумал о Вербоноле. Тот не приглашал к себе домой. Значит, нельзя. Лишний глаз — больше опасности.

— Нет, пока будем видеться здесь.

— Эх, нам бы в компанию Шуру Шведова, — вдруг с тоской проговорил Тимофей Романович. — Это он определил меня на дело. Решительный и умница. Завидую ему — в регулярных войсках...

Капитан Александр Антонович Шведов покидал приморский город ранним ноябрьским утром. С моря дул низовой ветер, врвался в узкие улочки и переулки заводского поселка, подымал пыль и, казалось подгонял прохожего в серой телогрейке.

На окраине города Шведов остановился, сдернул с головы потрепанную шапку-ушанку и про себя сказал: «Успеха вам, товарищи». Сбежал по жухлой траве в неглубокий овраг и торопливо зашагал вдоль прихваченного ледком ручья. Минут

через двадцать он оглянулся. Высокий частокол труб и черные башни домен подпирали сизое небо. Тяжелые тучи придавили к земле огромное тело еще недавно живого завода, и он перестал дышать. «И не должен дышать», — вспомнил Шведов слова, которые он сказал товарищам, оставленным для борьбы с фашистскими оккупантами.

Советское командование располагало данными о том, что гитлеровцы собираются с захватом Мариуполя использовать его заводы для выплавки броневоего металла. Планировали выпуск специальной стали для танков и пушек, собирались строить и ремонтировать корабли и подлодки.

Командование послало Шведова с заданием организовать в Мариуполе надежный конспиративный узел связи для постоянной информации о намерениях немцев. Александр доставил в поселок рацию. Тщательно проинструктировал подпольщиков, несколько раз выходил в эфир и передавал данные штабу. В конце октября ему приказали возвратиться назад и указали место перехода линии фронта.

Уже вторую неделю он шел из Мариуполя к Северскому Донцу. Шел окольными степными тропками в стороне от дороги, ведущей в областной центр. Каждый день под вечер старался завернуть в село. Еще издали искал глазами хату на отшибе или на краю улицы и в темноте стучал в окно. Порой долго никто не отзывался.

— Из окружения я, — говорил Александр Антонович, если из хаты откликались. — Пустите погреться.

Вблизи Волновахи Шведов вышел к железнодорожной линии. Путепровод был взорван. По обе стороны лежали покореженные, побитые и сожженные автомашины. Возле посадки стояли два танка: немецкий без гусениц, у советского была сбита башня. Рельсы разворочены снарядами и авиабомбами... Шведов поднял рукоятку от немецкой гранаты и запустил ее в черный танк со свастикой.

В сумерках добрался до небольшого села. Его хаты сбились в одну кучу на покато́м склоне, и казалось, вот-вот кинутся бежать к речушке. Раздумывая, оставаться или нет на ночевку, он стал обходить село справа и вдруг на просветленном куске неба, у самого горизонта, увидел виселицу с трупом. Над стьлой от ранних ноябрьских морозов землей, над замершим селом подымалась лапа зловещей фашистской свастики с повешенной на ней жертвой. Шведов ускорил шаги.

Шел всю ночь по стерне, по промерзшим кочкам, проди-
рался через бурьян, посадки и перелески. Впереди светила
Полярная звезда, в ее стороне лежал родной город, а за ним
— фронтовой участок, где можно пробиться к своим.

Сталино Александр Антонович обошел с запада. Издали
видел терриконы Петровских рудников. У жиденькой посад-
ки присел отдохнуть. Ныли ноги, хотелось вытянуться на
земле и забыться. Но холод забирался под стеганку, холщовые
брюки дубели от мороза. Он встал, с трудом сделал несколько
шагов и увидел трепыхавшийся у тонкого ствола молодень-
кого клена развернутый тетрадный лист. Поднял его, это была
прокламация, написанная от руки мелким почерком взросло-
го человека. «Никогда бандиту Гитлеру не покорить наш
родной Донбасс, не сломить волю народов и сплоченность
трудящихся... Снова над Донбассом лучисто засияет красное
знамя победы!»

В горле перехватило дыхание, забилось в радости и тревоге
сердце — кто ты, смелый и непокорившийся человек? Один
или вместе с верными друзьями бросил вызов ненавистному
врагу в тяжелую годину для милой земли? Кто держал в руках
белый листок со страстными словами, кому они запали в
душу, кого позвали на борьбу? И в памяти Шведова ожили
недавние события, всего месячной давности, когда он так
неожиданно попал в родной город и увидел свою семью.

Призванный в начале войны в сводный Коммунистичес-
кий полк, Шведов через три месяца был откомандирован в
распоряжение командования Южного фронта как человек,
знавший Донбасс. Александр родился в Сталино в семье
шахтного кузнеца политкаторжанина Антона Шведова. Рано
потерял отца, работал в кузнице, девятнадцати лет вступил в
партию. Был комсомольским вожаком на Смолянке, инструк-
тором райкома комсомола. После службы в армии попал на
курсы ответственных работников, и его направили на долж-
ность помощника заведующего шахтой «Пролетар». Через
полтора года стал инструктором технических курсов Центро-
союза при Сталинском облпотребсоюзе. В середине 1939 года
уехал на учебу в Киев, после чего работал заместителем
председателя Станиславского облпотребсоюза.

Война застала Александра Антонович в Киеве на совеща-
нии. Он поспешил в Станислав. На станции Чертково встре-
тил свою семью. Жена Мария Анатольевна с трехмесячным

Валериком, четырехлетним Анатолием и младшей сестрой Надей ехали в Сталино, подальше от войны, как считали они.

— Конечно, там будет спокойнее, — сказал Шведов.

— А ты? — испуганно спросила жена.

— Нужно эвакуировать учреждение...

— В Станиславе нас бомбили, Саша! — воскликнула Мария Анатольевна. — Там бои.

— Не волнуйся, Муся, все будет хорошо, — ответил муж.

Они расстались...

А в октябре он появился в Сталино. В гражданской одежде, похудевший, озабоченный, старше своих тридцати лет. Матери Вере Борисовне, у которой поселилась его семья, и родственникам сказал, что ему дали отпуск. А жене, получившей присланные им продовольственный и денежный аттестат, признался: в Сталино он проездом.

— Кого ты видела из наших знакомых? — спросил он.

— Тимофей Оленчук дома, — ответила Мария Анатольевна.

— До сих пор не призвали?

— Приходил к нам в штатском.

С Оленчуком Александр Антонович познакомился в начале тридцатых годов. Тот приехал в Сталино из армии, женился на девушке, с которой Шведов учился в одной школе и жил по соседству.

Он пошел к товарищу на поселок Шмидта. Они обрадовались друг другу, обнялись, Тимофей Романович успел шепнуть на ухо неожиданному гостю:

— При моих ни о чем не спрашивай.

Предложил выйти на улицу. По пустырю они направились к Дурной балке, лежавшей за Одиннадцатой шахтой.

— Меня бракуют врачи, — с грустью проговорил Тимофей Романович. — По всему видно — фрицы доберутся сюда. При отходе наших пристану к какой-нибудь части и буду бить гадов.

— А если здесь? — спросил Шведов.

— Что — «здесь»? Остаться? — воскликнул Оленчук и приостановился. — Да ты что? Один в поле не воин.

— Почему один? Подполье обязательно будет.

— Да я и не знаю, к кому идти.

— Я знаю, Тима. Завтра в десять утра жду возле Госбанка на Первой. Договорились?

На следующий день он представил Оленчука капитану Шумко. Они беседовали долго и обстоятельно. Тимофей Романович согласился остаться на оккупированной территории. Перед отъездом в Мариуполь Александр Антонович снова навестил друга. По возбужденному блеску черных глаз понял, что настроение у того улучшилось.

— Ты знаешь, я уже не один, — признался он.

— Замечательно, — ответил Шведов. — А злости к врагу тебе не занимать.

Дома расставание было трудным. Александр Антонович настаивал, чтобы семья эвакуировалась, обещал машину. И вот теперь неизвестно, где они сейчас, что с ними?

Рядом окраина города. Часа через два он будет на Смоленке и все узнает, все... Его обдало жаром, на лбу выступила испарина. «Меня ждут в штабе, я не имею права!.. Подальше от этого места, и не мучиться. Муся уехала. Наверное, меня уже ждет ее письмо...»

Александр Антонович стянул с головы шапку и закрыл ею глаза, будто боялся, что увидит неотвратимое. Холод пощекотал затылок, и он глубоко натянул ушанку. Медленно пошел вдоль посадки, и так же неторопливо стало проплывать перед ним совсем недавнее прошлое, но теперь такое далекое и неповторимое. Он видел лицо жены, незащищенный взгляд голубых глаз, ощущал горьковатый, но дорогой запах каштановых волос. В уши то и дело врвался лепет Толика, так похожего на него. Слышалось учащенное дыхание Надюши, и никак не мог представить себе маленького Валерика. От этого что-то ноющее подкатывалось под самое сердце и мешало идти. «Уже полгода ему, — думал Шведов. — Без меня растит Муся... Милая, добрая моя. Мы были с тобой счастливы. Ведь были, были... Помнишь, как встретились? На шахте...»

На шахте «Пролетар» Мария Савостенок работала табельщицей. Не один шахтер подолгу стоял в сторонке и, вздыхая, поглядывал на белолицую девушку с пышными волосами. Она улыбнется — и защемит у парня сердце от невозможной тоски. Глаза у нее голубые, брови под шнурочек. Слова произносит ласково, певуче. Александр как увидел Мусю, так и прирос к ней душою. Обратила внимание на смуглого чубатого заместителя заведующего и Мария. Но взглянет

мельком — и отвернется с побледневшим лицом, губу больно прикусит. Ведь была уже замужем. Вышла за красавца. А через два месяца узнала, что у него жена и ребенок. Прогнала его и теперь боится заикнуться о прошлом. А Шведов все чаще заговаривал с ней, узнал все: и что внука потомственного шахтера, и что отец воевал в гражданскую. В семнадцатом году умерла ее мать. Отец — кадровый военный — обзавелся новой семьей и после демобилизации приехал в Сталино с дочерью Надей. Вскоре он умер. С того времени работает Мария Савостенок: сначала рассыльной, потом табельщицей, а теперь — табельщица-расчетчик на «Пролетаре».

Шведов непроизвольно улыбнулся. Нет, не ошибся, взяв себе в жены Марию. Прикипел к ней, и она за ним на край света пойдет. Ласковая, нежная и решительная.

Они перебрались на Смоянку к Вере Борисовне, забрали с собой двенадцатилетнюю Надю. Маленькая комнатуха с печкой, столик треугольный в углу, кровать у окна. Придут с работы и затевают с Надей игру в прятки.

Подрастала Надя и видела, как дружно живет ее сестра с мужем. Было порой в его поступках что-то мальчишеское, озорное. Поехал как-то в Мариуполь и на другой день послал телеграмму домой: «Муся, приезжай немедленно». Жена встревожилась — не беда ли с ним? Быстрее на поезд — и приехала. А Саша ее стоит на перроне, высматривает жену. Увидела его, подбежала, спрашивает:

— Что случилось, милый?

— Не могу без тебя. Дня не могу, понимаешь?

— Сумасшедший мой. Разве так можно? — упрекает, а сама прижимается к нему, и сердце от радости заходится...

От воспоминаний будто полегчало на душе.

Жидкая посадка давно осталась позади. Александр Антонович свернул на дорогу, которая спускалась вниз к пруду. Пасмурный день затягивало тучами, тяжелыми, неповоротливыми. Пахло снегом.

Часов в двенадцать, по полудню, он вышел к станции Очеретино. Хотелось пить, и Шведов повернул к небольшому, в два этажа, зданию вокзала. Кубовая была разбита, краны покорежены. Невдалеке над огромной воронкой наклонился старый осокорь, словно хотел широкой с голыми ветвями кроной прикрыть глубокую рану земли. Он был сам смертельно ранен и чудом держался над своей могилой. Такие же

могучие оголенные осокори окружали сиротливое вокзальное помещение, глядевшее выжженными глазницами окон на пустой перрон и взорванную колею. Вокруг никаких признаков жизни. Шведов глубоко вздохнул и собрался было идти, как увидел невесть откуда появившегося мальчишку. В больших, не по росту валенках, в широченном ватнике, подвязанном веревкой, и потертом треухе, он медленно приближался к нему. Остановился шагах в трех и молча стал рассматривать незнакомца голодными глазами из-под нахлобученной шапки.

— Ты откуда такой? — спросил Александр Антонович.

— Сам откуда? — пробурчал тот.

— От моря синего иду. А Ясиноватая далеко отсюда?

— Раньше близко была, а теперь не знаю.

— Как это раньше?

— По железке ездили. На паровозе, — сказал печальным голосом мальчик и показал рукой на железнодорожное полотно. — Гляди, ничего не осталось.

— А если пешком, по шпалам?

— Наши по профилю ходят. Во-о-он за переездом, — ответил он и вытянул руку в сторону поникшего семафора.

Но Шведову нужна была дорога не на Ясиноватую, а в противоположную сторону — на север, к Донцу. Пустынный степной шлях спускался в овраги, взбирался на пригорки, пересекал реденькие рощицы и уныло уходил под самый горизонт.

Еще издали Александр Антонович увидел человека, сидящего на придорожном камне. Тот не двигался, видимо, спал, опустив голову до самых колен. «Закоченеет. Нужно разбудить», — подумал он и ускорил шаг. Но отдыхавший вдруг встрепенулся, резко встал. В его глазах мелькнула растерянность. Это был молодой парень в телогрейке и сапогах. Он напрягся, словно ожидал нападения незнакомца. Но Александр Антонович, скупно улыбнувшись, прошел мимо. Парня будто подтолкнули в спину, и он нерешительно двинулся следом. Смотрел на коренастую фигуру, на уверенную походку Шведова и убеждал самого себя, что впереди идет свой человек.

Вскоре Александр Антонович оглянулся, потом еще раз. Остановился, наклонясь, подтянул голенища сапог, постучал

каблуком по замерзшей земле и стал ждать. Парень приблизился, и он спросил:

— Далеко идешь?

— Та на Донец, — ответил тот нерешительно.

— Значит, по пути... А имя-то как?

— Называйте Сашкой.

— Выходит, тезка, — сказал Шведов и протянул руку.

— Будем знакомы. А дорогу знаешь?

— Первый раз иду.

— И я тоже. Вдвоем веселее, — проговорил Александр Антонович. — Зимний день с воробьиный нос. К вечеру нужно до села добраться.

У Александра Ященко, оперативного работника авиационной части, Шведов был не первым спутником на длинных дорогах оккупированной врагом территории. После выполнения спецзадания командир группы сказал, что они попали в окружение и следует по одному просачиваться через линию фронта и по возможности собирать сведения о противнике.

— Откуда же ты идешь, тезка? — спросил Шведов.

— Вообще-то из окружения, — ответил Ященко. — С неделю был в Сталино. Жил до войны на Буденновке. Там...

— Послушай, — перебил Александр Антонович. — Может, мы и родичи с тобой? Я ведь тоже из Сталино... — И уже тише спросил: — Как там сейчас?

— До сих пор дымом пахнет. Лютуют, сволочи. Расстреливают людей, жгут дома... Лучше на фронте драться!

— А как же твои?

— Эвакуировались.

Шведов сцепил зубы, посуровел, задумался. Его снова растревожила мысль о семье.

В сумерках они попросились на ночевку в крайнюю хату какого-то хуторка. Дверь открыл горбатый старик.

Ничего не спрашивая, показал на темный угол в коридоре, задвинул засов на дверях и ушел в хату.

Шведов и Ященко оторопело стояли посреди сенцев.

Наконец Саша тихо проговорил:

— Может, уйдем?

— Здесь хоть крыша над головой, — ответил Шведов шепотом. Под сапогами зашуршало сено. — Вот и постель. Давай располагайся, — уже громче добавил он.

Они забрались в сено и легли рядом — спина к спине.

Саша попытался заговорить, но Шведов перебил:

— Ни о чем не думать. Спать. Выходить будем затемно.

Их пробирал холод, сосало под ложечкой от голода, но усталость взяла свое, и они уснули.

Шведова разбудило петушиное пение. Голосистый выводил свое соло где-то внизу, под полом. Александр Антонович растолкал Ященко. Вылезли из сена, и в тот же миг открылась дверь хаты, старик будто поджидал, когда проснутся гости. Он поманил их рукой.

На столе стояла огромная миска с квашеной капустой, рядом лежали две коричневые лепешки и печеная тыква.

— Гы, гы, — прогудел хозяин, кивая головой на стол...

Уже за селом Саша рассмеялся. Худой, с длинной шеей, почти еще мальчишка, он старался не отставать от Шведова, подстраиваясь к его широкому размеренному шагу.

— А немой вроде испытывал нас, — заговорил он. — Всю ночь, считай, на морозе продержал, а утром накормил до отвала.

— А откуда ему знать, что за люди его непрошенные гости, — отозвался Александр Антонович. — Может, ночевкой в холодных сенях и проверяет. Полезут нахально в хату — сволочи. Скажут спасибо за солому — свои, накормит их...

Обходя Славянск с запада, они заночевали в селе Ново-Николаевка. За более чем скупым ужином Шведов расспрашивал хозяйку, далеко ли от них находятся Пришиб, Богородичное и Дробышево.

— Там теперь фронт, — ответила женщина. — А Дробышево на той стороне. За Донцом. Там наши.

На рассвете они направились к Северскому Донцу.

Голую землю сковал мороз. Было холодно, и Шведов поторавливал напарника. Часа через два вышли к молодому ельнику, стали пробираться между тонконогими деревьями. Вскоре ельник закончился и перед путниками открылась песчаная прибрежная полоса, полого спускающаяся к пойме. Они присели на корточки, осмотрелись.

— Давай, — шепнул Александр Антонович и по-пластунски пополз к реке...

ПЛАВКА

Глава из романа «Сталь и шлак»

Директор завода Дубенко вызвал к себе начальника мартеновского цеха и молча вручил ему толстую тетрадь. Это была инструкция по выплавке и прокатке стали новой марки.

— Будем варить сталь сложнейшего состава, товарищ Крайнев, — сказал Дубенко. — Бронетанковую.

И хотя он говорил тоном, не допускающим возражений, Крайнев все-таки возразил:

— Петр Иванович, но ведь наши сталевары никогда не варили такой стали.

— Теперь будут варить. Война требует.

Телеграмму наркома о выполнении этого специального задания в недельный срок Дубенко намеренно не показал.

— Через три дня, Сергей Петрович, ожидаю от вас первой плавки.

— Что вы, Петр Иванович! Эту инструкцию два дня только читать надо, — заметил начальник цеха, взвешивая в руке объемистую тетрадь.

— Читать будете ночью, а днем — готовиться, — сказал директор. — Итак, через три дня. — Он встал, считая беседу законченной.

Обычно директор соглашался с теми сроками, которые устанавливали для выполнения его заданий сами исполнители, но жестко требовал, чтобы эти сроки в точности соблюдались.

— Я вас за язык не тянул, сами брались, — говорил он в таких случаях.

Сейчас он сам назначил срок, и притом ошеломляюще короткий.

— В три дня не успею, — прямо сказал ему Крайнев.

— Попробуйте не успеть, — сухо ответил директор.

Сергей Петрович не узнавал ни его тона, ни выражения лица. Таким он видел директора впервые.

Вернувшись в цех, Крайнев собрал всех своих помощников, начальников смен, мастеров и ознакомил их с новой инструкцией.

— Так это же все вверх дном надо переворачивать! — с беспокойством сказал огромный, тучный, с трудом уместившийся на стуле обер-мастер печей Опанасенко.

— А куда же слитки девать будем, Сергей Петрович? — спросил мастер по разливке. — Сейчас мы их прямо в прокат даем, а теперь их придется в колодцах сутками выдерживать. Где же будем рыть эти колодцы?

И сразу возникло множество затруднений. Крайнев внимательно выслушивал то, что говорили подчиненные, давая им поспорить друг с другом.

Проработка инструкции закончилась поздно вечером. Начальник цеха закрыл тетрадь и внимательно оглядел собравшихся. Лицо обер-мастера, озабоченного сложностью предстоящей работы, выражало явную растерянность. Глядя на него, Крайнев улыбнулся и своими словами коротко разъяснил суть новой технологии.

Опанасенко приободрился.

— Так гораздо понятнее, — сказал он. — Сделаем.

Необходимо было сломать традиции, которые складывались на заводе годами, и буквально в несколько дней совершенно перестроить работу цеха.

До этого времени цех выплавлял сталь для кровли, для балок и швеллеров, а сейчас нужна была сталь, противостоящая бронебойным снарядам. Цех начал готовиться к ее выплавке.

В инструкции говорилось, что в процессе производства эта сталь чрезвычайно чувствительна к влаге. Сталь не выносит резкого охлаждения и, попав на сквозняк, под струю холодного воздуха, «простуживается», давая в изломе мельчайшие трещины. Сталь требует постепенного охлаждения в специальных томильных колодцах.

И люди спешно принялись строить сушила, рыть огромные колодцы, делать для них крыши, выверять весы, производить расчеты, чертить диаграммы и монтировать бункера для невиданных до сих пор в цехе материалов.

Каждый день утром и вечером директор обходил цех, задерживался на участках, беседовал с рабочими.

На третий день он подошел к начальнику и спросил, когда будет плавка.

— Даю еще два дня срока, — мрачно сказал он, выслушав объяснения, и ушел в прокатный.

Но прошло два дня, а к плавке все еще не приступали. Дубенко опять вызвал к себе Крайнева.

— Когда? — резко спросил директор.

— Раньше чем через три дня не приступим, — едва сдерживаясь, ответил Крайнев.

Он почти не вышел из цеха и был утомлен до предела.

— Через три дня? — недовольно спросил Дубенко.

Крайнев тяжело поднялся со стула и ушел в цех.

Свободных рук на заводе не было, и люди самых различных квалификаций, оставаясь после своих смен, работали по переводу цеха на оборонный заказ.

Через двое суток директор снова появился в цехе. На этот раз с ним пришел главный инженер завода Макаров, который давно знал Крайнева. Они вместе работали сталеварами, вместе учились и расстались только по окончании института, получив назначения на разные заводы.

Крайнев приступил к работе всего два месяца назад, но его уже никто не считал новым человеком, и Макаров, убедившись, что его друг стал опытным инженером, лишь изредка заглядывал в мартеновский цех и все время проводил на броневом стане, где готовились к прокату стали новой марки.

— Нужно когда-нибудь и начинать, — нервно сказал Дубенко Крайневу.

— Я начну, когда все будет окончательно подготовлено, — твердо ответил Крайнев. — Начну, когда буду уверен, что первую плавку выпустим безупречно. Я не хочу портить ни марку стали, ни марку цеха, ни... свою марку.

— А я предлагаю начинать сегодня же! — вскипел Дубенко.

Макаров отозвал директора в сторону.

— Петр Иванович, начальник цеха прав, — успокаивающе сказал главный инженер. — Первые плавки Крайнев будет пускать сам и на этом учить других. Он не имеет права ошибаться.

Дубенко немного остыл.

— Так когда же все-таки плавка? — спросил он, снова подходя к Крайневу.

— Завтра днем, — коротко ответил Крайнев.

Директор внимательно посмотрел на его утомленное лицо.

— Отдохнуть надо перед плавкой, — уже мягко сказал Дубенко. — Обязательно отдохнуть.

— Почему же плавка будет днем? — удивленно спросил

секретарь партийного бюро цеха Матвиенко, когда директор с Макаровым ушли. — Вы же говорили, что выпуск будет ночью. Помните, я еще пожалел, что дежурю в парткоме и не смогу прийти.

— Плавка действительно будет ночью, но я хочу избежать присутствия начальства, — признался Крайнев.

Ночью в цех пришел секретарь парткома Гаевой, стал в сторонке, у щита контрольно-измерительной аппаратуры, внимательно рассматривая большую группу людей, собравшихся у печи. Среди них было много рабочих, оставшихся после смены. Гаевой подозвал к себе одного из них.

— Ты что здесь делаешь, Шатилов? — спросил он, всматриваясь в беспокойное лицо с опаленными бровями и шрамом на подбородке.

Гаевому всегда нравился этот молодой мастер, сохранившийся после службы в армии выправку, четкость движений и ту особую способность распоряжаться и выполнять распоряжения, которая так характерна для среднего командного состава.

— Ну как же, — удивленно взглянул он на Гаевого. — Остался после смены. Ведь первая плавка такая. Вон даже Лютов пришел, а ему с утра на работу заступать. — Шатилов показал рукой в сторону широкоплечего, кряжистого мастера, стоявшего в стороне от группы. — Посмотреть надо, подучиться, не все же время начальник за нас плавки выпускать будет, — добавил он и торопливо пошел к печи.

Гаевой остался у щита, продолжая наблюдать за всем, что происходило вокруг. Его успокоило поведение начальника цеха, который руководил плавкой с таким видом, будто делал самую будничную работу, хотя все кругом подчеркивало необычность происходящего: печь была заново выбелена, конструкции свежевыкрашены, инструмент разложен в образцовом порядке. На рабочей площадке аккуратными кучками лежали присадочные материалы.

Здесь хозяйничал Опанасенко. Обычно все новые стали он осваивал почти самостоятельно, но эта марка была слишком сложна для него. Крайнев, шадя его самолюбие, подсказывал ему ход операций так, будто советовался с ним. И Опанасенко рботал с присущей ему добросовестностью.

Он с гордостью показал Крайневу листок, полученный из лаборатории: фосфора и серы в этой стали было на редкость

мало. За всю жизнь он не помнил такого их содержания в металле.

— А не добавить ли нам, Евстигнеич, никеля? — тихо подсказал ему Крайнев.

Все взялись за лопаты. Даже зрители внезапно превратились в помощников. Небольшая куча аккуратных блестящих квадратов начала быстро исчезать в печи. Спадающие с лопат пластинки тонко позванивали на плитах.

Гаевого удивило, что начальник цеха выбрал для освоения новой марки стали комсомольскую печь, где рабочие были гораздо моложе и по возрасту, и по стажу. Но уверенность сталевара Никитенко и слаженная работа всей бригады убедили его, что выбор сделан правильно.

Получив последний анализ из экспресс-лаборатории, Крайнев распорядился взять пробу.

Обычно сверкавшая, как фейерверк, сталь теперь стекла с ложки без единой искорки и спокойно, как масло, тонким слоем разлилась по плите. Налитая в стаканчик, она ровно заполнила его и блеснула на миг зеркальной поверхностью.

Среди присутствующих раздался шепот удивления.

— Как ртуть, — тихо произнес восхищенный Шатилов и хотел что-то спросить у начальника, но Крайнев уже шел к задней стороне печи, где у выпускного желоба нетерпеливо ждали сигнала подручные сталевары.

Остальные гурьбой повалили за ним, приблизились к барьеру и замерли в ожидании.

Сколько бы лет ни проработал человек в мартеновском цехе, сколько бы металла ни выплавил на своем веку, выпуск плавки, миг рождения стали, не может не волновать его. Это всегда напряженный и торжественный момент. Во многих цехах до сих пор сохранился обычай оповещать о предстоящем выпуске ударами в звонкий металлический диск, но не медленными, размеренными ударами, а быстрым и радостным перезвоном.

На этот раз никто не прикоснулся к диску: звуковые сигналы были отменены. Но рабочие собирались и на площадке у печи, и на канаве, где готовились к разливке стали.

Крайнев посмотрел на часы, взглянул на стоявшего рядом Опанасенко, выждал несколько секунд и кивнул головой. Подручные быстро схватили длинную металлическую пику и

несколько раз ловко и сильно ударили ею в заделанное отверстие.

С глухим рокотом вырвалось из отверстия пламя, мгновенно усилилось, стало ярким, и ослепляющая струя жидкой стали с тяжелым шумом хлынула в ковш.

Разливочный пролет здания словно вспыхнул. Ясно обозначились скрытые до этого в темноте подкрановые балки и стропила крыши. Крайнев увидел напряженные глаза машиниста, который сидел в кабине крана и ожидал сигнала принять ковш, наполненный сталью.

Еще минуту назад плавка находилась во власти человека, ведущего ее. Можно было убавить лишние элементы, добавить недостающие, но сейчас уже выбор был сделан — все решено и кончено. Через двадцать-тридцать минут покорная жидкая сталь начнет затвердевать в чугунных формах-изложницах.

Крайнев поднял голову и, встретив взгляд машиниста, показал ему рукой на ковш. Огромные крюки подхватили ковш, и он, медленно набирая высоту, тяжело поплыл в воздухе к месту разливки.

За ним, переговариваясь между собою на ходу, двинулись канавщики. Их было значительно больше, чем обычно. Работавшие в вечерней смене на подготовке канавы, так же как и сталевары, остались на первую плавку.

— Ну что? Удачно? — спросил Гаевой, только теперь подойдя к начальнику цеха и становясь рядом с ним на площадке лестницы, ведущей в разливочный пролет.

— Считаю, что да. Расчеты выдержал точно, а все же с волнением жду окончательного анализа. Знаешь, Григорий Андреевич, в этом деле, кроме науки, требуется еще и особое мастерство.

— Мастеровать тебе, я вижу, много приходилось.

— Из чего ты это заключаешь?

— Спокоен ты очень.

Крайнев улыбнулся и покачал головой.

— Ты тоже всегда спокоен, только я в твое спокойствие не верю. Спокоен тот, кто равнодушен, а у тебя просто выдержка... — он взглянул на виски Гаевого, где сквозь смоль волос пробивались серебристые нити седины. — Плавку никто спокойно не пускает, у каждого на душе скребет.

И, как будто смутившись внезапной откровенности, от-

вернулся в ту сторону, где в симметрично расставленных изложницах медленно поднималась сталь.

Проследив за разливкой до конца, они пошли в лабораторию. Здесь решалась судьба плавки. Гаевой курил, следя за более торопливой, чем обычно, работой лаборантов. Даже заведующая лабораторией, спокойная, медлительная Каревская, заметно нервничала и двигалась быстрее обычного. Крайнев напряженно следил за изменяющимся цветом реактивов. Колба с раствором нежно-лилового цвета на минуту приковала его внимание.

«Почему мало марганца?» — встревоженно подумал он. Но раствор постепенно начал превращаться в темно-бордовый, и это его успокоило. Легкая желтизна другого раствора говорила о незначительном содержании фосфора.

— Этого добра чем меньше, тем лучше, — с удовлетворенной улыбкой сказал он Гаевому, показывая пальцем на колбу.

С остальными определениями было сложнее. Зеленый цвет раствора никеля и оранжевый — хрома ничего не говорили ему: он редко имел с ними дело. Приходилось ждать окончательных результатов анализа. Но как медленно тянулись эти томительные минуты!..

— Восемь элементов вместо обычных четырех.

— Взбеситься можно, пока все сделают, — шепнул он Гаевому, и тот понимающе улыбнулся.

В лабораторию вошел Шатилов, опасно косясь на Каревскую, которая обычно не выносила вторжения в свое «святая святых» и бесцеремонно выпроваживала любопытствующих. Вслед за мастером протиснулся сталевар Никитенко, просительным и лукаво глядя на хозяйку помещения. Он уселся прямо на пол, у стены, подложив под себя рукавицы. За ним, широко распахнув дверь, появился Луценко с решительным и мрачным видом: попробуй, мол, выгони!

Потом вошли другие сталевары, заинтересованные новой плавкой.

Каревская старалась их не замечать. Она проверяла работу лаборантов, полностью разделяя общее волнение за судьбу плавки. В группе ожидающих завязалась беседа, заметно оживившаяся после того, как стали известны результаты анализа по семи составляющим. Оставалось узнать последний результат — содержание хрома.

Постепенно к едким испарениям реактивов примешивался щекочущий дымок махорки.

Каревская недовольно морщила нос, но молчала. Глаза Крайнева возбужденно блестели, он что-то рассказывал вполголоса и смеялся. Пришли Опанасенко и Лютов, заправлявшие печь после выпуска.

— Сергей Петрович, — взволнованно произнесла Каревская, — плавка по хрому — брак, мало хрома.

Все взоры обратились к Крайневу. Он увидел испуганные глаза Шатилова, укоряющие — Опанасенко, мрачные — Луценко.

— Вот тебе и инструкция, — зло сказал Лютов.

— При чем тут инструкция? — резко оборвал его Крайнев. — Она предусматривает конечный результат, а расчеты при-садок делал я. Проверьте анализ сами, — обратился он к Каревской. — Этого не может быть.

— Хорошо, я проверю, — сказала Каревская, направляясь к аналитическим весам, но выражение ее лица говорило, что она больше верит анализу лаборанта, чем расчету инженера.

Снова предстоял целый час ожидания...

— Идем готовить к выпуску вторую плавку на другой печи, — сказал Крайнев, прикоснувшись к плечу Гаевого.

— А почему на другой? — удивился тот. — Тебе приказано выплавлять пока на одной печи.

— Да, на одной, но я задание понимаю иначе. В этой декаде я должен был отлить четырнадцать плавков, но на четыре дня опоздал. На одной печи будет только шесть плавков, а на двух я задание выполню.

— Надо было сказать об этом директору, успокоить его, — с упреком произнес Гаевой. — Ведь у него тоже душа болит.

— Сперва надо сделать, а потом сказать, — холодно ответил Крайнев. — Хоть одну плавку, — добавил он и выжидательно посмотрел в сторону лаборатории. «Выпустить такую плавку — это не заслуга, — думал он, — но не сумеешь ее выпустить — это... срам».

— Это позор! — вырвалось у него, и он повернулся так резко, что Гаевой тревожно взглянул на него и, стараясь перевести разговор на другую тему, заговорил о положении на фронте.

«Фронт... — с болью подумал Крайнев. — Фронту броню нужно отлить, а я отлил... пилюлю».

Разговор не клеился. Оба были слишком подавлены неудачей.

«Первая плавка, — мысленно оправдывал начальника Гаевой. — Мало ли что могло произойти? Менее сложные марки — и то иногда по неделям осваивали. Только почему он взял всю ответственность на себя? Ведь на заводе есть и главный инженер, и технический отдел, которые могли бы помочь. Что это? Тщеславие? Нет, просто уверенность в себе и в своих людях. А все-таки результат... — И он выругал себя за то, что, придя в цех, не вызвал сразу же Макарова. — Вызову его хоть на вторую плавку». Гаевой направился к ближайшему телефону.

У первой печи показался директор, за ним главный инженер. Макаров возбужденно жестикулировал и что-то доказывал Дубенко, который, не слушая его, направлялся прямо к Крайневу.

Сергею Петровичу захотелось тут же уйти, но он сделал над собой усилие и остался. «Началось», — подумал он.

Дубенко подошел к нему и остановился. Видно было, что только присутствие рабочих сдерживало взрыв негодования.

Из лаборатории опрометью выскочил Шатилов и помчался по площадке.

— Сергей Петрович! — закричал он еще издали. — Хорошая плавка! Хороший хром! Проверили. Лаборантка ошиблась!

Макаров довольно улыбнулся и взглянул на директора.

Дубенко протянул руку Сергею Петровичу.

— Поздравляю, — сказал он.

— Готовлю к выпуску вторую, — доложил Крайнев, еще не зная, как примет директор его сообщение.

Дубенко усмехнулся и взглянул на Макарова.

— Видели, — сказал он, — не слепые.

По площадке веселой гурьбой шли сталевары. За ними спешила сияющая Каревская, держа в руках паспорт первой плавки.

И с этого дня по-иному потекла сталь из мартеновских печей.

Вместо кипящей, шумно брызжущей тысячами искр, той, что шла на рядовые сорта металла, потекла по желобам в ковши густая, спокойная, качественная сталь, предназначенная для танковой брони.

СМЫСЛ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Главы из романа-эпопеи «Гагаи»

Даже Громов, раньше других в полной мере почувствовавший значимость начинания Круковца, не мог предвидеть, какие крылья вырастут у этого почина. Обком и облисполком своими решениями одобрили алеевцев, обязали райкомы и райисполкомы повсеместно в области использовать их опыт. А потом и центральный Комитет Компартии Украины предложил то же самое сделать всем обкомам и облисполкомам республики.

Правда, было бы лучше, появившись такая мысль раньше, когда шел массовый сев озимых. Но и теперь еще не поздно. Год — суматошный. Хозяйства очень разноликие: одни — более, другие — менее крепкие. Возможности разные. На что уж у Круковца, и то еще не все поля засеяны, хотя на некоторых уже выткнулись зелены. Особой беды в этом он, Громов, не видел. Ведь хлеба и спеть будут не в одночасье, что, при нынешнем недостатке техники даст возможность постепенно, по мере созревания, без особых потерь собрать урожай. Таким образом и сейчас, на завершающей стадии сева озимых кое-что выгадывается. Судя по сводкам, стронулась распашка залежи с мертвой точки. И вести ее можно будет до первых заморозков. А весной, пожалуй, и вовсе закончить.

Нет, Громов не ставил этого себе в заслугу. На похвалу секретаря обкома так и ответил, мол, люди додумались, а он лишь их поддержал. Но Неботов сказал, что у хорошего партийного руководителя так и должно быть, ибо самому при всем желании невозможно все предусмотреть и всюду успеть; значит, он, Громов, позаботился о том, чтобы правильно подобрать и расставить кадры, а также обладает достаточной проницательностью при соприкосновении с еще неопробированным, если так оперативно подхватил и распространил у себя в районе столь важный почин.

Конечно, ему, Громову, тоже не безразлично, что о нем говорят и как оценивают его деловые качества. Все же и для него, немало испытавшего на своем веку, приятно доброе

слово, после которого поет душа, появляются новые силы и желание работать больше, лучше... Наверное, потому и сам он не скупится говорить людям приятное, если они того заслуживают, и не устает радоваться человеческим радостям своих товарищей по партии, по общей борьбе.

Недавно вышестоящие партийные органы рассмотрели и утвердили решение райкома по восстановлению Круковца в партии. Несомненно, в этом немаловажную роль сыграло начинание Захара Никодимовича, получившее такое широкое распространение. Но, очевидно, и само время сказало свое веское слово в пользу солдата-победителя. И он, Громов, испытал огромное удовлетворение, вручив Круковцу партбилет.

Это событие совпало с другим не менее важным — подведением окончательных итогов сельскохозяйственного года. И тут вдруг выяснилось, что Алеевский район победил в социалистическом соревновании среди сельских районов области. А лучше всех сработали бурьяновцы. Более того, по урожайности они вышли на одно из первых мест в республике. Ему, Громову, и Рябушину предложили представить наиболее отличившихся к правительственным наградам. Потом рассматривали списки в высших инстанциях и к величайшей радости Громова оформили документы, как по секрету сказал ему Неботов, на представление председателя бурьяновской артели Круковца к званию Героя Социалистического Труда, разумеется, до поры до времени оставляя его в неведении. Тем большим для Захара Никодимовича оказался неожиданный праздник, когда в газетах появился Указ о награждении его орденом Ленина и Золотой Звездой. Многие сельские труженики удостоились орденов и медалей. Не были забыты и партийные, советские работники. Среди них и он, Громов, не предполагавший, что его работа тоже получит такую высокую оценку.

Он не знал, что у правительства были веские основания так щедро благодарить хлеборобов — их героический труд создал предпосылки для отмены хлебных карточек. Такое решение готовилось. И только новые бедствия — страшная засуха, ожидавшая страну, — на год отодвинули осуществление этого намерения.

А в те радостные дни, когда вручались награды, он, секретарь райкома, делал все, чтобы закрепить достигнутые

успехи, использовать всеобщий подъем для нового наступления.

Тогда же задумались и о переименовании Бурьяновки — как-то уж очень созвучна была она ряду некрасовских деревень, описанных в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Нелово, Неурожайка... Все понимали, что делается это не ради простой формальности, а вследствие необходимости зафиксировать глубинные качественные изменения, хотелось навсегда отмежеваться от старорежимного, насмешливо-презрительного наименования, унижающего колхозников, преобразивших свое село и принадлежащие ему угодья. Облисполком удовлетворил ходатайства сельсовета и районных властей. Вместо бывшей Бурьяновки появилось Заветное, занявшее свое достойное место среди все больше появляющихся Счастливых, Хлебодарных, Урожайных...

Громов ехал в обком. Этой поездке предшествовал довольно странный телефонный разговор. Неботов поинтересовался делами, поговорил о том, о сем, а потом вдруг ни с того ни с сего спросил: «Ты еще не женился, Артем?» Озадаченный этим неожиданным вопросом, он, Громов, пробормотал в ответ несуразно-игривое: «Нет, Виктор Павлович, пока бог миловал...» — «Н-да... — неопределенно протянул Неботов. Тут же более решительно добавил: — Ну, хорошо. Если не очень занят, подскочи сейчас. Ты мне нужен...»

И вот Громов, оставив все дела, летел на зов, в котором было что-то необычное и по смыслу, и по интонации. Он уже давно заметил, что секретарь обкома называет его по имени в минуты крайнего душевного напряжения. Началось это еще в подполье, когда Виктор Павлович (в ту пору Федот Гаврилович Мозговой) давал ему, Громову, задания, связанные с большим риском. И потом, в мирные дни, это же наблюдалось в случаях неординарных, касающихся его, Громова, судьбы: и когда Неботов принял близко к сердцу распад семьи, утерю сына, и когда посылал возглавлять райком... Иногда подобные приглашения не вызывались, как казалось Громову, какой-то определенной необходимостью. Неботов просто беседовал с ним, вызывал на откровенность, на спор, выслушивал его, громовские, суждения и на том расходились. А потом вдруг оказывалось, что то, о чем они разговаривали, так или иначе проглядывалось в очередных решениях обкома.

Такое отношение Виктора Павловича он, Громов, воспринимал как проявление исключительного доверия со стороны секретаря обкома, его особое к себе расположение, и платил ему тем же, видя в Неботове незаурядного партийного работника, настоящего, с большой буквы Человека.

Нынче все это воскресало в памяти Громова. Он сидел, откинувшись к спинке заднего сидения автомашины, мчавшейся по дороге в Югово, внутренне готовясь к пока неизвестному ему разговору. Хотя и привык к таким звонкам, и не было на его совести чего-либо предосудительного, что могло вызвать у секретаря обкома недовольство или осуждение, однако в этот раз испытывал некое беспокойство. А все из-за странного вопроса Неботова. Ведь так спрашивают не ради пустого любопытства, не потому, что сказать нечего. Вот Громов и терялся в догадках. Подумал было, что Неботову стало что-то известно о его бывшей жене, но тут же как-то вымученно, болезненно искривил губы — при всех обстоятельствах эта женщина теперь не имеет к нему никакого отношения.

Да, с тем у него давно покончено — окончательно, бесповоротно. Но, странно, вопреки принятому решению вырвать из своего сердца предавшую его женщину, остаток пути он почему-то думал о ней, вспоминая единственную в своей жизни, первую и теперь уж, наверное, последнюю любовь...

Виктор Павлович Неботов просматривал свою почту. Он всегда с особым пристрастием отдавался этому делу. Письма дополняли его непосредственное общение с людьми, личные наблюдения еще одной, интимной стороны жизни, сокровенным, тем, что при обычных встречах по разным причинам остается где-то припрятанным, недосказанным. К тому же, писали больше те, кто в силу всевозможных обстоятельств даже не помышлял о вероятности встречи с секретарем обкома, однако надеялся на внимание к себе, своим бедам и нуждам. Это были голоса народной глубинки. Вместе с ними в кабинет врывалась сама жизнь во всех своих проявлениях, порою леденя душу своим трагизмом, порою вызывая теплую улыбку или наоборот — негодование. И по звучанию — широчайшей полифонии: то по-граждански страстные, затрагивающие те или иные грани общественных отношений и производства, по-бойцовски напористые, то камерно-вкрадчивые в своих каких-то надеждах и притязаниях, то взываю-

щие о помощи. Впрочем, встречались и просто кляузные, заушательские, злорадствующие... Неботов давно научился распознавать по письмам, как говорится, кто чем дышит из его корреспондентов: их характеры, мировоззрение, образованность, нравственные устои и даже темперамент. Письма как бы приобщали его, занятого важнейшими партийно-организаторскими и социально-экономическими проблемами огромного промышленно-сельскохозяйственного края, к обычному бытию, к радостям и печалям незаметных тружеников, тех, кто как раз и восстанавливал войною разрушенный Донбасс.

И еще он расценивал письма как одно из проявлений гражданской активности людей, испытывающих потребность высказаться, поделиться своими соображениями по каким-то частным или общим вопросам. Стекаясь в одно место, они начинали выражать собой определенные тенденции. В этом самотеке Неботов черпал дополнительную информацию к полученной из официальных источников. Таким образом возрастала его осведомленность, появлялась возможность делать более глубокий анализ и соответствующие выводы для принятия тех или иных решений.

Вот и ныне Неботов очень внимательно прочел всю корреспонденцию, подчеркнул наиболее выразительные строки, расписал к исполнению по отделам. Два письма было от инвалидов об одном и том же — бессмыслице частого медицинского переосвидетельствования для подтверждения группы инвалидности. Только один из них, потерявший на войне ногу, мрачно и раздраженно выражал свое неудовольствие существующим порядком прохождения ВТЭК, а второй, видно, человек не без юмора, писал: «Втэковские эскулапы каждые полгода присматриваются к моей культе — не начинает ли отрастать рука, как клешня у рака?..» Подобные письма поступали и раньше. Значит, несовершенна система обслуживания инвалидов, если вызывает массовое недовольство. Он, Неботов, уже пытался в этом разобраться, что-либо изменить своей властью. Но оказался бессильным — такие инструкции местным органам социального обеспечения были спущены свыше. Потому уже и сделал представление в правительство республики, высказав свои соображения и подкрепив их письмами-жалобами. Причем, он не сомневался в том, что и другие секретари обкомов, председатели облисполкомов по-

ступили подобным же образом. Ведь в самом деле, что-то недодумано. Ну, есть инвалиды, которые со временем могут полностью или частично восстановить свою трудоспособность. Там не обойтись без периодического освидетельствования. Но безглазые, безрукие, безногие до конца дней своих останутся такими. Зачем же их мытарить, нервировать? Тут просто-таки очевидна необходимость дифференцированного подхода.

И еще одно письмо особо заинтересовало Неботова. Автор предлагал, где только возможно в колхозах, наладить производство кирпича и черепицы. Доказывал, что в нынешних условиях, когда ощущается острейший дефицит стройматериалов, такие, пусть даже полукустарные, цехи помогут решить проблемы сельского строительства: можно будет возводить жилые дома, административные здания, хозяйственные и животноводческие помещения, не обременяя своими нуждами государство. Приведенные им выкладки подтверждали: реальное дело, и не очень обременительное для хозяйств при условии межколхозного кооперирования.

Неботов броско листа выразил свое мнение: «Идея заслуживает внимания! Неплохо бы вызвать автора на беседу». И расписался. Это было не указание к обязательному исполнению, а как бы совет тому, кто вскоре займет его место.

Да, к сожалению, самому ему вряд ли уже заниматься столь прозаическим, но очень нужным делом...

Он оперся на спинку стула, задумался. В памяти вдруг всплыло надменно-снисходительное лицо Заболотного, с которым неожиданно встретился на последнем пленуме ЦК. Оказалось, что бывший второй секретарь, конфликтовавший с ним, Неботовым, и в свое время отозванный в Киев, с некоторых пор возглавляет партийную организацию одной из степных областей республики. Сначала он сделал вид, будто не знает его, Неботова, но, видимо, по известным только ему самому соображениям, подошел, поздравил с новым назначением, позавидовал: «Ты просто нарасхват, Виктор Павлович. Что значит — партизанская закваска. Где горячо — туда и Неботова». Однако при этом глаза его выдавали чуть ли не злорадство...

Тут его мысли прервал Громов, заглянувший в кабинет.

— Можно, Виктор Павлович? — спросил он.

— А, явился, — поднялся Неботов ему навстречу. Пожимая

руку и не выпуская ее из своей, повел Громова к стульям, расставленным у стены. Тут усадил его и сам сел рядом, окинул быстрым взглядом: — Значит, холостякуешь?

— Что это тебя, Виктор Павлович, так волнует мое семейное положение? — осторожно осведомился Громов, недоумевая, куда подевалась свойственная Неботову деликатность: ведь он должен чувствовать, как неприятен ему, Артему, этот разговор. И Громов не скрыл ироническую усмешку: — Можно подумать — сватать собираешься.

— Ты просто провидец, Артем, — сказал Неботов. — Сватаю. И вполне определено. Набираю группу советских, партийных, комсомольских работников, учителей для отправки в западные области Украины. Вот и вспомнил о тебе, о наших делах на оккупированных Волыни, Львовщине... Не забыл?

— Такое не забывается, Виктор Павлович, — отозвался Громов. Улыбнулся, качнул головой: — Но ты ввел-таки меня в заблуждение. Согласись, трудно уловить какую-то связь между вопросом о женитьбе и тем, что мне предлагаешь.

Неботов не принял шутливого замечания Громова.

— Связь самая прямая, дорогой Артем, — в суровой задумчивости ответил он. — Не хочется новых вдовьих и сиротских слез. Их в избытке пролилось в годы войны. Теперь мы можем отобрать людей, не обремененных семьей, по доброй воле и согласию, с благословения матерей, хотя и им никогда не привыкнуть оплакивать своих детей.

— Неужели так серьезно? — в тревоге спросил Громов.

— Очень! — Неботов поднялся, крупно зашагал по кабинету. — Бандере удалось сбежать, а бандеровцы остались, затаились в лесах. Оуновское отребье из-за рубежа направляет их действия. И они, выползая по ночам из своих схрон, как упыри, зверски убивают представителей Советской власти на местах, партийцев, комсомольцев, активистов, терроризируют население, препятствуют возрождению колхозов...

Громов нахмурился: его ждут тысячи дел — неотложных, второстепенных, важных и не очень важных, больших и малых, из которых, в конечном счете, слагается его работа. И чьи-то судьбы, может быть, во многом зависят от того, как отреагирует на человеческие боли, что предпримет он, секретарь райкома... Но думая об этом, Громов уже ощутил, как отдаляются от него мирные заботы, еще недавно, несколько

минут тому назад составлявшие смысл всей его жизни, как рушится, хотя и не устроенный, но уже устоявшийся быт. Почувствовал, что наливается какой-то упругой силой, стремительно поднявшей его на ноги. Он одернул сталинку — тужурку простого полувоенного покроя, облюбованную большинством партийных работников, вытянулся по-солдатски, взволнованно проговорил:

— Спасибо, Виктор Павлович, за доверие.

Неботов тоже привстал, крепко, по-мужски, обнял, отстранился, глядя прямо в глаза, сказал:

— Рад, Артем. Не сомневался в тебе. Значит, снова — вместе.

— Как? — удивился Громов. — Насколько мне известно, ты же не холостяк! — Но тут же закивал: — Ну да, понимаю.

— Правильно понимаешь, — оживленно подхватил Неботов. В нем тоже, наверное, воскресло бодрящее ощущение опасности в предстоящих схватках. И он, как боец партии, готов был выполнить ее приказ. — Повеюем еще, Артем. Среди этих одичавших людей, кроме оголтелых националистов, немало и обманутых. Вожди унесли ноги, а одурченных оставили расплачиваться своими жизнями. Наш гуманизм обязывает ко многому, даже к врагам по-разному относиться. Так что действовать придется и революционным, праведным оружием, и партийным словом, убеждением.

Громов закивал, готовый хоть сейчас в путь.

— Значит, надо спешно передавать дела? — спросил он.

— Все по порядку, Артем, — сказал Неботов, занимая свое место. — Подсаживайся ближе. — И когда Громов расположился за приставным столиком, продолжал: — Отправку испытанных коммунистов в западные области республики Центральный Комитет считает временной мерой, как помощь местным органам власти в налаживании нормального образа жизни. Будем считать себя как бы в длительной командировке — за каждым сохраняется его прежнее место работы и должность. Предусматривается наше участие в широчайшем диапазоне преобразовательской деятельности. Придется укреплять Советы, партийные комитеты, молодежные организации, помогать людям сколачивать колхозы, налаживать промышленное производство, оживить работу учреждений культуры, клубов, окружить особым вниманием школы, укомплектовать их учителями.

— И все это под прицелом невидимого, но тем не менее существующего врага, пока полностью не покончим с бандами?

— Именно так, Артем, — сурово подтвердил Неботов. — Вся сложность в том, что рассеялись, рассредоточились эти упыри по всему огромному краю, затаились по двое-трое в лесных норах, нападают внезапно под покровом темноты и тут же растворяются в ней, исчезают. После их набегов остаются кровь и пепел...

— Задача не из легких, — проронил Громов. — Поди-ка отыщи их норы в бескрайних лесах. Махновцев проще было гонять в степях.

— Однако в борьбе с ними есть и благоприятные факторы, — сказал Неботов. — Они лишены корней, не пользуются поддержкой населения, полностью изолированы и время от времени вынуждены покидать свои убежища, чтобы раздобыть продукты, одежду... Нас ознакомили с кое-какими последними материалами. На открытом судебном процессе в городе Выжнице подсудимый Ткачук — оуновские клички «Куница» и «Тарас» — показал, что им никто не давал продуктов, а потому приходилось заниматься грабежом. Буквально в прошлом месяце на сообщение своего поверенного о том, что боевики в поисках зимней одежды забирают часы, платки, сорочки и другое имущество, чем подрывают «доверие в массах», некто Савчак — оуновский верховода на Буковине — разразился угрожающим посланием. Кое-что из него я переписал. — Неботов полистал блокнот. — Ага, вот. Слушай: «...Отчет, состоящий всего из пяти фактов за двухмесячный период меня вовсе не удовлетворяет...» «...На основе ваших информаций у меня складывается мнение, что друг «Ярема» ради личной безопасности бросил местную организацию на произвол судьбы... В связи с этим приказываю:

Немедленно принять на себя руководство и сразу же приступить к возобновлению работы; начать беспощадную борьбу с изменниками. Тех, кто является к властям с повинной, расстреливать всех поголовно. Работа должна быть «мокрой» с соответствующими угрожающими надписями».

Неботов взглянул на Громова:

— Видишь, даже используют жаргон преступников. «Мокрой» — значит, кровавой.

Он снова обратился к записям:

«...Любой ценой добиться активизации местной сети по подготовке к зимнему периоду; если вдруг «Ярема» будет затягивать выход на операции — расстрелять; еще раз напоминаю, что со всеми видами пассивности и импотенции буду бороться самыми крайними методами высшей меры наказания».

— Да-а, — усмехнулся Громов, — видать, не от хорошей жизни появился сей приказ.

— Как бы там ни было, — заговорил Неботов, — наши люди должны знать, куда едут и с чем могут встретиться... Вот разнарядка, утвержденная Центральным Комитетом. Отбор кандидатов возлагаю на тебя. Съездишь домой, оставишь необходимые указания Одинцову... Кстати, как он теперь? Со спокойной душой можешь доверить райком? Или на время твоего отсутствия кого-то другого назначить?

— Не стоит, Виктор Павлович. Он, конечно, своеобразный человек. Но последнее время у меня в общем-то не было к нему претензий. Думаю, как временная мера, можно оставить — справится. Тем более Рябушин рядом — наш председатель райисполкома. Мужик правильный. Этими днями возвращается из лечебного отпуска. Если что не так — не умолчит.

— Вот и хорошо. Оставляй Одинцова вместо себя, а сам перебирайся сюда, в обком. Тебе придется принимать людей и беседовать с каждым.

Громов понимающе кивнул. А Неботов продолжал:

— Я выеду на место буквально этими днями. Попытаюсь оглядеться, разобраться в обстановке. Организую прием и распределение прибывающих. А ты без задержки отправляй туда отобранных. Сам прибудешь с последней группой. — Он побарабанил пальцами по столу, закончил: — Так-то, Артем, задание — оперативное.



В БОЛЬШОЙ РАЗВЕДКЕ

Из блокнота писателя

В Донбассе зеленое лето. Цветут в садах розы и мальвы. Кое-где они даже перешагнули за калитки и растут вдоль шоссе, точно вышли приветствовать всех, кто едет в щедрый донецкий край.

Дорога блестит накатанным асфальтом. Точно стальная лента, пролегла она от горизонта до горизонта и то взбегает на вершины степных кряжей, то спускается в глубокие балки. Вдоль шоссе зеленеют посеvy кукурузы и подсолнухов...

Жарища — за тридцать. У нашей «Волги» накалилась крыша, в открытые окна бьет горячий ветер.

Шоссе — словно река жизни: так оживленно кругом. Вот мчится навстречу мотоцикл. На нем двое парней без рубашек — загорелые, плечистые, пронеслись с шумом и скрылись в мареве зноя, лишь трепетала на ветру белая майка, которой подпоясан сидящий позади хлопец.

То здесь, то там тракторы поливают поля из мощных дождевальных установок. Струи воды веером вздымаются кверху. Все живое попряталось от зноя. Лишь одинокий кобчик, распластав крылья, кружит над зарослями подсолнухов.

Но вот вдали, на синеющих взгорьях, показались черные пирамиды — терриконы угольных шахт. Их много. Одни, близкие, ясно проступают сквозь дымку утра, другие едва видны, будто в тумане. Край шахтерский, степь полынная. Манит к себе неоглядными просторами, и кажется, полмира открывается взору.

Шофер Леша, паренек атлетического сложения, как игрушку, держит в руках руль машины, а сам глядит в степную даль, любитесь родными картинами.

— Все-таки красиво у нас в Донбассе, правда? — спрашивает он. И сам себе отвечает: — Красиво! .

— Хорошими людьми богаты эти края, — пытаюсь перевести разговор на другую тему. — Здесь, в Первомайке, жил Алексей Бахмутский, изобретатель первого в мире угольного комбайна.

— Точно! — радостно подхватил Леша. — Ему памятник в городе поставили: семь метров в высоту!

— А этого человека, случаем, не знаем? Шофер посмотрел на старую военную фотографию с изображением мальчишки в погонах, с боевыми медалями и сказал неуверенно:

— Нет. Кто это?

— Анатолий Коваленко.

— С десятой шахты? — удивился Леша. — Силен парень. Я за него голосовал на выборах. А недавно была передача по радио: его бригада раньше всех закончила прошлую пятилетку. Бригадир наградили орденом Октябрьской Революции...

Дорога пошла круто вниз, в глубокую балку. У подъезда к зданию шахты гостей встречал яркий плакат. На нем старый шахтер указывал вдаль молодому горняку, точно говорил ему те слова, что были написаны под рисунком: «Тепло и свет даем мы людям».

В небольшой светлой комнате — нарядной первого участка — нам сказали, что Анатолий Коваленко работал в ночную смену и недавно поднялся из шахты. Скоро дверь открылась и вошел он сам. Это был невысокого роста молодой горняк со светлыми приветливыми глазами, очерченными угольной каемкой. Вид у него решительный, веселый и деловой.

— Анатолий Маркович?

— Он самый.

— Сын полка?

Коваленко задумчиво улыбнулся, и этим было сказано многое.

— Мы ему повышение дали, — пошутил кто-то из товарищей. — Теперь он отец полка.

— Шахтерского, — уточнил другой.

— Гвардейского, — со значением подчеркнул директор шахты Горишный и обнял бригадира.

У Коваленко взгляд быстрый, походка легкая, юношеская. Но это уже не мальчишка, а опытный горняк, отец семейства и, несмотря на молодость, почетный шахтер. И все-таки оставалось в нем что-то от того отчаянного мальчишки, что сурово смотрел с военной фотографии.

— Ну, бригадир, веди нас к своим гвардейцам, — сказал директор.

Облачившись в шахтерскую спецодежду, надев через голову самоспасатели и получив лампы-«коногонки», мы отпра-

вились к наклонному стволу, который находился в открытой степи, неподалеку от старого террикона шахты «Петр».

Узкая колея рельсов уходила в глубь земли под уклон. Подземный трамвай, прозванный здесь «козой», только что поднялся на поверхность и ожидал людей. Мы влезли в низкие ступенчатые вагончики, и поезд медленно поплыл вниз. Стало темно, слышался гул колес, мелькали крепежные стойки. Наконец остановка — нижний горизонт.

Довольно долго в полном безмолвии шли мы по квершлагу — главной подземной выработке, закрепленной металлическими дугами. Туннель был освещен электричеством, побелен и оттого казался просторней.

Но вот квершлаг кончился, и мы повернули влево. Отсюда начинался штрек первого участка. Теперь пришлось идти гуськом, подсвечивая себе путь лампами, протискиваясь боком между стеной штрека и пустыми вагонетками, ожидавшими электровоза. До угольной лавы оставалось не более километра.

Анатолий Коваленко, как хозяин, быстро шел впереди. Он чувствовал себя, как дома, в этих подземных галереях, на ходу замечал неполадки. Вот откинул ногой кусок породы, лежавший на рельсах. В другом месте, где зажал штрек, замедлил шаг и сделал какие-то отметки на крепи.

Далеко впереди в штреке раздался глухой взрыв.

— Проходчики палят, — спокойно объяснил Коваленко.

Скоро потянуло гарью. Навстречу из темной глубины штрека поплыло тяжелое облако пыли и дыма. Пелена была такой густой, что ее не просвечивали лампы. Пришлось прибавить шагу, чтобы выйти на свежую струю.

Подошли к угольной лаве. В э этом месте на штреке под грузовым люком стояли порожние вагонетки. Рабочий-насыпщик по временам открывал щиток люка, и в пустой вагончик лавиной обрушивался уголь.

С юношеским проворством Коваленко взобрался по лестнице и скрылся в темноте. Пока мы следовали за ним, придерживаясь за длинную тесину, отполированную руками шахтеров, бригадир уже был в лаве. Оттуда, сверху, доносился гул работающей машины.

Наконец мы выбрались на транспортерный штрек. Здесь можно было распрямиться в полный рост и передохнуть. На столбах крепи висели телефоны. По штреку был проложен

транспортер. Лента непрерывно двигалась, и уголь черной рекой плыл к грузовому гезенку, а там сыпался в люк.

Рабочие первой смены, зveno Александра Мосяженко, готовились снимать очередную полоску угля. Лава начиналась отсюда, с транспортного штрека, и шла на подъем вдоль угольного пласта. Она была такой низкой, что влезать туда приходилось в полусогнутом положении. Пласт «Алмаз» — небольшой мощности, всего 0,7 метра. И даже комбайн почти заполнял собой выработанное пространство лавы.

В действиях бригады чувствовался дружный, хорошо налаженный ритм. И все же с появлением бригадира работа оживилась. Сам бригадир ни минуты не сидел спокойно — то подтаскивал поближе крепежный лес, то помогал очистить забитый углем конвейер.

Но вот замелькали огоньки: дана команда включать машину. В тесной лаве загудело, заскрежетало, замелькал барабан, сокрушая стальными зубками угольный пласт. Чудо-машина медленно поднималась по лаве: с яростью грызла и перемалывала горячий камень.

Казалось, дрожали каменные недра от гула и рева машины. Отшлифованный углем шнек брызгал угольной крошкой, а когда клеваки встречали на своем пути крепкий колчедан, пласт огрызался искрами.

Комбайн ушел вверх по лаве, и лишь мерцал далекий огонек.

Анатолий Коваленко спустился ниже, вытер со лба пот и сказал весело, облегченно:

— Теперь пойдет косить, только успевай принимать уголек.

— Трудная лава у тебя, Анатолий, — с сочувствием произнес кто-то в темноте.

— Не хуже, чем у других, — ответил бригадир.

Не прошло и минуты, как снова зашпешил куда-то бригадир. Оказалось, пошел звонить, чтобы не задерживали порожняк. Лава за смену должна выдать 150 тонн угля, и надо его вовремя отгрузить, чтобы вторая смена могла дать столько же, а третья — закончить цикл. Только тогда сложится суточная добыча бригады: 450-500 тонн. Получай, Родина, уголек от шахтерской бригады, дружной, как одна семья, влюбленной в свой нелегкий труд!

— Встречай, хозяйка, хлопцы в гости пришли!

Дом Коваленко по крышу утонул в яблоневом саду. Тесный дворик, замощенный камнем, спускается в балку, туда, где течет заросшая вербами речка Луганка. Именно здесь, за шахтерскими огородами, проходила линия обороны, отсюда началась фронтальная дорога мальчика Толи Коваленко.

Сейчас здесь все мирно и по-домашнему уютно. Стоит под навесом мотоцикл с коляской. Степной ветерок полощет на солнце три цветастых платя: у Анатолия три дочери — три березки, предмет отцовской гордости. Они, деловые и сосредоточенные, хлопочут по хозяйству, помогают матери.

Жена Зинаида Павловна с грустной улыбкой смотрит на мужа:

— Мы своего отца дома не видим. Для него родной дом — шахта. Наверное, сидел бы в лаве по целым суткам, если бы Тимофей Иванович не прогонял домой. Однажды семь смен подряд проработал в лаве: что-то у них там не ладилось. «Тормозки» посылала ему с хлопцами в шахту.

— Выдумашь еще, семь смен...

— Было такое, было, — подтверждает директор, и шахтеры смеются. У всех хорошее настроение. Только что закончился совет бригады, где рабочие приняли решение: вызвать на соревнование передовиков соседней шахты бригаду Героя Социалистического Труда Андрея Оропая, а свои обязательства выполнить досрочно.

И опять пойдет в большую разведку сын полка, только теперь не один, а с товарищами по труду. Значит, будет новый бой, будут новые победы.



ОЗИМИ СХОДИ

Оповідання

Баба Мотря гріє на сонці свою старість, дивиться невесело на запусіле дворище. Колодязна цямрина зовсім погнила, попсувалася, сад від сушняку прочистити б треба, повітка перекосилась — того й гляди колись теля привалить.

— Двір без господаря, мов одежина без гудзика, — думає баба. — Який з мене господар? Як он з того опудала, що на городі стоїть...

Болить Мотрине серце від нерозважних думок. Село багатіє, нові кам'яні хати під білим шифером ставлять колгоспники, а в неї все залишається таким, як за покійного Кирила було, тільки ще постаріло, до землі нахилилось.

Правда, минулого року колгосп полагодив хату; коли б набридала, поставили б і новий хлів, та ніяково їй свої турботи на люди виносити.

— Хай би роботяща була, а то, як клубок моху, прижилась до колгоспу. Мабуть, правду люди кажуть, що пора вже бабі на синів хліб...

Коли б же син був при ній, а то змінив із діда-прадіда звичний труд на малярські фарби та й носить по світу: то з одного кінця землі, то з іншого листи надходять.

Покійний Антонів батько теж любив посидіти з різцем, слава про його різьбярство по всіх навколишніх селах розходилась, та до останніх днів своїх не відривав він рук від землі.

Антін додому лише гостем буває завітає, а останнім часом все умовляє матір спродатись і до нього в місто жити перебратись. Та хіба ж Мотря зозуля, щоб свого гнізда не мати...

Розкішна липа в цвіту розімліла під сонцем, пахне медом. Роєм снують над нею бджоли, заклопотані, важкі від перги. Вони сідають на сухе корито, на колодязний зруб, обліплюють дерев'яне цебро, що висить на жердці журавля.

Мотря іде до колодязя.

— Зараз напою... Буде вам водиця.

Довго нехотя нахилиється журавель, а ще довше випрос-

товується. Цебро зачіпається за прогнилий зруб, і тоді голосно, весело плескоче в колодязі пролита вода.

Десь на шляху фуркнула машина — за ворітьми залементували кури. Золотоперий красунь-півень злетів на ворота, відчайдушно закричав, ніби звав на поміч.

— А, горенько! — забідкалась баба, поспіхом виливаючи воду в корито. — Знову якийсь душогуб курей давить!

Мало не бігцем кинулась до воріт.

— Зозулясту переїхав, добра б тобі не було... — вдарилась руками об поли.

Легкова машина зупинилась перед ворітьми, проти сонця вся блищить, ніби сміється з бабиного горя, а під її колесами ще б'ється птиця.

Коли ж Мотря вгледіла за рулем жінку в кольорових окулярах, її гнів потроївся:

— Одягла шори та й світа не бачить?

Задні дверцята відкрились, і з машини вийшов... Антін, а з-під блакитного дашка «Волги» визирало лукаво усмінене обличчя внука Сергійка.

— Так, мамо, так її, — сміявся Антін, обнімаючи матір. — Невістку вчити треба, доки за ворітьми стоїть, бо в хаті вже пізно буде...

Мати розгубилась, забула навіть привітатись з невісткою і внуком — кинулась відчиняти ворота:

«Добре, що робоча днина, всі в полі, ніхто не бачив, як дітей стріла».

Машина вкотилась на подвір'я, стала під липою.

— Таки приїхав, — шепоче мати, дивлячись на сина, і думає: «Бач, як роздобрів, як парубок, тільки й того, що голова сива. Стріла б десь на вулиці і не пізнала б. От лише посмішка колишня, якась по-хлопчачому винувата».

Біля машини в нерішучості стояв Сергійко. Років п'ять тому востаннє він бачив бабу. Тоді був пустотливим, жвавим хлопчиком, любив лазити по деревах до пташиних гнізд, кидати у колодязь грудки землі, а потім слухати, як десь там, внизу, сплескує вода. Баба сварила на нього, а він тікав на город, ховався в густому картоплинні і запасався новим груд-ням.

Це було давно. Тепер Сергій вже вчився у восьмому класі. Старі відносини з бабусяю забулись, і зараз він не знав, як поводити себе.

Мотря сама підійшла до внука, поцілувала в гаряче духмяне волосся, що, здавалось, пахло луговим прив'яленим на сонці сіном.

А за ворітьми вже назбирався гурт сільських дітлахів. Доросліші обережно зазирали через паркан, а малеча безцеремонно повилазила на нього — найбільше їхню увагу привертала голуба «Волга».

— Чим же пригощати вас? — бідкалась щаслива мати.

На грядці є невизбيرانі огірки, цибулі теж доволі, молока їй щодня завозять з колгоспної ферми, знайдеться і хліб, але гостей не так стрічати годиться.

— Не турбуйтеся, мамо, — заспокоює свекруху Ганна. — У нас все є...

І вже Антін з Сергієм стелять під тінистою липою похідний брезент. Ганна (на ній біла з короткими рукавами кофта і вузька клітчаста спідниця) спритно накриває «на стіл».

Сидить Мотря біля дітей своїх, смакує городський хліб, неслухняними пальцями тримає тонке кружальце ковбаси і здається їй, що не до неї приїхали, а вона завітала до них в гості.

Антін сидить під липою, притулившись спиною до широкого стовбура, щось уже змальовує до свого альбома.

— Все малюєш, — каже мати і поглядає на похилений хлівець, на прогнилий колодязний зруб.

Антін відгадує невисловлену матір'ю хазяйську турботу. Він переглядається з дружиною і загадково усміхається:

— Щось придумаємо, мамо... За цим і приїхав...

Коли по обіді Антін з дружиною зібралися пройтись по «історичних» місцях дитинства, внука баба не пустила, потай надіючись на самоті вивідати від нього, що «придумав» батько.

Разом порались по хазяйству. Сергій визбирав на грядці огірки. Встановивши у садку на цеглинах закопчений казан з водою, розпалив вогонь, допоміг бабі нажати серпом трави для теляти, годував його.

«За все він береться, не боїться забруднити руки, не гидує прибрати гній, дарма що в місті зріс», — думає Мотря, дивлячись на внука, що сидить біля вогнища.

З журною любов'ю вона оглядає хату, сад, подвір'я. Тут жили батьки, її життя пройшло на цім дворі, і хочеться Мотрі, щоб хтось із своїх, рідних успадкував це все.

Шанобливо, як молодому господарю, подає вона Сергієві кухню молока і скибку домашнього хліба.

Навколо пахне холодною м'ятою, гвоздиками, медвяне повітря бринить радістю бджолоїної праці, на сухій вершині груші дятел лунко скоблює крихку кору, а за городом на вербі зозуля комусь щедро відлічує роки...

Ось так щоранку тепер: прокинеться баба Мотря, відкриває очі, а їй здається, що бачить сон. Казав Антін «щось придумаєм» — і придумав.

Хату Мотря колгоспові віддала, курей сусідам роздала, відвела з внуком на колгоспну ферму теличку, а сама — на синів хліб.

І раніше звав її до себе, спокушав спокоем, затишком, тим, що не буде самотньою, але вона навіть на короткий час не відважувалась залишити село. А тут на тобі, мов обпоїли дурманом: все кинула, чим жила. Воно ніби так і годиться в її літах, та чи здужає призвичаїтись до нового, чи вистачить сили прожити без того, до чого серце приросло.

Бувало вийде за село, наслухається зеленого шуму хлібів, вигріється під степовим сонцем — і наче аж здоров'я прибуде.

А тепер затишно Мотрі в синовій хаті, м'яко лежати старим кісткам на пухових перинах, а серцю все чогось мулять.

З сусідньої кімнати обережно відчиняються двері.

— Не спите, мамо? — питає невістка.

Баба поривається встати, та Ганна притримує свекруху за плече. У неї, як в рідної дитини, напрочуд ласкаві руки.

— Лежіть, лежіть. Мені пора вже на роботу. Встанете — снідайте і Антона нагодуйте.

— А він вже малює?..

— Так, він у себе.

І знову сама, без турбот і без роботи.

Мотря підвелася на ліжку, дістала одержу зі стільця і довго одягалася.

— Зледащила я, — вголос промовила сама до себе.

За звичкою ступила босими ногами на підлогу, але згадала, що невістка подарувала їй м'які капці, взулась.

Підійшла до вікна.

З висоти четвертого поверху їй видно мало не все місто. Химерним видається воно згори: спадисті дахи, димарі, антени, вікна сусідніх будинків були незвично близько, а внизу, на вулиці — машини, люди, маленькі, як на малюнку.

«Наче жива на небо зібралась», — думає Мотря.

Відтоді, як приїхала у місто, вона майже не сходила вниз та в цім і потреби не було. Підійде до вікна, задивиться журно поверх дахів на далеке поле, яке її зве до себе, манить. І вчувається їй знайомий шум, незабуті запахи.

— Це вже в колгоспі сіно покосили... Хліба достигають, — шепоче вона.

У вітальні Мотря зупиняється перед великим трюмо. Ніколи вона не бачила себе у весь зріст, а зараз їй здається, що то не вона, а якась інша стара, зігнута баба, трохи знайома, прийшла з їхнього села навістити, провідати її.

Аж зраділа.

— Ну, як живеться, Мотре, в сина? — ніби чує вона.

— Як бачиш, живу, — одказує баба. — Колись я двері завішувала не важким оксамитом, а простим домотканим рядном, і білизни моєї машина не прала — сама до ставка ходила, праником вибивала... Діти живуть красиво...

— Мамо, з ким ви там говорите? — гукає син з своєї кімнати-майстерні.

Мотрю це не бентежить.

— Сама, Антоша. Ти не смійсь, старій людині є про що бесідувати з собою, — одказує мати, заходячи до сина. — Я тобі не заважатиму?

— Ні, ні, мамо, сідайте і говоріть.

Синова кімната завжди викликає в матері зачудування своїми картинами. Тут і бачена десь в ріднім селі весняна повінь; і збурене море, яке їй чомусь нагадує степ з достигаючими хлібами; і руїни багатопверхових будинків — свідки ще не забутої війни; і картина ранкового міста, що ніби зринає з рожевого туману; і група робітників в заводському цеху за незнайомою для Мотрі працею.

Антін стоїть перед незакінченою картиною. На ньому сірий халат з слідами фарби. Сиве волосся спадає на круте чоло. Небритий, якийсь схудлий, він нагадує зараз покійного батька, коли той своїм різьбярством займався. Відійде, пильно вдивиться в свою роботу, і знову орудує різцями. І про все тоді забуває. Можна до нього говорити, а він немовби десь за стіною: нічого не чує й не бачить, окрім шматка дерева, якому передає свою душу.

І син в нього вдався. Бач, навіть курити забув, цигарка догоряє між фарб.

Мати заходить наперед і дивиться на картину. Здається, нічого особливого, а серце забилося радістю. Зліва, біля самого краю, декілька старих майже безлистих дерев, за ними гущина, видно, ліс. Попід лісом польовий шлях. На узліссі біля шляху група піонерів: одні грають у м'яча, інші збирають опале листя, двоє клопочуться біля багаття. А за дорогою, до самого горизонту, озимина, зелена, густа. Справа, вдалині, якісь будови: чи то завод, чи то електростанція.

Щось знайоме, рідне було в цім.

Та найсильніше Мотрю вразили стеблини озимини, на переднім плані. Вони були такі міцні, такі соковиті, пружні, що хотілося торкнутися рукою.

Мати перевела погляд на сина. Так би вона, мабуть, дивилась на нього і тоді, коли б він не намалював, а справді виростив ці сходи.

Тепер мати бачила не картину: то розкрите синове серце було перед нею, і воно билось такою ж любов'ю до землі, як і її власне.

— Спочив би сину, поїв...

— Ні, мамо, не час...

І вона не наполягає. Сама, бувало, доки не дов'яже покосу або не дополе рядка, ні за що не сяде спочити. Чи ж їй не розуміти, що значить робота.

Часом Антін радився з матір'ю, питав, як назвати картину. Шкодувала, що не може пособити синові, та він питання не повторював, і мати мовчки слідкувала за його роботою.

Бувало, що Антін переривав роботу, закурював цигарку, починав розповідати що-небудь веселе. Мотря поспішала принести йому сніданок, але коли поверталася з стравою, Антін вже знову не мав часу.

Зате в обідню пору, коли Ганна поверталась з роботи, а Сергій з школи, Антін залишав свою майстерню, і всі збирались за столом. За обідом Антін встигав розпитати в дружини і Сергія про всі їхні справи, новини.

У Мотрі новин не було: ніде вона не бувала, нічого не чула, не бачила.

Часто Мотря не знала, де себе діти. Її руки наче аж боліли без роботи, а діла для неї ніякого не було. Тоді вона йшла в синову майстерню, сідала перед картиною поля, поринала в спогади. Інколи говорила вголос, інший раз потиху, по-осінньому плакала, ні на кого, ні на що не жаліючись.

Якось Антін застав матір біля картини. Згадалось далеке дитинство. Кінчилась громадянська війна. В село щодня повертались солдати з фронтів, а батька все не було. Та мати не впадала в розпач, надіялась, готувалась зустріти господаря.

В когось випросила коней, сама засіяла озимий клин. Відтоді кожний день ходила з сином у поле — чекали сходів, виглядали батька.

І дочекались: він прийшов. Там на ниві і стріли. Він ішов навпростець, прямо по зелених сходах. В гостроверхій шапці, з трофейним ранцем за плечима, а поли його шинелі, мов крила, маяли на вітрі.

Антін пам'ятає, як мати, тамуючи радість зустрічі, хвалилась, що це вже їхнє поле, їхні озимі сходи...

Про що мати зараз думала? Може, теж згадала про давнє, незабутнє.

А в сусідній кімнаті Сергій грав на піаніно. Бадьорі, якісь молоді, весняні звуки носились по кімнаті, як ластівки над полем.

Одного разу, коли Антона і Ганни не було дома, Мотря видобула з кладової свій домашній сундучок, занесла його на кухню і прийнялась переглядати скарби, привезені з села.

До всього пильно приглядалась, розкладала, ніби щось пригадувала, шукала. Здавалось, між бабою і цими речами точилась щира безслівна бесіда: вони були єдиними свідками прожитого нею життя.

Дівочі серги, на потрухлій від часу нитці разок намиста, який мати колись принесла з Києва, декілька дерев'яних ложок, вишита сорочка, пучок невим'ятих колосків пшениці торішнього врожаю — все це, мов далекі і близькі мітки на пройденім шляху, нагадувало прожите.

На самім дні скриньки поруч з кружалом жовтого запашного воску лежав загорнутий у шмат нового полотна ще один предмет.

Мотря обережно вийняла його, розгорнула, поставила перед собою на стілець. Це була майстерно вирізьблена з дерева фігура сіяча.

Такий витвір могла зробити тільки людина, яка сама відчула тягар цієї праці і радість від неї.

Випростана постать сіяча зримо передавала зусилля, з яким він тримав вагу підв'язаної до пояса сійниці з зерном, корот-

кий помах правої руки був чітко погоджений з ногою, а лице — зосереджене, врочисто задумане, яесь натхненне.

О, покійний Антонів батько добре знав смак хліборобського поту.

Колись Мотря глузувала з чоловікової пристрасті до різьбярства, казала, що то лиш марнування часу, забава, краще зробив би щось по господарству, щоб син міг потім згадати, а повернулось на інше.

Тільки це і залишилось у неї на спогад від чоловіка. Нема ні його портрета, ні речей ніяких не зберегла, навіть з двору, на яким життя разом прожили, з'їхала...

Мотря дивиться на фігуру сіяча і виразно бачить чоловікові руки, великі, потріскані від селянської праці руки, такі важкі і водночас ласкаво обережні.

В Антона руки чисті, не натруджені чепігами, не замащені навечно землею, а від фарб, розлитих ним на полотні, віє свіжістю справжнього поля, сліди людської праці видні в усьому.

— Це від нас перейняв він, — думає мати. — Який-то внук буде?

Баба йде в кімнату до внука, що готує уроки.

— Ось я тобі подарунок приборегла, — несподівано для самої себе вирішує вона.

Обережно ставить на стіл свій скарб і дивиться з-під непорушно навислих над очима брів на Сергієві руки, ніби хоче вгадати, що вони робитимуть в житті.

Сергій був у захваті від майстерно вирізьбленої з дерева людини, але не відразу зрозумів, чим займається вона.

«Так ось той хлібороб, що без машин, одними руками обробляв ниви!» — з подивом думав хлопець, слухаючи пояснення бабусі.

Мала фігура сіяча враз виросла в його очах у велетня, що йде по землі, розсіваючи зерно.

— Це від покійного дідуся спадщина тобі, — говорить, усміхаючись баба. — На спомин...

— Я берегтиму вашу спадщину, — обіцяє Сергій.

Від слів внука вона почуває себе несказанно щасливою. Так ніби все життя несла щось дорогоцінне, боялась за його цілість, а тепер ось передала в надійні руки і може бути спокійною...

Це свою любов до праці, свою трудову закоханість в землю передала вона Сергієві.

Складаючи в кухні свої речі назад до скриньки, вона не вклала колосків пшениці. Вилушила кілька повних, дорідних зернин на долоню, задивилась на них.

«Це вже озимину сіють», — згадалось їй.

Глянула на зерна, а вони ніби говорять до неї, ніби просять, щоб їх висіяли в землю.

Того ж вечора баба «священнодійствовала». Перетерла руками землю, принесену внуком, висіяла в місці вим'яте з колосків зерно, пошпувала водою, поставила на підвіконня.

І почала Мотря чекати сходів. Аж повеселіла, ніби справді засіяла поле.

Щоранку поспішала на кухню, поливала свій засів, придивлялась, чи не пробиваються ключки.

— Нудьгують мати, — з неприхованим болем говорив Антін дружині.

— Звикне, — одказувала Ганна. — Їй же у нас непогано.

Бабине чекання передалось всім. Шкода було дивитись на тоскні очі старої, що подовгу затримувались на чорній гірчі землі у місці.

Та ось одного ранку Сергійко перший зайшов на кухню і побачив білі, ще не позеленілі, але сильні сходи.

Він здійняв галас на всю квартиру.

— Зійшла! Зійшла, бабусю, пшениця! — гукнув він.

До вечора вся поверхня землі густо ошетинилась стрільчастими побігами, а другого дня це вже був зелений оксамитовий килимок. Кухня сповнилась ледве відчутного хвилюючого запаху поля.

Мотря схилилась над пшеницею, вдихнула той незабутній, рідний для неї подих нив і наче сп'яніла. Закрила очі — вона в степу, навколо пшениці, пшениці, над нею в блакиті неба жайворонки, а вона іде шляхом, молода, повна сили...

Після тривалих холодних дощів знову стало на погоду. Це були останні теплі дні, остання усмішка літа.

Антін любив цю пору року. Любив сам надвечір'ям ходити по вулицях міста, заходити в парк, тихий, безлюдний, якийсь замріяно сумовитий, придивляється до багатства осінньої палітри, слухати шемрання опалого листа.

Закриті на прогоничі вікна кіосків, лавочки в алеях, рясно притрушені золотом осені, покинуті гнізда птахів, що тут і там

чорніють клубками поміж оголених віт, — все це навівало ліричний смуток, якусь солодку журбу, глибокі роздуми.

В час таких прогулянок в уяві художника чомусь народжувались зовсім не осінні картини. Хотілось силою мистецтва вернути вмираючій природі весняну красу, сповнити опустілий парк радісною діворою, сонячним сяйвом.

Сьогодні Антін пішов на прогулянку не сам. Не вистачало сили залишити матір, що останніми днями наче занедужала. Вона ні на що не жалілась, але її сумний погляд, глибока задума, що часом скидалась на сон з відкритими очима, не могли не бентежити сина.

На всі лади пробували розважити Мотрю — даремно. На коротку мить в її очах спалахне вимушений, кволий, якийсь осінній промінь і знову згасне.

Одягаючи нещодавно куплене їй пальто, Мотря навіть не глянула на одєжину, тільки погладила рукою ніжне хутро на комірі, сказала:

— Хороше. Мабуть, дороге...

Вулиця зустріла бабу вітровим шумом машин, міцним, як духмяні коноплі, запахом бензину, безкінечним потоком людей, музикою репродукторів, строкатими вітринами крамниць — усім багатством трудового багатоголосся і різнобарвності.

Антін з любов'ю розповідав матері про місто, в якому прожив більшу частину свого життя. Мотря слухала, розуміла синову любов, а в серці несла свою, чисту, як відстояна вода степового озера, тиху, як колгоспні поля в надвечір'я.

Раніше син докоряв себе, що давно не забрав матір з села. Гадав: їй потрібний лише спокій, родинне тепло. Тепер він розумів, що їй цього замало.

Коли Антін сказав: «Мамо, чи не проїхатись нам завтра додому?» — Мотря схаменулась. Її не здивувало, що син сказав «додому», але саме це слово найбільше запам'яталось. Так, не в гості, не на прогулянку — додому!

Цієї ночі Мотря майже не спала.

Ще в місті не гасили нічних вогнів, а вона вже й зібралась. Тихо зайшла в спальню до сина. Обережно, щоб не розбудити Ганну, торкнулась Антонового плеча.

— Не передумав? — спитала пошепки, вдивляючись в ранкових сутінках в синове обличчя. — Ні?! Ну, то полеж... Я почекаю...

Після сніданку, коли Антін пішов у гараж готувати в дорогу машину, Мотря заспішила прощатись, дякувати за хліб-сіль.

— Ви ж, мамо, завтра повернетесь, — зворушена свекрушиним хвилюванням, казала Ганна, — а прощаетесь, як назавжди...

— Ой, дочко, стара вже я... А з старою людиною не вгадаєш, коли на час, а коли назавжди прощаєшся...

Коли опускались ліфтом, Мотря зажмурила очі, затамувала подих, наче з далекого неба знову верталась на землю, за якою так знудьгувалась.

— Бабуню, — наказував Сергій, допомагаючи старій сісти в машину, — навістить теличку, котру ми з вами на ферму відвели...

Машина рушила. Не поспішаючи, вибралась провулками на центральну вулицю, стримуючи швидкість, виїхала за місто — і помчала.

Навесні, коли син віз матір з села, її лякала така прудка їзда. Тоді вона все прохала не гнати так машину. Тепер це Мотрю, здавалось, не бентежило.

Мимо проносились села, поля, розбігались, мов кинуті сувої полотна, дороги, з шумом прошмигували стрічні машини.

Вона не встигала затримати на чомусь одному свій зір, а вже з'являлись нові і нові картини.

Мати не могла збагнути, як можна на такій швидкості знати, куди ти їдеш, де твоя дорога.

— Ми не заблудились? — питала.

— Ні, — сміявся син.

Колись Антін, тримаючись за рясну материну спідницю, ходив з нею до близького містечка на базар і теж допитувався, чи не заблудяться вони. І мати втішала хлопця, казала, що добре знає дорогу, вчила і його запам'ятовувати прикмети, які допоможуть не збитись з шляху. То були старі козачі могили в степу, силуети хрестів над сільськими церквами, панські хорони на горах...

У сина тепер нові ознаки... А внук матиме ще інші, незнані нині...

Очі старої світяться мудрим спокоєм.

Мотря не відхиляється від вікна.

— З хлібами всюди вже впорались, — радіє її серце. — Соняшник місцями стоїть, кукурудза невиламана, ще гляди й під сніг так піде, — клопочеться по-хазяйському.

А машина мчить. Вже й сонце до горизонту хилиться, заглядає в переднє скло, а дорога стелиться під колеса, не видно їй кінця.

Несподівано машина зупинилась. Мотря зляканими очима дивилась на сина.

— Не зіпсувалась часом?

Антін прикурює цигарку, чомусь лукаво дивиться на матір.

— Чи хоч доїдемо завидна? — питає Мотря, виходячи з машини, і дивиться вздовж шляху.

— Та повинні б, — Антін не втримується від сміху.

— Дома!? — виривається в матері, і вона аж подається наперед. — Дома! Мов на руках доніс...

Перед нею в долині лежало її рідне село.

Мотря побрела озиминою, де й втома поділась. Зелене, шовковисте, духмяне море стелиться від її ніг до самого горизонту.

Антін ледве встигав за матір'ю.

Нарешті дійшла, куди хотіла, опустилась на землю, але не від втоми.

— Це, Антоне, землі нашого колгоспу... Пам'ятаєш, тут десь була наша нива, перша нива, яку наділила революція. Неширока вона була тоді. А тепер глянь — розступилась, розбіглась. Тут колись ми твого батька стрічали... Не забудь?..

Антін замріяно дививсь на колгоспне безмежжя.

«Мабуть, забудь», — з боєм подумала мати, підводячись з землі.

Перед нею — зелене море озимих сходів, зліва — ліс, роздягнений осінню, а он і дітлахи з'юрмилились біля машини, видно, в лісі збирали гриби.

Над степом пливуть розкошлані осінні хмари.

Мотря знає: скоро підуть холодні дощі, випаде сніг, вда-рять морози, але ці зелені пшениці не загинуть, вистоять, дадуть наступного літа щедрий врожай, бо, дивись, які міцні стебла, глибоко в ґрунт пішов їхній корінь.

І оті діти, які бавляться біля машини, чимось схожі на ці озимі сходи: буде і на їхнім віку і дощів, і морозів, та ніщо не зломить їх — все переборють вони...

Мати згадує, що все це вона вже раз пережила, передумала, дивлячись на синову картину.

— Не забудь Антін, нічого не забудь! — радіє Мотря.

ЛЕСОГОНЫ

Очерк

Края здесь степные, широкие, вольные. Оттого и степняки такие же: любят дружбу открытую, плечо товарища — надежное. И если спросить у них, откуда пошли-повелись такие характеры, ответят не задумываясь: да всегда так было. И сто лет назад, и триста. Не мог же донской атаман Кондратий Булавин на Бахмутских солеварнях поднять на восстание людей хилых духом и телом? Работные люди, предки нынешних степняков, смело пошли на бояр, царевых слуг, которые простому народу «неправду делали»...

Мало в степи речек, не широки они и не стремительны, но очень любы земле, прокаленной солнцем, людям, живущим на семи ветрах. Одна из них на карте Донбасса помечена «р. Булавин». Ее же в народе зовут проще и ласковей: Булавинка. Есть и одноименное село, происхождение его названия ученые объясняют по-разному, но сегодняшним шахтерам, живущим в этих местах, совершенно ясно, что произошло оно от имени Кондратия Булавина. На этой речке стояли его повстанцы, сюда к ним пришли на помощь запорожцы аж из самой Сечи. Сходясь в степи с царевым войском, ратники-повстанцы знали, что борются они не только за людскую правду, которая для всех народов одинакова, а боронят они тут и свои родные земли...

Историю отчего края в школах изучают подробно. С экскурсиями, походами по местам боевой славы. Вместе с классом, как все, учил историю и ходил в походы Сережа Зубков. Он гордился, что живет в краю, где на «последний и решительный» бой против неправды подымал народ пламенный революционер Артем-Сергеев, где с бандами и беляками сходилась в жаркие бои конница Буденного и Ворошилова. Сергею в юности не довелось совершить подвига, но так же, как и его сверстники — дети шахтеров, металлургов, хлеборобов — он всегда был к нему готов. Слова о постоянной готовности к борьбе за ленинское дело были его пионерским девизом.

В день поступления в комсомол мать подарила Сергею книгу. В шахтерском поселке украинский и русский языки — одно целое. Спрашивать можно на одном и совсем не замечать, что отвечают тебе на другом. На книге, которую Сергей прочел за одну ночь и потом не раз перечитывал, вверху было написано: «Микола Островський». А внизу — «Як гартувалася сталь». И если бы не зрительная память, сразу и не ответил бы Сергей, на каком языке была эта книга.

Сергей рос. В те годы шло строительство шахт. Мировая буржуазия делала попытки замедлить темпы развития советской промышленности: нам отказывали в энергетическом сырье, международные договоры сознательно нарушались, расторгались. И партия бросила клич: в кратчайший срок построить в Донбассе новые шахты, обойтись своим углем. Эти шахты сразу называли комсомольскими. Молодежь Украины, всей страны строила «Винницкую-Комсомольскую», «Черкасскую», «Полтавскую» и другие. Давно ли это было? Двадцать пять лет назад, столько, сколько сейчас Сергею Зубкову, лесогону комсомольской шахты «Полтавская». Помнит он, как из его родного шахтерского поселка уходили парни и девушки в соседний город Харцызск, чтобы в мирное время дать отпор империализму: буржуазия опять нарушила договор, отказав нам в трубах большого диаметра. Считали, что нет у большевиков труб, не будет и газа. И в короткий срок на месте дикого степного оврага вырос новый завод, который дал Родине трубы гораздо лучше и надежней зарубежных. История Отечества творилась на глазах Сергея не только в школе, в поселке, а и дома. Его мать Лидия Ивановна в своих анкетах с гордостью писала: из рабочих. Да и сама она надевала чулки-паутинки лишь в выходные и во время отпуска, а на работе была в жаростойкой спецовке оператора обжимного цеха Енакиевского металлургического завода. Вступив в пору взрослости, Сергей немало поехал по стране на поездах, и всегда его не покидало чувство, что под ним находятся прочные, уверенные стальные рельсы, прокатанные его мамой. А после армии и девушка солдату запаса приглянулась рабочая: токарь механического цеха «мамино» завода. Светлана вскоре стала Зубковой; дочку-первенца называли Настенькой...

Перед самым уходом в армию Сергею довелось узнать о подвиге не вчерашнем, не покрытом дымкой истории, а

сегодняшнем. На «Полтавской» вздыбились недра и наглухо запечатали в забое двух товарищей — опытного забойщика и молоденького ученика Володю. Подземелье ходило ходуном, на штреке гнулась, корежилась стальная крепь, но бригада не поддавалась панике, никто не убежал. Сообщив на поверхность о ЧП, горняки немедленно начали спасать своих товарищей. С нижнего штрека по пласту крутого падения они начали пробиваться вверх. Организовали работу в шесть смен, по четыре часа. В узеньком колодце, что они пробивали вверх, могло поместиться только двое. Без техники, только отбойный молоток, руки, топор, пила. За сутки удавалось пробиться на 10-15 метров. И ни от кого ни слова о зарплате, о сверхурочных, о будущих отгулах. Битва за жизнь товарищей длилась восемь суток. В толпе возле шахты, ожидавшей новых сообщений из-под земли, был и Сергей Зубков. При нем и объявили, что шахтеры спасены. «Восемь суток надежд» — так впоследствии назовут художественный фильм, снятый по реальным событиям на этой шахте. Восемь суток в каменной могиле без пищи, воды, с погасшим светильником, без чувства дня, ночи, времени. Володя слизывал капли с породы, которая увлажнялась от пробивавшегося через завал воздуха, а может и от его дыхания. И жевал кожаный ремень... В шахтерских поселках только и разговору было, что о героях «Полтавской». А Сергей и его одногодки, которым вот-вот предстояло идти в Армию, думали уже по-солдатски: вернется после всего этого Володя на шахту? Ведь у него есть теперь полное моральное право так и «недоучиться» на шахтера. Володя после завала набрал свой вес, недельку отдохнул и... вернулся в свою бригаду. Все сомнения пресекал одной фразой, взятой у шахтера-фронтавика: «В одну точку снаряд дважды не попадает».

В таких вот заметных и малозаметных буднях складывался и закалялся характер Сергея Зубкова. Попросту говоря, парня воспитала сама наша советская действительность с ее моралью строителя коммунизма, с идеологией рабочего класса, у которого работа на благо Родины — потребность, а защита Отечества — священная обязанность.

Пример взрослых — самый убедительный для подростка. Если у каждого работа — дело чести, доблести и героизма, значит и мне, юному, надо идти в рабочие. После восьмого класса Сергей с ватагой сверстников поступил в горПТУ

№ 50 учиться на электромонтера. Закончив его, стал рабочим котельно-механического завода, откуда и ушел в Армию.

Служба — это особая и большая страница в жизни Сергея Зубкова. О ней он говорит четко, по-уставному: «Армия дала мне многое, а главное — чувство товарищества, дружбы, верности. Научила ценить руку друга, но все же не хвататься за нее первым, а вначале протянуть свою. Ну, и, конечно, — дисциплина. Без нее армия немыслима, как и любой другой коллектив».

Демобилизовавшись в апреле 1982 года, Сергей решил идти на шахту, «туда, где потруднее». После учебного пункта стал ГРОЗом — горнорабочим очистного забоя на знаменитой «Полтавской». Работает на участке № 96 в бригаде лесогонов. Профессия эта важная, без лесогона угля не нарубишь. Горловско-енакиевская группа шахт по сложности добычи стоит на первом месте в Донбассе. Здесь разрабатываются пласты крутого падения, которые не очень дружат с техникой. В щель шириной 70, а то и 50 сантиметров попробуй втиснуть машину. Однако, механизация тут есть, и большая: комбайны, струги, комплексы, щиты безлюдной выемки топлива. Много и таких пластов, где можно применить только отбойный молоток и деревянную крепь. Точно так, как у Алексея Стаханова. Забойщик рубит уголь и сразу же закрепляет выработанное пространство, ведь с недрами не шутят. Доставить крепежный лес в забой — обязанность лесогонов. Тут должны быть самые верткие, крепкие, неутомимые парни. Ведь на одну смену надо принять, выгрузить из вагонеток и вручную разнести по вертикальному пласту около тысячи одних стоек, да обаполы, да шпальный брус. Зимой лес мерзлый, нередко с глыбами льда. И гонят лес лесогоны, из рук в руки, от дыхания к дыханию.

Сергей Зубков после первой в жизни шахтерской смены проспал четырнадцать часов, пока мать не разбудила. Самым тяжким был третий день. Только силой воли можно было заставить себя забыть боль каждой мышцы, каждой клеточки. К черту боль, лес пришел! Наклониться, обхватить шпальный брус, выпрямиться, вскинуть лесину выше головы и тычком подать ее в руки лесогона-товарища, который где-то вверху, в темном колодце висит одной ногой на деревянной веткестойке. И опять — наклониться, поднять, передать. Всю смену Сергей не проронил ни слова. Лишь рубаху сбросил,

хотя и знал, что это запрещено. Поджарое, тонкое, жилистое молодое тело блестело от пота, стекавшего по черной от угля спине светлыми ручьями. Чернота скрывала и рубцы на теле, которые к новой профессии Сергея не имели никакого отношения... Бригадир лесогонов Николай Онищенко заметил хватку парня и визу наложил окончательную: «Наш! Этот назад не побежит!»

Бригадир не ошибся. Так прошел год, второй. Сергей Зубков стал классным лесогоном. Его брали даже на такое ответственное дело, как рекорд. Правда, на их участке рекорд был неофициальный, вроде как семейный. У многих горняков набралось порядочно отгулов за дни повышенной добычи и за иную помощь шахте. И отдохнуть всем хочется, и суточный план 200 тонн — хоть спи, хоть загорай, а выдай. В нарядной даже поспорили, кому в ночь перед праздником отдохнуть, а кому лес гнать. И тогда встали четыре забойщика-аса — Миша Панченко, Саша Курняков, Миша Стрельник и Фархат Эфендиев. Два украинца, один русский и один татарин. Интернациональный отряд! И сказали: «Дайте нам шестерых лучших лесогонов и мы вчетвером нарубим угля за весь участок. А вы, друзья-товарищи, отдохайте, празднуйте». И им дали. Десять человек спустились в забой вместо пятидесяти. Ох, что это была за работа. Вот так же пятьдесят лет назад Алексей Стаханов, такой же забойщик крутых пластов, с таким же (малость потяжелее) отбойным молотком рушил старые нормы выработки. Не подвело его новое поколение шахтеров, каждый дал по шесть норм, суточный план участка был выполнен. Из таких трудовых смен и суток получился «конечный результат»: участок № 96 за 1984 год дал стране 66 тысяч тонн угля. Новогоднюю елку тут зажгли 15 декабря в честь выполнения годового обязательства. Сверх плана нарубили 3 тысячи тонн. Не стеснялись и расчетную книжку показать, заработок 500-700, а то и больше рублей в месяц — не диковинка, а явление обычное.

А нынешним летом случилось непредвиденное. Бригадир Николай Онищенко сидел в отделе кадров шахты, где ему вписывали в учетную карточку новую награду: Знак «Шахтерская слава». И случайно попала ему на глаза личная карточка Сергея Евгеньевича Зубкова, парня из его бригады. Глянул бригадир мельком — и ахнул. Выходило, что служил Сергей не где-нибудь, а оказывал интернациональную по-

мощь Афганистану в составе ограниченного контингента Советских войск. Участвовал в боях с бандитами. Дважды ранен. В двадцать лет за мужество и героизм награжден боевым орденом «Красной Звезды». Бригадир помчался в шахту. На штрэке собрал бригаду. «Зубок! Ко мне! Садись! Ты что же это красну девицу из себя корчишь? Почти два года в бригаде и молчишь, что воевал с душманами!»

— Я ж не один, — оправдывался Сергей. — Вместе с группой...

— А чего скрыл, что сидят в тебе две бандитские пули?

— Вытащили их! Нету-у... А если вы насчет работы думаете, так поблажек мне не надо. Заштопали меня хирурги крепко...

— А про орден чего молчал?

— Я ж не на параде. В шахте. Вот будете принимать в члены партии — там все расскажу. А тут чего митинговать, работать надо.

Бригадир шумел еще больше, а лесогоны улыбались. К трудолюбию, исполнительности, безотказности в работе, отзывчивости своего товарища они уверенно добавили еще одно качество: удивительную личную скромность.

За нее Сергея и в армии любили. Подразделение у них было интересное, без преувеличения — интернациональное, состоящее из представителей многих национальностей наших братских народов. Особенно крепко служил Сергей с русским Сергеем Марасановым и ингушем Султаном Мамиловым. Храбрости Султана он даже завидовал. В самой горячей схватке с душманами Султан не знал страха.

В армейском учебном пункте парня из украинского города Енакиево учили всем тонкостям тактических действий командира. Получив звание младшего сержанта и «пятерки» по всем дисциплинам, два месяца сам учил молодых. А потом — на помощь Афганской революции. Боевая задача была постоянной: помогать местному населению в самообороне. На охрану объекта Сергей прибыл в составе небольшого подразделения. После первого нападения душманов он долго рассматривал оружие, отбитое во взаимодействии с афганскими воинами у бандитов. Страшное, как волчий оскал. Вот так день сегодняшний напомнил молодому солдату речку Булавинку, где в былые годы атаман Кондратий подымал бедняков на битву за правду. Представил, как шли на его степи четырнадцать

государств Антанты. Потом они же отказали мирным людям в угле, в трубах. А сейчас им захотелось поставить на афганской земле ракеты, направленные на его шахтерский поселок, на русскую деревню Марасанова, на горное селение Султана. В общем, дай только империалистам волю...

Отзывчивому душой солдату жалко было смотреть, как еще бедно живут афганские крестьяне. Часто они приходили, прибежали, под огнем приползали в расположение части и просили защиты от оголтелых душманов. Особенно была жаркой схватка, когда душманы совершили нападение и Сергей столкнулся с двумя пулями.

...Они напали первыми. После налета на несколько деревень бандиты притаились в виноградниках, за глиняными заборами-дувалами, в специальных бандитских норах. А интернациональное подразделение спешило на помощь крестьянам. Автоматный шквал выплеснулся из-за дувала на расстоянии трех метров. Сергей увидел кровь, но боли не почувствовал. Лежа он сумел сдернуть лямки рации и передать обстановку. Судя по плотности огня, требовалась помощь. А огонь не прекращался, усиливался. Основная группа залегла. Сергей оказался ближе всех к огненным амбразурам. Отерев кровь с рукоятки гранаты, он, не поднимаясь, швырнул ее через дувал. Взрыв гранаты оглушил бандитов, и этих секунд было достаточно, чтобы группа рывком поднялась и устремилась вперед...

Молодые кости срастаются быстро. И хотя бандитские пули, выпущенные из заморского оружия, основательно погуляли по Сережкиным жилам, хирурги нашли их. И действительно, зашили раны прочно. Через месяц младший сержант Зубков вернулся к своим товарищам. По этому случаю было построение. На многих мундирах Сергей заметил новенькие ордена и медали. Командир роты зачитал Указ о награждении Сергея Зубкова орденом Красной Звезды.

В своей биографии ничего особого Сергей не видел. Такой, как и все. На работу с орденом он не ходил, да и дома награда спокойно лежала в коробочке. Но вскоре об этом узнала уже не бригада, а вся шахта. И опять не от Сергея. На общем рабочем собрании лесогона Зубкова Сергея Евгеньевича горняки назвали своим кандидатом в депутаты Верховного Совета Украинской ССР. Вот тогда доверенное лицо, рекомендуя от имени общественных организаций шахты «Полтавс-

кая» Зубкова, рассказал коротко его биографию. Что же касается трудовых страниц биографии лесогона, то о них шахтеры знают сами. Проголосовали за выдвижение Сергея кандидатом в депутаты единогласно, а вскоре так же единогласно и избрали его членом правительства Украины.

Григорий Володин

В СТЕПИ ДОНЕЦКОЙ

В жаркое июльское утро над волнистой донецкой степью, замлевшей от ночного зноя, встало желтое, горячее солнце. В бледно-голубом небе, словно выгоревшем от жары, застыли облака, белые и маленькие, как клочья тумана. В высокой пшенице, в зеленых полосах лесных посадок, и даже в оврагах, где шумят родники, было душно. Горячий воздух стеснял дыхание, и, наверное, поэтому над степью не парило и не пролетало ни одной птицы, и даже неутомимый жаворонок не вздрагивал трепетными крыльями, не лил переливчатые трели над землей. Видимо, смолк степной соловей, не вытерпев духоты. Казалось, все замерло.

И только у комбайнов были люди. Комбайнер вернулся с осмотра отведенного ему участка, остановился в тени, отер обильный пот со лба, поглядел на истомленного жарой молодого тракториста и сказал:

- С утра парит — к вечеру гроза ударит.
- Помешает уборке? — тревожно спросил парень.
- Летом у нас гроза долго не бывает, — успокоил его комбайнер и присел рядом. — Фух, жарыща. Подай-ка, Алексей, квасу.

Алексей покопался в копне свежескошенной травы, достал глиняный горшок, завязанный сверху белой тряпицей, и подал его. Александр Иванович припал к горшку, глотнул, весело поморщился:

- Хорош!

С далекого взгорка медленно и осторожно спускалась подвода с большой бочкой. Верхом на ней сидели два парень-

ка. На одном из них красовалась соломенная шляпа с широченными полями.

— Кажется, водовоз едет, — проговорил Александр Иванович. — И, никак, мой следопыт с ним. Ну конечно, он. Раненько он жалует, — комбайнер улыбнулся и, посмеиваясь, продолжал: — Прошлый год Семена из речки калачом не выманить было, а сейчас в степи пропадает по целым дням. Ничего не поделаешь, видно, оно так устроено на нашей земле — от задания не отмахнешься. А у Семена оно сложное, не то, что у нас с тобой, Алексей.

Тракторист недоверчиво покосился на Александра Ивановича. Уж очень любит тот подшучивать над ним! И осторожно спросил:

— Отдыхать сложнее, чем хлеб убирать?

— У нас все яснее-ясного. С обеда на своем участке начнем убирать хлеб. Ясно? Очень, — Александр Иванович весело рассмеялся. — А у Семена задание... летает. Просил он меня помочь, а что я могу сделать. Обожди-ка, ты вчера вечером ходил в село?

— Ходил.

— Дроф нигде не видел?

— Кого? Дроф? — удивился парень. — Нет.

— Видишь, и ты не видел, — сказал комбайнер. Посмотрев на Алексея, лукаво продолжал: — Тебе, конечно, не до дроф было, это я понимаю, сам на вечерки ходил. А каково мне? — он сокрушенно покачал головой и закончил: — Ну, что я скажу Семену?

На развилке дорог Сеня спрыгнул с бочки и побежал к комбайну. За густой и высокой пшеницей мальчика не было видно, и, казалось, широченная шляпа одна неслась над полем, словно большая, ширококрылая птица. От быстрого бега Сеня шумно дышал. Он остановился перед Александром Ивановичем, поздоровался, протянул ему узелок и тотчас спросил:

— Дядя Саша, нашли дроф?

— Не нашел, — с сожалением сказал комбайнер. Я вчера полсотни километров отмахал. Где я их видел весной, теперь пшеница выше меня, а до целины я не добрался.

Сеня махнул рукой.

— Говорил мне Ваня, нужно ехать во вторую бригаду, а я отказался, думал, вы дроф нашли, — мальчик обернулся в

сторону удаляющегося водовоза, и вдруг сорвался с места и крича: — Ваня! Ваня! Обожди — пустился догонять подводу. На спине у него болтался и прыгал рюкзак.

— Куда же ты? — оторопел Александр Иванович.

Но мальчик, ничего не слыша, догонял водовоза.

— Видишь, Алексей, как задание выполняют? Бегом! — заметил комбайнер и весело продолжал, глядя вслед удалявшимся ребятам: — Вот ты вырос в степи. А что ты о дрофе знаешь? Только и всего, что она летает. А Семен — парнишка городской, а нарасказывал... Раньше, мол, дрофа водилась только на целине. Понимаешь? И некоторые утверждали, что мы все земли распашем, и дрофа исчезнет, переведется на нет. А дрофа взяла да и привыкла у нас гнездиться на распашных землях. — Комбайнер потер лоб и продолжал: — Семен еще говорил, что яиц дрофа кладет одно-два и редко-редко три... В общем, все мне Спангенберга в руки совал, возьми, мол, прочти. Ты, говорит, большой, тебе знать положено.

— А куда же теперь Сеня подался? — спросил Алексей.

— Во вторую бригаду. Должны, мол, дрофы в степи быть. Они еще своих гнездовий не покинули. Только в конце июля и в начале августа в стаи будут сбиваться.

— Ишь ты, — восхитился тракторист. — И это все Семен рассказал? — Александр Иванович снова посмотрел в сторону уехавших мальчиков.

Перевалили за бугор. Теперь Семен во второй бригаде.

Ребята подъехали к стану. Около вагончика механизаторов хлопотала кухарка. Недалеко от стана работали комбайны. Скошенный массив лежал ровным-ровным желтым полем; а там, где ходили машины, стояла пшеница, и, казалось, комбайны плыли вдоль крутых берегов. С каждым рейсом машин берега удалялись, и скошенный простор становился шире, вольнее.

— Я тебе говорил, здесь начали косить, а ты еще не верил, — с обидой сказал Ваня, слезая с бочки. — Здесь легче искать.

— Эти птицы шума боятся, вот я и думал... — примирительно ответил Сеня.

— Кого ищите, хлопцы? — спросила кухарка.

— Мне дрофу надо, — хмуро отозвался Сеня.

— Дро-фу? — пропела тетя Паша. — Постой-ка, где-то я их видела?

— Где? — вскинулся Ваня. — Где, тетя Паша?

Сеня молча ждал, боясь, что над ним шутят. На такую удачу он не смел надеяться. Откуда тете Паше знать про дроф? Нигде не бывает, целый день у кухни...

— А ты что беспокоишься? — тетя Паша весело смотрела на Ваню. — Тебе же дрофа не нужна. Да и за водой тебе ехать надо.

— Я покажу ему, куда идти, и поеду, — степенно ответил Ваня. — Торопиться, конечно, надо, вишь, жара какая страшная.

— Значит, тебе дрофу надо? — обратилась тетя Паша к Сене. — Ты думаешь, это так, вроде перепелки, посвисти, и придет?

— Тетя Паша, — взмолился Ваня. — Сеня о дрофе все знает. Он даже читал, как раненая дрофа напала на человека.

— Ну?.. Тогда придется сказать ему, где дрофы отдыхают, — предложила тетя Паша.

Сеня молчал, не в силах разобраться: серьезно говорит тетя Паша или только дразнит его. А тетя Паша не унималась:

— Поймать думаешь?

— Мне бы понаблюдать за ними. А случай будет, и поймаю, — мрачно проговорил Сеня.

Повариха почему-то посмотрела на небо, подумала и сказала, обращаясь к Ване:

— Покажи ему, как на отмель попасть.

Еле приметная тропка нескоро вывела ребят к лесной полосе. С ближнего дерева, спугнутый шумом, взлетел молчавший при солнце соловей и тотчас скрылся в густых зарослях. В тени деревьев засиял темно-лиловый с ярко-желтыми крапинками цветок Ивана-да-Марьи.

Сеня остановился и сбросил рюкзак:

— Здесь у меня будет база, отсюда я пойду на наблюдения, как Пржевальский.

— Я видел Пржевальского в кино, — отозвался Ваня. — Так то когда было. Не меньше ста лет назад. В то время нашего села не было, а тут в траве лошади не увидишь... Мне дедушка Онис рассказывал.

— Это как у Гоголя, — загорелся Сеня. — «И казаки, прилегли несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только быстрая молния

сжимаемой травы показывала бег их», — Глаза у Сени блестящие, он подался вперед, словно разглядывая далеко в степи скачущих всадников.

— Да, — вздохнул Ваня, и с сожалением продолжал: — Теперь только кукурузники такие. Я прошлый год верхом заехал и было заплутал: с коня ничего не видать.

Ребята помолчали, потом Сеня спросил:

— Далеко отсюда до целины?

— Километра три, а может больше, — ответил Ваня.

Сеня рассмеялся.

— Ты почему смеешься? — недовольно спросил Ваня.

— Дядя Александр Иванович знаешь как бы сказал? «Здесь версты мерял Тарас, да у него веревочка оборвалась, он на глаз прикинул, и эту сторону покинул», — Сеня посмотрел на друга и весело предложил: — Пойдем!

У конца лесной полосы друзья расстались. Ваня рассказал, как добраться до отдели, и торопливо пошел назад. Сеня постоял, что-то обдумывая, и уже собрался идти, как вдруг услышал позади быстрые шаги.

На тропе показалась тоненькая девочка, лет десяти. Она тяжело дышала, широко открывая рот.

— Фух, — шумно вздохнула она и обрадованно проговорила: — А я думала, не догоню. Как я бежала, как я бежала, сердце зашло. Ты дрофу ищешь? — спросила девочка. — Мне мама сказала. Только что сказала, я к ней пришла на стан, она мне и сказала. Я тебя провожу до целины. Хочешь? Меня Наташей зовут, а тебя Сеней. Да?

— Да, — недовольно ответил Сеня и поморщился, подумав: «Какой же я следопыт, если у меня проводником девчонка будет?» — и Сеня небрежно отказался: — Не надо, один дойду.

— Почему? — удивилась Наташа, широко раскрыв ясные глаза. — Я тебе помогу поймать дрофу. Хочешь? Я много дроф видела, а мама мне о них все-все рассказывала. Пойдем!

Сеня, подумав, согласился.

Они покинули лесную полосу и вышли к небольшой речке. Чем дальше удалялась речка от лесных полос, тем уже и мельче становилась она, а вскоре, перегороженная перекастом, совсем прекратила свой бег, застыла широким плесом. За ним раскинулась целина с цветущим разнотравьем. Редкие кусты жесткого ковыля уже поседели и казались пушистыми и мягкими. Из края в край разбежался поповник, его белых

с желтыми серединками цветов было так много, что целина лежала, словно забрызганная пышной пеной. Сквозь кипень белой ромашки то там, то здесь вспыхивал островками красный мышиный горошек, синими прогалинами тянулся шалфей, просеками желтела чина луговая. А над островками, прогалинами и просеками словно висели в воздухе бледно-лиловые и кремовые цветы мальвы. Носились пчелы, гудели шмели, иногда взлетали молодые, с белыми пятнами, скворцы, пробующие крепость своих крыльев. На широкой песчаной отмели сидели два сумрачных грача, а у самой воды маленькая белая чайка настороженно подняла черную головку и наблюдала за застывшим плесом.

— Ложись! — толкнула Сеню Наташа, и сама тотчас плашмя упала в густую траву.

Сеня свалился рядом, стараясь увидеть, что заставило Наташу так поступить.

— Не вертись, спугнешь, — сердито прошептала девочка.

И вдруг Сеня увидел: на отмель выходили дрофы. Впереди всех, высоко подняв голову, важно вышагивал дрофич. Маленькая, круглая голова, с зоркими глазами, оканчивалась коротким, мощным клювом, а от него по обе стороны вразлет распушились перья, похожие на усы. Распустив веером разноцветный хвост и опустив крылья так, что концы толстых маховых перьев касались песка, дрофич-усач казался великаном. За ним шла дрофичка. Она была намного меньше самца, без пышных усов, расцветка ее перьев была скромнее и проще. Чуть позади матери спешила совсем маленькая серая самочка. Она пугливо озиралась по сторонам, оглядывалась назад, словно собиралась окунуться в густую траву. Вдруг дрофич остановился и повернул голову в сторону Сени и Наташи.

Сене показалось, что усач заметил их, что сейчас он закричит, и птицы улетят. Но дрофич не увидел их.

Птицы подошли к воде. Чайка, поглядывая на степных великанов, посторонилась, а когда дрофич зашлепал сильными короткопальными лапами на меляке, она, вздрогнув белыми крыльями, взлетела вверх, перевернулась в воздухе, и в косом полете устремилась на усача. Промелькнув рядом, она вскрикнула пронзительно и резко.

— Спугнет, — ахнул Сеня, хватая Наташу за руку.

— Нет, — весело покачала головой Наташа. — Вот если над нами чайка так закричит, тогда пиши пропало: дрофы улетят!

А беспокойная чайка пролетела отмель и, кого-то увидя, трепеща крыльями, остановилась, повисла в воздухе. Поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, она зорко высматривала кого-то в траве. И вдруг, резко вскрикнув, кинулась вниз. Около самого песка она, еще резче закричав, метнулась вверх и вновь с криком упала вниз. Из травы на светлый речной песок выбежала серая мышь-полевка и устремилась к воде. Чайка пронеслась над мышью. Дрофич обернулся и сразу же увидел полевку. Он подобрал большие крылья, прижал их к бокам, чуть втянул голову и стал подобраннее и как будто сильнее. Усач наблюдал. Когда серый комок докатился до воды, Дрофич быстро побежал на берег, разбрызгивая воду. Мышь приподнялась, мгновенно заметила опасность и тотчас зашепила к траве. Но впереди ее уже зашумела громадная птица. Полевка бросилась в сторону. Усач раскинул крылья, кинулся к ней и занес клюв для удара. Мышь метнулась назад, потом вперед, снова в сторону. Дрофич ударил острым клювом — мышь застыла на месте. Усач оглянулся, к нему уже бежала маленькая самочка. Она полураскинула молодые крылья и далеко вперед вытянула шею. Добежав до полевки, самочка схватила добычу и, приподняв голову, проглотила мышь.

— Видал? — восхищенно прошептала Наташа.

— Я об этом и раньше знал, — ответил Сеня, — а вот видеть не приходилось... Эх, если бы живую дрофу поймать.

— Поймать? Живую? — Наташа задумалась, потом быстро заговорила: — Осенью, во время гололедицы, можно! Они обледенеют и не могут летать. Осенью можно. Хочешь?

— Осенью... Она сейчас нужна, — ответил Сеня. Он обвел взглядом небо и тяжело вздохнул. — И дождя нет. Если сильный-пресильный дождь пойдет, дрофа намокнет, и мы поймаем. А? Наташа промолчала, ей было жарко и уже очень надоело лежать без движения. И солнце палило немилосердно, и воздух был какой-то влажный, как в парной. Горизонт застилало марево, над целиной перестали взлетать скворцы, а дрофы, отойдя от воды, разгребли лапами песок, уселись и заснули.

— Я полезу, — вдруг кивнула на птиц Наташа.

— Куда! — Сеня схватил девочку за руку. — Место голое, как лысина!

Наташа обиженно замолчала, а Сеня осторожно выглянул из своего укрытия. Ему очень хотелось привезти дрофу живой и заявиться прямо с ней на первый урок. Весь городок будет расспрашивать! Или еще интереснее прогнать усача пешком по улице, чтобы все видели! Связать крылья и гнать до самой школы. Можно держать его дома до первого сентября, никому-никому не говорить, а потом сразу — вот вам подарок! Приехать и сказать, что ничего нет... Будут ребята смеяться?.. Ну и пусть, сперва посмеются, а потом... Сеня ярко представил, что будет потом. Мишка Волгин скажет: — «Это маленький самец, я видел по пуду». Саша Степовой обрадуется и обязательно всем будет рассказывать о Сене. А потом в школе будет чучело дрофы, а под ней таблица: «Поймана на реке Волчьей учеником седьмого класса Сеней Забейворота». Хорошо! Он окончит десятилетку, потом институт, а все будут читать о нем в его школе. Нет, невозможно упустить такой случай! Сеня повернулся к Наташе.

— Давай ловить.

— Надо... надо ружье, — прошептала Наташа. — Я побегу за ружьем Мы ее подшибем, а?

— Ружье? — опешил Сеня, потом сердито продолжал: — Ты так придумай! Ты же обещала!

— Я думала, тебе не сейчас... Осенью, в гололедицу можно, — неуверенно протянула девочка.

— Эх ты, не знаешь как! Знал бы, не взял я тебя с собой.

— И вовсе ты меня с собой не брал. Я сама пошла, — обиделась Наташа.

— Сама пришла, сама и уходи.

— И уйду. Я дорогу знаю, а ты нет. И отсюда ты дороги не найдешь! — Наташа сердито засопела: — Я уйду, а ты не найдешь. — Найду, — усмехнулся Сеня. — Я напрямик, по компасу.

— По компасу? — протянула девочка, и покачала головой. — Не найдешь. Ночью темень, ничего не видать, и компаса не видать.

— Сказал найду, значит найду! — оборвал Сеня.

Наташа обиженно замолчала, и вдруг молча поползла от него.

Сеня посмотрел вслед Наташе, пожалел, что не согласился подбить из ружья дрофу, и взглянул на птиц.

Дрофы не шевелились.

Мальчик прилег поудобнее и стал смотреть на птиц. Незаметно у него закрылись глаза, и он уснул.

Проснулся он от шумного шелеста шалфея. Не понимая спросонок, где он находится, Сеня быстро осмотрелся. Вокруг шумели высокие травы, а там, где село солнце, небо прина- супилось, и оттуда быстро убегали барашковые облака. По целине, словно по морю, сильный ветер гнал волны, и от цветов поповника они казались морскими волнами, с грозно вспененным гребнем. Зеркально-чистый плес заморщился, над ним носилась чайка, испуганно вскрикивая. В мрачной грозовой туче, наползавшей на степь, ярко блеснула молния, потом глухо загромыхал гром. Мальчик с тревогой оглянулся: грозы он не боялся, даже любил бегать под дождем, но в степи она заставала его впервые. «Бросил рюкзак, — пожалел он, — а там плащпалатка. Может, сбегать?» Сеня оглянулся. До лесной полосы далеко, до дождя он не успеет вернуться обратно. «А как же с дрофами?» — вспомнил он.

Птицы сидели спокойно и, видимо, собирались переждать грозу, не покидая отмени. Сеня чуть было не закричал от радостной догадки. «Если сильный дождь, дрофы намокнут, и я поймаю дрофича!»

А гроза завладела степью. Небо насуровилось, посинело до черноты, опустилось почти к самой земле, черные тучи, сшибаясь и гремя, ползли мрачные и тяжелые. Яркие молнии вспыхивали, блестя и сверкая, врезались в тучи, разрывали их на куски, а вслед за этим рокотали раскаты грома, и казалось, что расколотое небо, выхлестывая потоки воды, рушилось и сотрясало степь. Вдруг прямо над головой мальчика сверкнула молния, грозное небо вспыхнуло ослепительным огнем, раздался страшный удар грома, земля вздрогнула, по степи прокатился сотрясающий гул. Сеня испуганно сжался в комок, а вверху вновь засверкала мощная молния. Мальчик открыл глаза и... забыл о страхе, перестал слышать раскаты грома, ощущать холодный ливень: дрофы шли к нему! Усач шел первым, высоко поднимая лапы, перешагивая через ручьи.

«Как же быть? — у Сени в тревоге застучало сердце. — Если бы палка... оглушил бы! Как же сейчас?» — Сеня пошарил руками по размякшей земле: ничего не было.

А дрофы были уже рядом. Он без света молний видел приближающихся птиц. Сеня замер. Когда дрофич поровнялся с ним, мальчик прыгнул и вцепился в птицу. Усач рванулся, и Сеня почувствовал, что упускает добычу — в левой руке у него осталась только горсть перьев. Он сделал усилие и, ухватив дрофича за лапу обеими руками, рванул его к себе. Оторванный от земли, дрофич захлопал сильными крыльями и стал больно колотить Сеню. Стараясь освободить лапу, он другой больно ударил мальчика по груди, острыми когтями распорол рубашку, до крови разодрал тело. Сеня еле удерживал его. Наконец усач стал слабеть, и паренек подмял его под себя. Он слышал, как испуганно стучало сердце большой птицы, и торопливо обдумывал, что делать дальше. Ему хотелось, ухватив усача в охапку, бежать на стан, но он боялся подняться. А вдруг он не удержит его, и тогда все пропало, никто-никто не поверит ему, что птица была у него в руках. В школе его засмеют. И Сеня твердо решил: «Не выпущу, дождусь утра!» Что он будет делать утром, он не знал, но ему казалось, что при свете дня он что-нибудь придумает.

Когда спало возбуждение борьбы, Сеня увидел, что молнии уже сверкали где-то вдали, за лесной полосой, и оттуда доносилось глухое, уже ласковое ворчание грома. Дождь прекратился. Стало холодно от свежего ветра, пробежавшего по степи. Сеню охватила дрожь. Захотелось спать, онемевшие руки невольно разжимались. А отдохнувшая птица зашевелилась, пытаясь сбросить с себя мальчика. Стараясь крепче прижать птицу к земле, Сеня неосторожно повернулся и высвободил ее. Дрофич тотчас вскочил, замахал громадными крыльями, и град ударов вновь обрушился на паренька. Тяжелые крылья колотили по голове, по плечам, хлестали по рукам. Вдруг усач обернулся и клюнул его в плечо, в руку, еще раз в плечо. Сеня закричал от боли, но не разжал рук. Дрофич, оставив мальчика в покое, побежал. За ним волочился Сеня через ручьи и лужи. Споткнувшись, усач упал. Мальчик подтянулся к нему, и почти без сил навалился сверху. Плечи и руки ныли от боли, на голове саднили синяки, по груди бежала кровь. И от боли и от обидной мысли, что он может упустить степного великана, Сеня заплакал, всхлипывая и задыхаясь.

Вдруг послышался какой-то шум. Он приподнял голову и

ничего не разглядел в темноте, но еще яснее услышал чей-то топот.

«Волки бегут?» — тревожно подумал Сеня.

Топот быстро приближался. Из темноты прямо к мальчику выскочили два всадника. Они что-то кричали.

Сеня приподнялся, не выпуская лапы дрофича. Степной великан с шумом раскинул крылья, лошади испуганно шарахнулись в сторону. Возясь с птицей, Сеня сердито крикнул:

— Скорей сюда! — и подмяв под себя дрофу, еще громче закричал: — Скорей!

Всадники соскочили с коней. Один из них нагнулся и тревожно спросил:

— Сеня, ты? Что с тобой?

Сеня не узнал повараху. Не видел он и дяди-комбайнера, который держал лошадей под уздцы, — он боролся с сильной степной птицей!

...Утром на полевом стане механизаторов все с любопытством поглядывали на Сеню. Александр Иванович шутя толкнул в бок Алексея, показал на перевязанного, всего в синяках Сеню и сказал:

— Видал, как задания выполняются?

Нина Крахмалева

ХАРЛАМОВ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рассказ

Анатолия Харламова все в классе звали Тотошей. Не везло атому бедному Тотоше. Товарищи жалели его. Но помочь в беде или предотвратить беду не мог никто, потому что никто не мог уследить за полетом его фантазии, от которой и происходили всяческие неприятности.

Самые большие нелады были у Тотоши с русской литературой. Читал он много и удивлял товарищей обширными познаниями, но каждый раз выходило так, что Светлана Юрьевна хотела услышать не то.

— Не строй из себя профессора, Харламов, — холодно прерывала она.

И на Тотошу сыпались неприятности одна за другой.

Светлана Юрьевна, тоненькая и хрупкая, совсем недавно окончила институт и еще не умела разговаривать учительским голосом. Двоек она пугалась почти так же, как ученики, если не больше. Ставя двойку, она краснела и испуганно кусала губы.

Страдая от необходимости быть жестокой, Светлана Юрьевна часто вызывала Тотошу. Она добивалась четкого порядка в голове своего ученика. Тотоша исправлял двойки без труда (это был не фокус: говори только то, что вычитал в заданном разделе учебника), но потом снова случалось что-нибудь из ряда вон выходящее.

В начале зимы начали проходить «Дубровского». Тотоша прочел роман Пушкина значительно раньше и сидел на уроках, уверенный в себе. Все шло отлично до тех пор, пока Светлана Юрьевна не ставила перед учениками никакой задачи.

А потом... Тотоша не мог сообразить: сама она дошла до такой идеи или это действительно предусматривалось программой, только получили ученики седьмого «А» задание продолжить Пушкинский роман.

— Каждый из вас, — говорила Светлана Юрьевна, прохаживаясь между рядами парт, — должен представить себе, как сложилась жизнь Дубровского в дальнейшем, и написать об этом в сочинении. Например, можно начать с того, что он вернулся из-за границы на родину...

Посыпались вопросы:

— А через сколько лет?

— А что, если он не уезжал за границу?

— А может, он потом умер!

— Тихо! — Светлана Юрьевна вернулась к своему столу.

— Все это не имеет значения. Важно представить себе, каким мог бы стать Дубровский, и описать его. Вспомните исторические события того времени.

Она задала сочинение на дом. Это несколько облегчало задачу, так как было время на обдумывание. Тем не менее Тотоша столкнулся с полным комплексом творческих мук. Безудержная фантазия рисовала картины, одна другой красочнее. Он видел за границу так, словно сам побывал там в девятнадцатом веке, словно был не учеником седьмого класса, а русским дворянином в изгнании. Но Дубровским себя

почувствовать не мог, и представить, каким он был, не мог. Конечно, поднатужась, можно было бы что-то придумать. Но Тотоша считал, что подобное творчество прежде всего оскорбляло Пушкина. «Наверное, он и сам бы дописал, если б хотел, — думал Тотоша. — А раз не дописал, значит, и не надо».

Старший Харламов, врач по профессии, заметил, что с Тотошей творится что-то неладное. Его подвижный сын, у которого он находил признаки сангвинического темперамента, сидел за ужином вялый, обмякший. Мать как раз распекала Тотошу за то, что он отказался есть яйца всмятку. В другое время Тотоша привел бы ей десяток самых живописных аргументов, почему нельзя кормить его такими яйцами. А тут сидит, понурился, и молчит.

— Мда-а! Весьма странно, — сказал отец, откладывая в сторону вилку. — Не сообщишь ли ты нам, в чем дело?

— Ни в чем, — вздохнув, ответил Тотоша.

Он смотрел на сверкавшую в электрическом свете чайную ложку. У него рябило в глазах, но он продолжал смотреть не мигая.

— Без причины, дружок, даже насморк не бывает. Опять двойка по литературе, да? Ну-ка, давай начистоту...

— Двойки пока нет, — Тотоша оторвал взгляд от ложки и рассказал о новом задании учительницы.

Вот тогда отец и решил помочь ему дельными советами.

— Напиши, что Дубровский примкнул к французским революционерам, — сказал он. — Допустим, стал участником Парижской Коммуны и погиб на баррикадах.

— Ах нет! Пусть лучше Дубровский выучится на врача и станет основателем хирургии где-нибудь во Франции или Германии! — это мама посмеивалась над отцом.

Отец обернулся к ней:

— Я серьезно. Разве не мог он умереть на баррикадах?

Тогда еще не было никакой Коммуны, — уныло сказал Тотоша. — Пушкин написал раньше.

— Так ведь ты продолжение сочиняешь! Может быть, Дубровский как раз к Коммуне и поспел!

— Нет, — оскорбился Тотоша. — Никуда он не поспел. Чепуха все это.

Тотоша ушел в свою комнату, немного постоял над освещенным специальной лампочкой аквариумом, потом рассте-

лил на тахте постель и лег спать. В другой комнате мама спросила у отца:

— Дать ему что-либо успокаивающее?

— Не надо, — сказал отец. — Он абсолютно здоров.

Тотоше приснилась фарфоровая статуэтка, изображающая юного Пушкина сидящим за круглым столиком с гусиным пером в руке. Статуэтка всегда стояла на полке между книгами. А теперь она будто выросла и ожила. Пушкин встал, заложил ладони за голову и с удовольствием потянулся. Тотоше даже слышно было, как треснули швы его лицейского мундира. «Насиделся в одной позе», — подумал он.

— Все мучаешься? — спросил Пушкин, шагая по комнате и разминаясь, как спортсмен на тренировке.

— Мучаюсь, — сознался Тотоша, ничуть не удивленный случившимся.

— Да ты, приятель, не насилуй себя. Ни к чему...

— Двойку вкляты, — сказал Тотоша. — Мне и двойку не хочется, и про Дубровского писать не хочется. Может, он и герой, и революционер, как говорит папа, а мне не хочется.

— Э-э, какой там герой! — воскликнул Пушкин, смеясь. — Обыкновенный помещик, образованный белорус, и только... — Дальше он продолжал не совсем внятно: — ...Ничего, кроме темы крестьянского восстания... участие дворянина в бунте не соответствовало тогдашней русской действительности... Пугачев — это сила...

— Чего, чего? — удивился Тотоша. Пушкин уселся на старинный низенький диван с кривыми ножками и фигурной спинкой, неизвестно откуда взявшийся в скромной Тотошиной комнате. Раскинув руки на спинке дивана и положив ногу на ногу, Пушкин стал разглядывать Тотошу. Глаза его озорно посмеивались.

Тотоша обратил внимание на странное несоответствие: Пушкин был одет в лицейский мундир с галунами и блестящими пуговицами, а лицо у него было взрослое, с густыми рыжими бакенбардами, как на портрете, который висел в их классе.

— Жаль мне тебя, приятель, — сказал Пушкин, улыбаясь. — Как пить дать, влепят тебе «банку»... Но, если быть откровенным, то об Островском и так сказано довольноно...

Тотоша опять удивился: откуда Пушкин знает, что у них

в школе «банкой» называют двойку, и про какого это Островского он говорит?

— Да про Дубровского же! — пояснил Пушкин. — Что тот, что другой — не все ли равно? Экий ты непонятливый.

Непонятливым себя Тотоша не считал и потому обиделся.

— Впрочем, ко всему написанному добавить можно было бы совсем немного, — смягчился Пушкин. — Распустив бунтарей, мой дворянин тихо проживал себе в Москве, куда не дознались о нем да не упекли в острог...

— Про это я не буду писать, — сказал Тотоша упрямо.

— Правильно, не надо, — согласился Пушкин. Лицо его начало расплываться, исчезать. В комнате, заполнившейся голубым туманом, звучал лишь голос: — И не надо... Не надо строить новую яхту, чтоб двести дней болтаться в океане... А твой Эрик Табарли спятил. Как пить дать, спятил...

Тотоша проснулся и сел в постели.

За широким прямоугольником окна светил огромный фонарь, похожий на стручок фасоли. Рядом с тахтой на тумбочке тикал будильник. Тотоша нажал кнопку настенного светильника и посмотрел на часы: половина четвертого — еще спать и спать...

«Почему он сказал про яхту? — подумал Тотоша, припоминая сон. — А-а... Это не он. Это отец днем говорил, что Эрику Табарли просто делать нечего, вот он и собирается в кругосветное плаванье...»

Про Эрика Табарли Тотоша прочел в журнале «Катера и яхты», но откуда пришло в сон остальное? Например, Островский какой-то?.. А что, если Пушкин правду сказал? Бывают же вещие сны!.. Давно-предавню бабушке приснилось число, когда война должна была закончиться, и она кончилась почти в тот день...

Незаметно Тотоша опять уснул. А утром, хорошо подумав обо всем на свежую голову, решил, что Пушкина все-таки подводить не стоит. Он написал весьма лаконичное сочинение, в котором говорилось:

«Тогда, когда жил Дубровский, дворяне были несознательные и ни о чем таком не думали. Поэтому ничего интересного про них сказать нельзя. Дубровский — случайный факт. Его просто обидели. Потому он стал с крестьянами грабить и мстить. Я думаю, что, когда ему это надоело, он их всех

распустил и зажил спокойно под другим именем. Потом его выдали, и дело кончилось тюрьмой. Вот и все».

Конечно же, Тотоша получил двойку.

Светлана Юрьевна раздала всем тетради. Потом переждала, пока утихнет шелест страниц, взяла в руки Тотошину тетрадь. Тотоша, готовый ко всему, но уверенный, что поступил честно, сидел, нахохлившись, и смотрел в парту.

— Харламов, встань! — лицо Светланы Юрьевны слегка дрожало, точно она собиралась заплакать. — Ты нарочно изводишь меня, да?

— Почему? — буркнул Тотоша, вставая.

— Но что же ты здесь насочинял?.. Обратите внимание, ребята! Вот его сочинение! — она подняла тетрадь и повернула к классу раскрытой стороной. Все увидели, что сочинение не заняло и полстраницы.

Светлана Юрьевна прочла его вслух. Кто-то захихикал:

— Дубровский в тюрьме...

— А у Ефимовой лучше? — вскочила вдруг Мила Кузина. — У нее старичок Дубровский и старушка Маша в саду плачут и обнимаются! Тоже придумала! Фу!

— Тише, — сказала Светлана Юрьевна болезненным голосом и постучала ладонью по столу. — Харламов отчасти прав. По крайней мере, в примечании к «Дубровскому» сказано нечто подобное... Но, — она обратила взгляд на Тотошу, — почему же ты не развил свою мысль? Ты мог бы оттолкнуться от того, что вычитал там, и порассуждать. Или... Короче говоря, тебе было задано написать сочинение. А ты что сделал? Нацарапал пять строчек и — управился?.. Очень жаль, но придется вызвать твоих родителей в школу.

Родителей она все-таки не вызвала. Но еще несколько дней семиклассники бурно обсуждали сочинение Тотоши. Большинство с ним соглашалось: дописывать за Пушкина глупо. Многие весьма уважительно восприняли тот факт, что Тотоша читает примечания, которые обычно помещают в конце книги, набранные мелким шрифтом. Сам Тотоша не помнил, чтобы он читал примечания к «Дубровскому». Он мог бы рассказать ребятам про свой сон. Но кто б ему поверил?

Вскоре занялись изучением «Капитанской дочки». И вот теперь Тотоша понял, почему Пушкин сказал ему: «Пугачев — это сила». Образ крестьянского вожака действительно привлекал силой духа, непокорностью богатеям. За ним нельзя

было не пойти. Тотоша прочел книгу от корки до корки, упиваясь волшебной музыкой слов. Давно уже никто не говорил так, а люди в книжке все равно будто живые, будто каждого Тотоша знал в лицо.

После уроков, когда шли домой, завязался разговор. Генка Петухов, отличник и признанный авторитет среди семиклассников, сказал:

— Пушкин, конечно, гений. Но Гринев у него не слишком культурный. Как он говорит: вместо собак бегают «кобели», а матушка «брюхата»...

Ребята засмеялись.

— Ты просто дурак, — спокойно возразил Тотоша. — А вот Гоголь, к твоему сведению, считал, что тут высокая чистота и что прежние романы рядом с «Капитанской дочкой» все равно что размазня!

— Откуда ты знаешь? — вскипел Генка.

— В примечаниях вычитал, — Тотоша насмешливо прищурился. И, чтоб уже совсем уничтожить оппонента, добавил: — Еще в пятом классе.

А через несколько дней судьба покарала Тотошу за пренебрежение к школьным авторитетам.

На уроке Светлана Юрьевна заметила, что он рисует в тетради яхту и не слушает отвечающего ученика.

— Харламов, — сказала она. — Иди к доске и продолжи рассказ Батюка.

Тотоша, разумеется, не слышал, на чем остановился Ленка Батюк, и не знал, с чего начать.

— Ну, в степи разыгрался буран, — пожалела его Светлана Юрьевна. — Гриневу встретился человек. А дальше что?

— Дальше? Дальше сон ему приснился, — сказал Тотоша. В классе заулыбались.

— Правильно. Какой же сон? — Светлана Юрьевна повернулась к классу, взглядом своим погашая улыбки на лицах.

Тотоша начал было рассказывать про то, как Гринев уютно закутался в шубу, как ему приснилось, будто он вернулся домой и будто встречает его матушка и ведет к батюшке, который при смерти.

— Он это... подошел к кровати, а там вовсе не отец... — вдруг губы Тотоши задрожали, и он, не удержавшись, засмеялся тонким, не своим голосом. — Подошел, а там... этот...

Он думал, что больной отец лежит, а там... мужичок весело подмигивает.

Тотоша так ясно представил себе недоумение, даже испуг Гринева, который вместо отца увидел в постели подмигивающего бородатого мужика, что уже не мог сдержать предательского и совершенно несвоевременного смеха.

— Подходит... — выдавливал он из себя, — а там этот... Гринева к матери: «Что тут такое?»

Он просто трясся от смеха, воображая, каким, должно быть, дураком выглядел Гринева перед бородатым мужиком. Глядя на Тотошу, стал хохотать и весь класс.

— Хватит! — гневно сказала Светлана Юрьевна. — Садись!

— Да нет, я знаю, — возразил Тотоша, безуспешно стараясь сделать серьезное лицо. — Там про Пугачева снилось, и сон был вещий...

— Садись, Харламов! Я не позволю сорвать урок! — у Светланы Юрьевны, несмотря на молодость, был твердый характер.

Дома старший Харламов внимательно выслушал объяснение сына, потом развел руками:

— Погубит тебя, дружок, твоё необузданное воображение, — и обернулся к жене: — Не ругай его, мать. Эта двойка не страшная. Оно и в самом деле интересно: гусар шел на умирающего старика взглянуть, а увидел на его месте веселого, да еще бородатого мужика. Ты вообрази ситуацию!

— И когда ты только вырастешь, сынок? — вздохнула мама, глядя на Тотошу несердитыми глазами.

На летние каникулы Тотоша наотрез отказался ехать и в пионерский лагерь, и в деревню к бабушке. Он остался в городе один, тогда как все его друзья разъехались.

— Дойдешь ведь со скуки, — сокрушалась мать.

— Не дойду, — упрямо ответил Тотоша. — Мне не скучно.

Он и в самом деле не скучал. Каждый день, позавтракав и завернув для подкрепления сил несколько бутербродов, он уходил к местному водохранилищу — к ставку. Прикрепив на спине полиэтиленовый мешочек со своим багажом, он заплывал на самую середину ставка, где, неизвестно зачем, стояли скованные цепями лодки. Сначала он несколько минут плавал вокруг лодок, нырял, чтобы увидеть, к чему они прикреплены, удивлялся, почему держат их не на берегу, потом сообразил: чтоб не угоняли, не баловались.

Наплававшись, утомленный Тотоша забирался в одну из лодок и, лежа на корме, отдыхал или читал книжку, защитив глаза темными очками, а голову — газетным колпаком. Он прочел таким образом немало хороших книг, загорел и окреп, будто побывал на море. И еще узнал одного интересного парня.

Этот парень сам приплыл и влез в лодку к Тотоше. Длинный, тощий. Костлявое лицо его украшали диковатые темно-карие глаза и черная бородка клинышком. Волосы были длинные и слегка красноватые, наверное, от солнца.

— Слышь, пацан, — сказал он, утвердившись в лодке. — Я уже который день за тобою наблюдаю. Ты что, нанялся караулить это добро?

— Не-е, — лениво отозвался разомлевший на солнце Тотоша. — Здесь читать хорошо.

— А там что, не дают?

— Ага. Шумно, — Тотоша посмотрел на далекий берег, пестревший разноцветными купальниками и зонтиками. Оттуда доносились шлепки ладоней о мяч, крики и ребячий визг.

— А что читаешь?

— Да разное. Это — Сомерсет Моэм.

— Ого!

— Рассказы...

— Ну, рассказы тебе можно. А вообще читать любишь?

— Ага.

Парень по-собачьи потряс головой, и от него в разные стороны полетели мелкие брызги. Тотоша поморщился и сел, придерживая на голове газетный колпак.

— Если любишь читать, то начинать надо с азов, — сказал парень, забирая у Тотоши Моэма и листая страницы. — Иначе не научишься отличать хорошее от плохого. А всего прочесть невозможно...

— Уже семь лет с азов начинаю, — обиженно сказал Тотоша.

— Это в школе-то? — ухмыльнулся парень. — Знаем. Сам такой был... — Нет, ты со «Слова о полку Игореве» начни! Вот где сокровища.

— В восьмом будем проходить.

— Пройдешь!.. А ты сам прочти. Прочувствуй!.. Там «ночь

стонет грозой», «солнце застигает муть», «соловьиный щекот засыпает»... Улавливаешь?

— Улавливаю, — сказал Тотоша, не находя, однако, ничего удивительного в этих примерах.

Приплывший парень оказался студентом. С филфака, как узнал позже Тотоша. Студент, видимо, любил поговорить и, о чем ни говорил, рассказывал увлеченно и интересно. Особенно — о «Слове».

Разговаривая, они часто забывали о Тотошиных бутербродах, а иногда съедали их вместе и запивали водой из ставка. Здесь, на середине, она была такая же чистая, как в кране.

— Понимаешь, не дождусь начала занятий, — доверительно сообщил парень. — Прочел это самое «Слово» и заболел. Теперь хочется поскорее прослушать спецкурс. А потом я такой доклад отгрохаю, что даже пятикурсники прибегут послушать. Увидишь!.. Ведь князь Игорь где-то здесь ходил, по нашей земле. Улавливаешь?

— Улавливаю.

Тотоша тоже проникся доверием и рассказал про свой сон и «Дубровского». Парень выслушал очень серьезно.

— Люблю Александра Сергеича, — сказал он так, точно речь шла о его близком знакомом, а не о великом поэте. — Ты, пацан, правильно поступил.

Он несколько минут молча раскачивал лодку, потом со-знался:

— А я Тараса Григорьевича часто вижу... Шевченко...

— Во сне?

— Нет.

— А как?

— Да так. Появится у меня в комнате, смотрит молча, и я чувствую, что мы с ним понимаем друг друга.

— Мой отец назвал бы это галлюцинацией, — осторожно заметил Тотоша.

— Может быть, — парень улыбнулся и потрепал мокрый Тотошин чуб.

Но однажды парень стал прощаться раньше, чем всегда.

— Все, пацан. Завтра уезжаю в коммуну.

— В какую коммуну?

— Ну ясно! Пока не в лучезарное будущее! — засмеялся он.

— Так наши строительные отряды называются. На село поеду,

буду телятники в колхозе строить. Понял?.. Ну, давай лапу. Ты — ничего, с головой. Уважаю таких...

Они так и не познакомились.

Тотоша в последующие дни очень тосковал без этого парня. Вспоминал все, о чем говорили, и в голову приходили запоздалые умные мысли, которыми хотелось поделиться. Тотоша решил не дожидаться школьной программы, а взять в библиотеке «Слово о полку Игореве» и прочесть его здесь же, в лодке.

Может быть, оттого, что «почва» была уже подготовлена, а может, сказывалось обаяние парня и его умение зажечь слушателя, только Тотоша принял эту книгу с восторгом. Малопонятный древний язык уводил в такую глубокую старину, что даже голова кружилась.

Голой Тотоша лежал в лодке пузом кверху, смотрел в безоблачное синее небо, где каплей ртути белело раскаленное солнце, и думал о князе Игоре, который почти тысячу лет назад видел это самое небо, и это самое солнце, и, может быть, с этого самого места (ставок недавно сделан). Здесь, по диким степям, шли дружины князя в кольчугах и шлемах, с тяжелыми щитами и копьями. А навстречу им лезли, как саранча, несметные орды половцев... «На реце Каяле тьма свет покрывла...» Что это за река Каяла, не наш ли Кальмиус? Не у кого пока спросить...

Наконец кончились каникулы и начались занятия в школе.

Тотоша с нетерпением ждал того дня, когда они приступят к изучению «Слова». Он столько всего перечитал, что теперь и сам смог бы выступить с докладом перед кем угодно.

Светлана же Юрьевна словно нарочно не хотела замечать горящие страстью глаза Тотоши и вызывала к доске девчонок. Те мямлили или говорили такие глупости, что Тотоше хотелось стукнуть каждую. А Нелька Лопухова сказала:

— Ярославна ходила на башню плакать, чтоб ветер отнес ее плач князю Игорю...

Впрочем, это было верно. Но Тотоша знал, что у него ответ вышел бы полнее и интереснее, поэтому насмешливо перебил:

— Ага. Ветер ей телефон заменял!

— Харламов, тебя не спрашивают!

Светлана Юрьевна так и не вызвала Тотошу. Она задала на дом сочинение.

На этот раз Тотоша ни с кем не советовался — ни с отцом, ни с матерью. Тема сочинения еще с лета жила в нем. Он ее, как говорят, выстрадал. Она пульсировала у него в крови.

Тотоша с огромным вдохновением исписал полтетради и, счастливый, отнес свое детище в школу.

...Все было, как и раньше. Через несколько дней Светлана Юрьевна раздала тетради, оставив на своем столе лишь Тотошину. Она подождала, пока утихнут шелестящие страницы, и сказала:

— Сочинение Харламова стоит зачитать вслух. Харламов, встань!

Тотоша встал, еще не в силах определить, радоваться ему или печалиться. В наступившей тишине Светлана Юрьевна выразительно прочла:

— «Начинается сие сочинение не по замыслению Бояна, а по замыслению ученика восьмого «А» класса Анатолия Харламова. И растекшаяся мысль моя не по древу, а по бумаге...»

Несколько секунд стояла звенящая тишина. Затем класс дрогнул от дружного веселого хохота. Смеялись все, даже Светлана Юрьевна.

— Возьми, Анатолий Харламов, — сказала она почти дружески, возвращая ему тетрадь.

Тотоша увидел под своим выстраданным творением жирную красную двойку.

Казусы случались и в девятом, и в десятом классах. Русская литература щедро раскрывала свои богатства. Тотоша углублялся в них со страстью первооткрывателя и часто забывал о требованиях насущного дня.

В классе завязывались романчики, на партах шуршали записочки: «После уроков у кинотеатра», — или что-либо в этом роде. Один Тотоша оставался в стороне. Но как-то он увидел вдруг, что Милка Кузина очень похорошела, стала загадочной, будто хранила важную тайну. На Тотошу Милка смотрела свысока (насколько было возможным: в десятом Тотоша перерос своих одноклассников), но глаза ее теплели и смеялись. Он случайно услышал, как Милка сказала подруге:

— А вот и нет! Тотошенька у нас — прелесть! Захочу — и выйду за него замуж лет через пять!

Тотоша огорчился. Разве так говорят о серьезном?

Последнюю крупную неприятность из-за русской литературы он пережил, когда писали сочинение на тему «Мир моих увлечений». Тотоша знал, что все, что просится у него на бумагу, все равно будет понято и оценено не так, как надо, а кривить душой он не умел. И потому написал коротко: «Мир моих увлечений — это я сам. Наибольшую радость дает мне мое воображение».

...Была ранняя весна с низкими и тяжелыми облаками, с которых сыпался то дождь, то снег. И были каникулы. Тотоша бродил по бульвару и разглядывал былинки на освободившихся от снега газонах. Кое-где уже проклевывались зеленые перышки. А в одном месте храбрая маргаритка даже раскрыла малюсенький — с горошину — красный цветок.

— Харламов!

Тотоша поднял голову и увидел Светлану Юрьевну. В модном пальто и смешной шапке. Совсем детская шапка: ярко-розовая, с большим помпоном на макушке. Светлана Юрьевна поздоровалась и пошла с ним рядом. Некоторое время они молчали. Потом она сказала:

— Ты, Харламов, не обижайся на меня. Я ведь тебя понимаю. Я почти уверена, что из тебя получится писатель, если, конечно, ты сам захочешь... Но пойми и ты меня. Ведь программа предъявляет нам определенные требования, которыми нельзя пренебрегать...

— Я не обижаюсь, — сказал Тотоша. Скосив глаза, он увидел, что розовый помпон не достает даже до его уха. И первый раз в жизни почувствовал себя большим и сильным, а Светлана Юрьевна показалась маленькой и слабой. И ему захотелось защитить ее от кого-то или от чего-то.



НЕБО

Дивлюся на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти криллів не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав!
Далеко за хмари, подальше од світу,
Шукав собі долі, на горе привіту,
І ласки у зірок, у сонця просить,
У світі їх яснім все горе втопить;
Бо долі ще змалку здаюся не любий,
Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;
Чужий я у долі, чужий у людей:
Хіба ж хто кохає нерідних дітей?
Кохаюся лихом, привіту не знаю,
І гірко, і марно свій вік коротаю;
І в горі спізнав я, що тільки одна,
Далекее небо, – моя сторона.
І на світі гірко; як стане ще гірше,
Я очі на небо, – мені веселіше!
І в думках забуду, що я сирота,
І думка далеко, високо літа,
Коли б мені крилля, орлячі ті крилля,
Я б землю покинув, і на новосілля
Орлом бистрокрилим у небо пальнув,
І в хмарах навіки од світу втонув!



* * *

Хтось батогом у небі цвейка,
Мов хмара хмару в тьмі гука...
І рейки, рейки, рейки, рейки,
І жухелиця заводська...
«Володю!» Хто це мене кличе?..
Чиїх я губ дихання п'ю?..
Я над Дінцем іду в Лисиче,
В далеку молодість мою...
Там я любив, дививсь на зорі
На фоні доменних заграв,
І у трави зеленім морі
Я вірші Бяліка читав.
Відповідали серця струни
Його думкам. Душі то крик!..
Я був тоді ще юним, юним,
Була ще ніжна кожа щік
І бархатиста... Очі карі
Мені світили на путі.
Їх серцем бачив я у хмарі —
Ті карі очі золоті...
О, як ті очі чарували,
І, як росу, мене пили! ...
Вони між зорями сіяли,
Вони зі мною скрізь були.
Маленька будка під горою,
Де рейки блискали вогнем
...О, скільки раз повз будки тої
Я йшов в Лисиче над Дінцем!..
Щоб лиш почути милий голос,
Глибокий, бархатний такий,

І на щоці лукавий волос,
А біля скроні – крила вій...
Дінець! Ось ти переді мною
Течеш повз ріднеє село...
О, скільки років за водою
У далі часу одпливло!..
Усе тут інше ... Дня утому
Залізно шахтні рвуть гудки.
Та на тобі, як по старому,
Човни рибалок і тички.
Я чую шепіт прудководу ...
Навіки я цих місць співець!
Лиш одхилився од заводу
Ти трохи вбік, о мій Дінець!..
Стою в зажурі над тобою...
Ти став мілкішим, трохи згас.
Але солодкою водою
Тепер ти поїш весь Донбасс...
О мій Дінець, живий тобою,
З тобою мчу я до висот...
Тобі поїть Донбас водою, -
Мені – піснями мій народ!



* * *

О Донбассе пишут в географии,
Что Донбасс – край угля и металла.
Верно. Но для полной биографии
Это очень сухо, очень мало.
Кажется, есть песня о Донбассе,
Терриконы и копры воспеты.
Верно, есть такие. Я согласен.
Только это – внешние приметы.
Ну, а где же люди? Их не видно...
Потому мне горько и обидно...
Я хочу сказать о земляках.
Может быть, получится коряво,
Все-таки
Горняк.
О горняках,
Как могу,
Сказать
Имею право.



ВЕЛЬМОЖА

Я работаю, как вельможа,
Я работаю только лежа.
Не найти работенки краше,
Не для каждого эта честь.
Это — только в забое нашем:
Только лежа — ни встать, ни сесть.
На спине я лежу, как барин.
Друг мой — рядом,
 упрямый парень «Поднажмем!»
И в руках лопата
Все быстрее и веселей.
Только уголь совсем не вата:
Малость крепче и тяжелей.
Эх, и угольная перина!
Не расскажешь о ней в стихах,
Извиваешься, как балерина,
Но лопата играет в руках.
Отдохнуть бы минуту, две бы!
Отдыхаешь, когда простой.
Семьянин говорит о хлебе,
О любви говорит холостой.
Но промчится пара минут —
И напарник мой тут как тут,
Шепчет: «Коля, давай, давай!»
Вместе взялись, не отставай!»
На спине снова пляшет кожа.
Я дружку отвечаю: «Есть!»
Я работаю, как вельможа,
Не для каждого эта честь.

Шлях донецький весь поріс димами.
Ідемо і день, і два, і три,
І підводяться, як стяг, над нами,
Друже, сині і рвучкі вітри.
Сонце устає і знову падає.
І гудуть, усе гудуть дроти.
Чується мені в дротах балада,
Пісню про завод вчуваєш ти.
Я змовкаю інколи, але не тому,
Що не вистачає в мене слів.
Як це розказать, що по-другому
Йтимуть люди на оцій землі!
...Край великий не впізнать на мапі,
Повен сонця і великих дум,
І берези здіймуть білі лапи
В радісному нашому саду.
Будуть сипатись, як дощ, достиглі зорі
Прямо в серце, прямо у нутро.
І серцями люди заговорять,
Повертається з землі
У жили кров.



НАСЛЕДСТВО

Я сегодня детство вспомнил...
Сын сказал: «Здорово, бать!
Покажи, как пласт огромный
Обушком твоим рубать...»
Пусть пока он лампоносом,
Скоро быть мне стариком,
Вырастет малыш курносый,
Станет славным горняком.
Не видать ему ночного,
Он рожден на руднике,
Он на уголь смотрит строго
С зорькой-лампочкой в руке.
— У тебя иное детство,
Сыну с лаской говорю,
Я на врубовку смотрю.
Вот оно, твое наследство!
В миллионном рук порыве
Рудников, заводов, пашен,
В неустанном коллективе
Радость наша,
Счастье наше!
Наши мускулы не стынут,
Мы живем в горячем веке.
Мы пришли, чтоб горы сдвинуть,
Обуздать шальные реки!

ЛЕОНТИЙ ХОНАХБЕЙ

Поэма

Весенним днем, когда в поля
Спешат уже стальные кони,
И пахнет теплая земля,
Как материнские ладони,
Иду в село, что с давних дней
Знакомо, как огни степные,
Где жил Леонтий Хонахбей,
Где он любил Кошкош Марию.
Две вербы, выросшие врозь,
Грустят, склоняясь
К могильным плитам.
Трава — живой зеленый гость —
Взошла на кладбище забытом.
Из тех, кто спит здесь вечным сном,
Двоих, я это твердо знаю,
До наших дней в краю родном
С печалью люди вспоминают.
Мы в нашей памяти храним
Ушедших голоса живые.
Леона вспомнят — вместе с ним
Тотчас же вспомнится Мария.

* * *

Мои дороги далеки.
Увидел я места иные,
Там, где деревья высоки,
Роскошны травы полевые.
И там, от мест родных вдали,
Где горы, речка плещет сонно,
Писал я повесть о любви
Поэму о любви Леона.

ОГНИ СОРЕВНОВАНИЯ

Стучат на стыках поезда,
Взлетает пламя в поднебесье.
Гудят, гудят высокой песней
Обветренные провода.
Любимый мужественный край!
Не остывай в цехах и лавах,
Гудками гулками играй
И опалай дыханьем плавок.
И пусть впервые за века
Над степью слышится далече
Веселый голос человеческий,
Победный голос горняка...
— Взгляни, мой друг, увидишь, друг,
Донбасс, охваченный сияньем,
Как птицы гордые, вокруг
Парят огни соревнования.
И эти жаркие огни
Мелькают в штреках и забоях,
Зовут к работе, словно к бою,
Моих товарищей они.
Мои товарищи в строю,
Мои товарищи в бою.
И смена смене вызов шлет,
И стонут угольные горы,
И радостно следит народ,
Как соревнуются шахтеры,
Как дружно наши мастера
Идут в подземные уклоны.
И посылают на-гора
Огня спрессованного тонны.

Как седоусый ветеран
Пласты взрывает, полный жизни,
Чтоб не было на свете стран
Богаче солнечной отчизны,
Чтоб не вернулись никогда
Былое горе, тьма землянок,
Гора нужды и горьких пьянок
И жизни каторжной года.

Чтоб расцветали рудники,
Сады шумели, пели дети,
Чтоб слышно было всей планете,
Как рубят наши горняки.
Взгляни, мой друг, увидишь, друг,
Донбасс, охваченный сияньем,
Как птицы гордые, вокруг
Парят огни соревнования.



* * *

Я жил в такие времена,
В такие дни, в такие даты!..
Меня, безусого, война
До срока призвала в солдаты,
И в красноезвездного меня
Сто пушек целилось, наверно.
Москву собою заслоня,
Весь мир прикрыл я в сорок первом.
Я жил в такие времена —
Горели руки от работы,
Земля мне золотом зерна
Платила за соленость пота.
Припав к динамику щекой,
Я слушал, как, свершая чудо.
На крыльях зрелости людской
В глубины проникали люди.
Я жил в такие времена,
Что голова ходила кругом:
Моя планета и война
Стояли в шаге друг от друга.
Мне вся земля была видна
И зорким днем,
И ночью звездной.
И был я ласковый и грозный —
Я жил в такие времена.

БАЛЛАДА ПРО СОЛОВЬИНУЮ НОЧЬ

Вечер
Будто из золота соткан.
За окном — полустанки, огни...
Вот и все. Отгремели, Володька,
Под Изюмом твои соловьи.

Отгремели, отгрохотали
дни и ночи в жестоких боях,
И застыла
в медальном металле
Легендарная юность твоя:

Вся в метелях, бинтах
и в окопах,
В неотосланных письмах домой...
Ты по минам прошел,
ты протопал
До Москвы
от фольварка Грудополя,
Что от Бреста — подать рукой...

Помнишь... помнишь... ты все запомнил,
Нестареющий мой старичок...
Все прошло... Только глины комья,
Где стоял пулеметный расчет.

Только рощица под Изюмом,
Там — всю ночь напролет — соловьи!
Только рощица... только зуммер...
Воспоминания только твои:

«Все, ребята! Окончен концерт,
Надо фрицев чуток образумить,

Чтоб запомнили ночь на Донце,
Соловьиною ночь под Изюмом».
— Есть, товарищ «Второй», образумить
В соловьиною ночь немчуру.
Мы готовы! —
(Звезда в амбразуре), —
Мы выходим.. Идем... политрук!..

Два солдата ушли за тобою
С неразлучным «Максимкой» своим
Он был храбрым,
еще молодым:
Брал Калугу
и брал Медынь
И фашистов косил под Москвою...

...И сегодня они неразлучны —
Два солдата и пулемет.
Он на страже стоит.
Он — не мученик.
Он на вечном посту.
И за зря не умрет!

Если к мрамору вдруг прикоснется
В страхе потная труса ладонь,
Если к памяти
враг прикоснется, —
Он откроет смертельный огонь!
Вот и все. Отгремели, Володька,
Под Изюмом твои соловьи...
Жаль, что нету
В продаже водки,
Той, наркомовской, в эти дни.

ТРИ ЯВОРИ

1

...і стрілися мені Три Явори при мовчазній хаті.
...кострубате гілля завмерло у своїй вічній непорушності.
...ніким не знана зелена тиша залягла на подвір'ї, відгоро-
дившись від гомону вулиці, від гуркоту моторів, від пісень
дівочих.

— Стою і дивлюся на Три Явори —
Ні листя нема, ні живої кори.
Журба залягає до серця сама,
А дума тривожить, мене обійма.

...край вікон, сягаючи низенької стріхи, палали червоні мальви.
...на шовковиці вовтузились сорокопуди.
...за хатою виднілися дві лички кукурудзи та картоплі.
— Ні листя нема, ні живої кори, — повторюю про себе.

Аж чую:

— Чим це ви зацікавилися? — запитав чоловік, який щойно
вийшов з контори колгоспу.

— Ось дивлюся...

— Та то баба Параска все мудрує. Вже літ з десять як хотіли
оці всохлі явори спилити — так не дає. Плаче, каже — то мої
синочки-соколи... Вообщє, теє...

А я —

й не чую його,

бо —

Не плач, не плач, стара мати,
слізьми моря не доповниш...

А він продовжує:

— Воно якось і нам... бачте, поруч контора, клуб, он парк
який, а тут — відмираюче дворище...

— Відмираюче? — перепитую.

Та він пішов, махнувши єдиною лівою рукою: а, мовляв, що
там балакати...

...а було в матері троє синів, як соколів.

...росли помаленьку, виростали:

той воду носить до хати,
той дровець нарубає,
а той корову попасе...
...і в кожного був свій явір.
...так і звали їх:

ВАНЬКО,
ВАСИЛЬКО,
ПЕТРУСЬ...

Скільки літ стояв край хати
Місяць щербий,
та й уповні!
НЕ ПЛАЧ,
НЕ ПЛАЧ, СТАРА МАТИ,
СЛІЗЬМИ МОРЯ
НЕ ДОПОВНИШ...

...до хвіртки крокує хлопчина,
в руці у хлопчини – хлібина,
а в другій – обв'язаний глечик.
Добрий вечір!

– Це ти, Васильку?

– Ні, я – Ванько; Василько ще в школі, а Петрусь в садок побіг за сестричкою.

– Ну, заходь, заходь. От спасибі вам, синочки, от спасибі.
Не забувайте стару бабу...

Стою і дивлюся на Три Явори:
ні листя нема, ні живої кори,
вони, як хрести, коло хати...

Сидить біля Яворів Мати:

– Це ти скаменів, Іванку!

А ти ж, було, ізранку
і води принесеш із криниці, і сіна підкинеш телиці,
і в школу – бігом,
та й із школи,
і не зобижався ніколи,
бо такий же був слухнянко, та розумний...
От би жив!

Ой Іванку мій, Іванку,
де ж ти голову зложив?

А Іванко... не підніме голови, бо міномети, як скажені пси...
а тут – один курок...

Захурделило.
Завило.
І ростуть,
ростуть замети,
не відать,
чи солдат
лежить під снігом,
а чи просто —
бугорок.

Задубіло усе. Задубіли й дублянки.
Обпікає залізо, морозом плече.
Гул моторів крізь хугу, —
хоч не видно ще танків.
А на сніг почорнілий
кров червона тече.
Підповзає сестричка,
перев'язує рану.
А на них уже танк
до окопу сповза.
Засліпило ув очі!
І сестриці й Івану,
і не можна вперед,
і немає — назад!
Ось над ними вже траки
скрегочуть останні.
І підвівся Іван,
кинув зв'язку гранат...
...Іх обох поховали бійці на світанні.
Не було ні промов...
лиш заплакав комбат...
тільки хуга за Волгу
несла завивання...
А з-за Волги нові батальйони
виходили в бій...
...а в дворі перший Явір зів'яв до смеркання...
Заплакала Мати:
— Іваночку мій...
— НЕ ПЛАЧ,
НЕ ПЛАЧ, СТАРА МАТИ,
СЛІЗЬМИ МОРЯ
НЕ ДОПОВНИШ...

– Бабусю, бабусю...
 – Це ти, Васильку!
 Ага, я вам дров нарубаю...
 Стою і дивлюся на Три Явори:
 Ні листя нема,
 Ні живої кори.
 А Мати вглядається в марево чорне
 І Другого Явора
 к серденьку горне:
 – Вставай, Васильку...
 Молодець!
 Не зобижайся, любий сину,
 комусь же треба й до овець,
 щоб пожалить чужу тварину.
 На той рік – купим букваря,
 з тобою разом почитаєм
 і про попа,
 і про царя,
 і про розбійників узнаєм...
 Та що це я?
 Царя нема!
 Я розповім про інше диво:
 мине іще одна зима —
 зазеленіє й наша нива, уродить жито,
 і пшениця,
 своя в нас буде паляниця...
 ...О СКІЛЬКИ ГОРЯ В СИВИНІ,
 ТА ВСЕ ЗА НЬОГО, ЗА САМОГО...
 ...а бій гримить удалині
 і наближається до нього...
 – За нами —
 нам землі нема!
 Немає відступу нікому!..
 ...ще осінь десь,
 попереду — зима.
 А скільки верст,
 вернутись щоб додому!..
 ...вийшли з хати гуртом

на ТРИ ВІТРИ,
посадили хлопці
ТРИ ЯВОРИ –
ВАНЬКО,
ВАСИЛЬКО,
ПЕТРУСЬ ...
Щаслива, весела
мати-вдова
ті Явори щодня полива:
– Ой ростить, Явори,
та все вгору,
та вгору,
та допоможть вдові
у горі
...вже ж як було (навіки та не забудь)
...стрільнули Кирилу
прямо в грудь,
стрільнули...
А діти –
один від середульшого –
на рік старший, другий від середульшого –
на рік молодший, а що середульший –
один за всіх: удовину бідність
не дасть на сміх...
...і сяє: над ними,
над Яворами,
сонце одне
стільки днів,
материнська ласка,
і вітер той самий,
що гойдав у колисці синів...
Тату! Та-гу!
Іди снідати!
Бо не пустимо в хату обідати!
...а тато не йде...
крізь розпуття доріг
йшов додому...
стрільнули й завалили у сніг...
– Ой Дніпро, Дніпро...

...то вийшли полки. Дивізії. Фронти. Вийшли солдат и до рідного Дніпра:

— Ой Дніпро, Дніпро...

(Яка птиця перелетить його!)...

...та помчали до крутого правого берега плоти, човни, пароходики...

...і осліпилось небо, погасило свої дивні зірки, що дивилися на криваву битву...

— Ну і гади! Ох і гади! Будуть Сталінгради!

...був листопад...

...на Другому Яворі листя ще трималося і раптом:

— Ой, Василечку мій, й тебе куля знайшла...

Над Дніпром вогневій,

чорні хвилі-імла,

і човни, і плоти — переправа іде.

На Чотири світи бій кривавий гуде. Берег правий — крутий, смерть і смерть...

як ніде...

неба хмурий намет.

Київ поруч горить.

— Комуністи, вперед!

З-за бугра у цю мить

полоснуло вогнем.

Не піднять голови.

— Київ рідний, ідем!..

Перебіг два рови, кинув зв'язку гранат,

в небо погляд підвів, —

і рванувся солдат, амбразуру закрив...

...в самому центрі міста обрис з граніту

танкіста Шолуденка...

І вірить мати — поруч Василько поліг...

Скільки пройшов доріг,

а засудьбилось

лежати невідомо де

на своїй землі, поміж цих

обважнілих круч...

«ОЙ ДНИПРО, ДНИПРО,

ТЫ ШИРОК, МОГУЧ,

НАД ТОБОЙ ЛЕТЯТ

ЖУРАВЛИ...»

— Бабусю, я козу з лугу приведу...
— Петрусь?..
— Ага... а мама прийде, подоїть...
Ні бурі,
ні грому немає,
А Маги
до Третього Явора
руки ламає:
— Ой, як ти, Петрик, постарів,
уся кора вже облупилась,
а я ж тобі невісточку вдивилась,—
я ж знаю,
ти її волів,
казав,
в селі — вона найкраща, найголосніша у селі,
така була вже роботяща, мов приростала до землі.
Ой не забуду я довіку: гриміло,
блискало окіл,
ридало серце з того крику,
коли вели їх на розстріл,
а я й не знаю —
де могила, твоя могила і її...
...весна найперший квіт розкрила,
як затихали вже бої...
Синіло небо над рейхстагом,
в хоралі усміху й пісень палахкотів червоним стягом
Побідний День.
Та раптом —
постріл...
Був останнім
ворожий постріл
в мирний світ...
Якби ж то там,
На полі браннім, а тут...
В неповні двадцять літ...
пройшов од Волги
до Берліна, на тілі рана не одна...
і ось настала
мирна днина, для нього...

й скінчилася війна...
НЕ ПЛАЧ, НЕ ПЛАЧ,
СТАРА МАТИ, СЛІЗЬМИ МОРЯ
НЕ ДОПОВНИШ

...а до мене крізь думу
знову

долинув байдужий голос:

— Воно якось і нам... але, бачте, поруч контора, клуб, парк
он який а тут — відмираюче дворище...

— Відмираюче? — перепитую.

І жах мене взяв за пам'ять людську...

Стою і дивлюся на Три Явори:

— Де листя поділи до строку?

— Ми будем мовчати,

а ти — говори,

зробить ми не можем ні кроку...

Стожильні гілки заскрипіли

на мить,

обпікшись об сонячне коло.

— Нехай он калина край хати шумить, а нам не шуміти ніколи,
хай сяє довіку вам сонячний диск й не чується вибух снаряда,
а ми вже не Явори.

Ми — обеліск, для Матері вічна розрада...

...а було в Матері

троє Синів:

ВАНЬКО,

ВАСИЛЬКО,

ПЕТРУСЬ.



* * *

Не одлюби свою тривогу ранню
— той край, де обрію хвиляста каламуть,
де в надвечір'ї вітровії тчуть
єдвабну сизь, не віддані ваганню.
Ходім. Нам є де йти — дороги неозорі,
ще сизуваті в прохолодній млі.
Нам є де йти — на хвилі, на землі
шляхи — мов обрії — далекі і прозорі.
Шумуйте, весни — дні, ярійте, вечори,
поранки, шліть нам усмішки лукаві!
Вперед, керманичу! Хай юність догорить —
ми віддані життю, і нам віддасться в славі!



ХЛЕБ

Хлеб мой – солнце мое!
...Вспоминаются
Годы безжалостные:
После ран фронтовых,
Получая блокадный паек,
Я упрасивал мысленно
Продавщицу:
– Пожалуйста,
Заверните целебный
Хлебный запах в кулек...
И когда я гляжу,
Как теперь выбирают
Буханки
Горожанки мои,
Вдруг волненье
Охватит меня:
Не забыть, как в селе
После вражьей
Бомбежки крестьянки
Выносили снопы,
Точно спящих
Ребят из огня.



ВРЕМЯ

Время даже камни крошит...
С. Есенин

Мы мерзли
Под снежными елями,
В болотистых стыли местах,
Но понятия
Совсем не имели мы
О каких-то
Больничных листах.
Даже смерть
Не считали событием,
Нас она поджидала
Везде...
А теперь вот спешим
Под укрытие
Даже летом,
При тихом дожде.



ОНИ СОБОЮ НАС ПРИКРЫЛИ

Они не пережили боя,
Но все же в пекле огнем
Успели нас прикрыть собою
И мир,
В котором мы живем.

Светлели раненные дали,
И догорал рассвет,
Когда
Они с бессмертьем побратались,
Став нашей славой навсегда.

Стоит заря
Над пьедесталом,
Их вечный сон хранит страна.
От них
Берет свое начало,
Сроднившись с жизнью,
Тишина.



ВСТРЕЧА С ГОРОДОМ

Город: знаменитого шахтера,
С теплотой глубинной
Про запас,
И живет в нем девочка,
С которой
Я ходил когда-то
В первый класс.
Каждый камень здесь
Мне с детства дорог,
Здесь звучат
Родные имена...
Девочке давно уже
За сорок,
Вот и стала бабушкой
Она.
С грустною улыбкой
И веселой
Я смотрю
На Горловку мою
И стою
Перед моею школой,
Словно перед мамою
Стою.
Рядом с ней,
Ничем не знаменитой
И уже записанной — на слом,
Даже то,
Что я считал обидой,
Душу наполняет мне
Теплом.
А в аллее,
Где давно пропели
Соловьи,
Живущие не тут,
Девочка и мальчик
Два портфеля,
Крепко взявшись за руки,
Несут.

* * *

Отпели ранние капли —
Иные у Весны дела:
Младенец Лето в колыбели
Сил набирается, тепла.
Последний цвет роняют вишни,
А молодая мать Весна,
Волнуясь, торопясь излишне,
Доходит до нехватки сна.
Ей думать надо о ребенке,
Ей надо (шумно иль молчком)
Развесить облака-пеленки
И продувать их ветерком,
Мальца баюкать в час вечерний,
Кормить, чтоб он быстрее рос,
Включать в программу развлечений
То щебет птиц, то рокот гроз.
Пусть сын растет под звезды мая,
Да не по дням, а по часам,
Всем существом своим внимая
Кукушек томным голосам.
И станет работягой Лето,
И поведет во весь опор
Комбайны на поля ...
Но это —
Уже особый разговор.

ОДА БРЕЗЕНТУ

В твореньях великих поэтов,
Чья слава не меркнет века,
Не раз были щедро воспеты
Атласы, парча и шелка.
Хвалу и обычному ситцу
Не раз мой улавливал слух,
Красой, мол, с ним может сравниться
Лишь майский ромашковый луг.
И только возвышенным словом
Восторженно не был воспет
По виду и сути суровый,
Защитного цвета брезент.
А в нем на большую работу.
Сказав себе твердо: «Дерзай!»,
Ходили Стаханов, Изотов,
Ушедший в бессмертье Мазай.
И те, что пришли им на смену,
Герои сегодняшних лет,
Спускаются в шахты,
Стоят у мартенов,
В защитный одеты брезент.
В забое под каменным сводом,
У сталеплавильной печи,
Испытанный дюжим народом,
Он был и останется модным
Для настоящих мужчин!

* * *

Я і дома – не дома:
Сідаю за стіл –
І немає вже стін,
ні підлоги, ні стелі.
Є всесвітні дороги
І вселюдські оселі,
І хвилюючі доторки часу і тіл.
Тільки серце спружинить – і я на зорі,
І уже я присів на полудрабку воза,
І немає ні прірв, ні такого узвоза,
Що завадили б цій непримушеній грі.
Рідко дома застанеш відроду мене:
Де тривога – я там.
Якщо бій – я на герці.
Я за мить побуваю у кожному серці,
І ніщо в нашім світі мене
Не мине.
Я за день материк від кінця і до краю
Весь пройду,
Продивлюсь,
Пролюбуюся ним.
Побуваю в забоях, у плескоті нив,
Поділюся думками й окраєць розкраю.
Перейду океан, пронесуся над світом,
Наче губка, всотаю всі болі землі,
Хай сувоями ляжуть вони на столі,
І лежать, доки стануть лиш спогаду світлом.
Я і дома – не дома.
Я в різних краях.
Я на кожній будові, на кожній руїні...
Тільки де б у думках
Не проносився я,
Мое серце завжди
На Вкраїні!

ОСІНЬ У МІСТІ

Трохи незвична для міста погода —
Тихо. Крайнеба горить в багреці.
Міцно тримає каштан позолоту —
Осені прапор у жовтня в руці.

Котрий вже день небо чисте, прозірне,
Хмари з небес наче хто позмітав.
Ніжаться сквери і вулиці мирні
В сяйві рожевім вечірніх заграв.

Важко повірить, що світ неспокійний,
Що над землею нависла біда,
Що на планеті незгоди і війни
Й атомна згуба над нею вита.

Чарами сповнене тихе смеркання,
І на уста мої ніжна й легка
Проситься пісня про весни й кохання
Тільки тривога в той спів проника.



* * *

Как в детства дальнюю страну,
Как в сказку, что всегда со мною,
Я вновь приехал
В Сартану, —
Вернулся я
В село родное.
И хаты, и дары полей,
И каждая природы милость —
Все это в памяти моей
С мальчишеской поры
Хранилось.
Иду я,
И душа дрожит
В неясной, радостной тревоге.
Все тот же
Царственно лежит
Огромный камень у дороги.
Свидетель времени немой,
Поросший мохом и травой,
Я над тобою,
Милый мой,
Седой склоняюсь головою.
Цветет,
Растет мое село,
Мужает со страной вместе.
Поди ж ты:
Столько лет прошло,
А камень все на том же месте.
Напомнил мне он те года,
Что с журавлями отлетели,
И не вернутся никогда

Из тех краев,
Где нет метелей.
Любили отдыхать на нем
Мальчишки,
Натрудивши ноги,
И с ним дружили,
Как с конем,
Что ржет призывно у дороги.
Молва твердила, между тем
(И ей поверили ребята!),
Что под громадным
Камнем там
Был спрятан кошелек когда-то.
Доверившись пустой молве,
Мы тут роились,
Будто пчелы,
А он, как великан, в траве
Лежал немыслимо тяжелый.
На этом самом валуне,
Огнем неведомым палимый,
Впервые в жизни при луне
Я девушку назвал
Любимой.
Он надо мной
Имеет власть —
Ее не передать словами.
И к камню
я готов припасть
В порыве нежности
Губами.
Готов я на исходе дня
Его обнять чистосердечно
За то,
Что научил меня
Хранить любовь
Светло и вечно.

Перевел с греческого Иосиф КУРЛАТ

ИВАНОВА ГОРА

Отрывок из одноименной повести

У здания генеральной дирекции объединения остравских угольных шахт в Чехословакии меня встретил седой коренастый человек. Коротко представившись: «Инженер Вацлав Мразек», — пригласил к себе, на ходу шутливо уточнив, что по-русски его фамилия звучит как Морозко. По дороге из Братиславы в Оставу мне много о нем рассказывали журналисты еженедельника «Технишке новины» Йозеф Заварский и Юлиус Андрейчак, вызвавшие поехать со мной в угольный край. Мразек, по их словам, ходячая шахтерская энциклопедия, а уж что касается сведений о содружестве здешних горняков с зарубежными собратьями по профессии, то тут ему равных просто нет. В Оставе говорят, что Вацлав узнает о шахтерском новшестве еще до того, как оно родилось. И тогда, в какой бы стране оно ни появилось, этот беспокойный искатель новизны непременно добьется его «прописки». И в лавах Оставско-Карвинского бассейна, где Мразек ведает организацией соревнования и внедрением передового опыта. И верно, не за одни белоснежные седины шахтеры прозвали его «Вацлав Светлая Голова».

Нет ничего удивительного, что первым в дружественных сопредельных государствах, где добывают уголь в основном с помощью советской техники, Ивана Стрельченко открыл именно Мразек — Морозко. В ту пору он работал на шахте имени Юлиуса Фучика, так же, как «Дукла», имени 1 Мая и «Мир», породнившейся с «Трудовской». Это было за полтора года до того, как в лаву Стрельченко доставили первый узкозахватный комбайн, и бригадир со своими морскими братишками еще работал на «Донбассе». Видимо, любопытному Мразеку что-то приглянулось в рабочем почерке молодого донецкого механизатора, если он настойчиво наказывал Герою Социалистического Труда ЧССР, бригадиру горнорабочих очистного забоя Карелу Янеге, отправлявшемуся в составе делегации на «Трудовскую», познакомиться с Иваном, непременно побывать у него в лаве и выяснить кое-какие подробности, не дававшие покоя Вацлаву Светлой Голове...

Бригадиры встретились и подружились. Сметливый Карел, проведя чуть ли не весь день рядом с Иваном в его забое, сразу уловил, что так интересовало заместителя директора шахты по производству Мразека: у Стрельченко «Донбасс» работал в смену почти на четыре часа больше. Стали разбирать каждую операцию. Чернявый быстроглазый Карел, поднявшись на-гора, еще долго сидел с Иваном в нарядной, расспрашивал Стрельченко о том, где ему удастся экономить рабочие минуты. Все вроде записал детально, но по пути домой его все-таки стали одолевать сомнения: ведь что ни пласт — то своя горная обстановка. Все как есть рассказал Мразеку и добавил, что хорошо было бы, если бы Стрельченко сам побывал в их лавах. Вацлав, не долго думая, придвинул к себе лист бумаги. Стрельченко по-братски откликнулся на зов друзей и вскоре приехал в Оставу. В первый же день спустился к Карелу в лаву. Вместе с бригадами неотлучно был и Мразек.

— Когда поднялись на-гора, — рассказывал нам Вацлав уже в машине, мчавшейся как раз туда, где все это происходило, — Стрельченко мягко, будто извиняясь, сказал нам, что на «Трудовской» комбайн не останавливают во время крепления и тем увеличивают добычу. По его разумению, точно так же можно поступать и здесь, у нас. Уже на следующий день мы стали перестраивать работу в комбайновых лавах по методу Стрельченко. Добыча резко возросла. Эту угольную прибавку на шахте долго называли тоннами Ивана Стрельченко.

Провожали его всей шахтой, рассказывал Вацлав. Просили приезжать почаще.

— Но увиделись мы снова не скоро, — вздохнул Мразек. Иван приехал к нам вторично перед самым своим мировым рекордом, когда его знали во всем угольном мире. Он заметно возмужал и вырос духовно. Это был широкомыслящий человек, и мы, разумеется, говорили не только об угле и машинах. Тогда еще свежи в памяти были наши трудные времена, и Стрельченко, не сводя глаз с моей совсем побелевшей головы, попросил рассказать об этих событиях. Я откровенно объяснил ему соотношение сил как мог, заметив, что у правых был культ барахла и ничего больше за душой и что шахтеры в большинстве своем не поддержали их вылазку. Помню, Иван с горечью заметил, что ничто так не опустошает человека нравственно, как накопительство. Такие люди постепенно утрачивают идейные ориентиры. А за наших шахтеров пора-

довался, узнав, что Карел Янега и другие его друзья в грозные дни оставались верными классовому и интернациональному долгу.

Затем Вацлав стал тепло рассказывать о более поздних встречах Ивана Стрельченко на остравских шахтах, и я заметил, что ему очень приятно говорить об этом. В то время Мразек работал уже в генеральной дирекции и ему удалось с помощью донецкого бригадира, как он сказал, распутать несколько сложных производственных узелков и кое-чем из своих новшеств заинтересовать самого Стрельченко. В ту пору чехословацкая угольная индустрия уже в основном завершала переход на советскую узкозахватную технику. Но работали в комплексно-механизированных лавах, дававших свыше половины всей добычи в бассейне, по старому распорядку: как и в свое время в Донбассе, уголь крушили все четыре смены, и простой понемногу стали одолевать. Узнав об этом, Стрельченко рассказал остравским специалистам о своем ремонтном ритме. Но, как выразился Вацлав, «многим такой порядок работы показался странным». История повторялась. И здесь перед новшеством вставал невидимый психологический барьер. Тогда Вацлав Светлая Голова предложил самим посмотреть этот самый ремонтный ритм в действии. В Донецк с шахты имени Юлиуса Фучика отправились инженеры Павел Кристек и Зденек Колачек и бригадир Йозеф Жижка. Они придиричиво изучали ремонтные паузы не только на «Трудовской», но и на шахтах имени Абакумова, имени газеты «Социалистический Донбасс» и на Макеевской шахте имени Бажанова. Посланцы Остравы возвратились, по словам Мразека, «обращенными в веру Стрельченко». Обязательные утренние ремонтные смены ввели во всех комплексно-механизированных лавах Островско-Карвинского бассейна. «Вы можете спросить, что это дало?» — обратился ко мне Вацлав и, не ожидая моего вопроса, стал на память одну за другой называть очень убедительные цифры: «В семьдесят первом году у нас было пять тысяч шестьсот часов простоев, и мы вертелись как белка в колесе. А сейчас всего около двух тысяч. Есть разница? Есть! И какая! А если хотите в тоннах, тоже могу сказать: потери от простоев снижены на сорок тысяч тонн в год. Это братский подарок вашего Стрельченко...»

Вацлав Светлая Голова сел, кажется, на своего любимого конька и без усталости сыпал цифрами, рассказывая о том, что

может дать повторение передового шахтерского опыта, накопленного в разных странах, если относиться к нему по-хозяйски.

— Да вот директор шахты имени Юлиуса Фучика Инджих Билан, к которому мы едем, может рассказать вам не менее любопытную историю, тоже связанную с последним приездом Ивана Стрельченко. Он был тогда директором шахты имени Клементя Готвальда. Их там замучили завалы...

— Верно, нелегко приходилось, — согласился Инджих, когда мы при встрече напомнили ему о тех днях. — Представляете: кровля там рушилась монолитами и сокрушала всю технику в лавах. Механические стойки «Дубница» не выдерживали натиска породы, их ломало и корежило. А завал в такой лаве — сушая беда: это две-три недели тяжелых ручных работ, раздавленное оборудование, потеря не менее девяти тысяч тонн добычи. Люди нервничали, уставали безмерно. И вот приходит ко мне бригадир Франтишек Коцурек, который был на встрече со Стрельченко на шахте имени 1 Мая. Есть, говорит, средство от нашей бешеной кровли: советский бригадир советует попробовать их посадочные тумбы ОКУ. Если поставить в два ряда, выдержат, мол...

В кабинет тихонько вошла девушка-секретарь и безмолвно положила на стол директора листок. Инджих, взглянув на него, согласно кивнул головой и продолжал:

— Мы с инженером Бобаком отправились в Москву и Донецк. Были в Институте имени Скочинского, на шахтах Донбасса. Посмотрели крепь в работе и закупили ее. Она прекрасно держит кровлю в наших «бешеных» лавах. Затраты быстро окупались. Коцурек теперь не нарадуется и все благодарит Стрельченко за подсказку. Еще бы! Он теперь со своей бригадой ежедневно добывает на пятьсот-шестьсот тонн угля больше, чем прежде...

Дверь кабинета открылась, и на пороге показался очень знакомый мне черноволосый человек с добродушным лицом и густыми широкими бровями. Пока я пытался вспомнить, где видел его, Вацлав быстро подсказал мне: «Карел Янега!» и поднялся навстречу вошедшему. Шахтеры обнялись. «Ну рассказывай, говорят, снова был в Донецке у Стрельченко? Что нового, как он там?»

— Привет передавал. Готовится к новому рекорду, испытывает оригинальную технику. Интересовался нашим заводом

запчастей. Все расспрашивал, правда ли, что почти три тысячи человек работает на нем. Вот это, говорит, любопытно...

— Да, запчастей, будь они неладны, всех донимают, — сказал Инджих.

— Долго расспрашивал о нашей системе ежедневного сбора информации об авариях и простоях с помощью ЭВМ. Это, сказал, очень перспективное дело, — продолжал Карел. — А еще толковали мы с ним о нашем клубе передовых работников. Интересовался, что там еще новенького придумал, мол, Вацлав в этом клубе. Говорит, когда рассказал у себя, что в Острове создана такая общественная организация шахтеров, что членов клуба ежегодно избирают на рабочих собраниях, им вручают значки и удостоверения вместе с графиком поездок в отстающие бригады, — этим очень заинтересовались в Донецке. У шахтеров особенно заметна тяга к передаче друг другу лучших приемов труда, — говорил Иван. — Пора бы, дескать, подумать о подобном шахтерском клубе передового опыта в рамках всего нашего социалистического содружества. Так и сказал! А для начала неплохо бы, мол, собрать «тысячников» из разных стран...

— А что, неплохая мысль! — подхватил Мразек.

— Ваш Стрельченко в нашем шахтерском крае так же популярен, как советские космонавты, — сказал Инджих, как бы подводя итог рассказу о встречах с новатором, и показал мне пожелтевшую фотографию, на которой Иван снят среди горняков шахты имени Юлиуса Фучика. Еще в тот, первый приезд.

Но разговор о пребывании Стрельченко на братской шахте закончился еще не скоро. Внизу, в уютной прихожей, мы снова невольно остановились у проволочного бравого солдата Швейка, который, плутовато улыбаясь, встречает всех вошедших с неизменной кружкой пива в руке.

— Тут, у Швейка, у нас со Стрельченко была целая литературная викторина, — промолвил Вацлав. — Увидел нашего вояку Иван и сказал, что это его старый знакомый: он уже не раз с удовольствием перечитывал книгу Ярослава Гашека. И стал вспоминать наиболее понравившиеся ему эпизоды. Ну, понятно, тут и мы не выдержали... Это был веселый разговор!

Когда мы прощались у памятника Юлиусу Фучику, Карел снова вспомнил о своем побратиме:

— А вот здесь, когда уезжал Стрельченко, собралось много шахтеров, пришли все бригады, которым помогал Иван. Тут, у Юлиуса, Стрельченко говорил как-то особенно сердечно. О том, что рад был побывать именно на этой шахте, носящей имя выдающегося героя-антифашиста, писателя-интернационалиста, пламенное слово которого и сейчас воодушевляет всех борцов за мир. Вспоминал, как горячо обсуждали ребята в его комсомольской бригаде «Репортаж с петлей на шее», как восхищались подвигом нашего Юлиуса.

— И знаете, что мне особенно запомнилось? — спросил Вацлав. — Чувство, с которым Иван произносил эти дорогие всем нам слова: «Люди, будьте бдительны!..» Он говорил как человек, который знает, что несет с собой война...

Когда мы возвращались в Братиславу, Йозеф Заварский и Юлиус Андрейчак всю дорогу пели свои старинные народные песни. Их мелодии напоминали мне напевы родных мест. А близкие славянские слова о пареньке, которого «до Комарно за воячка взяли» и «власки накратучка стригали», о тех, уходящих на войну ребятах, которых «матички» женить не будут, о «крови червонэй, ктора са вылее на лучке зеленэй», о смелом шахтере Гонзе, который послал своих хозяев, чтобы их «вшецци черти взяли» — не требовали перевода. Под эти песни я рассматривал подаренную мне фотографию, на которой юный Ваня Стрельченко сидел среди шахтеров рядом с Карелом и Вацлавом, вспоминал рассказы о бригадире и думал, что мне говорили, в сущности, об обычном в социалистическом содружестве явлении — опыт передового шахтера давно стал интернациональным достоянием. И веселый труженик Карел Янега, и беспокойный собиратель шахтерских талантов Вацлав Светлая Голова, и молодой ученый, ставший директором шахты, Инджих Билан теперь были уже частью судьбы советского бригадира, точно так же, как и он сам пошел в их жизнь символом братской взаимовыручки и единения. И я невольно стал вспоминать другие встречи и другие угольные страны, в которых довелось побывать за последние два десятка лет и где имя Ивана Ивановича Стрельченко мне называли с таким же уважением и благодарностью, как и в Чехословакии.

Иногда в братских угольных краях я оказывался одновременно с ним, и это были незабываемые минуты. В Катовице в День шахтера я увидел Ивана Ивановича в гостинице в

окружении тамошних горняков. Он тут же вовлек и меня в это угольное товарищество, и мы, с согласия польских журналистов, к которым я приехал, подались с ним на шахту «Ян». Это первое в Европе автоматизированное угольное предприятие, которое мне самому очень хотелось увидеть. Встречали Стрельченко цветами. Говорили, что польским горнякам приятно увидеть у себя «предводителя советских тысячников». Долго стоял Иван Иванович у пульта управления шахтой, и было видно, как он взволнован и обрадован. Отвечая на вопросы советского бригадира, главный инженер предприятия сказал, что изучал его опыт и что даже здесь, на «Яне», этот опыт очень пригодился, особенно практика персональной ответственности ремонтников. На обратном пути Стрельченко сидел молча, сосредоточенно обдумывая увиденное. В гостинице к нему обратился польский журналист, неплохо знающий угольное дело, и попросил рассказать о самом сильном впечатлении за всю поездку по шахтам Польши.

— Вопрос одного польского шахтера, который несколько дней просидел в завале, — нимало не задумываясь сказал бригадир. — Когда его извлекли оттуда, он еле слышно спросил: «Ребята, как сыграл наш «Гурник» с «Манчестером»? «Три два в нашу пользу», — ответили ему. Тогда спасенный сразу преобразился и сказал, отстранив поддерживавших его шахтеров: «Теперь я пойду сам...»

В Болгарии, в дирекции угольного комбината «Бобов-Дол», нам показали скромный плакатик, который привлек внимание Стрельченко: «Работаем не только умом и руками, но и сердцем». Как сказал сопровождавший нас специалист, Иван Иванович переписал лозунг в дорожный блокнот и сказал, что непременно расскажет о нем своим ребятам. Стрельченко приехал в Болгарию сразу после мирового рекорда. Встречали его торжественно: в министерстве был прием, на котором его поздравляли с выдающимся достижением в истории угольной промышленности. И хотя Иван Иванович прибыл по случаю Дня шахтера, но и в праздник нашел возможность помочь болгарским горнякам своим советом. На одной из шахт «Бобова-Дола» случилось непредвиденное: внезапно «исчез» пласт, что там бывает нередко. Но теперь он «скользнул» вниз на целых пять метров. Подобных сурпризов не знали и на «Трудовской». Но все же несколько

вариантов выхода из такой ситуации сообща придумали. Один из этих вариантов помог преодолеть капризы неуправляемого пласта. Очень рад был Иван Иванович, когда в этом болгарском комбинате появилась бригада, которая с помощью советских специалистов вышла на тысячный режим. Первого болгарского тысячника тепло поздравили Стрельченко и вся его бригада. Завязалась переписка, которая продолжается и сейчас. Потом в Донбасс приехали за опытом Стоил Кличев, Петр Туджаров, Иван Трайчов, Филчо Тодоров, Константин Недялков. Первым делом побывали на «Трудовской», спустились в лаву Стрельченко. На смене был как раз Иван Иванович. Поднявшись на-гора, гости заявили, что это был незабываемый день в их жизни, ибо они увидели настоящее горное искусство и будут рады рассказать о своих впечатлениях болгарским шахтерам...

На моем столе лежит венгерская памятная медаль, на лицевой стороне которой изображены поверхностные сооружения современной шахты, и на оборотной — угольный забой, оснащенный новейшим горным оборудованием. Надпись напоминает, что в 1981 году в Орослани пущена первая очередь шахты «Маркушхедь», построенной с помощью советских специалистов. Возводятся и другие шахты. После скачка мировых цен на жидкое топливо былой интерес к углю возродился во многих странах, где есть его залежи. В Венгрии это «возвращение» угля идет, быть может, всего нагляднее. Добыча его нарастает; в забой доставляется совершенная горная техника; все активнее становится интернациональный обмен передовым шахтерским опытом. Мне довелось быть на пуске первой лавы шахты «Маркушхедь», и тут я снова услышал имя Ивана Стрельченко. Шахтостроитель из Донбасса Николай Полищук свел меня с начальником участка, где был добыт первый уголь. Он сказал, что их механизаторы изучали опыт Стрельченко и непременно добьются, чтобы лава быстро стала тысячницей.

Но самым неожиданным для меня, пожалуй, был случай с монгольскими шахтерами, где метод Стрельченко сработал, так сказать, вовсе уж дистанционно. Приехав в Улан-Батор, я пошел на прием к Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в МНР Семену Николаевичу Щетинину. Давно я мечтал встретиться с этим легендарным человеком. Парторг ЦК ВКП(б) на одной из шахт Донбасса, в годы войны он был

секретарем подпольного Горловского горкома партии и одним из самых деятельных организаторов партизанского движения в Донецком бассейне. После войны мы переписывались, и теперь вот довелось встретиться лично. Принял он меня сердечно, много расспрашивал о Донбассе, о Горловке и, узнав о цели моей командировки, настоятельно посоветовал побывать на шахте «Налайха», где, по его словам, «недавно донецкий шахтер Стрельченко помог решить один трудовой спор». Зная, что Иван Иванович никогда не бывал в Монголии, я вопросительно посмотрел на Семена Николаевича.

— Да, да, именно Стрельченко. Не сомневайся и поезжай. Там все узнаешь...

Для меня поездка на «Налайху» была чем-то вроде путешествия в донецкие края: тут многое напоминает Донбасс — и сам облик шахты, и добротное сработанный просторный административно-бытовой комбинат, и могучие наши машины в забоях, и разноязыкий рабочий говор, и, конечно же, запах уголька...

Моих знаменитых земляков-шахтеров тут знают поименно. Впрочем, в чести у монгольских горняков не только Донбасс, но и угольное Подмосковье, и Караганда, и особенно Кузбасс.

Уже в рядной мне повстречались наши парни-сибиряки, все с кузбасской шахты имени Ленина — инженеры, машинисты комбайнов и крепи, электрослесари. Лучшие приемы труда они передают наглядно — прямо в забоях. Вот, например, машинисты крепи Дорж-Сурэн и Авлен сегодня проходят «рабочий университет» у Геннадия Толкачева, а горнорабочие очистного забоя Дорж и Намсарай — у Александра Пыхова. Старший инженер по очистным работам Григорий Федоров, тоже приехавший сюда из Кузбасса, говорил мне, что «подшефные», даже новички, весьма усердно изучают нашу технику, быстро входят в ритм угольного производства.

Своенравная «Налайха» частенько устраивает экзамены на рабочую зрелость: то обрушится кровля, и нужно спешно спасти оборудование, то задаст сложную инженерную задачу, и тогда приходится всему интернациональному «мозговому центру» искать ее надежное решение.

Хорошей рабочей школой для монгольских шахтеров был скоростной монтаж механизированного комплекса

«ОМКТ-м²». О нем мне подробно и увлеченно рассказывали директор «Налайхи», выпускник Ленинградского горного института Утханы Мавлет и главный инженер Гомбодоржийн Амар.

— Ваши ребята — выше всяких похвал, — сказал Мавлет. — Это настоящие мастера. Они трудятся, как на родных пластах. А в этом монтаже видна их душа.

Мавлет достал блокнотик и, хитро улыбаясь, спросил меня: мол, как вы думаете, тринадцать дней на демонтаж и монтаж комплекса — это хорошо?

— Хорошо, — говорю, — даже для наших лучших шахт...

— Вот, — оживился Мавлет, — мы справились с этим делом меньше чем за две недели. Теперь комплекс опять дает уголек. Он у нас уже неплохо поработал на втором эксплуатационном участке. За короткий срок мы освоили его проектную мощность. В отдельные дни добывали до 1800 тонн угля.

— Как видите, — подхватывает Гомбодоржийн Амар, — и у нас помаленьку появляются свои «тысячники». Их опыт мы очень тщательно изучаем.

— Расскажи-ка гостю, как нас метод Стрельченко выручил, — вдруг сказал директор и, не ожидая, пока главный инженер соберется с мыслями, поведал мне, как знаменитая бригада «Трудовской», сама того не ведая, помогла разобраться в одном весьма запутанном горном деле.

Директор взял какие-то листки, отпечатанные на машинке, и продолжал свой рассказ, поглядывая то на главного инженера, то на эти листки:

— Наши механизаторы пришли к выводу, что на третьем участке нельзя добыть тысячи тонн в сутки. Но вот к нам привезли на шахту фотовыставку «Достижения угольной промышленности СССР», посвященную 50-летию образования Советского Союза. Там говорится и о мировом рекорде добычи угля, установленном бригадой Ивана Стрельченко. Посмотрели мы: точно таким же комбайном, как у нас на третьем участке, на «Трудовской» достигли рекордной добычи. Стали сравнивать горно-геологические условия в лаве Стрельченко и у нас. Они оказались очень близкими. Тут наш Амар буквально преобразился. Он перевел на монгольский язык описание опыта Стрельченко, — директор показал листки, — и стал каждый день в нарядной рассказывать шах-

терам третьего участка, как работают в Донбассе. Очень заинтересовал нас ремонтный ритм бригады Стрельченко. Мы применили у себя «секреты» «Трудовской», и, что вы думаете, сейчас на третьем участке дела пошли в гору: нынче там суточная добыча достигает 600 тонн. Это, конечно, маловато, но наш бригадир Отгонцаган обещает в самое ближайшее время улучшить показатели. Да вот и он сам: легок на помине...

В кабинет директора вошел человек лет сорока. Мавлет пригласил его к столу и коротко рассказал ему о нашем разговоре, сообщив, что я знаю Стрельченко лично. Отгонцаган оживленно заговорил с директором по-монгольски. Мавлет перевел мне его просьбу слово в слово:

— Передайте наш горячий братский привет Ивану Стрельченко и его бригаде. Скажите, что хотя мы и не встречались лично, но знаем о нем много, гордимся рабочим героизмом его бригады, очень высоко ценим его шахтерские открытия, прилежно изучаем их и стараемся применить у себя.

Будучи в Донбассе, я рассказал Ивану Ивановичу о его последователях с «Налайхи». Он очень обрадовался этой вести и попросил меня передать через «Социалистическую индустрию» сердечное спасибо монгольским друзьям, заявив, что его бригада отныне считает себя в трудовой переключке с шахтерами Отгонцагана и желает им больших успехов в соревновании.

А потом в Москву приехал монгольский журналист Цэцэг-ульзий, сопровождавший меня на «Налайху», и привез письмо Отгонцагана бригаде Стрельченко. Мы отправились с ним в Донбасс, где Цэцэг-ульзий вручил это послание шахтера. Читали его всей бригадой, радуясь, что Отгонцаган стал-таки «тысячником». Ответ ему писали также коллективно, рассказали о своих последних новшествах. Бригады и сейчас не забывают оповестить одна другую о достойных внимания событиях. Сменяется их состав. Вот уже и бригадиры пришли другие, а дружеская трудовая переключка продолжается. Я рад, что в какой-то мере содействовал ее рождению.

Из дневника депутата Стрельченко И. И. «За четверть века я побывал во многих странах мира. Встречался с разными людьми — рабочими, министрами, главами государств, учеными, писателями, общественными деятелями, дипломатами.

Чаще всего отправлялся в такие поездки в качестве депутата Верховного Совета СССР, меня приглашали и как профсоюзного активиста, а иногда просто как шахтера, посланца рабочих одной из важнейших отраслей народного хозяйства нашей страны. Но кого бы я ни представлял на встречах и конгрессах на ближних и дальних землях планеты, ни на минуту не забываю, как говорится, чей я и откуда родом. Всегда чувствую и понимаю, что являюсь частицей советского рабочего класса, который меня воспитал, всего нашего великого многонационального народа с его нерушимыми традициями дружбы и трудового братства. Но я и просто человек со своими привязанностями, привычками и чувствами. Кроме общих для всех нерушимых представлений и памятных мест Отечества у меня есть и свои личные святыни. Это хатенка в Рыбальчем, где жила моя мама, которая уберегла нас, осиротевших птенцов, в вихре войны и горестях разрухи; это солдатская могила в Севастополе, где лежит мой отец; это шахта «Трудовская», где на километровой глубине работают мои друзья по забою, где живет моя семья, мои дети, которым я от всей души желаю мира и счастья. Они всегда со мной, мои святыни. И когда мне бывает трудно, а это не так уж редко в нашем беспокойном мире, я вспоминаю их.

С братской приязнью вспоминаю встречи в странах социалистического содружества. Их было много, и все они исполнены того «чувства семьи единой», о котором так удачно сказал поэт. Тут никто не таит от тебя своих трудовых секретов, тут двери и сердца нараспашку, тут всегда идет обоюдопользный разговор, никто не пытается поймать тебя на слове. После таких сердечных встреч приезжаешь обогащенным, с добрым зарядом оптимизма. С особой теплотой вспоминаю свои поездки во Вьетнам и на Кубу. Они оставили незабываемые впечатления. На многострадальной вьетнамской земле я оказался в составе делегации, которую возглавлял мой добрый и давний друг космонавт-2 Герман Титов. Здесь вместе с вьетнамскими товарищами мы отмечали 60-летие Великого Октября. Много искренних, светлых слов на этом торжестве было сказано о нашей Родине. Мы побывали на многих заводах и фабриках, и всюду нас встречали по-братски. На одном предприятии в Ханое — поистине мир тесен! — ко мне подошел инженер, который, будучи в Донбассе с делегацией, приезжал на «Трудовскую» и в шахтном музее

видел мой комбайн-долгожитель. Очень меня обрадовало это воспоминание о нашей памятной машине здесь, на вьетнамской земле. Позже, уже в качестве заместителя председателя Общества советско-вьетнамской дружбы, обобщая такие факты, я невольно думал, что ведь в сущности это закономерность: мы давно живем одной трудовой семьей...

На Кубе, где я участвовал в работе Всемирного конгресса профсоюзов, неожиданно произошло событие, которое оставило неизгладимый след в душе: после одного из заседаний ко мне подошел помощник Фиделя Кастро и спросил, не смогу ли я найти пару часов для неофициальной беседы. «Конечно, смогу», — ответил я. «Тогда поехали: нас ждут через полчаса». По дороге мне объяснили, что со мной лично хочет встретиться ся Фидель Кастро. Надо ли говорить, как я был взволнован?

Незадолго перед этим в кубинской газете было написано, что в работе конгресса принимает участие шахтерский генерал из рабочих. Видимо, заметку прочитал Фидель Кастро и решил встретиться со мной.

И вот это сейчас произойдет. Не помню, как я догадался на минутку заскочить в гостиницу и взять фотоальбом, посвященный нашей бригаде, незадолго перед этим выпущенный издательством «Плакат». Торопливо написал на нем: «Дорогому Фиделю Кастро от шахтера Ивана Стрельченко», — и через несколько минут мы уже были в Большом зале приемов. Навстречу, дружески улыбаясь, шел Фидель Кастро.

— Так вот вы какой — шахтерский генерал! — воскликнул он, раскрыв руки для объятия.

Я был в шахтерской форме, как говорится, при полном параде, с Золотыми Звездами, орденами, лауреатским и всеми тремя шахтерскими знаками.

— За сколько же лет вы заслужили столько наград? — спросил товарищ Кастро.

— За тридцать пять, — ответил я.

— Вы столько лет уже трудитесь? Но ведь вы совсем молоды... Сколько же вам лет?

— Пятьдесят уже, товарищ Фидель, — сказал я со вздохом.

— У вас, наверное, есть какой-то секрет молодости?

— Секрет один: любимая работа, — сказал я.

Фидель Кастро утвердительно кивнул головой и заговорил о том, что радостный труд преображает человека. Он пригласил

сил меня к столу, поинтересовался, как я стал шахтером. Внимательно слушал. Потом стал расспрашивать о Донбассе, о семье, о детях. Раскуривая сигару, стал рассматривать альбом и живо воскликнул:

— Смотрите: Киев!

Я, мельком взглянув на снимок, возразил, что это, мол, Донецк...

— Да что вы! — горячо стал спорить Кастро. — Я ведь был в Киеве. Чудесный город!

Я присмотрелся к снимку и вижу: действительно, киевская улица изображена в альбоме, и честно признался, что ошибся.

— Вот видите! — радостно воскликнул он. — Я запомнил...

Поднялся, взял альбом и предложил сфотографироваться на память. Так и стал перед объективом: в одной руке держа альбом, а другой обнимая меня. Снимок этот, запечатлевший столь яркое мгновение моей жизни, стал одной из самых дорогих моих реликвий.

Но, вспоминая свои поездки последних лет, я не могу забыть также иные земли, иной мир с очень часто иными понятиями о гостеприимстве, где рядового шахтера, ни своего, ни тем более советского, не примет глава правительства, зато охотно потратит несколько часов на любезную беседу с южнокорейским тираном или кровавым афганским душманом. Что поделаешь, там свои понятия о гуманизме, свое отношение к рабочим людям: Однако, как говорится, бог с ними, с этими личными контактами. Не об этом ведь речь веду. Но не могу взять в толк: в капиталистических странах, где мне тоже довелось побывать, я не раз ловил косые недоверчивые взгляды, вроде я, простой шахтер, прибыл туда непременно с каким-то тайным заданием, совсем, так сказать, по другому ведомству. Доходило порой до смешного: как-то меня попросили показать руки. Пожалуйста, господа, смотрите, сказал я своим чересчур осторожным собеседникам, мне не стыдно показать свои руки, обычные, рабочие, в них навечно ввелись уголек и мазут. А прибыл я по одному ведомству — по ведомству мира и добрых контактов, и хочу сказать, что мир устал от злобы, ненависти, страха и подозрительности. Это говорю вам я, сын погибшего воина. Давайте, пока не поздно, пока не полыхнул атомный костер, действовать вместе. Мы много можем преуспеть для блага своих народов, если остановим гонку воо-

ружений и дадим людям жить и работать спокойно, по-добрососедски... С такими мыслями ехал я и в декабре 1984 года в парламент Великобритании на встречу с человеком, которого мне отрекомендовали как моего «английского земляка». В те дни я был в Англии в составе делегации Верховного Совета СССР. В нее входили директор Института мировой экономики и Международных отношений АН СССР А. Н. Яковлев, академик Е. П. Велихов, поэт Е. И. Исаев и другие. Возглавлял делегацию Михаил Сергеевич Горбачев. В аэропорту Хитроу Михаил Сергеевич в заявлении для прессы сказал:

— Советский Союз исходит из убеждения, что какой бы сложной ни была международная обстановка, возможности для предотвращения ядерной войны существуют. И эти возможности должны быть полностью использованы, а не упущены. На это направлена советская внешняя политика. Наша страна не добивалась и не добивается военного превосходства. Она не была и не будет инициатором новых витков гонки вооружений. Нет такого вида вооружений, который СССР не согласился бы ограничить, запретить на взаимной основе по договоренности с другими государствами...

Михаил Сергеевич пожелал британскому народу мира и процветания. Все мы, депутаты, прибывшие в Англию вместе с ним, разделяли эти мысли и чувства. Я намеревался сказать своему «английскому земляку», как нужен мир людям моей земли...

Передо мной предстал тучный мужчина с золотой цепью на шее. Назвавшись членом британского парламента, он вдруг заговорил по-украински:

— Хочу з вами трошки порозмовляты...

— Вы добрэ володиетэ українською мовою, — сказал я ему.

— Так я ж народывся на України, в мисти, якэ тэпэр у вас называють Ивано-Франківськ.

И далее без всяких предисловий, с ходу приступил к форменному допросу. Откуда вы, мистер Стрельченко, взяли столько денег, чтобы прислать их бастующим английским шахтерам; почему вы это сделали; уж не подсказал ли вам кто, и если не секрет, то кто именно; не считаете, мол, что это вмешательство в наши внутренние дела и не думаете ли встретиться тут с забастовщиками? Я уже понял, с кем имею

дело, но постарался смирить свои чувства и потому ответил этому «английскому земляку» так:

— Имя того, кто подсказал мне это, — Чувство Братской Рабочей Солидарности. А послал я свои кровные деньги, заработанные за долгие годы под землей, в угольной шахте. Я не мог поступить иначе, если мои братья по классу в беде. Сделал я это и потому еще, что хорошо помню историю. Мы не забыли: когда английские войска напали на нашу молодую республику, одними из первых с возгласом «Руки прочь от Советской России!» вышли на улицы своих городов ваши шахтеры. Мы хорошо помним, как помогали они нам в трудные голодные годы, как энергично подталкивали «медлительного» мистера Черчилля побыстрее открыть второй фронт против Гитлера... Многое помним!

— Вы хорошо подкованы по части пропаганды, мистер Стрельченко! — воскликнул мой собеседник.

— Наверное, недаром меня долгие годы учили этому в шахте, мистер член парламента. Так вот, поскольку забастовка шахтеров не противоречит конституции Англии, то материальное содействие ее участникам — тоже. Не так ли? Наш профессиональный союз входит во Всемирную федерацию профсоюзов, а ее устав, как известно, предусматривает помощь национальным отрядам рабочего класса в их борьбе за свои социальные права. По всем законам логики я, как член шахтерского профсоюза, тоже не могу стоять в стороне, согласитесь, мистер член парламента!

— Значит, если я вас увижу в рядах наших забастовщиков, — это будет тоже логично?

Я понимал, отчего суетится мой собеседник. Обстановка в стране была беспокойной. Забастовки шахтеров уже который месяц сотрясали Англию. Каждый день я видел по телевизору, как дюжие «блюстителю порядка» зверски избивали дубинками голодных и обозленных шахтеров. Ах как им нужен был какой-то «отвлекающий момент». И я сказал мистери с Украины:

— Сожалею, что не смогу доставить себе такого удовольствия, господин член парламента.

— Не смею вас больше задерживать, мистер Стрельченко, — буркнул мой «английский земляк», и на том наша встреча закончилась. Но она имела продолжение.

На следующий день, просматривая английские газеты,

члены нашей делегации увидели в одной из них статью, в которой недружелюбно комментировались мои ответы мистеру с Украины.

Но мы держались спокойно и уверенно. Уезжали домой с чувством исполненного долга, еще раз продемонстрировав всему свету мирные устремления нашей Родины, подчеркнув словами главы нашей делегации в английском парламенте: «Все доброе, полезное и конструктивное, что приобрели и накопили наши страны и народы в своих отношениях в разные исторические периоды, следует, по нашему мнению, хранить бережно и нести в будущее».

Лишь об одном я пожалел: по вполне понятным причинам — забастовка шахтеров была в полном разгаре — мне не удалось лично вручить английским собратьям свой сувенир-макет угольного комплекса, точную копию того, что работает на нашем участке. Я принес его послу СССР в Англии с просьбой передать шахтерам Великобритании вместе с нашим традиционным пожеланием: «Мирного неба, мягкого уголька и крепкой кровли!» Как бы я сам хотел сказать им эти слова!

В Министерство угольной промышленности СССР пригласили лучших шахтеров страны, чтобы обсудить с ними довольно неустойчивое положение с добычей топлива. Я приехал задолго до этой встречи, но в министерском вестибюле собралось уже много горняков. Стрельченко тоже был тут. Он о чем-то оживленно говорил с краснодонским бригадиром, членом ЦК КПСС Александром Яковлевичем Колесниковым. К ним подходил телекомментатор Евгений Сеницын. С микрофоном наизготовку он атаковал Стрельченко, пытаясь «разговорить» его. Миллионы телезрителей знают, как он умеет это делать. Но Иван Иванович по своему обыкновению неохотно вступал в беседу с журналистом, отбивался шутками:

— Что ты все мне подносишь эту грушу? — отводил он микрофон от себя. — Вон посмотри, сколько замечательных ребят вокруг, какой работяга поднимается по лестнице: и здесь, в Москве, уголек несет...

И в самом деле: наверх с глыбой угля в руках, на которой были выведены весьма внушительные цифры, тяжело шагал известный в Заполярье шахтер. Стрельченко, в надежде оторваться от Сеницына, двинулся ему навстречу:

— Что это ты, браток, тащишь? — удивленно воскликнул Иван Иванович.

— Да понимаешь ли, — быстро нашелся северянин, ставя символическую глыбу на стул и вытирая пот со лба, — это начало речи нашего директора. Он на трибуне у нас не очень находчив. Так мы придумали по очереди сопровождать его с этим сувениром и показывать так, чтобы цифра сверхплановой добычи всем видна была. И ты понимаешь, директор сразу становится таким красноречивым, его порой даже останавливают из президиума...

Шахтеры весело зашумели. Синицын мгновенно кивнул кому-то из своих товарищей, тот включил телекамеру. Стрельченко тем временем незаметно ушел от журналистов и, догнав первого секретаря Донецкого обкома партии В. П. Миронова, пошел в зал. Там представители Донбасса уселись в одном ряду. Я устроился рядом со Стрельченко, и он по ходу выступлений стал кое-что разъяснять вполголоса.

— Наши прославленные тысячники, — говорил тогдашний министр, — теперь дают сорок один процент от всей подземной добычи...

Стрельченко: «А могли бы давать и больше...»

— Сейчас четыреста пятьдесят бригад работают в тысячном режиме...

Стрельченко: «Но ведь не так давно их было свыше пятисот...»

— Правда, «тысячников» стало меньше, — словно услышав реплику Стрельченко, продолжал министр, — но это не значит, что их движение топчется на месте. В среде «тысячников» происходят глубокие качественные изменения: появились миллионеры. Количественно меньшим составом «тысячники» и «миллионеры» дают угля больше, чем прежде.

Стрельченко: «Верно, конечно, но приказ министра по переводу лав на тысячный режим в ряде объединений из года в год не выполняется. Медленно мы идем вперед, медленно...»

Стали выступать горняки. Некоторые высказали свои замечания по качеству техники. Из президиума бросили реплику:

— Да Стрельченко именно на этих машинах ставил рекорды!

— Значит, у него был какой-то свой секрет, — не сдавался шахтер на трибуне...

— Был! Он известен: любовное отношение к технике. Надо всем механизаторам перенять этот «секрет». Есть здесь Стрельченко?

— Есть! — поднялся Иван Иванович.

В зале зазвучали аплодисменты. Когда они стихли, министр спросил, что, мол, Стрельченко думает об этих замечаниях шахтеров.

— А думаю я то же, что все шахтеры, — горная техника должна быть надежной, — с места сказал Иван Иванович. Но вы правильно говорили о нашем секрете. Теперь я выдам вам — министерский секрет. Наш Минуглепром очень либерально относится к тем лихачам, которые в погоне за лишней тонной бездумно губят технику, гоняют ее на износ...

— Это верно, — согласился министр, — мы в свое время одобрили почин Ивана Ивановича по эффективному и бережному использованию оборудования. А вот как он распространяется в отрасли, внимательно не поинтересовались.

Иван Иванович сел и спросил меня: «Слышал, как деликатно выразился наш министр — «внимательно не поинтересовались»? Просто забыли про свое постановление...»

На трибуну поднялся директор шахты из Заполярья, а рядом появился шахтер с глыбой угля. В зале возникло веселое оживление. Гарняк бережно поставил свою ношу на стол президиума. Шахтеры стали аплодировать. «Это что, для большей убедительности?» — спросил министр. Выступающий тут же начал со своего «первого абзаца», — где и слова нашлись! Но когда перешел к просьбам, разом иссякло его красноречие. Однако на выручку тотчас ринулся «личный оруженосец». Посмотрите, мол, сколько угля дополнительно дала лишь одна наша шахта, а возить людей с поселков — целая проблема: автобусов мало...

— Я так и думал: превратили передовика в «толкача». Ловок, однако, северный директор, — шепнул мне Стрельченко,— сам с большим начальством портить отношения не хочет...

И опять повторилась та же картина: следующий оратор поставил на стол президиума какой-то сувенир, сработанный руками умельцев-шахтеров, а уж потом перешел к делу. Стрельченко возмутился: «Ну и подхалимы ж! Сколько еще надо выбивать это подбострастие. Хоть какой-нибудь, хоть малюсенький, а все-таки знак внимания начальству...»

Один генеральный директор обратился с просьбой к министру оказать помощь в строительстве школы. Стрельченко громко воскликнул:

— Какой вы беспомощный человек! Давно бы уж сами построили. Это ж для шахтерских ребят.

Участники встречи так долго аплодировали знатному собрату, что директор ушел с трибуны, махнув рукой, не закончив речь. Тут уж и министр вспыхнул и вдогонку отчитал незадачливого хозяйственника за безынициативность...

Затем многим шахтерам вручили ведомственные награды.

От их имени слово предоставили Стрельченко. Когда он взошел на трибуну, министр, протягивая записку, сказал:

— Вот тут, Иван Иванович, молодежь просит рассказать, как начиналось движение «тысячников». Может, напомнишь? «Как все начиналось?» — раздумчиво повторил Иван Иванович, улыбнулся как-то озорно и вдруг звучным голосом запел:

*Спят курганы темные,
Солнцем опаленные,
И туманы белые
Ходят чередой...
Через рощи шумные
И поля зеленые
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.*

Это было столь неожиданно, что зал замер. Но шахтеры, люди, способные мгновенно оценивать самые неожиданные ситуации, стали один за другим вторить Стрельченко. Вот запел старый друг Ивана Ивановича — Михаил Павлович Чих, за ним поддержали песню известный кузбасский новатор Герой Социалистического Труда Владимир Григорьевич Девятко и краснодонец Александр Яковлевич Колесников. К ним дружно присоединился весь зал.

Не выдержал и запел даже министр, некогда начинавший свой трудовой путь на шахте, и его заместители, и другие министерские работники, и приглашенные на встречу товарищи.

*Там, на шахте угольной,
Паренька приметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили,
И в забой отправился
Парень молодой.*

Так и прозвучала знаменитая песня в штабе отрасли, где до этого слышали только деловые речи. Глядя на шахтеров в те минуты, я невольно думал, что старая песня тоже сослужила свое дело и, должно быть, многое подсказала горнякам. Все это было глубоко символично. И то, что запевалой стал именно Стрельченко, и то, что его дружно поддержал такой рабочий хор. В сущности, он давно уже был шахтерским запевалой во всем — в соревновании, в общественных делах, в организации горняцкого досуга...

Весь день было жарко. К вечеру над Донецком появилась грозная туча. Клубясь и разрастаясь, она вскоре охватила все небо над городом. Ослепительно вспыхнула молния, тяжело и раскатисто громыхнул гром. В наступившей вслед за тем настороженной тишине крупной дробью упали первые капли дождя. Снова резкий высверк молнии высветил дома, оглушительно грохнуло в вышине, и хлынул тугой стремительный ливень, какого давно не бывало в здешних краях.

Но туча уже уходила за город, и вместе с нею буйство молний и громыханье грома. Там, вдали, над каменным кряжем, она словно бы зацепилась за зубцы терриконов и повисла длинным темно-голубым полотнищем. Когда совсем стемнело, над его верхним неровным краем долго беззвучно вспыхивали синие зарницы. В их отблесках поднявшиеся по всему горизонту терриконы казались караваном кораблей, неуклонно идущих своим курсом...

Такие синие сполохи Стрельченко видел однажды на Черном море, возвращаясь в предгрозье из ночного похода. Иван Иванович и сейчас не позабыл, как взволновали они душу. Он часто вспоминал эти синие огни позже, по-юношески обостренно думая о чем-то пока неясном, но светлом, призывном и возвышенном, к чему непременно нужно стре-

миться всеми делами и помыслами, всем существом своим. Уже здесь, в Донецке, в зрелом возрасте, став признанным мастером горняцкой работы, он прочел стихотворение Павла Беспощадного «Синяя птица» и понял, почему его так волнует голубая дымка родных шахтерских мест. Это чувство близко и знакомо лишь настоящим горнякам. Стрельченко влюбился в «город синих терриконов», в щедрую землю Николая Изотова и Алексея Стаханова, Ивана Бридько и Петра Кривоноса, Паши Ангелиной и Макара Маза. Здесь теперь его причал, сюда с тревожной радостью он возвращается из своих многочисленных поездок. Его тут знают и стар и млад. В летописи этого могучего рабочего края Стрельченко и сейчас по праву ставят рядом с Алексеем Стахановым. На новом гребне технического перевооружения отрасли ему удалось шагнуть дальше, сделать немало шахтерских открытий, которые высоко оценил весь угольный мир. Но ведь он еще полон сил, энергии и новых замыслов. И, может быть, как раз за эту неугомонность больше всего любил бригадира Ивана Стрельченко Алексей Григорьевич Стаханов. На склоне лет, уже тяжело больной, он приехал именно к нему, на «Трудовскую». Это было после мирового рекорда. Обнял Ивана крепко, как отец сына. Побывал в лаве. Все придирчиво осмотрел. Иван Иванович никогда не позабудет этот зоркий, словно бы испытующий взгляд, эту добрую, немного растерянную улыбку. «Да, с такой техникой даже на «Трудовской» можно вершить дела, о которых мы и мечтать не могли», — говорил Алексей Григорьевич на встрече с бригадой. Но заметил он не только могучую технику, увидел то, что и надеялся увидеть в такой шахтерской дружине, — трудовое братство, без которого под землей работать нельзя. А в беседе с шахтерами всей «Трудовской» так отозвался о Стрельченко: «Это — человек дела, и я больше всего ценю именно таких людей. Он — настоящий мастер добычи угля, талантливый вожак крупнейшей бригады, умелый воспитатель и чуткий товарищ». Слова эти были напечатаны во многих газетах и стали для Ивана Ивановича наказом «на всю оставшуюся жизнь».

По сути, тогда Стаханов как бы передал Стрельченко свою рабочую эстафету. Из рук в руки. Передал самому достойному. А уезжая с шахты, спросил Ивана наедине: «Кто из твоих звеньевых может заменить тебя?» Увидев, что Стрельченко не

готов сразу ответить, кратко посоветовал: «Подумай хорошенько». Лишь спустя несколько лет Иван Иванович убедился, как далеко смотрел вперед новатор.

Да, у Стрельченко немало учеников. Многие из них успешно руководят бригадами, участками, шахтами. Двумя он особенно гордится. Виктор Свистун сумел-таки перекрыть его мировой рекорд. Анатолий Полищук стал Героем Социалистического Труда. Поднимается и новая шахтерская поросль. Даже под пристальным взглядом Стаханова, будь он жив сейчас, даже наедине с собой, когда Стрельченко особенно к себе беспощаден, он мог бы сказать: да, жизнь удалась. Как здорово заметил Антипов там, на телепередаче «От всей души»: «В лаве Стрельченко началась новая эпоха в угольной индустрии. Прежде чем добывать миллион, надо было ежедневно научиться выдавать тысячу тонн»...

Тут все верно. Сколько же солнечного камня поднял он на гора, к свету своей бригадой? Если собрать воедино весь уголь, добытый его дружиной, то будет огромная гора, с которой и Черное море отсюда, из Донбасса, поднимись, увидеть можно.

Но, стоя сегодня у открытого окна и всматриваясь в отсветы далекой грозы, так неожиданно соединившей были минувшего с его нынешним днем, Стрельченко вдруг особенно обнаженно понял, что именно тогда имел в виду Стаханов. Не должна прерываться связь времен и рабочих поисков. Нынешним шахтерам надо идти дальше. Непременно дальше! О том настоятельно говорят министерские сводки. Страна утратила мировое первенство по добыче угля, достигнутое с таким трудом. Значит, нужны новые идеи, новые энтузиасты. Вот о чем заботился Стаханов... Смелее нужно внедрять автоматику в лавах. Многое делает со своими сотрудниками Антипов, работающий теперь на очень важном участке — директором «Автоматгормаша». Но экспериментальная база у него чересчур слаба. И снова воюет Владислав Андреевич с родным министерством. А так хочется увидеть наконец лавы без людей на «Трудовской», да и на всех других шахтах. Сейчас, как никогда, есть не только надежда, что та вековая горняцкая мечта сбудется, — есть первая такая экспериментальная лава на шахте «Добропольская», здесь, в Донбассе. Новый министр Михаил Иванович Щадов активно занялся проблемами автоматизации угольных забоев. В отрасли

удалось приостановить падение добычи. Появился и сверхплановый уголек. Все это радует. Но быстрее нужно отводить свои рубежи. И долги отдавать...

Стрельченко ловил себя на мысли, что эти ночные размышления о работе как бы отодвигали от него то, что всей своей неизведанной необычностью три года тому назад вошло в его жизнь. Ведь это он, бронзовый, стоит там, в отчем крае, в Херсонской области, в городе под названием Голая Пристань. Он помнит каждую минуту того своего звездного дня. Накануне была телеграмма Херсонского обкома Компартии Украины, приглашавшая на открытие его бронзового бюста, сооруженного в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР. Отправилась с «Трудовой» целой делегацией: второй секретарь Петровского райкома партии А. Н. Яковенко, ныне уже покойный директор шахты А. В. Ачинович, секретарь парткома В. С. Толмачев и, конечно же, бригадир Толя Полищук, на груди которого сверкала новенькая Звезда Героя. Дальше все шло по разработанному загодя плану. И хотя все это касалось лично Стрельченко, Иван Иванович после признавался мне: ему казалось, будто речь шла вовсе не о нем, а о ком-то совсем другом. Странное, ни с чем не сравнимое чувство...

Он, пожалуй, впервые выглядел таким растерянным. Но так было до того момента, пока не увидел свою маму. Ефросинья Васильевна приехала, когда люди уже собрались на торжество. Приехала, несмотря на нездоровье. Стрельченко по-мальчишески устремился к ней, как всегда бежал к своей маме и в дни радости, и в дни беды. Он преподнес ей июльские цветы, прильнул к ней, целуя и обнимая. Бережно усадил в кресло.

Потом люди говорили хорошие речи, но он видел и слышал только маму, несмотря на то, что она молчала и тоже растерянно улыбалась такой же улыбкой, какой наделила своего сына. Ласковой и словно бы извиняющейся...

Бронзовый бюст открыл первый секретарь Херсонского обкома Компартии Украины А. Н. Гиренко. Иван Иванович Стрельченко возвратился к своим землякам навечно. Возвратился, как возвращаются на родную землю герои. Скромно, весело, зримо войдя в повседневность родных мест, давших Отчизне такого сына. Это еще предстояло осознать и его односельчанам, и всем, кто придет к бронзовому шахтеру в городке под названием Голая Пристань...

Сколько же нужно ему теперь сделать, думал Стрельченко, чтобы никто не сказал, что он весь в прошлом. Есть у него стоящий замысел. Надо побывать у Антипова. Кажется, и новый бригадир-техник Александр Вашилин, с которым Иван Иванович теперь работает, заинтересовался его расчетами. Нужно только сделать так, чтобы мелочная возня с бумагами, которой начальнику участка все же приходится отдавать дань, не помешала осуществить его новую мечту. Пока всего одну, а там видно будет...

И тут же с нежностью подумал о Лидии Николаевне. Он даже представить себе не может, как бы все сложилось, если бы ее не было рядом все эти годы. Как хорошо Лида сказала о нем на всю страну в телепередаче о «Трудовской»: «Я благодарна судьбе, что он всю жизнь идет со мной». Точно так же мог сказать о жене и сам Стрельченко. Они вырастили прекрасных дочерей. Старшая, Таня, уже Татьяна Ивановна, преподает в Донецком политехническом институте, младшая, Виолетта, учится в медицинском, скоро будет врачом. Но были свои трагедии и утраты, от которых до сих пор саднит сердце...

...Зарницы празднично полыхнули по всему горизонту и напомнили Стрельченко еще одну радостную встречу в самый счастливый день его жизни. Ивана Ивановича попросили побывать в Херсонском техническом училище № 4, где начался его рабочий путь. Встретили хлебом-солью. Возле директора стоял высокий человек со Звездой Героя Социалистического Труда. Что-то знакомое было в его облике. Неужели? Да, заметив, на кого он смотрит, сказали ему, Николай Дашко, тот самый, с которым вы соревновались, осваивая столярное ремесло. Сейчас знатный строитель. Бригадир. Иван с Николаем по-братски обнялись. С восхищением смотрели на них ребята. Их смена. Их надежда...

Вот и заканчивается мой рассказ о Шахтере. Но прежде чем поставить последнюю точку, хочу поведать еще один совсем небольшой эпизод из жизни Стрельченко. На склоне дня, после торжеств и памятных встреч, гостей пригласили отведать ухи. Горел костер, как в прежние далекие годы, и так же мчались по Днепру золотые корабли. О многом говорилось у костра. О верности Родине, о высоком понятии рабочей чести. Дашко промолвил, задумчиво поглядывая на Стрельченко:

— А я вот знаете, о чем думаю? О любви. К своему делу. Одному-единственному. На все времена. Только она, безраздельная, может возвысить человека.

Иван Иванович, молча слушавший разговор, сказал:

— А я, признаться, влюблялся трижды. Первый раз — в море, второй раз — в Лиду, третий раз — в шахту. И все три раза — на всю жизнь.

ДОНЕЦК — МОСКВА

Иван Мельниченко

КУЗНЕЦОВСКИЙ ПРОЛЕТ

Глава из романа «Черные абрикосы»

К текучести кадров можно привыкнуть. Нельзя привыкнуть к тому, что в первый же день после своего шестидесятилетия с завода уходят кадровые, опытные рабочие. Им обещают постоянную утреннюю смены, хорошие наряды, время отпуска по личному выбору, а они в ответ жалуются на здоровье, возраст, на то, что некому внуками заниматься. Причины понятные, уважительные, но вместе с тем их уход — это самый верный признак неблагополучия на заводе. Кое-что здесь зависит от руководителей, но есть обстоятельства и объективные.

Мелкосерийному заводу выполнять план — что бедному жениться, с одной лишь разницей: не ночь коротка, а месяц. То и знай — заглядывай в рот заказчикам да поставщикам. Пока с помощью жалоб, просьб, угроз загрузятся, наконец, цехи, глядишь — и две декады пролетело, а план не выполнен и наполовину. Вот и приходится успевать все делать в третьей декаде. За счет сноровки, выходных дней и, главное, непрофильных заказов: вместо горного оборудования — сельскохозяйственные, бытовые машины и даже агрегаты огневого бурения для строительства в районах вечной мерзлоты.

Но в декабре третьей декады не существует: стало уже традицией, что завод берет на себя обязательство выполнить

план к двадцать пятому числу. Сроки можно сократить, но удлинить — никогда. С этим не шутят. Вот почему, заканчивая утреннее селекторное совещание, директор устало сказал: «Словом, если говорить понятным языком, то за нами Москва. Вопросы есть?» Ни вопросов, ни жалоб не последовало. Каждый знает, что в городе наступает всеобщий рабочий день, с минуты на минуту в директорском кабинете затрещат телефоны, властные голоса начнут спрашивать не только о плане, но и о том, почему до сих пор на технические нужды используется питьевая вода, почему без надобности сжигается природный газ там, где его можно заменить твердым или жидким топливом.

Сигнал подан. Штурм начался. Злой, самозабвенный.

Сколько было говорено, изломано копьев на конференциях, собраниях, совещаниях и заседаниях о том, что мастер должен заниматься только позициями, а не деталями, с которыми может справиться и хороший слесарь, что конструктору не гоже подменять мастера и тем более слесаря сборки или наладки, — все мигом забыто! Опустело конструкторское бюро, весь инженерный корпус. Все напряглись до последнего мускула. На учете каждая деталь. Это потом, когда будут составляться рапорты, она найдет свое место в позициях и как бы затеряется, а сейчас она — самостоятельная величина, о ней помнят главные специалисты, за нею следит директор.

И вдруг непредвиденное осложнение: сгорел трансформатор в сталелитейном, из-за этого в пролете Кузнецова остановилась вся карусельная группа, не обеспеченная запасом заготовок, во втором механическом опытный зубофрезеровщик нарезал вместо тридцати зубьев тридцать два, чего не заметили и в последующих сменах, и только контролер ОТК обнаружил.

Не сдержался Александр Иванович и, как в лучшие свои годы, разухабисто выругался в адрес заводских порядков, не обращая внимания на присутствие подчиненных — оставшихся без дела карусельщиков.

— Правильно, Александр Иванович! — поддержал его Николай Стрешнев. — Работы нет, хоть матом можно погреться.

— А-а, это ты! — начальник пролета слабо улыбнулся.

Он никогда не скрывал своей симпатии к Николаю, которого привез из отпуска, побывав в Керчи на местах пере-

житых боев. С головой парень. И дипломат. Взял да и выписал нарядец: мол, опять в паросиловом цехе давление потеряли и калориферы, вместо теплого, нагнетают холодный воздух, так ты, брат, побеспокойся за свою морскую пехоту, а то околеет.

— Вот что, Стрешнев, — говорит ему Александр Иванович, — позвонить я позвоню этим банщикам, а ты шагай в сталелитейный и чуть что — сразу ко мне. Да и вам, ребята, нечего скучать, — обратился он к остальным. — В инструменталке крыша течет, заливает все. Помогите укрыть. Как-никак на миллион добра. А там почти одни женщины. Трудно им.

Последние слова мог бы и не говорить: привыкли ведь обходиться без агитации. Ребята встали со своих стульчиков с вращающимися сиденьями и двинулись к инструментальной мастерской...

Пять дней и ночей на втором дыхании, а под конец и на его пределе шел завод к плану. Все щиты в цехах, на территории, в заводууправлении были испещрены призывными, похвальными, критическими «молниями». Выделялись, конечно, похвальные. Александр Иванович не присматривался к ним, но в одной случайно заметил фотографию Станислава Микульчика. Невольно вспомнил свое ничем не объяснимое нерасположение к парню, которое появилось в первый же день их знакомства. «А что я ему, собственно, сделал плохого? — попытался он успокоить себя. — Пристроил, пусть себе трудится на здоровье...»

Александр Иванович уже собирался отходить от щита, как вдруг появился комсорг цеха и начал прикреплять новую «молнию», самую главную, самую долгожданную: завод выполнил годовой план.

Было раннее утро двадцать шестого декабря... Календарный рабочий день еще не начинался, значит, уложились без всяких натяжек.

Александр Иванович шел по пролету, то и дело останавливаясь, чтобы кого-нибудь поздравить. Когда он поравнялся с токарем-расточником Валерием Петрушиным, тот выключил станок, тщательно вытер ветошью руки. В ответ на поздравление лукаво улыбнулся.

— Есть предложение, Александр Иванович... — Валерий интригующе замолчал и даже берет снял, чтобы по неизжитой детской привычке потереть вихор на макушке.

— Ну не томи, что там у тебя? — поторопил его Кузнецов.

— Да вот о чем я подумал. Получается так, что на Новый год будем отдыхать целых три дня. Поднаскучит маленько. Поэтому что, если нам гуртом купить хорошую свинью или кабанчика, числа второго махнуть на дачи и заделать там свежатинку от и до. Прогноз, между прочим, обещает капитальную погоду. Чего лучше!.. А для этого накануне вы поставите меня в ночную смену, чтобы днем я съездил в какое-нибудь село и подыскал то самое животное.

— Что ж, недурно, Валера. Кажется, заработали на такой отдых. А раз так, то, стало быть, действуй! — Александр Иванович легонько толкнул его в плечо и пошел дальше по пролету.

А Валерий, пока товарищи еще не успели закончить уборку вокруг своих станков, торопливо объяснял каждому, что их ждет в новогодние праздники. Многие подшучивали над ним, но без ехидства: идея нравилась всем. От этого Валерий даже расчувствовался. Да и вообще он всегда был как на ладони: несдержанный ни в доброте, ни в щедрости, ни в работе, ни в критике. Денег он зарабатывал много, но никогда их не жалел, угощал первого встречного, чем часто и нахально пользовались откровенные ярыжки, для единственного сына покупал столько игрушек, что завалил ими половину своей десятиметровой комнаты. Никто не помнит воскресника, в котором бы он не участвовал, или случая, когда бы он пропустил дежурство в народной дружине. Притом нередко бывало так: жены нет дома (они, как правило, работали с ней в разные смены, чтоб всегда было кому забирать сынишку из детсада), он возьмет мальчика на плечи и — айда в дружину. Уговаривать его вернуться домой — бесполезное дело. А дежурства ведь не всегда проходят гладко, случается разное, иных встречных и умирять приходится. И Валерий если что — ссадит мальчика на землю и к нарушителям. Сколько надо применить силы, столько и применит. Когда все кончится, подойдет к сыну, а тот в слезах. «Ну будет тебе, кончай выступать!» — скажет ему строго, и сразу наступают тишина и спокойствие. А через минуту уже слышишь другое: «Заделай ладушки, Сашок!» И Сашок «заделывает». С тех пор, как несколько лет назад его фотографию в рамочке под стеклом закрепили на заводской Доске почета, ее ни разу не снимали оттуда. К его фамилии на страницах многотиражки тоже

привыкли. Случалось, вспоминали и в областных газетах. Но к славе Валерий почти равнодушен. Честолюбие пробуждается в нем лишь в одном случае: когда его обгоняет Олег Нагорный. Любому другому токарю он прощает такое, но только не Олегу. Невзлюбил — и все тут. Кое-кто пытался доказывать Валере, что Нагорный — покладистый, стоящий парень, от общественной работы не отказывается, примерный семьянин, — безрезультатно. В конце концов его оставили в покое...

И вот, обходя товарищей и увидев выпрямившегося у станка при его появлении Нагорного, Валерий впервые заколебался. Вдруг почему-то стало жалко Олега. Правда, он тут же обругал себя за слюнтяйство и мягкотелость, однако раз овладевшее им чувство жалости опять подступило к сердцу. «Э-э, пусть едет, если захочет. Не чужой ведь. Свой, работага...» Встретившись с выжидающим взглядом Нагорного, Петрушин решительно шагнул к нему и грубовато предложил:

— Мы вот всем пролетом собираемся второго января выехать на дачи. Купим кабанчика, приготовим свежатину, ну и все прочее... Если хочешь — приставай.

— Спасибо. Может быть, поеду, — не роняя собственного достоинства, ответил Олег.

Как подходить к нему, так и уходить от него Валерию было одинаково неловко. Выручили директор и главный инженер, которые сразу привлекли внимание всего пролета. Приближаясь к Олегу с Валерием, директор вдруг вскинул густые белесые брови, вполголоса сказал что-то главному, а затем громче добавил:

— Впрочем, ничего удивительного. В такой день все может случиться.

«Неужели тоже знают, как мы живем с Нагорным?» — с некоторой наивностью принял на свой счет его слова Валерий.

— Молодцы и вы, ребята! — уже совсем раскатило, как генерал, объезжающий войска, произнес директор. — Заслуживаете самой высшей похвалы и поощрения.

И снова Валерию показалось, что тот говорит больше об его личных отношениях с Олегом, чем о производственных успехах. Поэтому, когда начальство двинулось дальше, он, не мешкая ни секунды, поспешно направился вслед...

А директор, вернувшись после обхода цехов в свой каби-

нет, вдруг плюхнулся в кресло и нервно забарабанил пальцами по подлокотникам. Недавнего радостного возбуждения как и не бывало. На смену ему пришли злость и усталость...

Черт возьми, когда же кончатся успехи, достигнутые такой ценой? Таким, в сущности, варварским по нынешним временам путем. Нелегко, конечно, преодолеть эту проклятую инерцию. Но ведь можно, можно! А для этого нужен риск, потому что качественный скачок тут невозможен без сбоя, невыполнения квартального или даже полугодового плана. Притом риск нужен не личный — коллективный, целой лестницы инстанций...

— Петр Сергеевич, — оторвала директора от размышлений секретарь, — когда вас не было, звонили из приемной первого секретаря горкома, просили связаться с ним.

— Хорошо, — ответил он, с минуту помедлил, чтобы сосредоточиться, и лишь затем набрал номер.

Секретарь горкома снял трубку не сразу, лишь после шестого или седьмого звонка.

— Стрельченко? — спросил он и тут же тише, наверно, по другому телефону, сказал кому-то: — Одну минуту... Здравствуй, дорогой! Никаких докладов. Я уже знаю. Просто хотел поздравить. Не подвел. Как это на хоккее кричат? Мо-лод-цы!

— Спасибо, — не очень бодро ответил директор.

— Почему такой минор? Радоваться надо, а ты...

— Так говорят же: «Делу — время, потехе — час», — а прошло уже три часа.

— Нечего мудрить и приbedняться. Ты лучше скажи, как дальше думаешь жить?

— Да вот как раз сидел и думал об этом.

— Ну тогда не буду мешать. Появятся мысли — приходи, посоветуемся.

В трубке послышались частые гудки. Директор встал, до хруста в суставах потянулся. Затем подошел к окну и засмотрелся на окутанные туманом темные деревья в заводском парке за площадью. «Пока такой же туман и в моей голове», — с грустью подумал он и усмехнулся.

Он понимал: для того, чтобы только наметить план коренных перемен на заводе, недостаточно ни одного дня, ни даже целого месяца. Не поможет здесь и «ньютоновское яблоко», то есть мгновенное озарение. Но вместе с тем ему хотелось

именно сегодня сделать хоть какое-нибудь добро для своих людей, которые, не считаясь ни с чем, «штурмовали» годовой план. Вдруг вспомнил, что по традиции к вечеру обязательно будет организован ужин, разумеется, рассчитанный на узкий круг. Заместитель по АХО уже определенно хлопочет. К столу наверняка будут поданы свежие огурцы из заводской теплицы, которая-то и существует ради подобных ужинов. Резкими толчками он набрал номер заместителя.

— Владимир Пантелеевич, как там поживает наша теплица? Огурчики есть?

— О чем речь, Петр Сергеевич! — сладко заговорил заместитель. — Не беспокойтесь, пожалуйста. Я уже распорядился.

— Вот что, старина... — Для самоуспокоения директор сделал паузу.

— Я внимательно слушаю вас, Петр Сергеевич!

— К столу оставьте самую-самую малость. Остальное, плюс то, что еще не сорвали с грядок, все, подчистую — в больницу или в детсад... Прошу не кашлять, Владимир Пантелеевич!.. Дальше. Вместо огурцов постарайтесь посадить цветы, да не метелки какие-нибудь, а настоящие. С рабочим, понимаешь, семь потов согнали, а им, хотя бы лучшим бригадам, даже дешевенького букетика не удосужились преподнести. Зато теплицами научились колоть глаза. Люди ведь знают, все знают: где растет и для кого растет. Хватит. Ставим заслон...

— Я вас хорошо понял, Петр Сергеевич.

— Вот и прекрасно, — директор положил трубку.

За два дня до Нового года из поездки в село вернулся Валерий Петрушин. Встретив Кузнецова, он как-то неуверенно сказал:

— Приехал я, Александр Иванович. Может быть, выберете время и посмотрите?

— А что, есть такая надобность? Не лучше ли, когда уже соберемся все вместе?

— Да понимаете... — Валерий замялся. — Устроил я ее у одного знакомого в частном секторе, а он похихикивает... Хотелось бы, чтоб вначале вы посмотрели.

— Ну, если так, то откладывать почти некуда. Давай завтра в перерыве и проведем смотр. Или, может, далеко это и за перерыв не успеем?

— Нет, совсем рядом...

На следующий день Валерий повел начальника пролета к своему знакомому. Еще не свернув за угол дома, с которого начиналась нужная им улица, они услышали какие-то выкрики, свист, смех. Валерий насторожился, а потом и совсем сник, увидев толпу именно там, где он больше всего боялся ее увидеть. Когда же они приблизились к месту пока непонятного для них происшествия, у Валерия от волнения перехватило дыхание: посреди широкой, с одним лишь узким асфальтированным тротуарчиком улицы в большой мутной луже стояла, люто озираясь по сторонам, вся черная от грязи, неестественно длинная и так же неестественно длинноногая свинья, а на тротуаре, впившись в нее глазами, стоял его знакомый, вооруженный увесистым деревянным колом, и тоже до неузнаваемости забрызганный грязью.

— Что случилось? — спросил Валерий, и в ответ ему вся толпа взорвалась от хохота, который тут же утонул в пронзительном мальчишеском свисте.

Краска ударила в лицо Валерию.

— А-а, явился, голубчик! — с безжалостным злорадством встретил его знакомый. — Сейчас же лови эту тварь и убирайся с нею туда, откуда явился! Не нужно мне от тебя ничего...

— Товарищи! — вмешался Александр Иванович, видя, что дело принимает крутой оборот. — Не надо горячиться. Да и смеяться легко. Давайте лучше загоним ее как-нибудь в сарай. А для приманки не помешало бы ведро с помоями или еще с чем.

— Шиш ее соблазнишь помоями! — снова закипятился петрушинский приятель. — Ничего, кроме манной каши, признавать не хочет, потому как у нее почти не осталось зубов. А теперь вряд ли и на манку пойдет. Озверела, носится по лужам, прямо тебе канонерская лодка. Валерка, небось, с такого флота и на завод пришел.

Все опять загалдели, засмеялись, мальчишки сунули в рот пальцы и, надувая щеки, залились в свисте. Когда же, наконец, немного поутихло, откуда-то взялся респектабельный мужчина с увесистым коричневым портфелем. Остановившись, он снял очки в золотой оправе, подышал на стекла, протер носовым платком и снова надел. Потом выдвинулся вперед, посмотрел на виновницу происшествия и вдруг очень

спокойно, мягким, прямо-таки бархатным голосом спросил скорее себя, чем собравшихся:

— А свинья ли это вообще?

Валерий весь сжался в ожидании нового взрыва хохота и свиста, перенести который, как ему казалось, было выше его сил. Но, к удивлению, засмеялись совсем немногие, а до свиста на этот раз не дошло. Более того, кое-кто из ребятишек даже спрятался за спины родителей. Все уставились на respectableного мужчину, надеясь, что он скажет что-нибудь еще, объяснит высказанное им сомнение, однако тот лишь качнул несколько раз своим портфелем, словно хотел подчеркнуть этим, что именно в нем-то и хранится вся тайна, и двинулся дальше.

— А ну-ка посторонись! Освободите дорогу к калитке! — скомандовал Александр Иванович, воспользовавшись коротким замешательством собравшихся, а сам начал обходить свинью.

Все послушно расступились, а понукаемая им свинья спокойно прошла во двор и затем в сарай.

Толпа оживилась, загудела.

— Вот-те раз!

— Да-а!..

— Морской порядок, ничего не скажешь, — это, по всему видно, кто-то из заводских.

— А вы как думали? — воскрес вдруг Валерий и последовал со своим начальником во двор.

Но больше всего такой неожиданный поворот событий подействовал на хозяина дома. Он как-то сразу сник и обмяк, начал во всем поддакивать Александру Ивановичу и даже Валерию, которого до этого крыл на чем свет стоит. Теперь он не только не возражал против того, чтобы свинья оставалась у него, но и вызывался помочь заколоть ее, освежевать.

— Ничего, старик, все будет от и до, — пощадил его Валерий, довольный тем, что сам благополучно вышел из этой истории.

По дороге на завод он, как мог, старался отвлечь начальника пролета от случившегося, однако тот все же улучил момент и спросил:

— Валерий, скажи: ты до этой поездки бывал когда-нибудь в деревне?

— Бывал, а как же! Поди, каждый год ездим в подшефный

колхоз то на прополку, то на уборку... — Валерий вдруг насторожился. — А в чем дело?

— Да я вот думаю: можно ли практически сжарить твою свинью или ее никаким огнем не возьмешь? Между прочим, у кого ты ее выдрал?

— У деда одного... Он еще, хрен старый, долго упирался, не хотел продавать. Говорит, нету при мне ни кота, ни собаки, а ты и совсем осиротить захотел... Я его и так и сяк уламываю. Постепенно начал сдаваться, но поставил последнее условие: достань, мол, петуха, взамен, все-таки будет живая душа в доме. Будить, говорит, меня не надо, и так не сплю, а вот песней может убажить старого.

— И ты достал? — Александр Иванович хлопнул себя по бедру и от души расхохотался.

— А что мне оставалось делать, Александр Иванович? — оправдывался Валерий, когда тот успокоился. — Куда ни зайду, всюду — нет и нет, для себя держали. Оно, правда, и время такое, как раз все колют, упрочняются на зиму. А возвращаться ни с чем тоже не хотелось. Тут-то мне один мужик и присоветовал заглянуть к тому старикашке.

— Цыган, наверно! — высказал предположение Александр Иванович.

— Кто его знает, — Валерий пожал плечами. — Он такой старый, что уже весь стерся, ничего не прочтешь и не поймешь. И еще прелый какой-то, землей пахнет.

Они уже были в нескольких шагах от проходной.

— Ладно, — сказал Александр Иванович, нащупывая в кармане пропуск. — В оставшееся время постарайся сделать все так, чтобы братва наша была довольна. Найди хорошего мясника, пусть разделает ее как следует. Раздобудь сухих дровишек, желательно сосновых, заранее доставь их на место. Ну, а я сейчас позабочусь о жаровнях. Скажу слесарям, они быстро смастерят...

Я давно и как-то сразу полюбил наши рабочие сборы в дни праздников и выходных. Они бывают семейные и чисто мужские, большие и малые, организованные и случайные. Купит, к примеру, тот же Александр Иванович среди недели петуха на рынке, продержит его на балконе до субботы, а потом, как только выберется из битком набитого автобуса, идет по своей Садовой улице и без конца приглашает знакомых дачников-заводчан: «Приходите на лапшу с петухом!»

Люди в это время заняты прополкой грядок или подрезкой винограда, каким-нибудь мелким ремонтом или химической борьбой с плодожоркой, к чему готовились заранее, откладывая другие дела, но вот донесся до них этот самый клич, и давно обдуманые планы на выходные дни тут же начинают трещать. И происходит это совсем не потому, что после кузнецовского приглашения у людей пропадает охота копаться на своих участках. Нет, работа у них, наоборот, заспорится, и они успеют сделать многое из того, что задумали. Да к тому же каждый из них знает, что у Александра Ивановича наверняка не то что лапши, но и самой муки нет на даче, и пока его супруга, Екатерина Васильевна, разбудит ее, замесит тесто, раскатает его, нарежет и подсушит лапшу, воды еще немало утечет. Но и это еще не самое главное. Петухом, конечно, не накормишь всех приглашенных. Не хватит, может быть, и того, что в обязательном порядке принесет каждый из своих запасов на дачу Кузнецовых, потому как позже непременно появятся незваные, но желанные гости. Важно, чтоб состоялся сам сбор, доброе рабочее застолье, которое, как и заметил, никогда не сводится к тому, чтобы лишь поесть, попить да поговорить о разных разностях. А раз ты участник этого веселого застолья, доверяют по большому рабочему счету, и ты можешь с радостью сознавать, что в данный момент ты и есть тот человек, который вправе считать себя и нужным, и полноценным. Случайный же человек здесь может оказаться единожды, вторично ему удастся лишь напроситься, а в третий раз он и сам не захочет больше испытывать глухого чувства одиночества. Так что застолье наше чем-то напоминает штормящее море, которое яростно очищает себя от всякого мусора.

Правда, на наших сборах никогда не бывают недавние выпускники профессионально-технических училищ. И дело здесь не в одном только малолетстве, но еще и в том, что они — пока что временные рабочие, во всяком случае, временные на нашем заводе. Это, между прочим, тоже гвоздь-проблема. И вот почему. Их, этих ребят, с превеликим трудом собирают по всей стране, большей частью в деревнях, посыльные нашего базового училища. Полный комплект случается раз в три-четыре года, а то и реже. Я уже не говорю о постоянных отсевах. Но, наконец, мы получаем выпускников, понемногу дотягиваем их до уровня. Казалось бы, все идет нормальным

путем. Однако не проходит и двух лет, как ребят призывают в армию.

Армия дает им новые профессии, так сказать, более современные, и по ним, по этим профессиям, они и определяются после службы, а к нам если и вернутся двое из десяти ушедших, то и на том спасибо.

Одна надежда остается на выпускниц училища — девушек, но ими мы можем пополнять лишь бригады мелкоточкарного парка. Иначе и нельзя. Поставить их, например, к моей карусели — все равно что женщин в шахту вернуть...

Но — любопытная деталь: один из тех двоих, что все же возвращаются к нам из армии, — это, как правило, парень из морской пехоты. Ну, а раз он вернулся, значит, идет, если начальство не помешает, в кузнецовский пролет. Куда же еще! И тогда-то он и становится самым что ни на есть полноправным членом нашей рабочей, мужской семьи.

Будут такие и на сегодняшнем сборе...

Вадим Пеунов

ВЛЮБЛЕННЫМ НУЖНЫ ПОЭТЫ

Бэль

Так угодно было человеку — и на месте скалистых отрогов северного Донбасса, вдоль мутноватой реки Торец встали улицами многоэтажные дома.

Потом город шагнул от глинистых берегов прямо в степь. И на просторных площадях вознеслись дворцы, богатству и красоте которых позавидовали бы эмиры востока.

*Здесь с самого марта
Трезвонят скворцы,
И в будничный день,
И в день выходной
Здесь песни —
Как-будто
Волна за волной.*

Так решил человек! И на земле, изнывающей от жажды, выросли парки, родились цветники. По вечерам, когда сумерки размывают очертания предметов, сливая их с небом, забитым звездой, на аллеи и дорожки выходят влюбленные. Их сердца поют песни, сложенные композиторами, их губы шепчут стихи, написанные поэтами. Но сами влюбленные молчат, за них говорят руки и глаза, звездное небо и всполохи зарниц, которые рождаются над далекими заводами: Новокраматорским, Старокраматорским.

Нежный шепот акаций, тонкий аромат ночных фиалок заставляют учащенно биться влюбленные сердца. В такую пору и рождается слово, которое в иное время невероятно трудно произнести:

— Люблю!

О, это могучее слово! Оно поднимает человека над всем живым, превращая его в творца собственного счастья.

В Краматорске влюбленные создают и уникальные шагающие экскаваторы, и универсальные машины, способные думать. Среди этих изумительных людей по улице Социалистической живет поэт-воин.

*Если путника где-то
Закружило в пургу,
Я хочу до рассвета
Быть тропой на снегу.
Если, корни корчуга,
Зной клянeshь ты тайком,
В этот полдень хочу я
Быть живым родником.
А разбойная стая
Нападет на бойца —
В это утро желаю
Быть я каплей свинца.*

Его зовут Николаем, как и Островского. В чем-то сходны их судьбы, их характеры, хотя наш Николай по годам годится в сыновья Островскому: он духовный сын, законный преемник славы именитых отцов.

* * *

21 июня 1941 года была суббота. В школе № 1 города Краматорска шел выпускной вечер. Вчерашние школьники, завтрашние студенты пели песни, читали стихи. А потом пошли на Торец.

Река плавно катила свои воды к Донцу. И жила в этой плавности какая-то неотвратимая сила: только так, и не иначе! Здесь, на крутых берегах, поросших ивой и тальником, разбивали свои палатки полки Петра Первого. Здесь гудела стылая земля под копытами Первой Конной армии, громившей отборные дивизии деникинцев.

А что еще готовила судьба и красавице-реке, и ее хозяевам?

Мальчишки и девчонки были счастливы. Они чувствовали себя героями, которые еще не совершили подвига, но готовы к нему. Сделан первый шаг в большую жизнь: в кармане аттестат. А завтра...

Душу распирало большое и радостное чувство. Хотелось достать с неба самую яркую звезду.

— Это вам, люди!

Хотелось кататься по траве, прыгать с обрыва в гладкие воды Торца, нырять так, чтобы ахали девчата:

— Да где же он?

В общем, хотелось чего-то необычного, хорошего.

Рано утром еще до восхода солнца над рекой пополз туман. Густой. Он поднимался вверх, медленно заволакивая противоположный берег.

*Вставал рассвет,
От самого заката
Шумел прибоем вечер выпускной.
Никто не знал, что мы уже солдаты,
Что все мечты разрушены войной.*

Танки с крестами на броне переправлялись через Буг и Рату, им навстречу вставали с гранатами в руках пограничники. На улицах Киева рвались бомбы... И в историю Отечественной войны уже вписаны первые страницы героической летописи... А будущий командир противотанковой батареи Николай Рыбалка, не ведая об этом, направился утром в воскресенье играть в футбол. Будущему поэту шел восемнадцатый год.

Восемнадцатилетние! Счастливые, беззаботные, удивительно веселые, их можно увидеть на любой улице вечернего города...

Восемнадцать! Вдумайтесь в это, мои сверстники... Вспомните себя, своих друзей, которые уже никогда не придут к вам в гости, не пришлют хотя бы коротенькую весточку...

Оглянитесь на своих сыновей и дочерей... Представьте на мгновение: вдруг завтра, и не позже, им придется встать на пути у танковой армады или подняться навстречу огненной пулеметной трассе.

*Жужжали над землей осколки,
Как злые, черные шмели.
И мы у самого поселка
Живою цепью залегли.
Но шли, как прежде,
В клубах дыма
Вперед четыре смельчака.
И, сжав гранату, вслед за ними
Пошел я, сгорбившись слегка.*

Николай Рыбалко относится к тому поколению советских людей, для которых война стала школой жизни. У таких, как он, не было звонкоголосой молодости: со школьной парты — в бой. А там решалась судьба страны. И они, семнадцати-восемнадцатилетние, были в ответе за будущее своей Родины.

*Едва успев проститься с детством,
Ты встретил юность в блиндаже.
Ты жил со смертью по соседству
И был в бессмертии уже.*

Аркадию Гайдару было шестнадцать лет, когда он принял командование полком. Николаю Щорсу едва минуло двадцать три, когда он стал живой легендой... И сколько их, таких героев! Война, горе, смерть близких, великая опасность, нависшая над Родиной, над домом, над его Торцом, превратили юношу в мудреца, вчерашнего ученика-мечтателя — в воина. Как-то неожиданно, вдруг возмужал Николай Рыбалко.

Конечно, он, как и все подростки в те годы, бегал в военкомат. Одно заявление, другое:

— Пошлите меня на фронт!

Его выпровожали в одни двери, он находил другие.

Но и там говорили то же самое:

— Успеешь!

Душила обида. Был убежден, что, если его отправят на передовую, то наши перестанут отступать.

«Не берут... Не нужен!»

Пали Львов... Минск... Таллин... Рига... Киев... Танки Гудериана уже переправлялись через Днепр. «Да где же та сила, способная остановить это черное нашествие!»

Приходили на тихие улицы старого Краматорска серые недобрые весточки:

«Ваш сын...» «Ваш муж...» «Ваш отец...»

*Запрыгали прямые строчки,
Сливались четкие слова,
И ты, не дочитав до точки,
Все поняла:
— Вдова... Вдова...
Твоя рука с письмом повисла,
А ты стояла у двора,
Совсем забыв, что коромысло
Давно с плеча снимать пора.*

Как мало тогда еще знал о жизни, тем более о войне бывший ученик.

Это было время неизвестных солдат. Они дрались до последнего патрона, до последнего вздоха на окраинах неизвестных им сел и городков. Они бросались с последней гранатой под гусеницы фашистских танков на перекрестках полевых дорог, они, истекающие кровью, поднимались в штыковую атаку на плотные цепи автоматчиков в мундирах мышинового цвета.

*Он уходил последним из поселка.
Не знал, не ведал первый батальон,
Как в грудь солдата впились три осколка,
И, застонав, умолк навеки он.
Мелькнули косы маленькой Наташи
И пламя роз у светлого окна...
А утром в список без вести пропавших
Его занес угрюмый старшина.*

Безымянные солдаты. Только через двадцать лет по местам боевой славы пойдут красные следопыты с алыми галстуками на шее, чтобы по крупицам собрать историю их подвига. И не всегда, ох не всегда удастся этим всеведам узнать даже имена героев. Честь и слава вам, безымянные!

Командир взвода противотанковой артиллерии лейтенант Николай Рыбалко встретился с войной на окраине Воронежа... В то время фронт пересекал город надвое.

Гитлеровское командование, не считаясь с потерями, бросало в бой все новые и новые силы. Позади был страшный для немцев 1941 год, который закончился отступлением фашистов от Москвы вот сюда, под Воронеж.

За поражение под красной столицей фашисты стремились взять реванш. Он должен был состояться на Волге, под Сталинградом. А древний Воронеж был дальним подступом к волжской твердыне. Если бы врагу удалось захватить Воронеж, а затем Сталинград, он бы одержал важную политическую и моральную победу, которая сделала бы более сговорчивыми и Турцию, и Японию, и верных союзников третьего рейха итальянцев и румын.

А русские стояли насмерть. Весь мир удивлялся и недоумевал: русский характер — великая загадка! А отгадка была нехитрой: мы любили Родину больше своей жизни.

*В холодной черной пасти дота
Стучал зубами пулемет.
И вмерзла в рыхлый снег пехота,
Ей не продвинуться вперед.
И то ли вспомнил он присягу,
А может, дан приказ бойцу, —
Он вдруг пополз крутым оврагом
Один, наперекор свинцу.
Все ближе дот зловецкий, хмурый...
Бросок гранаты... Взрыв!
И вот
Закрыл он сердцем амбразуру,
И захлебнулся пулемет.*

У Николая Рыбалко сохранилась фотокарточка тех лет. Молоденький парнишка. Не лейтенант, а лейтенантик. Не

командир, а сынок для бывалых воинов — истребителей танков.

Но так его называли только до первого боя, в котором взвод лейтенанта Рыбалко отразил несколько атак и подбил два танка.

О, как умеют гореть эти железные коробки с черными крестами! Черный дым тянется бесконечным шлейфом туда, на вражеские окопы. А враги, которые хотели раздавить, расстрелять Николая и его друзей, лежат обгорелые неподалеку от своих пылающих машин.

Но победа в единоборстве с тяжелыми танками всегда была трудной. Вечно помнятся, стоят перед глазами погибшие друзья:

*Он первым встал.
И за спиной широкой
Росли и поднимались голоса.
Чужая сталь пересекла дорогу,
Над ним нагнулись круто небеса.
Упал... Теперь под теми небесами
Мы любим жизнь, и в звоне трудовом
Уже мы видим сердцем и глазами
Все то, что коммунизмом назовем.
Когда за наши подвиги в награду
Войти в него наступит мой черед,
На миг застыв, я пропущу вперед
Того в сраженье павшего солдата.*

Первый бой... Первый выстрел... Первый погибший рядом с тобою. Он шутил, подбадривал тебя, толковал о том, что двум смертям не бывать, а одной не миновать, дескать, смелого пуля боится, смелого штык не берет. И вот — нет человека. Но ты остался. И то, что должны были делать двое, трое, взвод, — теперь будешь делать ты, один, потому что кроме тебя это делать больше некому.

На войне нет легких специальностей: пехотинцу, саперу, летчику — всем трудно. А истребителям танков особенно. Каждый бой — это схватка не на жизнь, а на смерть. И, казалось бы, близость смерти должна была озлобить Николая Рыбалко и его друзей, сделать их души черствыми, жестоки-

ми. Так нет же, будущий поэт видел, что эти суровые люди живут неистребимой любовью ко всему живому.

*Окопами изрыты нивы,
Без яблонь сад,
дома без крыш.
Среди развалин сиротливо
Сидит заплаканный малыш.
От стужи и стального гула
Две ночи он не знает сна:
Из-под ресниц его блеснула
Печальная голубизна.
Не раз гвардейский залп орудий
Гремел у вражеских траншей.
И помнили в шинелях люди
О том далеком малыше.
Мы видели в багровых далях
Печальную голубизну
И майским утром расстреляли
Прямой наводкою войну.*

Четыре года войны — три ранения. Три раза вопреки существовавшим тогда правилам Николай Рыбалко возвращался в свой беспокойный полк истребителей танков. Обмидная команды выздоравливающих и запасные полки, он рвался к друзьям, которые стали для него братьями по крови...

Первое ранение Николай получил под Воронежом. А через несколько месяцев вновь вернулся в этот разрушенный, но по-прежнему живой русский город. Это было в конце 1942 года. Николай вспоминает то далекое время с особой теплотой: «Наши стояли все на том же месте, что и до моего ранения. Я обрадовался: значит, отступление закончилось!

Зима была снежная, морозная. Нашу батарею от немцев отделяла лишь улица. Напротив — разбитая школа, а там — гитлеровцы. Теперь они были уже не те, что год назад: спеси поубавилось, страху перед нами поприбавилось. Под Сталинградом на Волге как раз начиналось окружение трехсоттысячной армии фельдмаршала Паулюса».

В январе 1943 года двинулся вперед и Воронежский фронт. Незадолго перед этим командир третьей бригады истребителей танков (комбат-3) старший лейтенант Николай Рыбалко

написал в парторганизацию полка заявление: «Хочу освободить родную землю коммунистом».

За право называться коммунистом в те годы многие платили кровью. И для Николая слово «партия» стало священным.

*В слякоть штурмовал я высоту,
Пот глотал свинцово-жарким летом,
Но хранил повсюду чистоту
Алого партийного билета.
Мог бы я в окопах умереть,
Отвечая выстрелом на выстрел,
Только бы
земля жила и впредь
Солнечным дыханьем коммунистов.
Познавал я в ярости атак
То, что повторяет голос лет:
— Если в сердце целится мне враг,
Целится он прямо в партбилет!*

Наступление наших войск из-под Воронежа, как и всюду, было стремительным и глубоким. Фронт остановился только на Курском выступе в марте, когда появилась необходимость подтянуть отставшие тылы.

Иптаповцы, которыми командовал сын легендарного полководца Александр Васильевич Чапаев, заняли оборону на окраине станции Готня. Батарея Рыбалко была выдвинута вперед. Ей предстояло первой встретить врага.

Курская дуга... Это название в истории Отечественной войны сегодня такое же легендарное, как и Сталинград, битва под Москвой, битва за Берлин... На узком участке фронта гитлеровское командование сосредоточило около пяти тысяч танков и множество самолетов. Смять! Раздавить русских! Уничтожить! Взять реванш за поражение на Волге! — таков был приказ фюрера.

Николай Рыбалко хорошо помнит то время: «У нас была глубокоэшелонированная, хорошо продуманная оборона. Предусмотрели все мелочи: пристреляли ориентиры, оборудовали запасные позиции. Потрудились мы тогда лопатой немало. Каждый боец перепахал земли, что колхозный трактор за сезон. Огневая для пушки, окопчик для снарядов,

наблюдательный пункт, ходы сообщения в полный профиль, то есть такие, чтобы не было видно идущего человека. В том же объеме велись земляные работы на первых запасных позициях, на вторых... Но тяжелый труд окупился в первом же бою. Две батареи: моя, третья, и вторая — старшего лейтенанта Немировского — прикрывали дорогу. По ней наступали пятнадцать танков и автоматчики.

...Восемь пушек против пятнадцати танков... А у каждого танка тоже пушка, да плюс скорость, да плюс броня. Исход поединка решали доли секунды. Мы тогда с прямой наводки подбили четыре танка, остальные повернули назад. Вообще в те дни на Курской дуге всюду шли упорные бои. Фашисты пустили свои новые танки «тигры». А мы еще только учились бороться с ними, только изучали их уязвимые места. И все равно гитлеровцы ежедневно теряли сотни танков. Это в итоге и решило исход величайшей танковой битвы».

За бои на Курской дуге Николай Рыбалко получил свою первую награду — орден Красной Звезды. Вручал ее молодому комбату подполковник Чапаев.

Но высшей наградой воину была радость освобожденных советских людей.

*Людей качало, как в седле:
Холмы, как вздыбленные кони.
Руками прикоснись к земле —
И сразу обожжешь ладони.
А ты — стоял!
А ты — шагал!
А ты на землю эту падал.
Она — и вечный пьедестал,
Она — и высшая награда.
Она — твоя.
На ней твои
И плеск колосьев, и метели.
Ты шел.
А следом соловьи
Простым солдатам гимны пели.*

После ранения Александра Васильевича Чапаева полк принял майор Петров, которому в ту пору было всего двадцать три года.

Читатель, запомни эту фамилию: командир полка майор Петров. В дальнейшем судьба Николая Рыбалко будет теснейшим образом переплетена с удивительной судьбой этого необыкновенного человека.

Как говорилось в те годы в сводках Совинформбюро: «Перемолов в оборонительных боях живую силу и технику противника, наши войска устремились к Днепру».

Полку истребителей танков довелось освобождать городок Яготин. Когда-то в этом красивейшем украинском городке любил отдыхать Тарас Григорьевич Шевченко. Он сделал художественную роспись стен небольшого поместья, где довелось ему провести некоторое время. Рисунки к 1943 году еще хорошо сохранились, и воины-освободители вместе с яготинскими девчатами ходили смотреть на национальную реликвию.

Там Николай и познакомился с Ниной — светлоокой веселой дивчиной, которую заметил еще на митинге по поводу освобождения городка. Комбат пригласил девушку в гости к себе на батарею, где был патефон — предмет особой гордости иптаповцев. А к нему — одна пластинка. Танго «Дождь идет». Ее и крутили беспрестанно.

На часок к бывшему школьнику вновь вернулась юность. Он еще никого не любил... Он еще никогда не держал в руках такой нежной девичьей руки... Еще никогда на него не смотрели такие огромные, удивленные, радостно встревоженные девичьи глаза...

Такие паренки, как он, рождались не для того, чтобы убивать и быть убитыми. Для любви! Для счастья! Для того, чтобы засеять нивы, возводить дворцы, создавать песни.

*Я видел все: твои глаза и руки,
Осенний сад в днепровской стороне.
Ты думала с тревогой о разлуке...
Ведь через час я снова на войне.
Я видел все: чуть дрогнувшие губы.
Сверкнувшая слезинка на щеке.
Ты говорила мне, что не разлюбишь,
Что буду близким я и вдалеке.*

Нина... Далекая, но верная подруга. О таких и была написана в те годы популярная песня: «До тебя мне дойти нелегко...»

Вам, солдатские невесты, мы присягали на верность в бою. С вашим именем поднимались в атаку... Мы знали: случись беда с солдатом, вы не потеряете своей любви, не променяете ее. Ваше долготерпение и преданность окрыляли нас, давали надежду.

Полк ушел к Днепру. Нина осталась. Она работала в райкоме комсомола.

Днепр. Седой, угрюмый, заждавшийся своих освободителей.

Полк майора Петрова переправлялся через Днепр неподалеку от древнего Киева.

Один немецкий генерал с ужасом вспоминает о наших плацдармах: «Стоило русским зацепиться хотя бы за несколько квадратных метров голого песчаного берега на нашей стороне, как уже никакой силой невозможно было сбить их. Дьявольское, нечеловеческое упорство».

Командир полка майор Петров переправился на плацдарм с первым же орудием. Он знал, как трудно там, на том берегу пехоте, как важно выкатить пушку на прямую наводку.

Переправы как таковой в ту пору еще не было.

Немцы нещадно бомбили и расстреливали прямой наводкой все живое, что появлялось на волнах Днепра.

Дело осеннее. Вода холоднющая. Ветер. Майор Петров передал по радиации приказ: «Переправляйтесь!» И батарея Николая Рыбалко погрузилась на самодельные плоты. В общем-то его батарею на редкость повезло, переправились почти без потерь. Но на той стороне пришлось туго. Каждый снаряд был на спецучете, а танки с крестами шли и шли... Надо было кроме танков подавить вражеские минометы, дзоты, пулеметные точки... Работы для артиллеристов было хоть отбавляй. А тут еще, на беду, ранило майора Петрова. Ему осколком крупнокалиберного снаряда разбило правую руку, а левую буквально отрубило.

С огромным трудом удалось ординарцу вынести командира с поля боя и переправить через Днепр. В медсанбате ужаснулись: газовая гангрена. Сделали операцию. Но болезнь прогрессировала. Пришлась сделать повторную ампутацию.

— Майор Петров, — вспоминает Николай Рыбалко, — был для меня тем человеком, по которому хочется сверить свою жизнь. Его феноменальное мужество (он никогда не кланялся ни бомбам, ни пулям, так и шел по войне с поднятой голо-

вой), умение преодолевать, казалось бы, непреодолимые преграды, влюбленность в жизнь помогли и мне выстоять, когда я уже перестал было верить во что-либо хорошее для себя.

Человек без обеих рук. Выше локтя. Правда, ему сделали уникальные протезы. Но сравнивать их с руками...

Казалось бы, все ясно: отвоевался. Врачи так ему и сказали. А он не согласился с их приговором. Не получив документов, оставив у замполита госпиталя орден и Золотую Звезду Героя Советского Союза, он сбежал. Добрался до штаба фронта и явился к командующему генерал-полковнику Коневу:

— Майор Петров прибыл для прохождения дальнейшей службы. — И, понимая, сколь необычна его просьба, уже не по-уставному dokonчил: — Сможете — доверьте мой полк... А нет — куда угодно, кем угодно, только на фронт!

— Трудную задачу ты задал мне, майор, — сказал в раздумье командующий фронтом. — Вряд ли такой случай сыщешь в военной истории.

— Кому-то первому надо начинать, — дерзко ответил майор Петров.

Понравилась командующему фронтом настойчивость командира полка, которого он знал как одного из храбрейших офицеров. Улыбнулся.

— Ну что ж, майор, откроем счет в военной истории.

Бывший командир полка, ныне дважды Герой Советского Союза генерал Петров, продолжает служить в рядах Советской Армии. Недавно он выпустил первый том мемуаров.

Конечно, факт сам по себе примечательный, ни в какие уставы и наставления его не втиснешь. Коммунист Петров продолжал громить врага. Он изобрел для себя специальный угломер, крепившийся к фуражке. Этот прибор помогал ему управлять боем.

*С тобой мы звезды с неба не снимали,
Мы на пилотках, крыльях и броне
Звезду земную пронесли сквозь дали,
Чтоб не померкли звезды в вышине.
С тобой мы звезды с неба не снимали,
Мы у светил небесных на виду
В немыслимые солнечные дали
Подняли пятикрылую звезду.*

Еще один плацдарм, в этот раз на Одере. Батарея капитана Рыбалко отбивала очередную атаку. Обычный бой, каких в прошлом были сотни. Как и всегда, вокруг рвались снаряды. Но вот — взрыв, гигантская вспышка перед глазами.

*Качнулось небо голубое —
И наступила темнота...*

Очнулся комбат в госпитале. Темно. Рядом стоит няня: он слышит, как мягко шелестит ее халат при малейшем движении. Няня приглашает:

— Ходячие, на завтрак! Быстро, быстро!

«Ночь? Темно. Почему на завтрак? — удивился Николай. — И свет не зажигают».

— Который час? — спросил он громко, начиная волноваться.

Притихла палата. Смутилась няня. Не сразу ответила она.

— Девять...

— Вечера?

— Нет. Утра...

И он все понял.

*Я не зову свою судьбу к ответу,
Я с ней борюсь, не плача, не кляня.
Пуускай глазами я не вижу света,
Но хватит в сердце светлого огня!*

Ему было двадцать два года... Что он умел? Стрелять по танкам с крестами? Это не специальность, и тем более не его призвание.

Может быть, Николай Рыбалко и не сумел бы встать над своим горем, найти место среди бойцов за будущее, не окажись рядом с ним верных друзей. Первой из них стала девушка Нина из далекого украинского городка Яготина, который любил Тарас Шевченко.

*Вот снята с глаз последняя повязка,
Но вокруг по-прежнему темно.
Сказал мне доктор с горьковатой лаской:
— Знать, совершиться чуду не дано.*

*И в те края, что ближе всех на свете,
Дальняя дорога пролегла.
Как теперь меня такого встретишь
Та, что встречи столько лет ждала?!*

Вне сомнения, были у Нины в ту пору горе-советчики, которые охали и ахали по поводу ее будущей судьбы:

— Ты такая молодая! Еще встретишь другого...

Но она твердо стояла на своем:

— Люблю!

— Ты ж его видела всего два раза, — настаивали мудреные.

Два. Но какие! Он, молодой, красивый, двадцатилетний, освобождал ее родной Яготин. И в девичьем представлении в веселом, безмерно человечном и ласковом лейтенанте воплотилась вся доблесть многомиллионной армии-освободительницы. Как Нина исстрадалась за годы оккупации, что довелось пережить! И она ждала, ждала, что ОН придет, чтобы освободить ее. Кто он? Какой он? Конечно, молодой, красивый, с добрыми глазами. Это была мечта, это была тоска по прекрасному, которое украла война.

А письма? Разве они были немые? Правда, в них начисто отсутствовало слово «люблю». Но это же само собою разумеется. В тех письмах была душа Николая: светлая, как родник. Таковую не в состоянии замутишь все ужасы войны.

Потом вторая встреча. Фронтовику дали две недели отпуска. Первую он провел дома, у своих в Краматорске, а вторую у нее в Яготине. Семь дней? Нет! Семь лет. Семь десятилетий! Вечность. Короткая вечность. Весь мир: и небо, и солнце, и далекие звезды, и земля, покрытая первой зеленью, не опаленной взрывами, — все принадлежало им и только им!

И вдруг она перестала получать его письма: две недели, три недели, целый месяц — ни строчки. Что? Что там стряслось? Неужели?.. Она понимала, что война — это война. Возле каждого села — своя братская могила, в которой похоронены воины-ооободители. Не всегда даже удавалось доведаться, как зовут... Серые «похоронки» разносили по домам хмурые почтальоны. Но было еще нечто более ужасное: пропал без вести...

Девичье сердце жило тревогой, оно не хотело верить в

ужасное. Ее русоволосый Коля... Он являлся в тревожных снах и смеялся над ее спасениями.

А вестей от него все не было. И тогда Нина принималась перечитывать старые письма...

Наканец, в дверях появился радостный почтальон.

— Нина, пляши! Иначе не отдам!

Но она сразу определила: конверт подписан не его рукой. Чужой, незнакомый почерк.

— Нина, пишет вам командир полка, в котором служил Николай...»

«Служил...» Не служит, а служил! Все в прошлом! А где же настоящее? Что осталось ей на будущее?

Никалай рассказывал ей о своем командире красивые легенды. И вот его письма. «Нина, я знаю, что вы любите Николая. Но любовь — это очень сложная штука, любовь — это прежде всего мужество...» И адрес госпиталя.

Случилась беда. А он, ее Коля, решил, что не имеет права наделять любимую своей тревогой. Не писал... «Глупенький. Да разве для настоящей любви есть преграды?»

Нина приехала в госпиталь.

*Ко мне сквозь пелену тумана
Ты шла в косынке голубой...
И я тревожился, чтоб раны
Твою не ранили любовью.
И вот мы вместе...
Той же лаской
Моя судьба озарена.
И вдруг я понял, что повязка
Такому чувству не страшна.*

Командир полка подполковник Петров прислал комбату-3 в госпиталь строгое письмо.

«Ты — офицер полка и после госпиталя обязан вернуться в свою часть. Лучших докторов Европы к тебе пригласим. — И дописал от себя лично: — Приезжай, Коля.»

Трудно. Невмоготу. А разве Петрову после днепровской переправы было легко? Но он одолел судьбу.

Нина говорила:

— Друзья зовут. Как же ты можешь не пойти? Они в тебя верят.

Война к тому времени закончилась. Полк стоял в Чехословакии. В госпиталь пришли документы. Нину зачислили в полку санинструктором. Навстречу ей и Николаю выехали офицеры и бойцы. Встреча однополчан произошла во Львове.

Поезд миновал границу.

— Стоит полосатый столб. И часовой с автоматом, — рассказывали друзья.

Тишина. Она непривычна. Веселая песня, которую пели в соседнем купе, не разрушала эту мирную тишину, а лишь подчеркивала ее. И только тут Николай понял: «Проклятой войне конец!»

*Судьба меня не обделила
И стороной не обошла:
Дала мне жизнь,
дала мне силу,
Дала мне добрые дела.
Дала веселую удачу,
Послала в дар мне сто друзей.
На свете нет меня богаче,
Ведь сто друзей —
не сто рублей.
А сердце мне дала такое —
Любая тяжесть по плечу.
И с ним не знаю я покоя
И знать вовеки не хочу.
Она свела меня с любовью,
Дала для песен мне слова...
А если так —
все остальное,
Как говорится, трын-трава.*

Принято говорить: «Полк встретил ветерана со всеми почестями». Так оно и было. В полку Николая ждала еще одна приятная неожиданность: орден.

Полк приглашал к комбату-3 многих профессоров из Германии, Франции, Италии... Помогли хорошие люди Николаю Рыбалко попасть в клинику профессора Филатова. Увы, наука была бессильна.

*Белый свет со мной играет в жмурки,
Мне не светят звезды с высоты.
Говорит мне ласково дочурка:
— Посмотри, какие здесь цветы!
Знать, она еще не понимает,
Что вернулся я с войны слепой.
— Посмотри же, — снова умоляет, —
Это желтый или голубой?
Я склонился над дочуркой ниже
И подумал, трогая цветы:
«Я давно уже цветов не вижу,
Чтобы их всегда видала ты...*

Так угодно было человеку! И на скалистых отрогах вдоль мутноватой степной речушки Торец встали многоэтажные дома. В одном из них по улице Социалистической живет лауреат премии имени Николая Островского, поэт-воин Николай Рыбалко. У него чудесная жена Нина, она стала его глазами, его окном в мир, без нее бывший комбат-3 вряд ли стал бы таким удивительно светлым и нежным поэтом. У Николая Александровича очень похожий на него сын Игорь, хрупкая, ласковая дочка Валюша, вся в маму, как говорят знакомые... И неисчислимое множество друзей у почетного гражданина города Краматорска. По вечерам, когда густые сумерки размывают очертания предметов, сливая их с небом, забитым звездами, на аллее и дорожки краматорского парка выходят влюбленные. Их губы шепчут стихи. Влюбленным очень нужны поэты...

*Я спешу, я спешу, я спешу.
Мне успеть бы на этот автобус.
Я дышу. Я почти не дышу.
Мне сейчас все березки — по пояс.
Гул мотора. А вот и бульвар.
У скамьи те же лунные нити.
Здесь вчера я ромашку сорвал,
Протянул незнакомке: «Возьмите!»
Улыбнулась глазами в ответ.
— Вот спасибо! — и больше ни слова.
— Что цветок! Вам бы целый букет!
Вот такой! — Улыбается снова.*

Ну а звезды — разлив серебра.
И не звезды — улыбка сплошная.
Поднялась со скамьи:
— Мне пора...
— Приходите же завтра!
— Не знаю...
Я спешу. Я стою. Я молчу.
К нам большое приходит не просто.
Я с букетом, я что-то шепчу...
Где вы? Где вы, далекие звезды?!

Егор Гончаров

КАК ЗАБИВАЮТ ГВОЗДИ

Глава из одноименной повести

В бригаде появился новый работник. Цыган. Некоторые ребята всполошились.

— Вот еще тоже, всунули... Дождешься от него работы, как от козла молока. Цыган, и вдруг — строитель!

А бригадир, старый и рассудительный мужик сказал:

— Тихо! Не гудите. Посмотрим.

Цыгана спросил:

— Как зовут тебя-то?

— Микола.

— А по отчеству?

— Грыцьком звали батька.

— Слушай, Григорьевич, ты хоть топор в руках держал?

— А як же? Дрова колол.

— А гвоздь забить сможешь? — вставил кто-то из ребят.

— Цэ дило простэ, — отвечал цыган.

— А сколько лошадей уворовал? — подsunулся Мишка Сапронов, заядлый остряк и насмешник.

— Коней не крал. Краденых продавал.

— Плясать на пузе умеешь?

— Як хочь могу. В одном селе хлопцев та девчат обучал танцевать. При клубе. Главным там был.

— За что и выгнали, — отпустил Мишка новую шпильку.

— Да цыц вы, черти! — прикрикнул бригадир. — Значит, Григорьевич, по плотницкой части не ведаешь. Да как же ты к нам в бригаду попал?

— Главный послал. Я ж на коня возчиком просился. Або на конный двор, конюхом. А главный говорит: иди к плотникам. А який я плотник? Подать, принести — це могу. Мне бы коня...

— Тебе хоть и камни ворочать, лишь бы лежа, — опять не удержался Мишка Сапронов.

— Ладно, хватит языки чесать, — бригадир посмотрел на часы. — Расходись по местам! Григорьевич, гвозди забивать пойдешь?

— А почему ж? Дайте мне молоток.

— Иди с ребятами наверх, опалубку гнать. Да гляди, чтоб с крыши не съехал.

Микола насовал гвоздей в карманы, увидел, как ребята заткнули молотки за пояс, последовал их примеру и полез на крышу.

На стропила легла первая доска. Микола достал гвоздь, хотел было забить, но украдкой покосился на плотников: пусть, мол, они первыми начнут. Ребята ловко повыхватывали молотки из-за пояса, приставили к доске по гвоздю и сплеча — трах, трах — пригвоздили намертво. Цыган приладил свой гвоздик, размахнулся и по доске — раз, еще размахнулся — мимо. За третьим разом гвоздь свернулся набок.

— У тебя, брат, гвозди пьяные, — сказали ему.

Цыган молча поправил гвоздь и не вбил, а вымучил, кое-как загнал. Второй гвоздь тоже согнулся. И третий.

Подошел Мишка Сапронов.

— Микола, ты гвозди рукой от ветра прикрывай, чтоб не сдувало.

Цыган понимающе улыбнулся на эту шутку.

Доска за доской быстро ложились на стропила. Ребята без промаха вколачивали гвозди. Цыган не успевал за ними, однако видел, как плотники терпеливо поджидали, пока он забудет свой гвоздь, тогда уже клали новую доску. Микола горячился, делал лишние взмахи; гвозди по-прежнему не слушались его, не лезли в дерево, гнулись и скручивались. Он злился, бурчал что-то по-цыгански сквозь зубы и яростно лупил молотком.

— Ой! Хай тобі очи повилазять! — вдруг схватился он за палец и поспешно сунул его в рот, закрутил головой.

— Что, молоток кусается?— засмеялся Мишка Сапронов; подошел и осмотрел палец: — Чепуха! Бывает хуже, — и спрятал в карман кусок бинта, которым хотел перевязать цыгану палец. — Ты, Микола, не горячись, не спеши... Нака вот тебе мой молоток, он получше.

...Все заметнее прихорашивается новый дом, все быстрее и быстрее зарастают и затягиваются деревянной кожей худые ребра крыши. Потом опалубку подрежут, подстригут, и дом наденет настоящую обновку — шапку из белого шифера.

Когда плотники подобрались к самому коньку, цыган уже в азарте колошматил молотком и радостно скалил зубы, выкрикивая:

— Гей! Раз! Ты дывись, гвозди лезут, як в тесто. — И заливался звонким, раскатистым смехом.

А Мишка, шельмец, втихомолку проделал дырку в сучке, напихал туда серы от спичек и воткнул сверху гвоздь.

— Микола! — позвал он. — Ты, я вижу, мастерски гвозди стал забывать. А в сучок с трех разов забьешь? Если забьешь, признаю тебя плотником.

У цыгана загорелись глаза, он живо послунил ладони, размахнулся и трахнул по гвоздю. Внезапно у него под рукой раздался громкий и дымный выстрел. Цыган вздрогнул и выпустил молоток.

— А хай тобі очи повилазять! — растерянно говорил он, поглядывая на хохочущих ребят. — Аж в душе закололо. — А сам вдруг тоже рассмеялся.

Прибили последнюю доску. Закурили.

— А зараз где прибывать будем? — спросил цыган, все еще не остывший от горячей работы.

— Снизу начнем гнать.

— А почему снизу? Давай сверху вниз.

Ему объяснили, почему снизу.

Вскарабкался бригадир.

— Ну как, Григорьевич, работа? Выплясывается? Высота не страшит? Может, пойдешь вниз, доски подносить?

— Ни, ни! — отмахнулся цыган. — Я тут буду.

Бригадир тоже закурил за компанию.

— А семья-то у тебя как? Ребятишки есть?

— Диты? Пять штук.

— Много натесал, — покрутил головой бригадир. — А живешь где, с квартирой как?

— Главный говорил, що в новом доме дадут. А пока на хуторе у одного дядька флигель занимаем.

— Выходит, Григорьевич, ты сам для себя новый дом строишь? Ничего, все уладится, утрясется. Дети ходят в школу?

— Два хлопца. А ти ще мали.

— А как, стал бы ты, допустим, снова кочевать?

— А почему ж? Бувало, запряжешь коней, а воны як божия искорка. Едешь себе, куда хочется. Сегодня тут, завтра там. Схочешь — раскинул палатку, лежи. Наварит баба варэныкив — ешь. Никто тебя до работы не гонит, никто пашпорта не спрашивает.

— Ну, брат, хватит бродить нахлебниками у народа. Дети твои, Григорьевич, так те наверняка вырастут настоящими строителями, а то, глядишь, учеными какими-нибудь. Их уж не потянет кочевать. А о вас, отцах-бродягах, только в книжках читать будут. К тому оно все идет сейчас: на машинах будут ездить дети твои.

В обеденный перерыв Микола сидел в кабине бульдозера и несмело трогал рычаги руками.

— А ця ручка що делает? А ця?

Молодой бульдозерист, доевший свой «сухой паек», смахнул хлебные крошки с колен, деловито сказал:

— Ну что, Микола? Давай я тебя обучу, и будешь ты на этой машине землю брить.

— А що, разве мне это можно?

— Но почему же нельзя? Если ты захочешь — раз-два, научим тебя, и будешь ты землю уютжить.

Цыган подумал.

— Ни, цэ машина. Грамоту трэба знать. А я не знаю.

— Это просто, — убеждал бульдозерист. — Один рычаг сюда, другой — туда. Это вправо, это влево.

— Ни-ни. Для меня лучше конь: сел — поехал.

— Э, Микола, забывай. Скоро на лошадей будем ходить в зверинец смотреть.

Подошли ребята, плотники. Все они уже успели подружиться с цыганом, и каждый запросто, по-свойски, похлопывал его по плечу.

Микола и бульдозерист вылезли из кабины. Все сели на теплые, нагретые солнцем доски. Закурили, цыган тут же

принялся рассказывать забавные истории из цыганской жизни, причем так складно привирал, вставляя в свою речь прибаутки, присказки, что все хватались от смеха за животы. Потом попросили его станцевать. Цыган помялся немного, но согласился и лихо вскинул руки к груди. Танцевал он чисто и красиво, не налюбуеться. Как артист. Затем падал и крутился волчком на животе, садился на землю, закинув руки за голову, подпрыгивал и передвигался, как бы шел по земле, выкрикивал что-то озорное по-цыгански.

На шум и смех пришли девушки — штукатуры и маляры. Цыган, выпячивая грудь колесом, заходил вокруг них, покрывчивая густые черные усы, поблескивая в улыбке золотыми зубами.

— Ну, красивые, кто хочет научиться танцевать? Кто? Выходь!

— А ты ворожить умеешь? — спросила одна, подмаргивая подругам и улыбаясь лукаво.

— Гадать? А почему ж?

— Тогда скажи, где мое счастье?

— Эх, красивая! Счастье твое впереди... — не задумываясь, ответил цыган.

— Гы... гы... гы... — разносился по стройке здоровый хохот ребят.

После обеда, когда снова застучали топоры и молотки, к стройке подъехал на лошади дед Оленюк. Еще издали его заметил цыган и у всех на глазах мигом исчез с крыши.

Дед Оленюк, сгорбленный и худой, как дуга, низко опустил голову, покачивался, как сонный, положив на колени вожжи; лошадь тоже тащилась, едва не доставая губами земли. Оба они, дед и лошадь, казалось, спали на ходу. Вечно так ездил дед Оленюк.

Дед не спеша, стараясь не распылять, сгрузил алебастр, пошел в дом к малярам спросить, не понадобится ли еще чего.

Цыган, полусогнувшись, подкрался на цыпочках и выглянул из-за угла дома; увидев, что деда нет, опрометью бросился к бричке и, едва вскочив в нее, натянул вожжи, гикнул, упершись ногами в передок, и лошадь испуганно сорвалась с места и как бешеная понеслась по двору стройки. На пути попадались обрезки досок, стропил, кирпичи. И бричка высоко подпрыгивала то одним боком, то другим, с каждой минутой грозясь задрать колеса вверх.

Все побросали инструменты и сошлись посмотреть, как цыган, ухарски заломив картуз, высоко держал перед собой натянутые, как струна, вожжи, джигитовал вокруг строящегося дома.

Услыхав грохот повозки, прибежал дед Оленюк.

— Останови, холера! — закричал он, размахивая руками.
— Бричку угробишь!

Но лошадь промчалась мимо. Ветер скатывал с повозки алебастровую пыль, и за ней, кучерявясь и крутясь, несло белое облачко. Усы у цыгана торчали черным пучком гвоздей, ноздри раздулись, глаза горели бесовским огнем, и он не замечал никого, только выкрикивал:

— Гей! Гей! Постережись!

Деда Оленюка оттащили с дороги, но он упирался и кричал:

— Остановись, холера! А то я тебя погоняю!

Наконец повозка в последний раз вылетела из-за угла дома, и цыган натянул вожжи. Лошадь встала на дыбы и опустила передние копыта прямо у ног деда Оленюка. Цыган проворно спрыгнул с повозки, а дед кинулся осматривать колеса, не переставая ругаться:

— Я тебя погоняю, холера! Я тебя, погоди, самого запрягу и погоняю.

— Та що ты, товарищ генерал, лаешься? Бричка добрая, конь добрый... Не лайся, генерал, — говорил Микола, тяжело дыша, тут же попросил у ребят папироску и никак не мог вынуть спичку из коробки: руки у него дрожали от волнения, а глаза все еще горели лихорадочным жаром.

— Спица лопнула, холера... — не переставал бурчать дед Оленюк.

— Ладно, дед, кончай. Цела будет твоя бричка, — заступился за Миколу Мишка Сапронов.

Цыгана окружили со всех сторон, как героя. Его радостное волнение как-то сразу передалось всем.

— Ну что, отвел душу-то?

— Природные лошадики. И варениками не корми.

— А ну, Микола, угадай, сколько лет этой коняге?

Он подошел к лошади, и все опомниться не успели, как он задрал ей голову, открыл пасть, цепко схватил и вывернул весь в желтой пене язык и заложил его в уголок губ, чтобы не укусила, осмотрел зубы.

— Восемь рокив, — уверенно сказал он.
— Бреешь. Десять, — отозвался дед Оленюк, поправляя борт повозки.

— Восемь, — сказал Микола.

— Десять, — сказал дед.

— Хай мне очи повылазять — восемь. Хай моя хата сторить — восемь, — перекрестился цыган.

Ребята не удержались от смеха: какая, мол, у цыгана хата? А бригадир недовольно сказал:

— Все, хватит гоготать. Пора за дело.

Неделя через две деда Оленюка проводили на пенсию.

Цыган с большой охотой ушел на его место. Рысью подкатит к стройке, проворно отгрузит цемент или песок и снова погонит лошадь, веселый и довольный. Так он ездил до самых морозов.

Однажды цыган опять появился в бригаде, держа подмышкой топор с новым топорщиком. Ребята уже знали, какой случай привел к ним Миколу, но помалкивали.

Бригадир поздоровался с ним за руку.

— Опять к нам, Григорьевич? А лошадь где?

— Хай она сторит. Сдохла. Робить не хотела. Ледача. Трошки не змерз на бричке. Та и люди смеются: «Цыган на кобыле, цыган на кобыле». Хай ей очи повылазять. Сдохла.

А Мишка Сапронов сразу подковырнул:

— Если бы не ты, Микола, коняга еще бы десять лет жила.

— Не горюй, Григорьевич. Научим тебя ремеслу. Строить будешь. Плотницкое ремесло никогда не подведет, не сдохнет, как лошадь. А ну-ка, топор у тебя как? Добрый топор! — похвалил бригадир.

А Мишка Сапронов по-дружески взял его под руку и повел к стройке.

— Пойдем, Микола, будем теперь вместе забивать гвозди.



КІНЬ У ЯБЛУКАХ

Привізши з хутора на центральну ферму два бідони молока, Тарас розвертав свою бричку на старих злизаних — з-під «Москвича» — колесах і, попустивши віжки кульгавому Ворону, прямував додому снідати. Гумові шини м'яко і легко шаруділи по бакаїстій, розбитій транспортом дорозі (тому й стали відмовлятися сільські стельмахи від кутих залізом ободяків), а Тарас, підставивши вітерцю своє безброве, маслюкувате обличчя, мугикав пісеньку, слова якої дещо переінакшував на свій лад:

*Ой чий то кінь стоїть,
Що біла гривонька?..
Сподобалась мені, сподобалась мені
Тая дівчинонька...*

Після сніданку порався по двору, а кінь спроквола — бо ніколи не був голодним — і далі жував покладений в драбки оберемок свіжої трави чи сіна, якщо сезон на зелену масу кінчався. Любив Ворон похрумкати й цукровими буряками, що ними господар запасався на зиму.

Та зараз було літо, й у вільний час, здебільшого пополудні, коли упряжжю, якщо треба було вкосити в'язку трави, а коли верхи рушали з Вороном на пасовисько. Для одного коня паші скрізь вистачало, тому й можна було побачити їх де завгодно — зразу за левадами край копанок; на дальніх польових обніжках; біля Аврамової криниці, обступленої з усіх боків колгоспними хлібами...

Та було в Тараса одне місце, яке він залишав на вихідні дні. Це Чорні ярки — по той бік села, коло лісу, що зеленіли буйною отавою аж до самої зими, коли й сніг випаде. Обрав молочар їх неспроста: шлях до лісу пролягав через центр села, де зупинявся рейсовий автобус, що ним наvertsали з міста його сини чи хтось із рідні. Отож в один і той — обідній — час, щосуботи, прямував Тарас верхи на село. Перед майданом злазив з коня і далі вів його за вуздечку, позиркуючи вперед,

чи вже не стоїть автобус. Людей тут завжди було повно, тому, щоб не мозолити комусь очі, лаштувались з Вороном осторонь, під тином баби Палажки, і звідти, немов із засідки, видивлялися на зупинку.

«Що, Тарасе, кінь пристав?» — хтось та зачіпав його, знаючи, чого він тут і кого виглядає.

Якщо прибував хтось із Тарасових гостей, то його плани круто мінялися. Чорні ярки залишалися на потім, а Ворону цього дня випадало пастися знову біля копанок, які було видно з вікна господаря.

Спутавши коня, залишав його самого, наказуючи:

«Дивись мені, не забреди у шкоду! А то всиплю батогів!» — і кивав перед конячою мордою заскорузлими пальцем.

Ворон повертав до нього свою важку голову, нишкнув на хвилину, ніби роздумуючи, чим це він завинив перед господарем. Тоді Тарас брав на ноту нижче, не то докоряючи, не то виправдуючись: «Ну чого ти, чого вилупився? Не бійся, я ненадовго, скуби собі травку і мух хвостом обганяй — та й по всьому. А до мене син приїхав, цілий місяць не бачились. Треба ж нам по-людськи погомоніти, чи ні? Все з тобою та з тобою, наче мені й вихідного нема. Та, виходить, нема: молока кожного дня всі хочуть. Ось увечері знову потарабанимось на хутір. Ну нічого, нічого, пасись на здоров'я, а я не забарюся, скоро буду...»

Слова свого останнім часом Тарас дотримував, бо хто ж замість нього поїде по молоко, дружина після цієї зими щось нездужає, на ноги слабує. Раніше їй доводилося не раз підміняти чоловіка, коли той з'являвся додому напідпитку. Правда, кінчалося це для нього доброю прочуханкою.

«Де це ти, харцизяка, волочився, у якої був шинкарки?!» — наступала дебела Ганна з пужалком у руках на чоловіка, що не вдався ні зростом, ні войовничістю — це, певне, й надавало жінці рішучості.

Тарас крізь заплющені очі лише посміхався і махав, як його кінь, головою, примовляючи: «Партизани не розказують...» — і падав на тапчан. А на завтра брався за груди, боляче кривився, виправдуючись: «Ти ж знаєш, Іванівно, чого я випив. Та через отого самодура, Зарицького! У мене з війни осколок в легенях, кров'ю кашляю, а пенсії — дулю з маком. Колишньому поліцаю положено, бо то, кажуть, якийсь його родич, а мені, значить, ні. А в мене ж на руках усі документи — і

довідку про поранення зберіг, і те, що був після війни інвалідом, засвідчено, і рентген показує — сидить він у мене в грудях, сидить, а тільки ніякого толку. Зарицький мов стіна на дорозі, не обійдеш. Чого ти, каже, стільки років не звертався зі своїм осколком, а тепер здумав? Значить, не болить він тобі, салом заріс... Та ж не хотів я виставлятися зі своїм пораненням, після того як зняли групу! Терпів, скільки міг, ніякої роботи не цурався, а тепер не можу. Болить... Де ж справедливість?»

«Чого ти все це мені десятий раз розкажеш! — гримала спересердя Ганна. — Ти розкажи там, де треба. Знайшов пупа землі, Зарицького. Справедливості від нього захотів... Тобі ж брат писав, і адресу дав, куди треба звернутися. Так очі залити знайшов де, а дорогу в Київ не знайдеш! Ну й мордуйся...»

«Ат, нічого не вийде, поки Зарицький керує собесом, — опускав Тарас плечі. — Це він мені мстить за те, що не дав йому надурняк мішок зерна для свиней... Кажуть, він по всіх коморах району пасеться...»

«То було дату, праведник знайшовся», — казала Ганна не те, що думала.

«А я нікому державного не давав! Тому й тримався десять років, як ні один комірник, ніяких ревізій не боявся, — підводив голову на дружину. — І зараз би ще працював, якби не ця клята рана».

«Скажи спасибі Роману, що написав у райком партії, то вже якось доробиш до тієї пенсії, — не вгавала жінка. — Яка вже буде, така й буде. Двічі на день забрати підводою молоко на хуторі — не мішки тягати. Але ж у чарку не заглядай, бо не осколок, а вона тебе доконає. І від твоєї обіди нікому не буде ні холодно, ні жарко».

Виникали ці дамашні чвари попервах, років два тому, коли Тарас передав ключі від колгоспних засіків новому комірникові, а сам узяв у руки віжки. В той час сільські випивохи гули біля магазину, що тобі мухи над тарілкою з медом. Ото кілька разів лихий і путав. Однак Ганнині разгони скоро приструнчили чоловіка, а тут на державному рівні розвернулася боротьба і проти справжніх п'яничок, біля магазину їм стало нудно, і не один з них узявся за розум.

Деякий час Тарас возив молоко на розбитій колгоспній двоколці старою шкапою, що йому не могла сподобатись. «Яка робота, такий і транспорт, — примружившись, сказав

голова колгоспу, коли той висловив своє невдоволення. Могли б взагалі без цих кількох бідонів обійтися, не ганяти ж на них машину — бензин дорожче вийде, але секретар райкому попросив знайти для тебе яесь підходяще діло. І чого б це він став пектися, тим більше ти безпартійний?» — зміряв підозрілим поглядом недавнього комірника, якого, ніде правди діти, всі ці роки поважав за хазяйську жилку, за вміння тримати колгоспні комори та склади в такому зразковому порядку, так, якби це були його власні. Тому й не хотів голова відпускати з цієї пасади цінного працівника, хоча й бачив, що тому справді не здоровиться.

А як тільки поміняв Тарас професію, то й ставлення керівника до нього дещо змінилося: одне діло комірник, так би мовити, номенклатура місцевого значення, і зовсім інше — їздовий, хутірський молочар, що має справу з півтора десятками безперспективних дворів, котрі по закупочній ціні здавали державі рештки домашніх надоїв.

І тоді Тарас надумав купити собі коня: тут уже ніхто на заваді йому не стане, фронтовикам дозволялося мати в господарстві тягло, і дехто ще раніше скористався цим дозволом. Коней він любив іще змалку, підлітком з батьком землю ними орав, а пізніше, вже на війні, теж давалося не один рік хвосту крутити, поки не закінчив у Житомирі бухгалтерські курси та не став колгоспним рахівником...

Напитав коня аж за рікою, в одному білоруському радгоспі. Заплатив парівняно недорого — чотириста карбаванців, може, тому, що Ворон накульгував; сказали, що таким і народився. Сказати, звичайно, всяке можна, але Тарас на конях розумівся і взяв до уваги інше: середнього віку, нетельбухатий, зуби міцні. Словом, Ворон підійшов.

Ну а віз лишився ще від покійного батька — широкий, з доброго дерева, стояв на отчому дворіщі, де лишилася жити розлучена ще замолоду Тарасова сестра. Закиданий всіляким мотлохом та бадиллям, був схожий на старий курінь, під яким роками кури ховалися і навіть яйця несли.

Ось тільки колеса розсохлися, так вони йому й не знадобилися: сини десь дістали гумові, з-під легковушки. І вийшла сучасна модифікація старого, як світ, воза. Підрихтували драбки, зеленою фарбою викрасили — бричка, та й годі!

Так за власною ініціативою Тарас відмовився від колгоспних і коня, і тачки, що було прийнято деякими сільчанами

з подивом і навіть кпинами: чого б це своє, кровне, нажите мозолями, витратити на колгоспні потреби?

«Ну й нехай балакають, — посміхався Тарас, — а кінь мені й самому треба: сотки зорати, дров привезти, бо якщо на колгоспному, то вони, ті ж скупердяги, пальцями б тицькали... А так іще будуть просити, аби комусь допоміг...» І справді: й просили, й допомагав, особливо весною, коли присадибні ділянки обробляли — не загониш же на город трактора з плугами.

Ворону тоді, звісно, діставалося, однак Тарас його жалів, не давав надриватися, а влітку, як оце зараз, то й зовсім кінь лиснів шкірою, нагулював жир на пасовиськах. Ну, може, якоїсь там суботи чи неділі на півдорозі до Чорних ярків, де в буйнотрав'ї можна купатися, вертав його хазяїн назад, — так і тоді не стояв у дворі голодний, скуб моріжок біля копанок, де качки плавали, а ввечері чекав на нього якийсь інший кормовий привісок. А то, бувало, і вночі виводив Тарас коня у росні трави.

Автобус у село мав бути десь через годину, і Роман Данилович, а в рідних місцях просто Роман, не став заглядати в приміщення автостанції, вирішив вийти на дорогу і скористатися якимось попутним транспортом. І тут попереду, край платформи, запримітив земляка-односельця, колишнього шкільного товариша і сусіда Василя Чирву. Той також повернув голову, зустрівся з ним поглядом і ступив назустріч.

Не бачилися вони років три і тому привіталися особливо тепло, навіть обнялися.

— Ти звідки, може, теж з київського? — запитав Раман.

— Ні, гуляв тут, вештався по магазинах: я ж у відпустці. Ось купив своїм хлопцям дещо з радіодеталей, нехай паяють...

— Ти все там же, на заводі?

— Все там же, — посміхнувся Чирва, — я однолюб. А ти як, яким сюди побитом?

— Про це потім, давай краще глянемо, на чому б під'їхати, бо до автобуса ще довго, а з часом у мене не дуже: в понеділок треба назад...

— Можна б таксі, — кивнув Чирва у бік асфальтованого «п'ятачка», де тільки-но провищала гальмами салатного кольору «Волга». — Але, мені здається, у них маршрут по місту, в село водій не погодиться.

— Ну це ми з'ясуємо. Почекай, я зараз, або давай за мною,
— підхопив Роман валізу.

Справді, таксі обслуговувало тільки по місту, але ж і до села не сто верст, а якихось сім, не більше, і водій не став упиратися. Єдина його умова — плата в обидва кінці, бо чистоголівські діди та бабусі на таксі не їздять, — була прийнята без зайвих слів, навіть з радістю: неписані закони таксосервісу скрізь однакові...

Добре накатаний, місцями шебенистий путівець промелькнув, як оком змигнути. А ще через якісь лічені хвилини сидів Роман зі своїм товаришем під старою яблунею, тією самою, що тридцять років тому не хто інший, як він, восьмикласник, посадив дичкою, а згодом прищепив.

Сестра якраз була дома і дуже зраділа дорогому гостеві. Та й Василя поважала, що оце зараз відпочивав із сім'єю в матері, і якою вона лише мигцем бачила, хоч і сусіди — днями ж на роботі, це вже сьогодні вдома, зібралась було до сина йти, котрий жив окремо, на «вулиці молодожонів» — так прозвали східну околицю села, де будувалися молодята.

— Посивів уже й ти, братко, через оту свою науку, а який колись був чуб, — в глибині очей розчуленої Тетяни зблиснула сльоза. Вона на мить одвернулася, пригасила свою жіночу слабкість, відтак, наче й не було нічого, заспішила дзвінким голосом:

— Коли б іще якась хвилина, то не застав би мене: зібралася йти до Володі, у нього картопля геть-чисто заросла берізкою, то хотіла трохи позривати, бо Надя з малими крутиться як білка в колесі. Але ж ти не забув, де ключ, — отам у закутку, на вшулі, де завжди ховали. А Тарас з конем, либонь, десь у полі... До мене частенько заходить, бува, що й з хлопцями своїми заглядає, коли приїздять на вихідні. Спасибі, не забувають дідової хати...

Сестра навиносила тарілок із найдками, а Роман дістав з валізи кілька пляшок пива (про всяк випадок учора купив у київському гастрономі), розмістилися в городі під яблунею.

— Ну ви тут пригощайтеся, відпочивайте, а я таки пройдуся до сина, гляну, як там вони, — вирішила Тетяна. — Скажу, що дядько приїхав, а то ж ти, кажеш, усього на два дні. Отак завжди, наскоком... — уже дорікнула.

— Йди, звичайно, — підвівся зі стільця Роман і ступив до валізи, що залишив під कुщем смородини. — На ось малим

шоколадки, бо якогось іншого гостинця не встиг купити: я і справді наскоком, колись, може, виберусь надовше...

— Ой, нічого не треба, у нас сьогодні всього вистачає, було б здоров'я та лихо обходило.

Тетяна зникла, прошелестівши у витких заростях квасолі та соняшнику, а гості zostалися в саду, — нарешті можна було відверто поговорити, розпитати один одного про життя-буття, бо зустрічаються вони нечасто, а точніше, випадково, як оце тепер.

Василь працював, як і раніше, в конструкторському бюро на «Арсеналі», колись у нього, мрійника, було немало всіляких творчих замислів, сміливих ідей, проте з роками все це кудись поділося, і дещо розповнілий «король фізики», як його називали у школі, вдовольнився тим, що мав благополучну сім'ю, жив у столиці на Русанівській набережній і все своє дозвілля віддавав риболовлі. Можливо, уже його сини винайдуть вічний двигун...

— А ти не думаєш повернутися в рідні місця? Селище статус міста одержало, таксі роз'їжджають, а робота на атомній тобі знайдеться, — поцікавився Роман. — Це мені, гуманітарію, тут нічого робити...

— Ні, у мене щодо цього свої міркування, — повертів лобатою, з косинцями залисин головою товариш. — Та й не мій це, знаєш, профіль. А спеціалістів тут повно, кого тільки не понаїхало! Добре це чи погано, не знаю. З одного боку ніби дідівську глухомань обжили, роботи людям вистачає, а з іншого — в чомусь природу обікрали, пройшлися по ній, буцім табун слонів... Однак, як то кажуть, ріку життя не повернеш назад. Ну а як на твоєму історичному фронті, докторську закінчив?

— Оце ж через неї й опинився у столиці. Все уже було готово до захисту, а тут — на тобі — нові зміни в суспільно-політичному житті, пленум недавній, ото ж і мені треба дещо міняти, як у нас кажуть, зміщати акценти. А це не так просто, стільки матеріалу перелопачено. — У голосі Романа Даниловича прозвучали нотки розгубленості чи то жалю.

— Ми те й робимо, що б'ємо на чужих головах горіхи та зміщуємо всілякі акценти... І як досі тільки заїками не стали! — Чирва якимось спересердя рвонув ще зеленкувате яблуко з навислої гілки, з хрускотом загнав у нього свої міцні зуби.

Хрумкіт яблука заповнив паузу, що раптом виникла між ними, ніби яма на дорозі, котру ніяк обійти, а можна лише перестрибнути. Та ось Василь пошпутив недогризок, він шльопнувся десь там на грядці буряків, а натомість почувся густий шелест, немов хтось горнув перед собою шумливу хвилю. Обернулися на той шелест — аж то якийсь чоловік пробирається крізь буйні зарості городини, сама лише голова видна, прикрита світлим картузиком.

— Та це ж Тарас! — упізнав Роман старшого брата, що навзгінці сунув до них під яблуню. Його засмагле, маслякувате обличчя розпливлося в широкій посмішці.

— А я зустрів Тетяну на селі, вона й сказала, що ви у садку, — обійняв спершу Романа, а затим і його товариша. Він скинув свій полотняний кашкетик — зблизка не такий уже й білий, — опустився поряд на підстилку. Ковзнув поглядом по розставлених стравах, відтак помітив у траві під стовбуром пляшки, облизав губи.

Роман зразу зважив на цей його рефлекс, узяв пляшку. — Мені пива... — попередив Тарас. — Жарко...

— А в нас більш нічого й немає. Та й сам кажеш — жарко.

Братові Роман, звичайно, був радий, особливо тут, на батьківськiм дворiщі, однак він думав зустрінутись з ним пізніше, ввечері чи завтра, а зараз хотів посидіти наодинці з Василем, згадати спільних друзів, обмінятися думками — стільки ж не бачились. Та, знаючи братову натуру, його відкриту душу, зрозумів, що на цьому їхній з Василем розмові й край, принаймні сьогодні: брат нізащо його не залишить, оце почне до себе кликати, хіба, може, кудись поспішає. Про всяк випадок спитав:

— Ти чого це у таку гарячу пору розгулюєш? Чи, може, вже на пенсії, так ніби ж писав, ще півроку залишилося.

— Мою роботу ніколи ніхто за мене не робив, а зараз тим більше: Ворон мій як солдат, тільки дай команду — завжди готовий, — глянув Тарас крізь гілля яблуні на дорогу.

Роман і собі подивився туди. Зразу нічого не розгледів, бо понад дорогою, вздовж огорожі, вишикувались розлаписті соняхи. Та ось між двома жовто-квітучими кружками ворухнулася якась темна грудомоха. Ледве дійшло, що то кінь поклав свою важку голову на воринистий тинок і не то нюхав соняхи, не то підглядав за господарем — з ким то він розсівся під яблуню.

Роман осміхнувся, кивнув Чирві:

— Чом не ідилія, га?

Василь, що також звернув увагу на принишколого біля соняхів коня, додав:

— А що, прекрасний кадр у стилі ретро. Жаль, що я не кінорежисер. Чомусь раніше цих патріархальних прикмет не помічали, всі були зайняті суцільним науково-технічним прогресом, а тепер, бач, і кінь навидовижу...

— Е, ні, ви усе помічали, не кажіть, — обізвався Тарас на їхню не зовсім зрозумілу, мудрувату перемовку. — Глянув то на одного, то на другого. — Ви завжди були в селі на во! — показав сторчака великий палець. — Таких хлопців треба пошукати.

— Ти краще, ніж нам підлещувати, скажи, чого не захотів з'їздити в Київ, я ж тобі у листі розтлумачив, куди треба було звернутися? Та й з райкому партії мені відповіли, що розберуться, нехай іще раз подасть на комісію...

— Не поїхав, братуха, тому, що не поїхав: Зарицький знову послав би мене в міжрайонну ЛТЕК, туди, де сидять його дружки, і знову б я залишився з носом.

— Так ти усе знаєш, задалегідь? — поморщився Роман. — Не можна всіх міряти по якомусь одному бюрократу.

— Один не один, а в нього власть і зуб на мене. Але мені тепер байдуже, не став перед ним шапку ламати і не стану. А за те, що написав у райком, спасибі. Тепер нам море по коліна, можемо і п'ять років молоко возити, правда, Вороне? — кинув через плече, наче кінь міг його почути. — А ти чого тільки на два дні? — до брата. — Он, бач, Василь Степанович із сім'єю приїхав, гостює у матері...

— Я також не одну відпустку тут провів, як були живі наші батько з матір'ю, а тепер не те... Та й ніколи мені зараз, екзамени у студентів, сесія, так що не до відпочинку.

— Чого там не те, — вчепився Тарас за слово, — сестра тут, двір батьківський, та і я — твій брат, ти ж оно за мене вболіваєш.

— Все правильно, але, як то кажуть, брат мій, а хліб їж свій. І таке буває...

— Ну ти це кинь, ми завжди тобі раді, а зараз давайте до мене, — сказав Тарас і вилив у склянку пиво, спорожнюючи ще одну пляшку.

— Ні, спасибі, ви уже тут самі, а мені пора до своїх, — підвівся Василь. — Ще побачимось, — потиснув братам руку.

Провівши сусіда до хвіртки, Роман торкнув Тараса за плече:

— Мабуть, я зараз сходжу на могилки батька й матері, бо завтра, боюсь, не випаде.

— Чого там не випаде, я запряжу Ворона і возом підкотимо.

— Таке скажеш, возом... — заперечив брат. — Може, заради них я і викроїв оцей день, бо хтозна, коли знову вдасться побувати... Ні, ти давай управляйся, он кінь тебе чекає, а я сходжу. Сходимо з Тетяною, вона скоро буде.

— Ну тоді я подався, гляну, як там після дощів трава у Чорних ярках, а завтра вже до мене. — Насунувши кашкет на лоба, ніби зібрався в дальню дорогу, Тарас пішов до коня.

Романові здалося, що брат трохи образився; може, через те, що без нього підуть на кладовище? Але ні, ось він уже на коні — сплигнув як молодий, хоча, мабуть, діло йому непросто, а слідом за ним пісенька поснувалася — легка, скрадлива, схожа на вітерець, що ледь прошелестів у листатих соняшниках:

*Ой чий то кінь стоїть,
Що біла гривонька...*

Того дня, повертаючись з університету, Роман Данилович купив у кіоску декілька листівок, аби привітати з Травневими святами близьких та знайомих, а брата Тараса разом і з Днем Перемоги. Ввечері після телевізора, поклав собі, сяде й підпише. Але якраз телевізор і не дав йому цього зробити. Звістка про те, що на Чорноярській атомній електростанції сталася аварія, сповнила його душу сум'яттям і тривогою. Нічого конкретного диктор не сказав, проте було ясно, що трапилось щось серйозне, коли створено урядову комісію.

Десь там під Чорноярськом, у мальовничій долині, обступленій з одного боку лісом, а з іншого польовими горбами, лежить рідне село Романа Даниловича, живуть у ньому його брат і сестра з синами та внуками, близькі люди, численні земляки. Та й взагалі, увесь той поліський край йому не байдужий, бо то ж його батьківщина. Й ось тепер її чисте небо заступила чорна хмара, яку видно за тисячі верст, до якої звернені серця і погляди мільйонів людей.

У перші дні чутки про аварію розповзлися одна темніша за іншу, не всім їм хотілося вірити — злий язик інколи страшніший від меча, — але це був не той випадок, щоб

затуляти вуха на почуте, та й офіційні повідомлення засобів масової інформації, на жаль, звучали на суворо-скорботній ноті...

Зв'язатися по телефону з Чорноярськом, де жив один із Тарасових синів, через технічні несправності на лінії не вдалося, а коли зв'язок відновиться, хтозна. Залишалось чекати, може, хтось із рідні обізветься — листом або якоюсь іншою вісточкою, — доповнить чи спростує деякі факти, хоча тішити себе надіями на можливі перебільшення щодо наслідків трагедії марне: вже об'явлено про тимчасове виселення багатьох чорноярських сіл із радіаційної зони в інші райони області...

у тривогах минули Травневі свята; а рання весна набирала своєї буйно-молодої снаги; відцвітали вишні і яблуні; їжачились зеленими стрілами сходів лани та садиби, обіцяючи віддячити хліборобу сторицею за його вічні клопоти.

Все це було тут, у Донбасі, а там? Там теж врунилась, спливала цвітом весна, але весна безрадісна, бо всі її кольори й пахощі затьмарило небачене з повоєнних часів лихо. Там зараз точилася смертельна боротьба зі страшним мільйонноголовим змієм, що якимось неймовірним чином, — певне, приспавши своїх нехлюїв-господарів, — вистрибнув з атомного черева і тепер чорним, спопеляючим вогнем дихав на все живе довкола. Вечорами по телевізору можна було побачити, як наші, досі незнайомі люди приймали в свої родини квартирантів з Чорноярська, ділилися з ними всім необхідним, чим тільки можна поділитися зі своїм близьким у хвилини небезпеки чи нагальної біди, — і тоді до горла Романа Даниловича підступали гарячі клубки, а голубий екран на якусь мить волого розповзався — так розповзається кризь сиву туманну далечінь вікно батьківської хати...

А якось стало відомо, що багатьом його землякам вже не повернутися в рідні місця — до Чорних ярків і Аврамової криниці, до соснових, пропахлих грибами борів і висріблених ранковою росою левад з лелечим гніздом на старому осокорі, — до всього того, чим переповнені ще з дитинства твоя пам'ять і серце. Для тих, хто постраждав унаслідок аварії, зводилися нові села, зводилися для постійного місця проживання. «Виходить, торік я востаннє побував у своїй Чистогалівці, востаннє ходив на могилки батьків... Важко у це повірити, а ще важче змиритися з жорстокою реальністю. А може... Може, все ще якось минеться, повернеться на круги

своя? Людина тим і сильна, що в найскрутнішу хвилину лишає для себе можливість сподіватися на краще. Промінь надії не раз виводив нас із густого мороку...» Строгий аналітик історії, дослідник її минулого і теперішнього, котрий понад усе шанував факти, Роман Данилович цього разу забув про своє професійне кредо, хапався за той промінь, як потопаючий за соломинку.

Нарешті отримав листа від сестри, — незвично вразила нова адреса; десь там у незнайомому селі Загальцях, по чужих кутках, туляться зараз його земляки. Лист був довгий, з багатьма подробицями їхнього післяварійного життя, крізь рядки проступали розпач і розгубленість: що ж воно буде далі? «Нам, братко, будують нове село десь аж біля станції Березань, але там, кажуть, одні лише поля, ніде ні деревця, ні кущика. А наші ж люди звикли, щоб рядом і ягода була, і гриб, і щоб качки в озері плавали. А головне, за дрова на зиму голови не боліли.

Гримнуло воно вночі, — поверталася Тетяна назад, до того, що сталося. — Якраз у нас померла Параска Йосипова, то ми з молодицями сиділи біля неї, а дід Савка псалми читав. Коли надворі бахнуло, нічого такого не подумали, може, щось так собі... А наступні дні теж усе було тихо, люди на городах та в полі поралися, картоплю садили. Тарас конем і мені зорав, правда, вже на самий наслідок, коли всім поорав. Посадили, а от хто її, нашу картопельку, копати буде, хіба, може, свині дикі: кажуть, що їм радіація байдуже.

А вивезли нас із села на шостий день, сказали, ненадовго, щоб, мовляв, не було серед людей ніякої паніки. А ніякої паніки й не було, хоч ми вже тоді й знали, що гримнуло на атомній. Правда, ніби втік голова сільради, Гусак. Кинув село і на своїй машині кудись з'їхав. Й оце вже недавно пішла чутка, що його з партії виключили. Злякався, видно, але хай би хтось інший, а то голова сільради, йому ж би про людей подумати. А так усе пройшло організовано, було повно автобусів і машин. Але Тарас наш посадив Ганну на воза і своїм ходом рушив. Їхав навпростець через поля, старими дорогами, а за ним іще кілька сімей на підводах. Біженці, та й годі. Але ж ти знаєш Тараса, довго журитися він не звик. Каже, війну пережив, а тут, на виду у всього світу, не пропадем. Авжеж, якось воно та буде, це ж не тільки наша біда. А Тарас зараз якраз пенсію оформляє, таки доробив до остан-

нього. Не запрошую тебе, братко, в гості, бо нікуди. На осінь нам обіцяють справити новосілля, ось тільки не знаю, радіти йому чи плакати. Своя хата була наймиліша на світі...»

Прочитав Роман Данилович листа за одним подихом, наче випив зі згаги — до останньої краплі — кухоль холодної води. Потім ще раз і ще припадав зором до всіяних синіми кривульками аркушів, так буцім йому до рук потрапив якийсь рідкісний документ, необхідний для його все ще не закінченої докторської дисертації...

«А Гусак, значить, виявився дохлою птахою, злякався за своє пір'я, — згадав опецькуватого голову сільради, котрого знав ще зі шкільних часів, коли той лише починав у них працювати зоотехніком. Прислали звідкись. Прижився він у селі міцно, може, тому, що скоро одружився на місцевій вчительці. Займав потім всілякі керівні — колгоспного рівня — посади, але особливою повагою серед людей не користався. З виду був ніби добряк, спокійний, хоча якийсь недалекий, навіть байлуватий. Над ним з того чи того приводу часто підсміювалися. Вже скільки літ минуло, а й сьогодні впомку, як він «прославився» на одному із засідань правління колгоспу. Коли порядок денний було вичерпано, голова звернувся до присутніх: «У кого будуть ще якісь питання?» «У мене, — підвівся молодий зоотехнік. — Миколо Петровичу, скажіть, будь ласка, чи можна виписати пару гусаків на харчування?..»

Кажуть, голова тоді від несподіванки ніби глевтяка проковтнув, аж очі на лоб полізли, бо тих колгоспних гусаків можна було на пальцях полічити — до того дохазяйнувалися.

Ось тоді сільські пересмішники й охрестили гурмана-зоотехніка Гусаком. Прізвисько так міцно прилипло, що з часом справжнє його ім'я мало хто згадував. Був навіть випадок, коли цей «гусиний псевдонім» якимось чином потрапив в один офіційний документ районного масштабу, і довелося виправляти помилку за допомогою паспорта.

«Значить, правильно тоді його перехрестили, — осміхнувся Роман Данилович. — І гусакові ніколи орлом не бути».

З кожним днем чорноярські події віддалялися, проте їхнє відлуння не затухало, брижилось поголосом, немов розбуркане море хвилями, до якого не можеш звикнути у чеканні на кращу погоду.

Настала осінь. Титанічними зусиллями людей і сталевих м'язів техніки змія-горинича з його атомним серцем було

приборкано, закуто в бетонну, не бачену досі клітку, грізно названу саркофагом, і він, захлинаючись у безсиллі, вже не міг споганити своїм чорним язиком синю барву поліського неба, спопелити калиновий кущ над вічноплинною рікою... Атомний змії знову мав служити людям, котрі, приручивши його, раптом прогледіли його підступний характер. І за це жорстоко поплатилися.

А села-красені (їх широким планом показав телеекран), зведені у фантастично-короткі строки всенародною толокою, приймали перших переселенців з Чорноярщини; потерпілим випало не лише започаткувати нове демографічне русло, а й продовжити історію свого древлянського роду-племені.

Переїхали в нові місця, що відтепер стали для них своїми, рідними, й односельці Романа Даниловича, — про цю новину перший його повідомив Чирва, котрому він декілька разів дзвонив у Київ, на роботу: домашнього телефона той не мав. А коли отримав листа від своїх — цього разу писав Тарас, то пережив особливе хвилювання: таке відчуття, ніби якась часточка і його самого опинилася там, у загадкових брешках, так наче вони стали і його селом. «Багато тобі не буду розказувати, приїдь — і сам побачиш, як ми влаштувалися, — писав брат. — Я думаю, непогано. Одне трохи в мене негаразд, довелося здати коня на скотомогильник. Десь підхопив тієї зарази, мабуть, ще тоді, до евакуації, коли виводив його у Чорні ярки на молоду траву. Жалко Ворона, мало не плакав. Одержав за нього, правда, компенсацію. А страховку за все інше господарство ще раніше видали. Добрі гроші, гріх жалітися. На них і машину можна купити, як дехто планує, але вона мені ні до чого. Куплю я знову коня, хочу в яблуках. Нехай і тисячу віддам... Воза я не кинув, доставив сюди на тракторі причепом. А сусідом моїм знаєш хто? Гусак. Нікуди він не дівся, правда, уже не в сільраді керує, а зоотехніком, як раніше... Ну це йому ще краще, як з гуся вода, бо й сам гусь... А коня я куплю, ось тільки б десь напитати...»

Провідати рідню Роман поклав неодмінно, скоро й нагода трапилася: у Києві проводилася науково-теоретична конференція, на якій була запланована і його доповідь. Виїхав на день раніше, бо після конференції не випадало, мусив зразу вертатися назад...

З поїзда, не гаючи часу, пересів на яготинську електричку. О цій передобідній порі, та ще в будень, вагон був

напівпорожній. Примостивши біля ніг пузату сумку, наготовлену вдома дружиною, задивився у вікно на вже примерхлі осінні краєвиди, просякнуті сивою туманністю, що лишилася ще з ночі. «Хоча б не задощило, а то від станції добиратися далеченько, та й взагалі, по дощу не скрізь розженешся...»

За спиною про щось своє перемовлялися попутники. До них Роману Даниловичу було байдуже, хоча ні, ось кілька слів насторожили його, привернули увагу. Говорили про чорноярців. Виділявся жіночий голос:

— Не було б щастя, так нещастя помогло. Дід Онисько зі своєю бабою жили в халупі, а тепер їм хороми дали. Та ще й по карману грошей напхали. Або взять їхнього внука. Та в нього ж було тих грошей, як у жаби пір'я, жив у гуртожитку, ледацював, волочився скрізь, а диви, і його не обійшли, теж компенсацію одержав. За які такі, скажіть, втрати? Уже й він збирається машину куплять, а ми на свою машину все життя пнулися, жили рвали...

Роман Данилович напівобернувся, затримав зір на роздатованій жінці, що мала кругловиде, з густими рум'янцями обличчя. «А якже, така перетрудиться, ото хіба що язиком... Та й то через свою скупість чи заздрість: не переживе, щоб у когось так було, як у неї, або ще краще...»

Більш не став слухати обивательської балаканини, знову повернувся до вікна, за яким мелькали зорані поля, зелені гони озимини, колючились у тумані голі дерева. «Чий же мені зразу двір питати, до кого першого йти, — заплющив очі. — Тетяна, певне, у цей час на роботі, а Тарас пенсіонер, мав би дома бути. Може, вже коня купив. Тоді й питати не доведеться, де він живе, — біля двору побачу коня в яблуках».



ЗА ИВАН-ШАХТОЙ

Рассказ

Все лето и половину осени Никифор Харламов плотничал. Срубил красивое резное крыльцо, собрался было обновить ворота и вдруг в начале ноября, когда зашелестели в саду мелкие, но спорые дожди и вдоль почерневших заборов поползли сизые космы печного дыма, Никифор сдал. Пошел утром в сарай за дровами, наложил по самый локоть штабелек березовых поленьев, стал разгибаться и... словно кто кол вбил в поясницу. Охнув, Никифор едва не ткнулся в землю. Выждав немного, он все же попытался разогнуться, но опять так шибануло, что серый проем двери в его глазах взлетел на потолок, и Никифор, как из погреба, увидел в нем две зеленоватые звезды.

Переведя дыхание и осмотревшись, Никифор обнаружил, что лежит навзничь на куче стружек возле верстака, а на высоком пороге стоит ихний кот Яшка и с удивлением смотрит на Никифора. Что это ты, дескать, хозяин, тут разлегся. Уж не хватил ли на старости лишку?

— Дурак ты, Яшка. Нешто не видишь, плохи мои дела, — простонал Никифор...

Яшка, словно устыдившись, повернулся к Никифору задом, повилял черным кончиком пушистого хвоста и, осторожно подбирая под себя лапы, сошел с порога. А через несколько минут в дверях показалась маленькая и шуплая фигурка Шурки.

— Дедушка, ты чего?! — испугался внук, увидав пожелтевшего и вытянувшегося во всю длину сарая деда.

— Зови, Шурка, бабку, отца... Самому мне не подняться... — хрипло сказал Никифор.

И пока тот бегал, успел подумать с неожиданной тоской в сердце: «Видать, отходил ты свое, Никифор... А если и придется еще пожить, то не по-людски, лежачим...»

Сын со старухой и Шуркой с трудом перенесли Никифора в хату, уложили на скрипучую и узкую, как гроб, деревянную кровать. Старуха взбила у изголовья подушки, к пояснице

приложила раскаленный, завернутый в мешковину кирпич, а к ногам — утюг, напоила горячим чаем... И Никифор, измученный болью и жаром, вскоре заснул. И то ли во сне, то ли наяву, где-то, недалеко от дома, слышал он лошадиный храп, звуки музыки и звонкую песню: «Былинники речистые ведут рассказ...» Потом его мягко закачало, понесло по синей реке, и увидел он себя молодым, крепким в прозрачной воде Сосновки. Потом как будто закрутило в водовороте вместе со щепками, плавун-камнем потянуло ко дну, и он, силясь выбраться из цепких объятий омута, неистово замахал руками, заметался в постели и очнулся от чего-то холодного на голове.

— Што ты, што ты, Господь с тобой, — придерживая на его лбу мокрое полотенце, горестно шептала старуха.

Никифор повернул голову, безучастно взглянул в светлый квадрат окна.

Рыхлые, как весной, с серебристым крайком облака дымными клубами тянулись друг за дружкой. А в их разрывах где-то далеко-далеко сверкало промытое дождем голубое небо. Сын, несмотря на ветреный день, голый по поясу, колот во дворе дрова. Никифор временами видел появлявшуюся в окне его крутую потную спину, коротко стриженный затылок и взлетающий вверх вместе с поленом топор.

Вслушиваясь в глухие, сильные удары, Никифор невольно задумался о том, что будет, когда он помрет. Как станут хоронить. И кто придет из соседей проводить его в последний путь. Федор Грузнов придет непременно. С ним Никифор жил дружно. В войну менять вместе ходили, а когда немцы заняли Капустин, надумали они с Грузновым через линию фронта, к своим, податься. Не дошли, правда, но и не бросили друг друга. Явятся, конечно, и Мишка с Павлом Парфеновым. Гришка Черемков с Лукерьей. С этими он и строился сообща, и плотничать по деревням нанимался, да и кумовались всю жизнь. А вот Филипп Плетнев... Этот — нет, не придет. Хоть и прожили соседями, почитай, четверть века.

Когда-то они оба работали на Иван-шахте. И были по тем временам состоятельные женихи. Филипп ростом не вышел, был приземист, колченог. Но ходил гоголем. Шапка — мерлушковая, саморучно сшитая, сапоги хромовые с отворотами, полушубок приталенный, окантованный по груди и подолу светлым мехом. Под крупным ястребиным носом красовались

черные усищи, и такие же угольно-черные, слегка навывкате, нахальные глаза сверкали из-под его бровей. На гулянья летом Филипп Плетнев являлся в белой шелковой либо батистовой рубаше с широким откидным воротом, лакированных сандалиях и темно-синих, тонкого сукна штанах. Дружбу тогда водили они больше с болгарами, живущими в поселениях за Иван-шахтой. Невесты там были — одно загляденье. Впоследствии Филипп и в жены взял себе болгарку, раскрасавицу и плясунью Вербу. Отбил у Никифора, прямо из-под носа увел, бросил работу на шахте и куда-то укатил с нею на Кубань, а воротился лишь после войны. И воротился-то один, к тому же диковатый и, как Никифору казалось, даже злой. Где он был и как жил в годы военного лихолетья, никто в округе не знал. Одни поговаривали, что был он в каких-то бандах, другие брехали, что хаживал он в полициях. А жену его и детей будто немцы повесили. Сам же Филипп Плетнев никогда об этом не заговаривал. Жил бирюк бирюком.

Работал он в послевоенные годы опять на шахте — но не то вахтером, не то кладовщиком, а по воскресеньям шил картузы на манер военных и ходил на базар со своим товаром, менял на хлеб, кукурузную муку.

Никифор в то голодное время тоже подрабатывал: плотничал, тачал сапоги, но больше чувяки из старой транспортной ленты.

Обогреет ее малость на огне, раздерет клещами на три-четыре слоя — вот и гожд материал.

В базарные дни Никифор и Филипп нередко встречались на толкучке. Никифор — в вылинявшей гимнастерке и галифе, высокий, худой, в чувяках на босую ногу своего производства, с взлохмаченными ветром волосами, с двумя-тремя парами чувяк, переброшенными через плечо на шпагате, и одной парой в руках протискивался между баб и цыган, торгующих всяким тряпьем, покрикивая: «А ну-ка, бабоньки, вот чувячки на ножки ровные и раскорячки, налетай с гамом — отдам даром!» Филипп Плетнев — в перешитом немецком френче, в таких же штанах из серо-зеленого полотна и кирзовых сапогах, со сбитым на затылок замасленным картузом — поверчивает на руке новый картуз и зыркает по сторонам, растягивал под усами в кривой усмешке большой рот. Заметив Никифора, дернет, как правило, козырек на глаза и пройдет мимо. «Что, сосед, аль своих не признаешь?» — пошутит,

бывало, Никифор, а тот в ответ: «Шас все свои, нынче кланяться — голова отвалится». Обида на Филиппа за увиденную невесту с годами пригасла, и Никифор даже томился таким отчуждением: все ж дружки были, да и соседи...

Сейчас Никифор живо представил себе, как будет лежать он в красном, с черным обрамлением гробу посеред хаты. На белом кисейном покрывале у ног и в изголовье навалены вороха живых цветов, в углу, где горит бабкина лампадка, стоит его портрет. Снят он, Никифор Харламов, по всей форме: в островерхой буденовке, гимнастерке под широким ремнем и при шашке. Толпятся люди, смотрят на портрет и говорят:

— Ох и лихой у тебя, Елизавета, старик был, ну прямо орел. Его, гляди, и смерть мало изменила.

А во дворе играет музыка.

«Неприменно надо будет попросить Алешку, чтоб музыку заказал, — подумал Никифор. — И чтоб гроб несли только Федор Грузнов, Мишка с Павлом Парфеновы и Гришка Черемков». Никифор печально прикрыл глаза, затаил дыхание и вытянулся, словно был уже в гробу. И в стоне ветра за окном ему и вправду послышались звуки похоронного марша. Он ясно представил себе, как мужики осторожно берут на плечи гроб, выносят на улицу, и тут бьют литавры, голосит старуха, и уже вся процессия трогается мимо соседового дома. Филипп Плетнев, совсем сгорбленный, но все такой же чопорный, в неизменном полушубке и сапогах, смотрит своими ястребиными глазами на его, Никифора, красный, богато убранный гроб, длинную вереницу людей и громко шепчет: «Ну вот, был конь, да и отъездился. А еще соперничал со мной...»

А может, не будет всего этого? Не будет цветов. Какие же цветы в декабре? А раньше ведь, ясное дело, он не помрет. Да и музыки тоже... С чего это он взял, что обязательно будет музыка? А вдруг ничего такого... Только гроб. Старушечьи поминки. Да будет стоять и насмешливо глядеть ему вслед Филипп Плетнев.

От этих мыслей, от сознания того, что после смерти он может быть осмеян своим соседом, Никифору расхотелось помирать. Как бы проверяя свою подвижность, он пошевелил под одеялом ногами, почесал одной другую, выпростал руки и, поворачивая их так и эдак на свет, стал внимательно рассматривать, вглядываться в глубокие борозды на шерша-

вых ладонях, словно пытаюсь угадать: сколько же отмеряно ему судьбой этого веку? Высохшие, закуржавленные от мазей, краски и смоленой дратвы руки его, крепко перевитые узловатыми темно-синими венами, уже не просвечивали, как эта была в молодости, не розовели горячо и радужно, даже на солнце не хранили тепла. И кожа их была груба, черна и шершава, как кора на старых абрикосах в осеннем саду.

«Ан ляд тебя забери, небось, повременю», — подумал Никифор, сжимая в кулак и медленно разжимая пальцы.

— Што это ты, аль физкультуру делаешь? — неожиданно раздался голос старухи: она, оказывается, сторожила его покой и была поблизости.

— Ломает штой-то всего, — притворно слабым голосом протянул он и, тяжело вздохнув, спрятал руки под одеяло.

«А может, и старуха голосить не будет? Не голосила же Самариха, когда хоронила Илюшку? А уж при жизни нашто у них любовь была — прямо водой не разлей. А помер Илюха, Самариха перекрестилась, устроила не то поминки, не то гульбище, да на том и забыла, — продолжал думать Никифор. — А моя ить знает, какая у нас размолвка вышла с Филип-пом... Из-за чего...»

— Слышь, Лизавета, а вот ежели помру я, ты будешь по мне плакать аль нет? — не открывая глаза, тихо спросил Никифор и насторожился, ожидая ответа.

Он слышал, как она часто, прерывисто дышит, как громко и отчетливо стучат на стене ходики и со званом бьет по стеклу ветка сирени.

— Выходит, не будешь. Ну что же, может, оно и правильно. Любитесь нам с тобой особо было некогда, — со вздохом заключил Никифор и, чувствуя, что старуха садится на край кровати, слегка шевельнулся, открыл глаза.

— И чего мелешь, чего несешь несурязицу-то, идол? — всхлинула старуха и укоризненно-ласково ткнула своим сморщенным кулачком в его большой лоб.

— Самариху вспомнил, не плакала ведь баба, а ну-ка, думаю, и ты не будешь. Вас ведь, баб, сам дьявол не разберет, — оправдываясь, вздохнул Никифор.

— Дьявол, может, и не разберет, ему оно без надобности разбирать нас, а ты-то, ты-то должен меня разобрать. Как-никак, муж мой, — опять всхлинула Лизавета и с укором посмотрела на старика...

— Ладно, будет тебе мокроту до поры разводить. Небось, не покойник еще, — посуровел Никифор. — Я ведь так, к слову пришлось. — Вздохнул, отвернулся к стене. От сердца у него отлегло и он подумал о том, как бы это ему надоумить сына, чтобы он шашку его почистил да повесил на видное место. Лучше, конечно, на ковер, под портретом. «Будут приходить люди, а стало быть, заинтересуются: откуда такая шашка у него, а может, кто и подержать попросит. Так ежели уж возьмет, чтоб сразу ему и надпись в глаза бросилась: «Никифору Харламову за боевую доблесть от начдива Котовского».

— Слышь, Лизавета, — в раздумье, тихо позвал Никифор старуху.

— Ну, што ты еще мне сбуровишь?

— Ты того, шашку мою из сундука достань, медали и орден тоже. Достань и Алексею скажи: велел, мол, отец в порядок привести и на видное место положить.

— Эта на што же еще?

— Надо, стало быть, раз прошу. Сделай все, как велю, слышишь, Лизавета! — уже настойчивее повторил Никифор.

Старуха невнятное что-то пробормотала в ответ и ушла в горенку, громыхнула там кастрюлями. Никифор так и не понял, делает она то, что он просил, или приняла его просьбу за чудачество.

Некоторое время Никифор лежал молча. Прислушивался. Даже начал подремывать. Но где-то отдаленно опять раздались звуки музыки, и Никифор вздрогнул, повернулся на спину, прислушался. Нет, на этот раз ему не почудилось. Звуки духового оркестра, и особенно барабана, явственно доносились порывами ветра. Всякий раз, как только мокрые ветви сирени хлестко ударяли по стеклу, Никифор слышал и удары литавр. Даже уловил мелодию. Играли знакомый ему, но уже давно забытый марш. Чтобы слышнее было, он легонько подобрал ноги, уперся ими и облокотился на гору подушек. К удивлению, острой боли он не почувствовал.

— Лизавета? Слышь, поди сюда, — позвал он старуху.

Но в хате никто не отозвался. Все были заняты своими делами. Лежать же одному становилось в тягость. «Хоть бы заняться чем», — посокрушался Никифор и осторожно начал приподниматься. Стена над его постелью золотилась от проглянувшего из-за туч солнца, а в углу, под самым потолком, то ли от его дыхания, то ли еще от чего, покачивалась сизая

паутина. Никифор пригляделся к ней, набрал полную грудь воздуха и выдул. Паутина оторвалась одним концом и зависла над кроватью тонкой нитью. Никифор попытался дотянуться до нее рукой, но не смог. И тут заметил, что какая-то черная комаха, как на невидимой резинке, то опускается, то поднимается по паутинке. «Паук», — догадался Никифор и перестал дуть. Затаив дыхание, он мысленно повторял слова неизвестно какого заклинания: «Книзу — вгору, книзу — вгору». Ему очень хотелось, чтобы паук полез вгору, вгору — это, говорят, хорошая примета, книзу — плохо, это болезнь, смерть. Паук, покачавшись с минуту, ловко покарабкался вверх и вскоре исчез в невидимой щели. А Никифор слез с кровати и, осторожно ступая по мягким, прохладным половикам, в одних кальсонах направился в угол, где стоял окованный железом старый сундук. Держась одной рукой за поясицу, он открыл его и достал со дна замотанную в желтую бумагу шашку. Потом с трудом отыскал под бабкиными тряпками коробку из-под конфет — в ней хранились его документы и медали. Взяв это все в охапку и осторожно прикрыв крышку, он двинулся обратно. Во дворе в это время раздались чьи-то голоса, послышался говор. Никифор пригляделся издали, но в окне торчал разлапистый куст сирени. А голоса между тем приближались. Вот уж хлопнула коридорная дверь, кто-то тщательно вытирает ноги, и не успел Никифор прилечь, как дверь отворилась, и в хату вошла старуха, сын и неизвестная девушка.

— Господи, да что же ты нагишом блукаешь по хате, умирал ведь только! — растерянно воскликнула старуха и кинулась к Никифору. Но Никифор уже сам присел на койку, потянул на себя одеяло и смущенно поздоровался с девушкой.

— До тебя вот пришли, слышишь, нет? — точно глухому и непонимающему сказала старуха. — В клубе сегодня всех вот, твоего рангу, собирают. В честь праздника, говорят, одаривать будут. Да куда? С прострелом-то...

— А то нет! Собираюсь вот, — задиристо ответил Никифор и в доказательство своей готовности показал шашку и награды.

— Ну, саблю надевать, дедушка, наверное, не надо, — засмеялась девушка. — А медали — очень даже нужно.

— Я так и полагаю, что при всем параде следует быть, — учтиво согласился Никифор и поторопил старуху: — Давай,

давай, Лизавета, ищи костюм выходной. А ты, Лексей, терани их мелком. — И подал ему медали и орден.

— А ну как не дойдешь, что же, на руках тогда тебя домой нести? — всполошилась старуха.

— Не беспокойтесь, бабушка. Мы на машине дедушку — туда и обратно, — успокоила ее девушка и подмигнула Никифору, ласково и забавно.

Вскоре Никифор в черном костюме, при ордене и медалях, в сыновьем демисезонном пальто и кожаной шапке, сопровождаемый старухой, сыном и Шуркой вышел за ворота. Дышалось ему легко, но поясница ныла, и что-то внутри поскрипывало, однако Никифор старался держаться молодцом и шел к черной, с красными сидениями машине твердым, уверенным шагом. Ему страсть как хотелось, чтобы в эту минуту за калитку вышел Филипп Плетнев. Но ворота его наглухо были закрыты, старый четырехстенный дом почернел и вроде бы обезлюдел, а в подворотне одиноко и бесприютно сидел дворовый пес. «А ведь и ты невелика шишка, непонятно только, какого рожна представляешься», — садясь уже в машину, мысленно укорил Никифор соседа.

В зеркале под белым потолком машины он заметил, как старуха вослед осенила его крестом. Никифор откинулся на сиденье и довольно улыбнулся: «Прямо как министра везут какова».

Машина медленно развернулась, выехала на проселочную дорогу, и звуки оркестра загремели совсем рядом.

Никифор внимательно всматривался в симпатичное лицо девушки, отраженное в зеркале, и, наконец, отважился спросить ее:

— А ты чья же будешь, такая бойкая?

— Я исполкомовская, из города, — поворачиваясь, усмехнулась она и поправила на голове белую пуховую шапочку.

— Ишь ты, выходит меня в исполкоме знают, — как бы про себя, но вслух протянул Никифор.

— Конечно, знаем, дедушка. Вы герой гражданской войны. Вас ведь немного таких осталось.

— Теперь немного, — согласился Никифор.

Его подмывало спросить девушку, а что, мол, Филипп Плетнев тоже известен в исполкоме или нет? Но он побоялся показаться невеждой. И потому примолк, прижался плечом к дверце и глядел на сочные озимые, которые тянулись вдоль дороги за далекий террикон Иван-шахты. У развилки машина

свернула в коридор из алых полотнищ и подъехала к людной площади перед клубом.

Из машины Никифор вышел степенно, сначала выбросив одну ногу и крепко поставив ее на асфальт, за ней — другую. И лишь после этого, опершись руками о края дверцы, выпрямился.

Девушка, раньше его выпорхнувшая из машины, поддерживала Никифора под руку. И затем они вместе прошествовали по ярко освещенному и шумному коридору клуба, за кулисы и очутились на сцене с большим красным столом. Свет, падающий сверху, мешал Никифору разглядеть зал, но он чувствовал, что в нем полно народу.

Немного погодя, пообвыкнув и к свету, и шуму, он заметил на стенах большие портреты: три слева и три справа. Никифору хорошо были видны только два первых. На первом был изображен молодой красноармеец, длинноликий, с впалыми щеками и улыбающимся мягким ртом, в буденовке и гимнастерке с орденом на груди, правая рука за широкий пояс заложена, а левая — эфес шашки придерживает. И в стати красноармейца, и особенно в этой улыбке Никифору показалось что-то знакомое, но он боялся обмануться. Чтобы проверить себя, перевел взор на другой портрет — слева. На нем был изображен совсем незнакомый ему партизан, в шапке-кубанке, белом полушубке и с автоматом на груди. Шапка надвинута низко, так, что мехом своим закрыла брови, отчего все лицо партизана, заросшее густой черною бородою, выглядело маленьким, будто детским.

«Нет, этот незнакомый. А вот тот справа...» Вроде даже на него, Никифора, похож. Краем глаза Никифор заметил, что на трибуну с красной папкой в руках поднялся полный мужчина и начал что-то говорить. Никифор не мог разобрать слов, он напряженно продолжал рассматривать портрет: «Неужто я?» И вдруг услышал, как назвали его фамилию, и в зале раздались рукоплескания. Девушка, улыбаясь, встала, помогла подняться Никифору. А навстречу им уже шел полный мужчина с красной папкой и еще один — с ящиком в руках. Полный достал из ящика большие сверкающие часы, подал Никифору, папку — тоже, пожал руку и троекратно расцеловал. А в зале чисто буря какая поднялась: что-то выкрикивают, хлопают. Минут пять так продолжалось. И не мог понять Никифор, отчего ералаш такой создался. От шума,

света и волнения у него все плыло перед глазами, стучало в висках и звенело в голове.

Когда он уселся и успокоился, посреди сцены уже стоял другой старик, какой-то махонький, горбатенький, в старомодном защитного цвета костюме. И с орденами и медалями. Никифор пригляделся к нему и ахнул: это был не кто иной, как его сосед Филипп Нестерович Плетнев. Точно так же, как и Никифора, полный целовал и мял его в объятиях, вручил часы и папку. И точно так же гудел и аплодировал народ в зале.

Воротился и сел Филипп Плетнев за другой край стола. Никифор уже больше не сомневался: и красноармеец в буденовке, и партизан в кубанке были он и Филипп. «Надо же!» — удивлялся Никифор и теперь больше глядел на портрет соседа и на него самого, низко нагнувшегося над столом и, как казалось Никифору, улыбающегося в усы. «Что же, выходит, брехали люди, будто он в полициях ходил? Выходит, так», — рассуждал про себя Никифор. «Ну, а ежели и брехали, так чего же ты бирюком живешь? — не успокаивался он. — Нет, не забыл ты, видать, нашего разлада. Только не ты, а я должен обиду таить...» И все пристальнее вглядывался в лицо Филиппа Плетнева, в тех, кто сидел рядом и время от времени заговаривал с ним.

Никифору не терпелось откровенно спросить у Филиппа о том, что его давно мучило: «Что случилось с Вербой?..»

Он уже несколько раз поднимался, нарочито громко бил в ладоши и многозначительно кашлял, но Филипп не обращал на него внимания и даже ни разу не повернул в его сторону головы.

«Ну, ну! Вот анафема! — ругался в душе Никифор. — Но как ты ни крути, а на чистую воду я тебя выведу», — обещал он не то самому себе, не то соседу.

— Вы что, дедушка, сказать что-то хотите? — заметив его беспокойство, спросила шепотом девушка.

— Сомнения тут у меня имеются, — озадаченно протянул Никифор и, достав из кармана большой клетчатый платок, распротал его на ладони и высморкался.

— Какие же у вас сомнения? — снова тихо спросила девушка.

— Я насчет вот него, соседа моего, — также тихо продолжал Никифор. — У вас, в исполкоме, не слышать разговору, будто в войну Филипп Плетнев в полициях ходил?

Девушка с удивлением и интересом посмотрела на Никифора, потом лукаво улыбнулась и, крепко зажмурив глаза, утвердительно кивнула:

— Было, Никифор Федорович.

— Это как же?! — изумился Никифор. У него даже поясница заныла. — Это как же так?! — в растерянности переспросил он. — Партизанским, дедушка, партизанским он был полицаем.

— Ишь ты, выходит, таки брехали люди! — незаметно для себя вслух произнес Никифор.

После собрания их усадили в ту самую черную машину, на которой ехал сюда Никифор, и повезли домой.

Опять по обочинам тянулись зеленя. Едва машина прибавила скорость, они побежали обратно и в разные стороны, будто вращались вокруг бурого, маячившего над всей округой, давно отдымившего террикона Иван-шахты.

— Что же ты, сосед, о себе людям никогда ничего не сказывал? Нехорошо ведь потайным таким быть, — нарушил молчание Никифор.

— А чего славиться? Когда люди вспомнят, то и сам о себе не забудешь... Ты ведь тоже былин не складывал и в грудь себя зазря не колотил. Знай, только и думал, кабы детям да внукам жилось получше.

— И правда, — согласился Никифор, опуская глаза под этим прямым и, казалось, пронизывающим насквозь взглядом соседа.

Дальше до самого дома они ехали молча. Никифор думал о жизни. «Видать, она и в самом деле коротка, раз люди даже друг дружку распознать не успевают. А может, тут и што-то иное...» И вдруг, отважившись, спросил:

— А Верб, что с нею? А то люди говорят...

— Верно говорят... И детей тоже... Из-за меня...

Филипп жестко потер ладонью лицо, вроде в чувство себя приводил. И затем вздохнул:

— Виноват я перед нею... Вдвойне... Она ведь всю жизнь жалела, что не за тебя вышла... Сманул я ее, выходит...

Он повернулся и открыто глянул на Никифора. Что-то еще хотел сказать, возможно, повиниться перед ним, но Никифор, сам не ведая почему, неожиданно ощутил неясную свою вину перед старым другом и соседом, поспешно взял его за локоть, сжал подрагивающими пальцами и срывисто проговорил:

— Чего уж там... Это ты, Филипп, прости...

ДОРОГА ПРАВЕДНИХ

Оповідання

*...дорогу бо праведних знає Господь,
а дорога безбожних загине!*

Книга Псалмів, Пс. 1.6

1

Його номер був сімнадцятий. Звичайний номер на прямокутному шматочку фанери прикрутили йому до ноги мідним дротиком. Такий же номер чорнів і на березовому кілочку, забитому в невисокий горбик на неофіційному кладовищі. Цей кілочок висмикнули зразу і відкинули вбік, і він лежав на сухій, уже прихопленій першими заморозками, землі й подивовано блимав під ранковим сонцем. Сонця не було тоді, коли насипали цей горбик, зате тепер воно вочевидь спостерігало, як професійно швидко мелькали до блиску начищені лопати. Коли ж нарешті витягли з ями незграбну домовину з неструганих дощок, скісні промені спробували було проникнути крізь вузькі шпарини досередини, але крім перепрілої соломи та загорнутого в стару мішковину праху там нічого не було.

Домовину всунули в чорний отвір скрипучого фургону й хлопнули дверцятами.

І тоді до невисокого кучерявого чоловіка в добротній хутряній куртці підступив безбарвний службовець у голубуватій формі:

— Тут протокол треба підписати.

Він тримав напоготові звичайну учнівську шарикову ручку, проте кучерявий не звернув на неї уваги — дістав свою, блискучу, либонь, помаранчевого кольору, і коротко черкнув на трьох примірниках протоколу. Після нього, теж своєю ручкою, підписав документ про ексгумацію тіла колишнього в'язня ще один чоловік, високий, похмурий, у довгому, майже до п'ят, потертому плащі. Потрібен був третій підпис,

і службовець поманив пальцем одного з тих двох, що махали лопатами. Махальщик підійшов, якийсь кривобокий, зарослий рудою щетиною, у старій облізлій шапці. Ручки в службовця він теж не взяв, а простяг руку до кучерявого. Кучерявий дав йому свою блискучу цяцьку, і кривобокий довго й старанно виводив химерні викрутаси. Після того він підняв ручку-цяцьку і почав захоплено розглядати її проти сонця, аж поки кучерявий різко не вихопив свою, видати, дорогоцінну річ.

Хуркнув автобус і видихнув сморідний димок.

Службовець і високий рушили, а ті, що махали лопатами, підступили ближче до кучерявого.

— Дак как же, батя? Недаром ведь говорят-то: уговор дороже денег...

Кучерявий витягнув дві десятки.

У махальщиків очі стали абсолютно круглими.

— Ну-у, ты даешь, потому как... если мы и доживем до двух часов, дак вряд ли нам что-то достанется в вино-водочном...

І кучерявий зрозумів їх — нахилився до свого елегантного «дипломата», що стояв біля його ніг, клацнув замочками і витяг дві пляшки горілки з перцем.

Ті, що махали лопатами, від такої щедрості аж роти порозкривали:

— У-у...

Кучерявий мовчки рушив було, але через кілька кроків схаменувся, вернувся і підняв березовий кілочок з чорним номером.

Він уже доганяв службовця й високого і не міг чути, як ті, що махали лопатами, врешті-решт прийшли до тями:

— Вот это да! Ну... Да за такие царские подарки мы готовы каждый день по хохлу вырывать... Сколько их тут — во!..

Горбиків було і справді багато: ген як рясно стирчать кілочки з чорними номерами — їх тут не одна тисяча. Та й не одні хохли під ними — і руські, і вірмени, і грузини... ще прибалтійці... ой-йо-йой, всіх не злічити...

Кучерявий уже догнав службовця й високого і пішов упоряд. Березовий кілочок спершу ніс у руці, та було незручно, тому він приспинився, ще відкрив «дипломат» і став похазяйськи старанно прилаштовувати «пам'ятку» серед різних дорожніх речей.

Службовець теж пристав, уважно спостерігаючи за кучерявим, і навіть вже зворухнув губами, щоб сказати, що кілочок з номером, усе ж, казенний інвентар, але вчасно схаменувся, бо ж інструкції такої нема, куди дівати отакі кілочки. Тому тільки спитав кучерявого:

— А що, він, — показав очима в той бік, де вихитувався неоковирний фургон, виїжджаючи з спеціальної зони, — для вашої країни такий великий, що ви за ним із самого Києва приїхали?

— Для України — таки великий, — сухо відповів кучерявий і тут же дещо розбавив свою сухість легенькою посмішкою в куточках вузьких, але виразних уст: мовляв, і ми не маленькі...

Високий похмуро відвернувся.

— Все буде гаразд, — поспішливо проказав своїм безбарвним голосом службовець і для певності поглянув на годинник, ледь відкотивши правий рукав. — До другої цинковий гроб уже буде запаятий, а літак ваш — о третій сорок...

— Так-так, — аби щось відказати, промовив на те кучерявий.

Високий у довгому плащі йшов попереду, осібно, і не зводив очей з фургона, що все віддалявся й віддалявся...

2

Номер сімнадцятий мав ім'я — Дмитро. Мав і прізвище, яке незвично високе, тонке і, між тим, на диво, зовсім негнучке. Це прізвище довгі роки багатьох дратувало, у декого викликало почуття повної неприйнятності, а ще були й такі, які, почувши його, стишували голос. Дмитро був середнього зросту, худорлявий, з трохи запалими грудьми. Чорний віхтик цупкого волосся спадав йому на лоба мало не до широких брів, з-під яких гостро й допитливо дивилися карі очі, майже завжди чимось присмучені. Ніс з крутою горбинкою і вузькі губи з опущеними донизу куточками надавали обличчю суворого вигляду. Скрашувала посмішка, незвичайна, тільки йому, Дмитрові, й притаманна: була вона з одного боку сором'язливо-довірлива, а з другого — іронічно-задумлива.

Саме ця посмішка попервах бентежила слідчих. Більшість із них лютішали від неї, проте був один, якого вона вразила,

впала аж углиб душі і... щось зворухнула там. Він останній вів справу Дмитра перед судом, був уже, либонь, пенсійного віку, звідав багато чого в житті.

— Знаєш, якби ти не був ворогом, то я волів би мати такого друга, — несподівано, якось наче аж спересердя зізнався слідчий.

А перед цим Дмитра били, били люто, з відчаєм і безсиллям, і тепер у кволих грудях його клекотав біль, рвався до горла так, що несила втримати було. І все ж Дмитро втримав.

Слідчому він відповів:

— Друзями нам не бути ніколи.

— А жаль, — проказав слідчий.

Звичайно, то було лицемірство. Не звичайне — особливе лицемірство. Полковник, який дожив до сивого волосся, прекрасно розумів: ось із такими і справді не подружишся... А яких лише не було на його віку: одних зразу долав страх, і вони йшли на зізнання, часто й оббріхували всіх і вся — і до таких ніколи не було поваги, другі ламалися згодом, писали покаяння, зневірювались — і їх було навіть жаль, а треті...

Полковник стояв навпроти Дмитра, був одного з ним зросту, але чогось здавалось йому, що дивиться він на допитуваного знизу вверху. Таке відчуття не те що дратувало, воно надавало поведінці слідчого досить відчутної дисгармонії. І мимоволі хотілося зіп'ятись на носки, щоб хоча би так, на трішечки, на вершечок, вивищитись. Смішно? Так, смішно, бо дух людський може перевищити лише Дух.

«А плоть за таких обставин нічого не важить, — подумав полковник і, вже натиснувши на кнопку виклику чергового охоронця, докінчив свій роздум: — Такі не повертаються назад...»

3

І ось Дмитро повертається.

Після дванадцяти років розлуки з рідним краєм. У цинковій труні.

Повертається з ласки тих, кому він зараз дуже потрібний. Як герой, з яким можна стати поряд перед натовпом. Як прапор, який можна підняти над натовпом. Як символ, яким можна закликати... хай ненадого — там видно буде...

Ці люди були при владі тоді, ці люди стоять при владі тепер.

Що ж, сьогодні він потрібен їм. І саме в цинковій труні... от-от, саме так і потрібен: з чужого краю привезеним...

Було вже за північ. На аеродромі чекали дружина й дочка Дмитра. Ще зять. І ще один, який весь час мовчав. Блідий, у низько насунутій на лоба шапці. Це він тримав у пам'яті майже всі Дмитрові вірші, складені там... А із речових доказів мав лише коротеньку записку, яка чудом потрапила до нього за день до смерті Дмитра: «Завтра мене вб'ють. Прощай, брате...»

Прощай...

Блідолиций сидів у сусідній камері. І він знав, як саме уб'ють Дмитра. Все так просто: увійдуть два рецидивісти. Вони вже не люди. Зате вміють бити. Мовчки. Без якихось емоцій. І бити будуть стільки, скільки потребується. А чий удар стане останнім, смертельним, — ніяка медекспертиза не встановить, ніяке слідство не розбереться. Хоча, яке там, у біса, слідство, коли один з рецидивістів — чи, можливо, й обидва — ще задовго до цього, скажемо так, «неправового інциденту» зверталися — і то не один раз! — до психіатра: щось їм таке ввижалося...

Прощай... ні, здрастуй, брате, — на батьківщині...

Ви тільки вірте, ждїть мене, матусю,

Я полечу над болями всіма,

Я прилечу, доземно уклонюся...

Ви є?.. Ви є! .. Мене уже нема...

Прилетїв...

Блідолиций тримався збоку: першими хай вийдуть назустріч дружина й дочка. Їх біль — сьогоднішній. Біль Матері — вічний...

Україно, крапля за краплиною —

Сонце, стогін — все візьму у душу,

Долею твоєю удовиною

Захлинусь — переболію. Мушу ...

Кучерявий розпоряджався всім. Енергійний, чіпкий, розсудливий. Підійшов до жінок.

— Все гаразд, — сказав.

Дружина плакала мовчки, по-моторошному. Лице змарніле й негарне.

«Боже мій, — черкнула душу кучерявого жалість. — А яка ж дівчина була!..» І пам'ять за мить воскресила все: студен-тський гуртожиток, якась вечірка, він завів дівчину в куток, за діжку з пальмою, рвучко пригорнув... «Пусти!» Маленька, тендітна, крихка, мов пагінець-одноліток, вона враз напружи-лась і забриніла. «Дурненька, — не пускав її він, красень, за яким побивалась не одна юнка, стріпнув кучерявим, з мідним вилиском чубом, посміхнувся поблажливо: — Оленко, сер-денько...» Але вона вже не була крихким пагінцем. «Пусти, бо Дмитрові скажу...» Він і справді відпустив. Від несподіванки: «Дмитрові?!» — «Еге ж!» Зухвалий блиск в її гарнющих очах не віщував примирення. Ось тобі й на, ніколи не подумав би, що тихий, сором'язливий, зовсім не видний із себе Дмитро може переважити його, першого веселуна, жартівника, зна-ного на всіх курсах серцеїда. Його вірші вже друкувалися в обласних газетах, дівчата навперейми переписували їх у свої альбоми. Варто тільки оком моргнути... А тут — на тобі гарбузяку.

Звичайно, можна було б не зважати, притиснути — куди вона дінеться, але Дмитро, все ж таки, товариш. А потім — є в ньому, є щось таке, від чого душа ніяковіє: чи то в очах сумливих, чи то в двоякій посмішці... «Ну що ж, здаюсь, — підняв він обидві руки вгору і засміявся: — Не знав, не знав...»

Власне, не знав тоді ще і Дмитро, що ця тендітна, мовчаз-лива й холоднувата до всіх дівчина вже вибрала його своїм захисником. Вибрала, як виявилось потім, на все життя...

— Значить, як і домовились, — строго по-діловому сказав кучерявий: — Звідси ідем на кладовище, домовину — в спецприміщення до завтрашнього ранку, а там — похорони, від влади представники прибудуть, від творчих спілок трохи зберемо, ну... і просто люди зйдуться...

Та й осікся від її німого, моторошного плачу:

— А може... спершу... додому?.. Скільки вже тої ночі залишилось... Нехай би, як годиться...

Лицем ще більше почорніла, а стверді губи аж скрижаніли болістю.

Хотів пояснити їй: вся процедура розписана... є рішення зверху, та... лише змахнув відчайдушно рукою:

— Добре, Олено, хай буде по-твоєму.

— Спасибі, Андрію...

*Додому, скоріше б додому ... Любове,
Для тебе на лютих чужинських вітрах
Зберіг — не віддав на осквернення — Слово:
Прийми, обігрій, засвіти на устах...*

4

Так, процедура грубо порушена, вказівки зверху, по суті, послані... нижче пояса... Мовчазник у чорному потертому плащі спробував розціпити губи, щоб заперечити такому вільнодумству — все ж таки, він був представником звідти, — та кучерявий, тобто Андрій, взяв усе на себе:

— Ет, сім бід — один одвіт... назад все одно не повернуть...

Він трохи поспав у літаку і, на відміну від свого мовчазного супутника, мав досить свіжий, більш того — бадьорий вигляд. Уміло підставив під труну дві табуретки, не забув про килимок, охоче взявся запалювати і наліплювати свічки на сіру холодну жерсть.

— Ось ти й дома, Дмитре, серед своїх, — проказав тихо, якось по-простому буденно.

І та буденність у його голосі раптом прорвала німоту в Олениній душі — вона заридала, захлипуючи слова:

— Рідний наш, ми ж тебе не такого ждали...

Дочка обійняла маму за худі плечі та й собі заплакала... Андрій мовчки поманив чоловіків на кухню.

На кухні, вузькій, зовсім крихітній, вони ледве поміщалися вчотирьох, — поставали навколо столу мовчки й незрушно. Нарешті Андрій першим знайшовся: вернувся в коридор і приніс звідти свого приміченого вже чорного «дипломата». На підвіконні неквапливо відкрив його і вийняв березового кілочка з номером.

— Ось, забрав, — промовив, ні до кого конкретно не звертаючись. — Можливо, знадобиться колись... для музею...

Ніхто нічого не вимовив, лише блідолиций легесенько приторкнувся пучками до чорної цифри — і відразу ж відсмикнув руку.

І тоді спитав Дмитрів зять, зовсім молодий, з білястим, ніби борошном присипаним, пушком над верхньою губою:

— Що це?

Блідолиций, либонь, уперше від приїзду сюди з аеродрому озвався:

— Такі «паспорти» нам видавали т а м — для останньої прописки.

Дмитрів зять нічого не сказав, лиш відступив убік і прихилився плечем до стіни. Він нещодавно закінчив будівельне училище, працював бригадиром мулярів, ні політика, ні, тим більш, поезія його не цікавили і доля тестя, якого він знав лише по небагатьох фотокарточках в сімейному альбомі, була для нього незрозумілою, ба, навіть дивною. Той, нібито, був офіційно невизнаним, а насправді великим поетом, поборником за самостійну державність своєї країни, України, тобто, за що й потрапив туди, звідки оце його привезли у цинковій труні.

Тим часом Андрій поцікавився у блідолицього:

— А ви теж були там?

— Був.

— І як довго?

— Вважайте, півжиття...

Куточки тонких Андрієвих уст здригнулись і вигнулись вниз. Він спохопився:

— То що ж це ми, га? Давайте познайомимось ближче.

Блідолиций назвався Ігорем, високий мовчазник у потертому плащі — Миколою, а Дмитрового зятя звали Славком.

Андрій ще подлубався в своєму бездонному «дипломаті» та й видобув нову півлітровку з перцем. Розпорядився:

— Славику, подай-но сюди чарки... — І коли той миттю виставив на стіл чотири склянки, попросив: — Ще одну, будь ласка... для твого тестя, а нашого друга...

І акуратно, твердою рукою розлив горілку.

Аж тоді Ігор сказав:

— Я — ні.

— Зовсім?! — здивувався Андрій.

— Ні краплі.

— Такий випадок...

Ігор мовчки розвів руками.

— Що ж... — Андрій підняв склянку. — За тебе, Дмитре! Земля тобі пухом на батьківщині... Довгий твій шлях був до неї, довгий...

І вихилив до дна.

У Миколи рука затремтіла, горілка розхлюпалась, помалу потекла по підборіддю і закапала на дорогу краватку.

Зате Славко свою порцію перехилив жваво і цілком професійно.

— І як довго ви були знайомі з Дмитром? — понюхавши тильний бік долоні, знову ж поцікавився в Ігоря Андрій.

— Довгенько, — відповів Ігор, і зненацька ніби якась тінь ковзнула по його безкровнім лиці, він різко повернувся до виходу з кухні. — Пробачте, я миттю... В туалет мені...

— Я проведу вас, — викликався Славко.

В туалеті Ігор відразу нахилився над унітазом.

Краплі холодного поту густо зросили його високий опуклий лоб. Не витираючи його, Ігор спиною притисся до ковзького кафелю й утупив погляд в протилежну стіну.

Куди він дивився?

Та туди ж, туди...

Зовсім, либонь, недалеко...

«Завтра мене вб'ють...»

А вбити Дмитра мали набагато раніше: ще тоді, коли одного веселого зимнього ранку припровадили Ігоря до капітана Кимлича.

— Зараз тебе підсадять до одного законника, — сказав той, вибалушуючи свої прозористі і разом з тим скаламучені презирством очі.

— Слухаюсь.

— Дивись на мене прямо, стерво! — раптом закричав капітан. — Камера в самому кутку коридора, черговий глухуватий... Ти все зрозумів?

— Зрозумів, громадянине начальнику.

А що там було незрозумілого? Ігор невисокий, але кремезний, широкоплечий і міцний, як дубовий одземок. В його важкених почорнілих кулаках таїлась страшна сила. Та ще страшнішою була та лють, що кипіла в його теж почорнілій за довгі роки перебування на зонах душі: на все і на всіх.

— Яка стаття? — спитав капітан.

— Їх у мене, громадянине начальнику...

— Гарзд, потім розберемося... Тебе мені лейтенант Турчинський рекомендував... Сподіваюсь, що не підведеш, га?..

Ігор промовчав. Подумав: «Що ж, робота як робота», — і зловісно посміхнувся сам собі.

Його ввіпхнули в камеру і з силою grimнули залізними дверима.

Перед ним стояв худорлявий із запалими грудьми чоловічок. Навіть не чоловічок, а так — стручок гороховий. Щоправда, очі його мовби пронизували геть усі тельбухи.

— Як тебе звати? — грубувато спитав Ігор.

— Дмитро.

— Стаття?

— Сто дев'яносто прим, а ще...

— То ти що — політичний?

— Ну, якщо по правді...

— До феньки мені твоя правда. Видумуєте всяке... політичне... І де ви тільки беретесь?

Ігорю треба було до чогось прискіпатись, почати сварку. Головне — перший удар, а там... Але Дмитро дивився на грізного «карника» спокійно, задумано, анітрохи не боячись, не сподіваючись якогось зла від такого ж в'язня, як сам. І ратом спитав:

— Ти з України? Я по вимові чую.

— Якій ще вимові? — дещо розгубився Ігор.

— Такій, нашій, — ледь зблиснула в однім куточку Дмитрових уст весела цяточка: вона незвичайна, не різка, а протяжно-ніжна, а ще — відразу видає душевних, добрих людей...

«Оце так!» — ніби хльоснуло Ігора, і він аж змінився в лиці. — То звідки ж ти саме, земляче? — домагався свого Дмитро.

— Ну-у, Україна велика...

— Атож, велика, — і чорні Дмитрові очі враз ніби згасли і взялися сивим попелом. — Але зараз, без нас, вона менша.

— Ти — націоналіст? — брав на здогад Ігор.

— Еге ж, та ще й — буржуазний, — зіронізував на те Дмитро.

— Он як!

— Та вже ж так...

Дмитро спробував усміхнутися: сухі губи його здригнулись, затремтіли, проте не розтяглися широко й розлого, а якось так гарно-гарно засяли кутиками.

— Слухай, друже, — попросив він свого нового співкамерника, — поговори зі мною рідною мовою.

Ну, тут уже Ігор остаточно розгубився:

— Не знаю... Про що?..

— А про що хочеш: про рідних своїх, як у школі вчився, яких друзів мав, куди на рибалку ходив... От я дуже ліс любив, кожне дерево знав, імена їм давав, балакав з ними...

— Нема в мене рідних... і друзів, так, одні кореші... А дерева я любив: наш перший дитячий будинок недалеко від лісу був... я ходив туди... інколи... і теж розмовляв... особливо, коли тяжко було... Ну, а потім...

Ігор став згадувати: своє сирітське дитинство, як його, негамовного шибеника-забіяку, перекидали з притулку в притулок, затим були навчання в ФЗУ, робота в будівельній бригаді, робітничі гуртожитки, відчайдушні компанії, випивки, бійки, приводи в міліцію, перша зона, розчарування, злість, лють... — і не помітив він, скільки ж то часу пройшло. А коли, врешті, спохватився, випалив найнесподіваніше для Дмитра:

— Я ж тебе... бити маю...

— Бити??!

— Атож.

— За що?

— Гадаю, сам знаєш: за те, за що сидиш тут.

— То ти — кат?

Голос Дмитра мовби спіткнувся на останньому слові — і погляд його запав у бездоння, холодне, німе і...

Глянувши в те бездоння, Ігор змішався, душа його здригнулась, і він заспішив:

— Розумієш, рецидивіст я, проклятий... У мене всяких статей, як у бродячого пса реп'яхів... Нічого втрачати вже... Розумієш?..

Він підняв свої важкенні, мов з чавуну литі, кулаки, повертів ними, розглядаючи зо всіх боків: скільки ж то зекотні намотив ними, як драних мішків...

Дмитро інстинктивно відступив назад.

— Та ти не бійся, — сказав Ігор.

— А я й не боюсь, — відказав Дмитро і зробив крок уперед.

Ігор опустил кулаки і запропонував:

— Давай так, — і підморгнув зеленкуватим оком, — ти покричиш трохи... якомога голосніше, бо твій наглядч глухуватий...

— Зовсім він не глухуватий.

— Он як... — з легким чи то подивом, чи розчаруванням промовив Ігор. — Ну, тоді можеш кричати нормально.

— Не буду.

— Не будеш?!

— Не буду!

— Тебе що, не били?

— Били.

— Ну?

— Антилопа гну, — зі злістю відповів Дмитро.

— Невже не боліло?

І каратель наткнувся на двояку посмішку жертви: в одному куточку губ забриніла печаль, а в другому — іронія.

*Душа моя не тут болить,
А там, де обрій догоряє.
Мій крик — мій птах. Чи долетить,
Чи пролетить над рідним краєм?
Над хатою і над ставком,
Над місяцем в гнізді лелечім.
За що ж, прикутого цепком,
Мене тримають в цій хуртечі?
Щоб я не встав і не пішов
Туди, до матері на свято.
Але ж не тут моя любов —
Тут тільки тіло розіп'ято.
Його ввіб'ють у глиб землі,
Над ним трава в росі заграє...
А дух мій там, у срібній млі,
Болить веселкою над краєм.*

— Ти що, вірші любиш? — спитав Ігор.

— Я пишу їх.

— Он як!.. То, може, і сидиш за них?

— І за них — теж.

— Ти гляди! — все більше дивувався Ігор зі свого співкамерника, власне, об'єкта... ну, клієнта, може, скресла було якась неоковирна думка... А сказали — законник... — Я ж думав, що то тільки до Великої Жовтневої садовили за вірші.

— Як бачиш, садовлять і тепер.

— Почитай ще...

І Дмитро став читати — вірш за віршем. Про рідну землю,

яка така щедра, про Слово, котре — мов птах у золотій клітці, про Матір, що жде не діждеться сина, про вірну дружину, про любов доньку...

Ігор був приголомшений.

— Хіба ж за такі вірші можна садовити?!

— Виходить, можна.

— Ну...

Ігор відчув раптом, що в душі його чогось стало більше, настільки більше, аж не вмещалося навіть в таких могутніх грудях, кипіло, розпирало, рвалося... І він, не розуміючи тої сили, не тямлячи себе, підійшов до залізних дверей і став зо всієї сили гамселити в них своїми пудовими кулаками.

Дмитро підскочив до нього:

— Що ти робиш? Зараз же прибійжить наглядач.

— Наглядач? — Ігор перестав гамселити, але не тому, що злякався — щось інше спинило його, змусило обернутись, глянути на Дмитра. — Ах, так-так, наглядач... глухуватий... камера в самім кутку, — пробурмотів він і тут же опустився прямо на холодну й вогуку бетонну долівку. — Почитай мені ще, оте «Добрий вечір, мамо...»

Добрий вечір, мамо, дружинонько, доню!

Як же ви далеко — зором не сягнуть!

Провели між нами крижані кордони,

Коршуни між нами небо стережуть.

Пазурі жорстокі, очі всевидючі.

Як же обминути ці сторожі злі?..

Любі мої, милі, крізь терни колючі

Я б до вас прилинув на однім крилі.

Ігор заплющив очі... «Добрий вечір, мамо, дружинонько, доню...» Не було в нього матері — були в притулках такі мегери, що світ ішов обертом... Не було в нього дружиноньки — були такі стерви, що й плюнути жалко... А донька... донька... А що б вона прийняла від отця свого у спадок? Хіба що статті карного кодексу... Статті, статті — до самого обр'ю, а за ним чекає його й остання...

Очутився Ігор від легкого дотику.

— Вставай, застудишся, — будив його від спогадів Дмитро.

— Ет, — лиш махнув рукою Ігор. Він дивився на Дмитра низу вверх, і тепер той не здавався йому хирлявим і зовсім

нікчемним чоловічком — нікчемним був він, Ігор Скороног, який не знав ні батьківщини, ні матері, не дорожив словом рідним і не відав навіть, що можна за все це муки прийняти...

— Слухай, — раптом зацікавився він, — а твої вірші друкувалися... може, й книжки маєш?

— Колись друкувалися, давно, в газетах... мало...

— А книжки?

Дмитро стелав плечима.

— У нас не виходили.

— А де?

— В Німеччині, в Англії, в Канаді, в Бразилії...

— В Бразилії, — Ігоря чомусь найбільше вразила саме Бразилія. — А якою мовою?

— Українською. Там же багато наших людей, і їм теж болить рідне слово.

— Як же потрапили твої вірші туди?

Дмитро лиш одним плечем повів.

— Хтозна.

— А ці вірші, що ти тільки-но читав, теж друкувалися за кордоном?

— Ці — ні. — І знов двояка посмішка забриніла на Дмитрових устах. Ці вірші я тут склав, у цьому році, їх, мабуть, уже ніхто не знатиме... — І вмить лице його ніби вкрилося сутінню, і він сказав просто й моторошно: — Ну, бий уже... чи що...

Та Ігорю враз мов усі нутроші ошпарило. Він зняв угору свої страшенно важкі кулачища і надсадно прохрипів:

— Ну, гадам буду...

Проте гадам він уже не міг бути. За той тиждень, що його Ігор провів із Дмитром, він багато чого взнав, багато що зрозумів.

Капітан Кимлич весь цей час перебував у терміновому відрядженні, а коли повернувся, наказав негайно привести до нього непотребного зека.

— Суче лайно, гідь вонюча, згною тебе тут...

Як і всі ті, що звикли зневажати людську гідність, топтати її, стирати в порох, капітан з садистською насолодою лютував довго... Але тільки в перші хвилини, та й то лише на якусь мить, в Ігоря спалахнуло бажання зібратись, вдарити — і zarazом усі свої статті перечеркнуті однією... То була мить... а далі все в душі його стало на місце: він витерпів знущання,

побої, карцери... І згодом, коли йому передали Дмитрову записку: «Завтра мене вб'ють. Прощай, брате...» — мета його викристалізувалась остаточно: за всяку ціну треба вийти на волю, адже в пам'яті його десятки Дмитрових віршів...

І ось він на волі.

А Дмитро у цинковій труні.

Ігор одірвався від сковзького кафелю, долонею стер з лоба рясні краплі. Коли він зайшов до кухні, Андрій і Микола все ще стояли біля столу зі склянками й недопитою пляшкою горілки, а Славко длубався в якійсь картонці, що, вочевидь, правила в сім'ї за домашню аптечку.

— Мамі стало погано, — сказав він, — десь тут були валер'янові краплі.

— Їй відпочити б, — озвався Андрій.

— Де там, не відходить від труни.

— Нам теж не завадило хоч би пару годин поспати, — знову Андрій. — От що, хлопці: тут все одно притулитись ніде, ходімо краще до мене. Це недалечко, всього два квартали. То що? — звернувся до Миколи й Ігоря.

5

Вони йшли мовчки німим і холодним містом, хоча, здавалося, говорити було про що. Звичайно ж, було... Хоча це й не вечір споминів, а переддень похорону товариша, поета, якого визнав світ і тепер ось приймає рідна земля. Щоправда, приймає прах, бо душа його давно вже тут. Завтра, точніше, вже сьогодні вранці, прийдуть люди, перевезуть труну в Свято-Троїцьку церкву, сповіють її червоною китайкою. В головах поставлять свічки, в ногах покладуть терновий вінок, уквітчаний калиновими гронами, — це від Матері-України, за чю долю і замучено Поета.

— Скільки ж буде людей? — чи то спитав, чи то так сказав Микола, коли вже пройшли більшу частину дороги.

— Багато, — сказав Андрій.

А Ігор добавив:

— В Шевченківському університеті студенти оголосили траур, а в оперному театрі на сьогодні відмінили спектаклі.

— Он як: це вже акція підтримки! — Андрій навіть пристав трохі. — То ви точно знаєте?

— Точно, — відповів Ігор і, на хвильку зам'явшись, запропонував: — Слухайте, давайте перейдемо на «ти», ми ж, либонь, ровесники. Мені Олена Іванівна розказувала про вас: про тебе, Андрію, і про тебе, Миколо. Ви ж вчилися разом з Дмитром. З таким поетом!.. Повезло вам...

«Атож, — мало не вирвалось в Андрія, — і тобі диявольськи повезло...»

Та він тут же перебив свою думку іншим:

— І вчилися, і в одному гуртожитку жили, і вірші водночас починали писати. Ще й як починали! То ж були шістдесяті, хрущовська «відлига»... Пам'ятаєш, Миколо, той вечір поезії в актовому залі?

— А чого ж не пам'ятати?

— Ти тоді хіба ж так виступив!..

— Ет, — махнув рукою Микола, він мав якусь дивну звичку йти осібно від інших, і тепер теж ступав десь збоку, в тіні каштанів, на яких ще цупко трималося по-осінньому жорстке листя.

— Не скромничай, — наполягав Андрій, — твої вірші тоді мали успіх: незвична форма, інструментовка, музичність...

— Так, витребеньки.

— Е-е, не кажи, скільки років пройшло, а я й досі пам'ятаю твою «Тінь»:

*На осонні
Коні
Воду п'ють,
А в долині
Сині
Дзвони б'ють:
Бом-дзінь,
Бом-
дзінь!
По траві-мураві
Плине, плине
Від хмарини
Тінь...
Тінь...*

— Дурниці все це, — якось байдуже й стомлено підсумував Микола.

— То ти вже не пишеш віршів? — спитав його Ігор.

— Ні...

— Він у нас доктор наук, професор, — втрутився Андрій, — тож науковими дослідженнями займається, книжки видає. От і про Дмитра вже пише...

— А я відтепер не розлюблю віршів ніколи, — сказав Ігор. — Вірите, до знайомства з Дмитром я й подумати не міг, що таке може статися. Він мене в нове життя повернув... А сам пішов...

— Ти зробив подвиг, — твердо проказав Андрій. — Ти зберіг останні Дмитрові вірші. З такого мороку виніс... Та й потім, Олена розказувала, скільки ти поміг... і грошима при виданні Дмитрових книг...

— Що гроші... Коли мене випустили по амністії, я на добру роботу натрапив, а тут ще й кооператив підвернувся, ну і... Скільки мені тих грошей треба: наймаю кімнатку, один як палець. А ти багато книжок видав? — раптом спитав Ігор Андрія.

— Трохи маю...

Андрій засміявся, але не своїм розсипчастим сміхом, а якимось чужим, протяжливим, так, мовби іржаву жерсть посунули по асфальті. Аж Микола здригнувся й прискорив кроки, ступивши на перехрестя.

— Не туди, — спинив його Андрій. — Чи не бачиш: ми вже прийшли...

Квартира в Андрія на четвертому поверсі, однокімнатна, зате досить простора, квадратна, та ще й з височенною стелею — таких квартир уже давно не будують.

— Ви тут влаштовуйтеся, як хто хоче, — запропонував гостям Андрій, повмикавши скрізь світло, — а я на кухню, спробую приготувати якусь закуску. Повірте, тільки розвидниться, нам буде ніколи і вгору глянути...

Микола відразу зайняв улюблене м'яке крісло, усівся прямо в плащі, голову відкинув на високу спинку, руки розпростер на бильця.

А Ігор, той роздягнувся, акуратно причесався й пішов до книжкових полиць, що займали всю одну стіну мало не до стелі.

На кухні зашкварчало сало.

«Щасливий чоловік, — подумав Микола про Андрія, по-

думав без найменшої тіні заздрісності, просто так, констатує, — стільки літ живе собі бобилем, ніяких тобі клопотів...»

І заплющив очі.

А розплющивши їх, спинився поглядом на неоковирній старовинній люстрі під стелею. Чомусь зацікавив його добрячий гак: ого, такий видержить не тільки це одоробло... Справді, скільки ж він може витримати: кілограмів сімдесят чи більше?..

Знову заплющив очі.

Що ж він побачив?..

Гак... Такий-от... Тільки без люстри... В готельному номері, куди викликав його майор, куратор чи то пак ангел-хранитель, як той себе, посміюючись, називав... Освічений, навіть кандидат якихось наук, ввічливий, аж до задушевності. Так і так, мовляв, з Дмитром ви вчилися в інституті, тепер-ось — разом в аспірантурі... Ну, схибив товариш, схибив, не можете — пропаде ж... А жаль, талановитий, самі знаєте... Значить, так: напишіть, що він там на зборах говорив... Дійшла чутка, він з німецької перекладає. Що саме його цікавить? От-от, так і під чужий вплив попаде. Та й зустріч з Михайлиною... ну, знаєте з якою... Що в них спільного? Такий хлопець — і на тобі!.. Шкода... Пишіть, пишіть... А підпис можете ставити не свій, який хочете... Як це називається? Ага, псевдонім...

Він і звів тоді очі до стелі: гак...

Гак...

Гак...

Гак...

— От і добренько... До речі, як ваша дисертація? Коли що, то ми будем раді чимось...

Раді...

Раді...

Раді...

Що це — сон?..

Ні, він не спав. Чув, як Андрій відкорковував пляшку з вином, як біля стелажів шелеснув сторінкою Ігор і сказав шепотом:

— Не буди, хай спить.

— А пляшка для чого? Ти ж — ні краплі?

— Ні краплі.

— Тоді і я... Вмощуй у кріслі... А ти йди на диван, ти довший.

— Я б ще почитав, — промовив Ігор, — тут у тебе Рільке, а Дмитро любив його... пам'ятаю, всю ніч пошепки розказував мені про цього поета...

— Потім почитаєш ... Сподобається, я тобі подарую книжку...

Ігор зітхнув:

— Гаразд. Ранок уже, справді, попід вікнами походить.

— Так ти скоро й віршами заговориш, — тихесенько хихикнув Андрій і пішов вимикати світло.

Ігор приліг на диван безшумно.

Андрій увостанне скрипнув диваном....

Микола ще якийсь час не відкривав очей. Аж поки не задихав рівно Ігор і не схряпнув Андрій. Тоді він тихо-тихо роззувся і на носках пішов до ванної, не запалюючи світло, впевнено — бо добре знав квартиру друга, як і свою, відкрив пристінний шкафчик і навпомацки став щось шукати на нижній полиці...

6

Прокинулись вони одночасно, глянули один на одного. Господи, невже проспали? За вікном уже був ясний день!

Перше, на що глянув Андрій, — це телефон на письмовому столі: чому він мовчить? Вже ж пора до Дмитра...

Перше, на що звернув увагу Ігор, — перекинута табуретка серед кімнати.

Звів очі догори: на добротному гачку для люстри висить вішальник.

— Андрію!!! — пошепки закричав Ігор.

Але той уже теж дивився на застигле тіло, над яким пружно, до струнного тенькоту, стримів мотузок для просушування білизни.

Мовчання було довгим.

Ігор просто сидів на дивані, обхопивши голову важкими руками.

Андрій відчував, як помалу терпнуть його пальці на руках і ногах, прислухався, як терпкість та паморочливо розходиться по всьому тілу — все ближче й ближче до грудей, до горла...

Очі ж його мов прикипіли до вирячених очей Миколи, до його висолопленого язика.

Ще мить... ще...

Ігор встав і сказав:

— Треба телефонувати в міліцію.

Андрій вже оправився від першої хвили, і тут нахлинула друга — і він майже застогнав:

— Це ж почнуться допити... підозри...

— Ну, підозри — це скорше до мене, — перебив його Ігор. Тепер вже Андрій обхопив голову руками.

— Ой, Миколо, Миколо, що ж ти наробив...

І враз Ігор сказав те, що мало б накрити Андрія третьою хвилею:

— По правді, я думав, що ти зробиш це першим.

— Що???

Хвиля була такою височезною, що, піднявшись, розсипалась десь там... а тут на кону стало життя, авторитет, ім'я...

І Андрій закричав:

— Хто ти такий, щоб судити?

— Суки ви... Обидва продавали Дмитра, заради власного благополуччя, — просто, без найменшої зернинки зла проказав Ігор. — Але я вас не суджу... Не маю права, бо сам вище колін у гріхах...

— Та ти... ти знаєш, що я Дмитрові листи писав, посилки слав... Він мені писав...

— А хто його листи першим читав? А що в твої посилки підкладали?

— То що ж виходить?..

— Уже вийшло: сьогоднішні похорони. Спасибі, ти постався, все організував, за труною з'їздив... Тільки одне я тебе попрошу: не ходи на похорони. Така сумна врочистість... хай буде там хоч на одну підлоту менше. Повір, Дмитро заслужив це...

— А ти?!!

Андрій глипнув повітря.

Ігор зітхнув:

— Я буду там, буду... Хоч теж недостойний такої честі. Ну а ти... займись-но краще цим другом, зателефонуй, куди слід...

І Андрій слухняно підняв трубку.

ЗДРАВСТВУЙ, ЗЛАТОГЛАВАЯ!

Футбольно-легкоатлетический комплекс ЦСКА объединяет два огромных зала под одной крышей.

Общая длина здания 320 метров. В одном из залов свободно легли четыре борцовских ковра для проведения олимпийских схваток по классической и вольной борьбе. Переконструированный манеж расположился рядом с гостиницей «Аэрофлот». В высотном сигарообразном здании расселили болельщиков спортивной борьбы, вольных волонтеров без аттестации, любителей единоборств.

Захарий и Константин прилетели из Симферополя 28 июля за двое суток до финальных схваток Ильи Мате.

Вездесущий Чочорай, пока Константин Парашевин добывал информацию о наличии мест в гостинице, отыскивал главного тренера из Киева, своего земляка Алексея Атаманова, и попросил помощи в устройстве.

Алексей вначале развел руками, а затем, подумав, решительно достал ключ от личного номера в «Аэрофлоте».

— Гарик, — сказал Атаманов, — живите тихо, без баловства. Столица находится на повышенной бдительности. Номер большой, хороший, придется многих «зайцев» внедрять в него. Учти: ты — комендант, чтоб был порядок.

— А с пропусками как?

— Трудно. Даже «на руках» достать непросто. Ты же, Чочорай, сметешь любые барьеры. Шеф рассказывал, как танк на постаменте полонен был тобою в Южнинске. Не прибедряйся.

— Э-э-э, то было давно. Кафедра выгладила, не те времена.

— Времена, Гарик, всегда «те», если поднапряжешься. Плотнеешь, брат. Знай, что шнуровать ботинки при таком весе будет непросто, — смеется Атаманов. — Ты их лично расшнуровывал, да?..

— И себе, и кому хочешь еще зашнурую, — обижается Захарий, краснея. — Я — не сам, со мной Костя Парашевин. Да ладно... За Илюху поболеем как следует! Почисте танка штуку придумаем, ведь такого хлопца, Алеша, вырастили.

Чувствую, грудь моя, гордостью переполненная, треснет по полам. Всем борцам борец — Илюха! Да-а-а...

— Устраивайтесь... Друзья понаехали. Здесь Головчанский с дочуркой Ксаной, профессор Ля-Мурэ... И Анатолий Бойко из Хабаровска прилетает. Надо бы и ему пропуск достать...

— А кто он такой, Бойко?..

— Жил я с ним, Гарик, в общежитии в Симферополе на улице Студенческой. Двухметровый гандболист. Душа-парень. В Хабаровске, заметь, гандбольную команду края вывел в чемпионы на первенстве России. Что, тебе Ля-Мурэ или Головчанский о нем не рассказывали раньше, покуда вы св. Елену выискивали в океане?

— Не до того было, — низким тоном заключил Захарий, улиткой замыкаясь в панцире молчания. Пехлеван не любил воспоминаний о том тревожном времени, связанном с богатствами Лас-Каза. Здесь он обычно брал собственные уста на замок.

Хотелось Захарию дать деньги Македонии на строительство специализированного борцовского зала. Да как уговорить сельский совет на великое дело, если местный орган власти проповедовал не созидание, а разруху? Здание начальной школы, возведенное на горе, растащили по кирпичику, две ветряных мельницы употребили на дрова, обсерваторию бульдозером сравняли с землей... Что там говорить, нет в Македонии хорошей команды организаторов и управленцев!

Но есть задумка у Захария: здесь, в Москве, сотворить чудо, удивить мир, да так, чтоб и Македония содрогнулась, и Киев захлебнулся в звоне колоколов!

Сумел вон Анатолий Бойко вымахать к небу в два метра, гандболом Хабаровск прославить, а он, Захарий Чочорай, чем хуже?! Костя — светлая голова. Ох, как вовремя, десять лет спустя, они сошлись у Олофа!

Своевременный приезд Константина и Захария в столицу, вероятно, предначертан был судьбой...

* * *

29 июля в послеобеденной программе игр Санасар Оганесян в труднейшем поединке одолел Улофа Нойперта и поднялся на высшую ступеньку пьедестала. Евгений Бартов

перед финалом борцов в весовой категории до 90 кг находился за пределами зала ЦСКА, потеряв всякую надежду прорваться сквозь кордон охраны. Корректные ребята в штатском заворачивали всех, у кого отсутствовал входной билет или пропуск. Купить билет Бартов не смог, так как пехлевану вновь, вопреки всем законам, устроили на олимпийской базе в горах прикидку с Иваном Ярыгиным. Исподволь, тишком вызвали стокилограммовиков на ковер. Тренерам не сказали ни слова, ни полслова. Ярыгин старался из последних сил, однако баллы в схватке накручивал Мате. Гонг! С молчаливого согласия тренеров Илья вновь, в который раз, опередил маститого москвича (Красноярск давно Ярыгиным оставлен), опередил, чтоб в весе до 100 кг выйти на олимпийский ковер...

Итак, билета не достать, остается снаружи слушать динамики, чертыхаясь и проклиная систему.

Вдруг окрик:

— Бартов, что такое? Почему не у ковров? — Мужественное лицо Николая Капустина застывает в страшном удивлении.

— Что говорить... Один Атаманов с «аусвайсом» на груди. Что ему, гостренеру, бросить ребят, и нас, периферийников, в спортзал заводить?

— Э-э, нет. Айда за мной, товарищ. — Обратясь к охраннику с передатчиком в руках, Капустин проговорил: — Никита, познакомься с Бартовым. Восемнадцать лет готовил будущего олимпийского чемпиона Илью Мате, а пропуска ему не нашлось. Доложи Свиридову, чтобы пропустили тренера. Или же сам проведи в зал под свою ответственность. Добро?..

— Будет выполнено!

— Да, а стихи какие сочиняет Бартов! А ну процитируй одну строфу, Евгений, не скромничай.

Бартов напряг память. Чтоб не отвлекать особо от служебных обязанностей Никиту, коротко продекламировал:

*Москва, как дирижер во фраке,
Звала, оркестрами гремя...
И вспыхнул Олимпийский факел
От Прометеева огня!..*

Захарий Чочорай, таинственно усмехаясь, достал из чемоданчика увесистый футляр. Раскрыл и, сдув пыль, извлек из него шикарный бинокль. Константин, увидев, слегка окаменел лицом.

— Видишь, Костя, штукенция, а?! Прибор для рассматривания удаленных предметов... Двадцатидвухкратное увеличение. Завтра он нам покажет легендарного пехлевана, Константин. Тото и оно! Знай наших, Москва! Пстой, не то еще будет, дашься диву, столица! Эх!..

— Сегодня тридцатое число, Захарий. Илья Мате в 19.00 по программе с Юлиусом Стринску из Чехии схлестнется за 1-3 место. А Славчо Червенков, проиграв Илье, второе место, заведомо, «положил в карман»...

— Представь, ответственность какая перед Илюхой. Победил — забрал «золото», проиграл — досталась «бронза»! Во, дела, такого и нарочно не придумать. Свихнуться можно...

— Захарий, а куда ты задевался вчера во второй половине дня? В день ответственной схватки взял и куда-то исчез...

— Узнаешь, придет время... Да, в буфете гостиницы встретил Александра Громакова. Он в Южнинском облспорткомитете, курирует спортивные единоборства... Ответственность... Всем хочется победы, всем...

— Знаю я Громакова. Белолицый такой русский парнишка. В мединституте присутствовал на первенстве Укрсовета «Буревестник» по классической борьбе. Дело знает.

— Еще бы не знать. Мастер спорта, как и мы с тобой, Костя. Только он с нами на палубе «Золотой Газели» не скрешивал захваты. Видел я как-то в Киево-Печерской Лавре фреску: Нестор Искандер, славянин, в 1453 году при падении Константинополя турками был пленен...

— А при чем здесь Громаков?

— Сходство в лицах: одно — к одному, словно близнецы.

Я был просто поражен... А с Громаковым мы заканчивали в разное время Киевский, мой родной физкультурный. Оба у Арама Васильевича тренировались.

— Счастливики!

— В какой-то мере — да.

Отодвинув в сторону гардину, Захарий наводит бинокль на окна спорткомплекса ЦСКА. Снайперским глазом, застыв

как изваяние, пехлеван направляет окуляры бинокля, открывающие ковер «А». Именно на нем и будет бороться Илья Мате со Стринску.

Седьмой этаж гостиницы прекрасно позволяет от окна до окна спортооружения отчетливо видеть ковры, обозреть сбоку момент подъема флага при звучании гимна той или иной страны-победительницы.

Константину не терпится самому взглянуть хотя бы краешком глаза в бинокль. Он молча протягивает руки, берет предплечье Захария — тот кривится от боли...

В 18.00 Захарий вновь исчезает из номера, взяв слово с Константина не покидать гостиницы без его, Чочорая, сигнала и почаще подходить к раскрытому окну.

Константину хочется многого: обнять Ля-Мурэ, Головчанского, пообщаться с Бойко, Атамановым, попытаться разгадать внутреннее состояние Бартова. Но вот приходится отсиживаться в номере гостиницы. Интересно, что же на территории комплекса хочет учудить Захарий? Он все никак не поймет, что имеет дело не с тем мальчуганом-юнгой с яхты «Золотая Газель».

Константин вдруг вспомнил подмосковную Рузу, куда прибыл, служа в ПВО страны, с командой дивизиона получать очередную партию ракет. Как и полагается в таких случаях, молодой хирург отметился в санчасти завода. Ведь он отвечает за здоровье своей команды. Нет, он тогда под Москвой не стоял у подоконника, пассивно ожидая чьего-то сигнала для участия в непонятной миссии. Он, Константин Парашевин, в Рузе чувствовал себя частичкой отлаженного механизма, стоящего на страже безопасности государства. В строю бдительных военных Константин обыденно и просто занимался судьбоносными делами.

Парашевин вспомнил, как однажды его быстро принялись искать: «Парашевин! Где ты?..» Надо же было случиться беде... Командующий Дальневосточным военным округом, находившийся в Рузе, генерал-полковник Газизулин в цехе литья завода наступил на крепежную «кошку», распоров при этом и ботинок, и стопу.

Предплюсниевые косточки Парашевин, хирург со стажем, перебирал, словно косточки четок, зашивая глубокую рану.

Сразу после восемнадцати часов, пренебрегая наставлениями Захария, Константин оставил номер и спустился вниз.

— Костя! Костик! — услышал он в фойе.

К нему, как всегда спокойной поступью, направился Альберт Георгиевич Головчанский. Словно метеор, сорвавшийся с орбиты, рванул навстречу дорогому человеку Константин...

— Боже праведный! Столько долгих лет! Костя, голубчик! А возмужал, возмужал! — сквозь восторги радости говорил Головчанский. — Сердечко-то как, стучит?.. Ксанка! — тут же позвал к себе дочь Альберт Георгиевич. — Подойди к пехлевану. Красавец, а?!..

Девушка в спортивной блузе, гофрированной юбчонке и белых кроссовках приблизилась мягкой поступью к ним.

Да, это была Ксанка, почти такая, как на Графской пристани, с толстой косой и челкой одновременно, с глазами-живчиками, унаследованными от отца, с лебяжьей шейкой и угловатыми плечиками...

Константин увидел перед собой «спелую вишенку», своими магнитными чарами притягивающую к себе.

Девушка понравилась Константину. Он коснулся рукой ее свободной руки, тепло молодой крови передалось Парашевину, пьяня без вина и кружа голову без карусели.

— Вот и хорошо! — неожиданно выкрикнул Головчанский. — Ксана с Костей, идите на финал. Два пропуска мне Атаманов все-таки достал. А я... приберегу энергию на первые числа августа. В зале «Динамо» на улице Лавочкина соревнования по боксу начинаются. Хочется увидеть Виктора Мирошниченко. Кстати, твоего, Константин, земляка, из Южнинска. И на кубинцев поглазею, увижу Анхеля Эррэру, Хуана Эрнандеса, Армандо Мартинеса...

— Хотеть — не вредно, — вдруг послышалось сбоку, — так объявился Захарий, подходя своей своеобразной походкой: левое плечо — левая нога, правое плечо — правая нога. — Бокс никуда не денется: Ксана, Альберт Георгиевич, вы идите к коврам. Там передадите привет Жану Кристиановичу, а мы... Есть миссия, пока секретная. Ой, как хочется рассказать о ней. Но — держусь...

Захарий вел Константина за угол гостиницы.

— Знаешь, как у актеров: один заболел, а роль играть надо. Значит, другого выпускают. Вспомни Констанцу, Константин. Была у меня мечта въехать в Москву на белом коне! Мечты, мечты... Илья Мате чести не уронит, взойдет на

пьедестал, а у меня... Бинокль, видишь, на ремешке через плечо...

— У нас с тобой бинокль, Гарик, у нас...

— Нет, у меня. У тебя — белый конь, комплекс ЦСКА, вся Москва!

— Чего-то не догоняю...

— Догонишь. Какой из меня герой на белом коне? А еще надобно внешностью на Илюху быть похожим. Громаков вон с Нестором совпали тютелька в тютельку. Ты, Константин, вылитый Илюха. Будь готов, мексиканец, вскочить на коня! Илюха завалит Стринску — сто процентов! — знамя завеет в небе, новый чемпион в радостных чувствах будет за ним наблюдать, а я в это время дам отмашку рукой, и ты...

— Чудишь чего-то, друг...

— Я исчезал из гостиницы неспроста. Знай, в конюшнях Москвы один белый коник застоялся в деннике. Во-он за тем киоском, видишь, коник копытами бреет асфальт... Не удивляйся, конюху я подарил золотой перстень с бриллиантом... Эмануэлю Лас-Казу спасибо. Нет, с Илюхой у тебя, пожалуй, больше сходства, чем у Громакова с Искандером...

— Так что, я должен...

— Ты никому, Костя, ничего не должен. Вспомни Калку, Кальмиус, Бюйюк Узень. Без банальностей — Родина зовет! Воспари над ЦСКА, удиви Белокаменную — час пришел, Константин!..

— Захарий, а что, если... — Константин замялся.

— Илюха, думаешь, уступит?!

— Ковер ведь... Что-то вдруг несостыкуется, сорвется...

— Типун тебе на язык. Срывать будет только коник, как на крыльях. И ты — Беллерофонтом на нем...

* * *

Евгений Бартов осторожно вставил ключ в замочную скважину. Дверь привычно открылась. У телефона на тумбочке, стоящей в коридоре, лежал нераспечатанный конверт, чуть поодаль — листик бумаги.

Без сомнения, милая женушка Марина уехала-таки в подшефный колхоз, написав приветственные слова любимому мужу.

Оставив листик «на закуску», Бартов разорвал конверт. Почерк настоящего мужчины и тренера из Амвросиевки Васи Концукова...

«Пишу на радостях, Степаныч. От телевизора не отходил ни днями, ни поздними вечерами. «Даванули» вы с Илюхой так, что в Донбассе от радостного удивления шахтные терриконы присели на корточки, а буйные ветры, налетев на Амвросиевку, унесли с пешеходных дорожек цементную пыль. Какая Победа, Степаныч! Знаешь, мое угрюмое лицо просветлело в этот яркий день от неопишуемой радости...

Илюха — победитель игр XXII Олимпиады!

Вот брошу письмо в почтовый ящик, на радостях пойду и напьюсь. Ни один «мент» не притронется ко мне рукой, уверен. Как только я, Степаныч, увижу Илюху, с радостью пожму руку богатырю. Приеду домой и разрешу Сереже Воронину притронуться к ней (к моей деснице) своей пятипалой — пускай Сереже передастся энергия олимпийца.

Сережа Воронин прибавляет, Степаныч, и в силе, и в технике. Одаренный хлопец от природы. Свозил я его прошлой неделей в Одессу на турнир Малиновского. Как лучшему легковесу турнира ему вручили хрустальную вазу за технику и медаль за первое место. Серега на «бедро» цепляет любого, без разницы. Кто не верит — пусть проверит, улетит, как пух-перо! Илюха — есть. А вдруг и Серега... Эх! Мечтать не зазорно, а, Степаныч?! До встречи, брат! Пойду отмечать победу...»

Прочитав письмо Васи Концукова, Евгений потянулся к записке Марины.

«Женечка! От всего сердца поздравляю тебя с исполнением твоей заветной мечты, и желаю тебе еще больших успехов в работе. Горячо тебя целую.

Жень! Я тебя долго ждала, но не дождалась, уезжаю в колхоз от института на сельхозработы. Думаю, что ненадолго.

Сегодня встретила Илью в аэропорту. Была с Витой и Петей. Тебя ожидала...

До встречи. Твоя любимая и любящая жена. М.Б.

Р. С. Еда в холодильнике. Заплати за квартиру. Свои соколки сразу постирай. Два раза в большом количестве воды и пены. Прополощи, не очень выжимая. Рисунок — не гладь.

Все. Время подгоняет. Цветы в вазе освежи комнатной водой. Еще раз целую. М. Б.»

СТРАСТИ ПО «АЛЬФРЕДУ»

Из цикла «Морские истории»

Недружелюбие старшего механика теплохода «Должанск» Фомы Гордеевича Кустистого к старшему электромеханику Гене Корнюшину еще более усилилось на подходе к Гибралтару.

А неприязнь возникла еще в Мессинском проливе, на пути к Генуе. Корнюшин был, в общем, неплохим спецом по своему заведованию, хотя перевалило ему всего лишь за тридцать с хвостиком. Претензий по работе к Гене не было, но Фому Гордеевича раздражала манера его общения посредством радиogramм с некой особой на родном берегу.

Фома Гордеевич начинал молчаливо кипеть, когда в столовой комсостава Гена в окружении зеленых штурманцов зачитывал вслух содержание любовных посланий. Стармех торопливо допивал компот и удалялся прочь, обуреваемый чувствами, которые сразу и не мог выразить словами. Одно лишь приходило на ум — «щегол тухлый». Почему именно такое определение просилось на кончик языка, Фома Гордеевич не понимал, но чувствовал, что есть некое иное слово, точно подходящее к поведению Корнюшина.

Пришедший на флот из рыбацкой семьи добрых сорок лет назад, Фома Гордеевич знал одно — сюсюкать с бабами недопустимо. Иначе с ходу сядут на шею. Мужчину, чья судьба связана с морем, баба должна почитать и быть ему преданной до конца дней, а сантименты полагаются только в виде плача на могиле мужа. Так издавна велось на Азовье. Потому и вызывали у Фомы Гордеевича буквально физическое отвращение фразочки Гены, доносившиеся из-за соседнего стола под жеребьяче ржание штурманцов: «Среди синих волн Средиземного моря я так одинок без вас...», «Мне ваши так глаза увидеть хочется...» Или вовсе уж пошлое признание: «Не сплю в штормах, мучительно целую в мыслях ваши ручки...»

Спускаясь в машину, Фома Гордеевич размышлял: «И какая только лахудра верит этим идиотским признаниям?» Он

знал, что сдвиг по «женской фазе» происходит в экипаже после месяца-другого плавания. Тогда и начинают появляться в радиограммах скупые ласковости к оставленным на берегу женам и подругам. Но чтобы через неделю гнать в эфир слюнявую белиберду — такого на веку стармеха еще не было.

Размышляя над поведением Гены, Фома Гордеевич вместе с тем отмечал, что Корнюшин был мужик как мужик, травил скабрезные анекдоты и кидал вполне определенные взоры на ту часть буфетчицы Нади, которая на корабле зовется «кормой» или «винторулевой группой».

За все это время сам Фома Гордеевич отправил домой всего одну радиограмму: «Перенаправили Италию, затем Куба. Здоровье в норме. Фома». И то пушена была она уже при переходе через Атлантику. Гена к этому времени приутих в любовных излияниях и переключил свои чувства на пса Рыжика, подобранного на причале в Равенне.

Пес, говоря по-мариупольски, «тынялся» между ошвартованными судами, с надеждой заглядывая в глаза вахтенным у трапа. Возле итальянских судов он коротко лаял, что-то, видимо, говоря на местном языке. Его впускали на судно, а через время Рыжик спускался на причал, крепко покачиваясь, и укладывался спать у железной ноги порталного крана. Иностранцы моряки считали, что пес отлично пообедал, но дело было иного рода.

Рыжик являлся законченным алкоголиком. Приютивший его на «Должанске» Корнюшин обнаружил данный песий порок при первом же «междусобойчике» по случаю дня рождения одного из электриков. Собравшаяся в каюте «шефа» после вахты небольшая компания только успела открыть бутылку «Столичной», как за дверью послышались тихий скулеж и царапанье.

Впущенный в каюту рыжик подбежал к столику, встал на задние лапы и страстно стал глядеть на налитые рюмки. На чудную закуску из шпрот, ветчины, жареной печенки и куриных ножек Рыжик не повел и глазом. Все стало понятно. Псу бросили смоченный в водке хлебный мякиш, он его быстро слопал и вперил масляный взор в Гену с немой просьбой повторить. Рыжик уже считал «шефа» за своего хозяина, поскольку тот взял его в плавание и делился выпивкой.

Какое-то время Гена пытался запирать пса-алкоголика в

каюте, чтобы он не шастал по судну и не обнюхивал двери помещений, где могла произойти выпивка. Но ничего из благих намерений не получилось. Рыжик превратился в настоящего попрошайку, наподобие тех, что бродят между пивными столиками в береговых буфетах и молят оставить хотя бы каплю на доньшке кружки.

Борьба Гены за вывод итальянского кобеля из алкоголиков в положительные псы, как заметил Фома Гордеевич, облагородила и самого старшего электромеханика. Корнюшин стал грустен и прекратил читать в столовой тексты романтических посланий приверженнице своего сердца. «Ото и вся любовь!» — с удовлетворением сделал вывод Фома Гордеевич.

Но он глубоко ошибался. Через два месяца, на обратном пути, радиолония «Должанск» — «несравненная Люся» заработала с удесятеренной эротической силой, соответствующей сроку разлуки. И Фома Гордеевич стал уходить из столовой, даже не принимаясь за любимый компот, как только начинало доноситься из корнюшинского стола: «Люся! Ваш профиль чудился мне в чертах сотен кубинских креолок...», «Мои губы покрыты солью океана, и только вы в силах вернуть им нежность...»

Выходя подышать на спардек, Фома Гордеевич неожиданно для себя подружился с Рыжиком. Пес, лишенный общего внимания в виде угощения наспиртованным хлебом, пытался однажды нагло появиться в капитанской каюте в тот момент, когда «мастер» угощал виски шипчандлера — агента по снабжению продуктами.

Из каюты Рыжик с позором был изгнан, поселился на вязаном матике на спардеке и принялся абстинентствовать в укор всем. Фома Гордеевич первым заметил оздоровление внешнего вида Рыжика и расчувствовался, начав с ним разговор о пагубности водки на флоте, не отрицая, однако, полностью роли пары чарок для снятия стрессов после штормов и сложных ситуаций. А поскольку Рыжика никак нельзя было назвать ни матросом, ни мотористом, ни штурманом, то к выпивке ему и не следовало тянуться изначально.

В миссионерских беседах с Рыжиком то и дело всплывало имя Корнюшина, и однажды Фому Гордеевича «пробило». Он, наконец, вспомнил блуждающее в подсознании слово, которому соответствовал стиль поведения «шефа» с неведомой Люсей.

Когда в очередной раз началось ржание за соседним столом, Фома Гордеевич спокойно допил компот и обратился к Корнюшину:

— Эти ваши ланцы-манцы с какой-то Люсей не соответствуют поведению настоящего моряка. Вы ведете себя как альфред! Один французский писатель, которого я читал еще в мореходке, не помню фамилии, хорошо обрисовал подобный тип.

— Вы хотите сказать, видимо, альфонс, Фома Гордеевич, уточнил Корнюшин, смеясь глазами.

— Никаких «фонсов», — рассвирепел стармех. — Именно альфред! Нечего классиков переверять! И вообще с таким, как вы, я бы в разведку не пошел!

— А я бы вас и не взял, Фома Гордеевич! — отвечивал Корнюшин, отчего стармех слегка опешил, а потом и обиделся. О разведке-то он первый упомянул, а получилось, что не взяли бы в опасный поиск как раз его.

Вскоре рейс закончился. Корнюшин списался с судна в отгулы, а затем морские дороги развели его со стармехом «Должанска» на добрых три года. Встретиться вновь им пришлось при весьма странных обстоятельствах.

Однажды пребывающего в отпуске Корнюшина вызвали в кадры и сообщили, что необходимо подменить на «Должанске» заболевшего старшего электромеханика. Судно идет из-за рубежа в Бердянск, будет там через двое суток.

Из общения с морской братией Корнюшин знал, что на «Должанске» по-прежнему стармехом Фома Кустистый, а пес Рыжик вполне оморячился, живет на борту, к выпивке не возвратился. Эту страсть он заменил природной, и на стоянках в иностранных портах заводил скоротечные любовные романы с подругами многих рас и национальностей, оставляя по всему миру щенячье потомство. Рассказывали, что в Анголе Рыжик испытал жуткое потрясение, увидев на берегу людей со сплошь черной шкурой, забился в канатный ящик и только ночью, выходя на палубу, со страхом поглядывал на причал.

Шагая с чемоданчиком на бердянский автобус, Корнюшин с теплой иронией вспоминал и «деда» Кустистого, проповедовавшего домострой, и корабельного пса, нашедшего в себе волю «завязать» с пьянством. Веселая мысль мелькнула в голове Корнюшина. Он зашел на телеграф и отбил телеграмму

следующего содержания: «Теплоход «Должанск», Кустистому Фоме Гордеевичу. А в разведку все же придется идти вместе. Связным Рыжик. Альфред».

На борту «Должанска» Корнюшин не встретил обычного оживления. Судно словно вымерло. Вахтенный у трапа был хмур и сообщил, что подменного «шефа» срочно ждут в капитанской каюте.

Капитан «Должанска» сидел на диване с отрешенным лицом и недружелюбно скосил глаза на вошедшего Корнюшина. За его рабочим столом расположился молодой человек неуловимого облика, но с очень проникновенным взглядом. У торца стола сидел почти его двойник, такой же строгий и внимательный. Оба задавали какие-то вопросы бледному, как мел, стармеху Кустистому.

— Прекрасно, вот и ваш сообщник явился, — сказал сидящий за столом. — Так в какую разведку вы намеревались идти вместе? И что вы собирались передавать через связного Рыжика?

Корнюшин похолодел, поняв, что это за люди и какую глупость он сморозил посредством дурацкой телеграммы...

Битых два часа работники органов задавали всевозможные перекрестные вопросы Кустистому и Корнюшину, предлагали не уваливать от правды, а сознаться в намерениях использовать заграничный рейс для переправки тайной информации за рубеж. Или налаживания там агентурной связи. Отметались уверения в том, что телеграмма была просто шутка в морском духе. Был вызван в каюту и Рыжик, бодро завивавший хвостом при упоминании своего имени. Но его готовность к сотрудничеству особистов ни в чем не убедила. Они полагали, что кличкой корабельного пса завуалировали настоящего агента для большей достоверности его легенды.

Собеседование кончилось тем, что двух подозреваемых во враждебных намерениях списали с судна и отправили домой своим ходом, взяв подписку о невыезде из Мариуполя. На автостанцию Кустистый и Корнюшин шли порознь. В ожидании автобуса каждый из них несколько раз заглядывал в дорожное кафе, принимая по сто граммов для успокоения нервов. В очередной раз они столкнулись у двери, поглядели друг другу в глаза и, вздохнув, уселись за общий столик.

— Я тебя не виню, — промолвил Фома Гордеевич, заедая стопку резиновой котлетой. — Но как они не понимают, что

була просто хохма и такую глупую телеграмму ни один настоящий шпiон в открытую не отобьет?

— Им положено бдеть, вот они и бдят, — сказал Гена. — Работа такая. Надо было подписаться не «альфред», как вы меня ошибочно нарекли тогда, а по-настоящему — «альфонс». Тогда бы они еще сильнее задумались...

— Вот теперь мы будем думать, когда визы закроют, — печально произнес Фома Гордеевич.

— Мне кажется, — подытожил Корнюшин, — если этот факт дойдет до Рыжика, он вновь ударится в запой. Пропадет без нас пес...

Наталія Хаткіна

ДУШКА-2

Всі знайомі вважали, що Ользі в сімейному житті не поталанило, а Ольга — навпаки, що поталанило, і навіть дуже. Вона взагалі відносилася до рідкісного серед жінок типу, щиро задоволених...

Самі знаєте, багато хто без скарг не проживе і доби. Кому, як кажуть, і борщі не густі, і перли дрібні. Комуś чоловік зарплатню не доніс, а комуś норку купив не того відтінку.

Є таке слівце — «прибіднятися». Прибіднятися для того, щоб зайвий раз не попросили допомоги або грошей в борг, — примітивізм. Пригнутися, щоб стріла поганого заздрісного погляду пролетіла над головою, а не потрапила в серце, — це вже ближче. Ми, жінки, марновірні. Саме тому і зменшуємо свій успіх: відводимо пристрій. І те: варто тільки похвалитися новими чобітьми, як від них негайно відлітає каблук.

Паралельно з язичницькими традиціями обрядового скиглення існує і нова мода — на американську усмішку. Леді-успіх з готовим вищиром — і завжди у перших рядках, і у всіх на вустах! Це дратує, але не дуже: всі ж розуміють, що вона прикидається, а насправді у неї від безперервної демонстрації металокерамічного шедевра вже щелепи ниють і вуха від"їжджають на потилицю.

А ось хто по-справжньому виводить з рівноваги — так це наша Ольга, яка без жодного удавання випромінює радість життя і згоду зі світом і з собою.

Причому з найраннішого дитинства. Сидить, бувало, в пісочниці — і посміхається.

Дітлахи, які жвавіші, вже все у неї позабирали: і совочок, і відерко, і лялечку пластмасову у ванні, а їй — все нічого, все просто чудово. Одна матуся навіть не витримала — шпурнула в щасливу дурепу піском: «Припини! Ти що, ненормальна?» Вся пісочна малеча з готовністю заревіла, а Ольга від несподіванки сіла на попу і... залилася дзвоником. Смішно ж! Доросла тітка — а піском кидається. Як маленька!

Не люблять у нас задоволених. Так і вишукують, у що носом ткнути. Олі тикають в невідале заміжжя. Три рази бути заміжною — і залишитися на самоті! І ще і посміхатися, не для того щоб всі бачили, а так — від надлишку життя. Хоча, звичайно, жити в такому будинку, в такому районі — кожна була б задоволена. У самому центрі, в глибині, за спинами тих, хто ковтає вихлопні гази багатоповерхівок, ховається тиха зелена вулиця, забудована двох- і трьохповерховими будинками. Вони оточені квітниками і газонами. Заглянь за огорожу (якщо вдасться) — і побачиш у кого альпійську гірку, у кого зелену вітальню з привабливим затінком, а у кого і японський садок над крихітним озерцем. Дивовижний дизайн! Виняткова флора! Це все Ольга зробила. А впливові забудовники на чолі з... не скажу, з ким, виділили їй флігель з мансардою-майстернею, щоб вона могла спокійно вирощувати і філодендрони, і араукарії, і смішні ліани з крупним опушеним листям, яке діти з особняків прозвали «слонячі вуха», і неймовірні китайські деревовидні півонії, схожі на ароматні блюдця з рожевим чаєм. Всі знають: у всьому місті тільки у Ольги такий флористичний дар у поєднанні з талантом художника за інтер'єром; вона тільки подивиться на який-небудь малопомітний паросток зі скрученими в мляву дульку листочками — і той миттю починає ворухитися, рости, квітнути і пахнути. Один — два — три — і це вже рідкість, щось вишукане, екзотика! Записуйтеся в чергу.

І записувалися. Пошесть якась, ботанічний грип: хочеш органічно увійти до еліти — замов у Олі мавританський газон, міні-парк, зимовий сад, шпалеру з ампельними рослинами у вітальню... ну і так, ще якісь дрібниці. Фітодизайнер «намба

ван», вона не тільки розводила рідкісні і не дуже рідкісні рослини, але і знаходила для них в просторі єдине місце, відповідне і для людини, і для плющу — резеди — незабудки — діффенбахії — всьому, що посилає нас до втраченого раю.

Зелена вітальня... Знаєте, що це таке? Якщо у вас є особняк, а перед ним двір, тоді дуже рекомендую. Ось прийдуть до вас влітку гості, а ви не замкнете їх в чотирьох стінах, а запросите на свіже повітря, під легкі кризні зведення, переплетені рожевими і бузковими клематисами, а то і середньовічними трояндами — як в казці про принцесу Шипшинку.

Втім, деякі по-старому віддають перевагу агрусу. Оля великий фахівець з таких віталень: підвісні кошики зі спадаючими гірляндами квітів, міні-фонтани — в природному стилі, без усіляких пісяючих хлопчиків або безглуздо всміхнених фаянсових русалок. Об'єм роботи великий, для неї запрошують помічників з ботанічного саду, але їй однаково солодко і розробити проект, і власноруч висадити рослинку в землю, як мале дитятко з теплого ліжечка висажують на горщика.

Втім, якщо у вас дійсно є особняк і двір, вам, мабуть, ніколи насолоджуватися тінню агруса. Це роблять ваші щасливі родичі. Ви ж, з ранку до пізньої ночі, стирчите у себе в офісі, і краса життя перебуває десь осторонь. Від душі пошкодувавши нещасних ділових людей, Оля розробила і ненав'язливо ввела в моду «офіс — зимовий сад». Ніяких штучних пальм!

Справжня розкішна зелень; ніжно, неагресивно пахнучі квіти; хлорофітуми, що поглинають тютюновий дим; монстри з акуратними круглими отворами в жахливому листі і банани, які навіть плодоносять. І неодмінний акваріум з мерехтливими неончиками або повільними важливими астро-нотусами. Перемовини в таких садах вдаються дуже вдало. Хто ж стане сперечатися в раю?

Останнє «ноу-хау», що підкорило серця молодих, щойно розбагатілих батьків, — дитячі ігрові майданчики «Тарзан в джунглях». Невисокі дерева з витягнутими паралельно до землі товстими гілками, на яких так зручно споруджувати те, що в нашому дитинстві називалося «халабудами»; пружний дерен, впадеш — не відчуєш, відскочиш, як від батута. Таємничі малахітові тунелі-лабиринти дрібнолистоного чагарника — що ви, що ви, ніяких шпичаків! Декоративні гроти, вода, що біжить з камінчика на камінчик, сюрпризи — словом, мрія

про щасливе дитинство в реальності! Все, про що марила, прочитавши Майна Ріда і Жюля Верна, маленька Оля, доросла Ольга утілювала на наданих їй майданчиках — і грошей на це не шкодували. Хто ж не схоче заплатити за мрію?

За всі свої ботанічні уміння Ольга абсолютно невдавано вдячна своєму останньому, третьому чоловікові. Хоча він і пішов від неї зі скандалом: «Я тебе ось цими руками зробив! А ти! Зарвалася! Зазналася!» Дружина, що «зарвалася», тільки посміхалася розгублено: «Милий, ну як же ж, ну що ж? Адже ж це наша загальна справа... Підключайся!»

— Он як! Я, значить, «підключайся», а ти будеш першу скрипку грати! Та ти б без мене!..

Ольга і не сперечалася. Насправді, за вдачею вона була якраз «душкою», тією самою чеховською душкою, яка ніжно прикипала до свого обранця, як мовилося в колишні часи, «всіма фібрами душі». Жила його інтересами, думками, планами. Вся була готова розчинитися як в улюбленій людині, так і в його справі. Так розчиняється ложечка меду в чашці. Проте мед — це мед, запитайте у будь-якого Вінні-Пуха. А ось любителів несолодкого чаю зовсім небагато.

Те ж саме було і з першим чоловіком. «Мадмуазель О» — так звали Олю на філфаці — вона була тоненькою легковажною пурхаючою бабкою. Філологію обрала через повну нездатність до математики. І так би і пропурхала всі п'ять років навчання, іноді, для амбіцій заглядаючи в деканат за «бігунцями», коли б не Андрон — визнаний курсовий поет і філософ. Юна бабка була приголомшена його ерудицією і апломбом. А як він читав вірші! Срібне століття! Гумільов! Бальмонт! І натякав, що і сам пише поему... Але тільки ще не час показати її народу... А які зухвалі оригінальні думки розвивав він під час літературних гулянок! Всім відразу було зрозуміле: його диплом тягне на докторську. Ну, на крайній випадок, на кандидатську.

А ще у нього були чорні кучері і несподівано сині очі.

Оля потягнулася услід за своїм кумиром, як спіймана на вудку верховодка.

Їй потрібно було терміново заповнити пропуски в освіті! Хтось, закохавшись, сидить перед дзеркалом. А «Мадмуазель О» відправилася в бібліотеку — вивчати срібне століття. А разом і китайську поезію, і західну філософію, і усілякі модні інтелектуальні прибабаси. Андрон повинен був поба-

чити в ній споріднену душу! А краси їй було не позичати — блондинка вона і є блондинка, що тут казати!

Ніжна шкіра блондинки запалала малиною зорею, коли відома всім «теревенько-реготушка» наважилася заговорити про високі матерії. Проте Андрон зупинив на ній свій прихильний погляд. Вони бродили осіннім бульваром, читали один одному вірші, обмінювалися «культурними знаками»: «А це ти читала?» або «Хто тобі ближче: Борхес або Кортасар?» Іспит «на розумність» Оленька здала і була допущена до філософсько-літературних бесід, як в колі друзів, так і наодинці. Спочатку вона елементарно прагнула не відстати. А в якийсь момент їй просто стало цікаво! Вона стала все частіше навідуватися в бібліотеку, кожний вечір поспішаючи поділитися радістю з коханим: «Ти тільки подивись, що я ще відкопала! Тільки мені здається, що автор не зовсім має рацію... А ти що скажеш?»

Андрон не завжди знаходив, що сказати, і Оленька легко забувалася в поцілунку. А потім не тільки в поцілунку — слава Богу, Андрон володів своїм житлом, що дісталася йому в спадок від люблячої бабусі. Особливу піднесеність інтиму додавали інтелектуальні бесіди «до і після». Іноді юна жінка ловила себе на смутній підозрі: вся зухвалість і оригінальність ідей кумира черпалася з підручників і журналів «часів очаківських і підкорення Криму». Цитати, цитати, цитати... Андрон повторювався, а його бабка вже летіла поперед нього!

Викладачі дивувалися: на третьому курсі бабка раптом зробилася завзятою літературознавицею! Студентські роботи «маленької О» відправлялися на столичні і інтернетівські конкурси і нагороджувалися призами. Перша публікація в науковому журналі стала для колишньої трієчниці радісною несподіванкою. «Ура! Андрон!»

Андрон був холодний: «Що ти про себе уявляєш? Всі свої так звані «відкриття» ти нахабно вкрала у мене. Це все моє, моє... Дивно, що ти ще запам'ятала, з твоїми-то курячими мізками! Я життя на тебе поклав! Поки тебе вчив-виховував, час промайнув. Через чотири дні курсову здавати, а я ніяк матеріал до купи не зберу. І все через тебе!»

Оля страшенно злякалася. Коханий страждає через неї! І за неможливих чотири доби милими дівочими ручками зробила цілком ефектну курсову для свого синьоокого. Курсову відзначили як неординарну. Андрон прийняв все за чисту

монету: «Класно дівчинка попрацювала під диктування! Папужка ти моя!»

Студентське весілля було галасливе, безладне і повне надій. На жаль, надії не виправдалися. Молода дружина все менше дивилася в рот чоловікові, все більше — в книжку. На п'ятому курсі вона, все так само свято вірячи в спорідненість душ, примудрилася спорудити два дипломи — «для себе і для того хлопця». Як це не сумно, її диплом все-таки справив більше враження. Чи то на питання вона відповідала більш кваліфіковано, чи то тема її більш хвилювала, але Андрон остаточно замкнувся у собі і звинуватив свою душку в паразитизмі. Душка плакала, просила вибачення, але зробитися дурнішою вже не могла. При розлученні ділити було особливо нічого. Андрон зі шкідливості забрав собі бібліотеку. Ользі батьки купили однокімнатну квартиру.

Залишившись одна, довго каялася і міркувала, в чому вона провинилася. Але любов до літератури залишилася. Вона її і тягла: статті, учні, доповіді на конференціях.

Ех, Олюсю, чи нам сумувати? Смак до хорошого тексту залишився у тієї, що була бабкою назавжди. Вона і зараз тішиться не бразильським серіалом, а новою книжкою або товстим журналом. Втім, бразильських серіалів теж не засуджує, оскільки снобістське попльовування на чужі смаки їй було чужим з самого початку.

Книжки і журнали коштують недешево. Але з'явилися гроші. Ні, не від учнів і доповідей — це так, на підтримку джінсів. Ольга зустріла своє нове кохання.

Хто заплутався, тим поясню: йдеться про іншого чоловіка. Найбанальніше знайомство в ресторані. Відзначали чиюсь дисертацію, у виробництві якої наша філологиня зіграла не останню роль. Ерік святкував у тому ж кафе свій день народження і був підкорений натхненною красою Олі, її зануреністю в якесь інше життя. Починаючий фінансовий бонза з повагою вислуховував абсолютно далекі йому поетичні рядки і задля розваги намагався присвятити «математичну дурепу» в проблеми бізнесу.

Ні, Оля не засунула том Ахматової ногою під тумбочку. Срібне століття все так само тремтіло в її душі срібною струною. Але натура душки негайно вимагала розчинитися в новому обранцеві — цілком і повністю! І натхненна персона стала присвячувати хвилини, призначені для відпочинку,

вивченню фінансів і кредиту. Ерік сміявся, Ерік розчулювався, Ерік зробив пропозицію, яка була прийнята з таким довірливим захопленням, що навіть і доля-зірка випала б в осад.

Хороший хлопець був Ерік! «Кухонну дурепу» з дружини не робив; наряди і книжки купував за першим — ні, не вимозі! — натяком; а найголовніше: з поблажливою усмішкою «провітрював» вечорами в її компанії всі свої підсумки і плани, дебети і кредити. Оленька навіть і не підозрювала, яка поезія та інтрига розміщена в цифрах, помічених диявольським змієподібним знаком долара. Вона поволі вникала в проблеми чоловіка, але з порадами не лізла, пам'ятаючи про перше фіаско.

Проте і чарівним казкам буває цілком побутовий кінець. Еріка проставили. Грубо, неінтелігентно і несподівано. За першою допомогою він інтуїтивно побіг не до колег і не до юристів. Схилив лису свою голову на м'які доглянуті ручки дружини. І сам не помітив, як виклав все до останньої таїни. «Не засмучуйся і спати лягай», — голосом Василини Премудрої проспівала Ольга. І сама вместилася поряд, і примусила свого люб'язного забути тугу-смуту до першої вранішньої зірки. А з першою вранішньою зіркою у неї вже був готовий фінансово-юридичний план порятунку. Ерік закричав: «Єврика!» — і зник на три дні. Повернувся з дорогою каблучкою, квітами, шампанським і... думкою про еміграцію.

Василина Премудра передбачала і навіть пропонувала цей варіант. Подружжя — це ті, хто в одній упряжці. У одній упряжці Ерік і Оля досконально прорахували всі варіанти «за і проти», поки, нарешті, не утворилася одна-єдина оптимальна композиція вирішення всіх справ. Ользі в цій композиції місця поки не було. Вона і це передбачила. Попрошалося подружжя ніжно. Листи з Південної Америки електронною поштою приходили двічі на добу. Палкі освідчення в коханні поєднувалися з цілком практичними бухгалтерськими і, знову-таки, юридичними питаннями. Оля розбивалася в пух, але знаходила єдино правильні відповіді.

Упряжка була на висоті. Незабаром дружина стала отримувати від вдячного чоловіка пристойні грошові перекази, частину з яких витратила на курси, що допомогли їй стати ще компетентнішою в загальній справі. Ця електронна поштова гармонія володіла особливим зарядом, немов з піратсь-

кої пісні: «Ми спина до спини у щогли, проти тисячі — удвох!»

І раптом... Ну, ви здогадалися? Потік листів різко скоротився, потім вичерпався, потім надійшло останнє «пробач». Покохав іншу, вона зовсім молода, з нижчих шарів, ні захисту, ні поручителя... Що могла відповісти наша Оля? І знову ви здогадалися! Звичайно, «люблю», звичайно, «бажаю щастя»! І ще: «Надішли фотографію своєї Ізольди. Їй, напевно, треба вчитися? Може, ти не будеш більше надсилати мені гроші? Адже навчання коштує дорого...»

Зворушений Ерік відповів грубо; «Щодо грошей — не мороч мені голову! Прислав — і присилатиму! Ти, душка, мій рятівник, моя дороговказівна зірка! А Ізольда... Ізольда народжуватиме».

Душка поплакала над цим листом, не без цього. Ну не дав їй Господь дітей, не дав. Все на небесах запроTOCOLьовано. Їй чоловік був замість малечі. Його нянчити. Його вколисувати. У нього вчитися дитячій, єдино правильній мові. І його ж, коли підріс, узяти за руку і вести за собою, щохвилини повертаючись і питаючи:

— Тобі подобається? Тобі цікаво?

Ці материнські інстинкти визначили вибір третього чоловіка. Денис, або — як його усі за молодість років і простоту називали, — Дениско, володів зовнішністю оперного Леся (льняні кучері, блакитні очки, сором'язлива усмішка) і романтичною посадою техника в ботанічному саду. Його м'якість, поступливість, сентиментальність налаштували Олю на заколисуючий лад: от так узятися за руки і марити, марити... Марити над ботанічними атласами, над шеститомником «Життя рослин», над фотопідбірками рідкісних орхідей. Серед марень раптом пробилося певне бажання: Денису хотілося розвести рідкісний сорт хризантем. «Чого хоче милий — того хоче Бог!» — у свідомості подвижника любові цей поширений трафарет трансформувався саме так. І Оля втретє пішла по второваному шляху: довідники, енциклопедії, консультації із знавцями. Та ну вас! Нічого ви не розумієте! Голчата, зеленувато-жовта хризантема; сорт керований: хочете — розквітне влітку, хочете — до Восьмого березня; пелюстки не обсіпаються... Ні, вам не зрозуміти! На щорічній виставці квітів був просто фуор.

Голландці зацікавилися, замовляли. Дениско перший успіх

готовно прийняв за свій. Після третього задумався. Олю хризантеми цікавили явно більше, ніж «молодий». Дениско був років на п'ять молодшим за неї, через що вони, не бажаючи робити помпу з нерівного шлюбу, одружилися скромно і як би похапки. Дружина факт вікової переваги (воно ж і недолік) всіляко замазувала, намагаючись як можна частіше звертатись до чоловіка за порадами, але той був ображений спочатку і назавжди.

Влізти в його святая святих! Влаштуватися там по-господарському! Ось дали б йому подумати... Він би все зробив краще. Якісніше, взагалі не так! Ось тільки дайте подумати... Років десь п'ятнадцять-двадцять. Довірливу душку знайомий симптом не нашорошив, хоча і з першим чоловіком було так само. Ні, чесно кажучи, з Дениском гірше. Випивати став. А як не пити? Справу життя вихопила з рук якась кар'єристка! Пригрів змію на своїх грудях!

А Оля ставилася до життя все так само наївно. Все так само намагалася поділитися з рідненьким-коханеньким своїми досягненнями в загальному (так їй здавалося) захопленні.

А ось у нас замовлення нове! На озеленення приватної лікарні! А ось нам нова пропозиція! Оформити офіс! У нас є можливість влаштувати оранжерею, правда, далеко від центру, але ми зможемо, правда? Нас, ми...

Вона ще вживала ці частини мови, що пов'язували, і абсолютно не помічала, як кожний наступний успіх відносить її від слабенького, нещасенького, ураженого чоловіка до зовсім інших берегів. Денис став надовго затримуватися у пивбарах, де, за слов'янською традицією, всі кляли дружин-гадюк, які заважають справжнім чоловікам зайняти справжнє місце в житті.

«Дружина-гадюка» про це не підозрювала, тому що в пивбарах їй робити було нічого, а мовчазні оранжерейні рослини ніяк не могли переказати, що саме говорив на її адресу скривджений чоловік, коли іноді з'являвся з лійкою серед розсади, що перелякано зіщулювалася.

«Побити горщики» — ви думаєте, це образний вираз? Нічого подібного! Так воно і було. Все ще віруюча в спорідненість душ Оленька «на блакитному оці» показала своєму блакитноокому чоловікові запрошення на голландську виставку.

А вслід за глянсовим запрошенням — приготовлені для

виставки рослини. Наступного дня вона застала в оранжерейі спустошення і ті самі «побиті горщики». Розбилася справа життя і любов на додачу. Залишалось тільки самій битися головою об стінку. Але, по-перше, в оранжерейі навкруги скло, битися об нього небезпечно, а по-друге, абсолютно немає часу. Та і голландці, врешті-решт, не винні! Вони хочуть побачити новий сорт, а хто з ким горщики побив — їм діла немає і не повинно бути. Оля відібрала те, що вціліло, продумала дизайн і композицію, які приховували недоліки. Коротше, вивернулася, як могла. На виставці було представлено, звичайно, «не те», але цілком пристойне «не те».

Блакитноокий чоловік після всіх ексцесів загубився в блакитній далі. Чи то груш обжерся, чи то їх же ж оббиває — нікому не відомо. Ольга якийсь час ходила зі здивованою гримасою на обличчі, а потім остаточно пішла в квіти і листя, що і дозволяє їй зараз зберігати невдавану усмішку, яка так дратує багатьох.

Нещодавно ця усмішка набула нового відтінку. Душка застигає на місці і немов би зважає, прислухаючись до себе, якісь протилежні варіанти. Навіть долоні, забруднені землею, тримає, немов чаши вагів: яка переважить — ліва чи права? Причиною цьому електронна пошта. Еріка покинула Ізольтда.

Вирішила стати кінозіркою. Дівчинку залишила татові, письмово відмовившись від всіх прав в обмін на грошове утримання. Так от, чи не могла б Ольга забути всі образи (Які образи? Немає ніяких образ!) і возз'єднатися з чоловіком? Їх все-таки стільки зв'язує! І, знову ж таки, дитині потрібна мати...

Душка ще в роздумах, а ми з вами вже знаємо, що вона вирішить. Бережи її Доля на всіх шляхах. Можливо, нове розчинення нарешті принесе їй щастя!..



МАТЕРИ

Рассказ

Солнечным февральским днем пожилой мужчина, укрываясь от ветра воротником светлой дубленки, тяжело взбирался по лестнице, ведущей к Кирилловской церкви на Куреневке. Через каждые 5-6 ступеней останавливался, тяжело дышал, жадно хватая открытым ртом морозный воздух и, шурясь сквозь запотевшие очки, пытался разглядеть открывающуюся перед ним панораму города.

Звали его Василием Андреевичем Двинициным. Он был уже пенсионного возраста. Недавно перенес операцию на сердце, но продолжал работать собственным корреспондентом одной из киевских газет. Вот уже несколько лет, приезжая в Мать городов русских, он обязательно приходил сюда, взбирался на холм к Кирилловской церкви и подолгу стоял молча на коленях у иконы Божьей матери, написанной когда-то Михаилом Врубелем.

Киев лежал, засыпанный пышными сугробами розоватого от солнечных лучей снега. На холмах сверкали золотом купола храмов и колоколен. Среди старых, кажущихся приземистыми с холма зданий, как неровные розоватые зубы в искусственной челюсти, хаотично торчали дома новостроек. Зримые символы нашего прагматичного времени.

«Какая неумная эклектика», — поморщился Василий.

Добравшись до очередной площадки, он остановился, протер носовым платком запотевшие очки и вспомнил, как пришел сюда первый раз. Это было лет десять тому назад.

Над землей полыхал тогда летним зноем август. Но, несмотря на жару, он вбежал к храму, как бегут в надежное укрытие от грозящей его жизни опасности. Раньше ему не доводилось бывать в Кирилловской церкви, но он давно мечтал побывать здесь, посмотреть работы, сотворенные Михаилом Врубелем. Ему о них еще в детстве рассказывала мать.

Она наказывала, чтобы он, оказавшись в Киеве, обязательно пришел поклониться этой иконе. Мать побывала в

Кирилловской церкви в молодости и на всю жизнь сохранила впечатление от этой необычной работы живописца.

Тогда он тоже находился в командировке здесь, в столице Украины. С утра сидел в редакции газеты, собкором которой работал по Донбассу и вычитывал очерк, посвященный защите несправедливо осужденного на 12 лет тюрьмы молодого лейтенанта милиции. В материале Василий подробно разбирал прокурорскую версию обвинения героя его очерка и камня на камне не оставлял от подлой казуистики, сотворенной продажными служителями Фемиды.

Едва Василий успел дочитать материал до половины, как зазвонил стоящий перед ним телефон. Он машинально снял трубку и, не успев сказать: «Алло», — услышал взволнованный голос своей жены:

– Мне Василия Рюмина, пожалуйста!

– Таня, это я!

– Пришла телеграмма от твоей сестры — умерла мать!

Он услышал горестный всхлип жены, и трубка просигналлила короткими гудками отбоя.

Бросив недочитанный очерк на стол заместителю редактора Олечке Кошкиной и сообщив ей о своем горе, он кинулся в аэропорт, но стояла пора отпусков и билетов не было на десяток дней вперед. Та же картина повторилась и на железнодорожном вокзале.

Неприступные дежурные на все его мольбы и просьбы о билете отвечали: «Покажите телеграмму, заверенную врачом». Телеграммы не было. Он дозвонился до жены, но и на телеграмме сестры не оказалось визы врача. Тогда и вспомнил он наказ матери: сходить в Кирилловскую церковь.

Взлетев на холм, с какой-то робостью вошел он в каменную прохладу храма. Народу внутри было мало. Трепетные кисточки электрических лампочек разгоняли полумрак.

И первое, что он увидел — это глаза Богородицы. В них вскипала вселенская тоска. Только потом Василий рассмотрел чуть склоненную набок голову Божьей матери и маленького Иисуса. Сын Божий благословлял идущих к нему людей. В позе Богородицы непостижимым образом сочетались такие понятия, как решимость отдать своего сына ради спасения человечества на смертные муки и огромное горе матери.

Несмотря на бесконечное, как космос, его горе, от этого взгляда Богородицы словно чуточку отступило, на душе не-

много полегчало. Загипнотизированный взглядом, он медленно шел к иконе и странное умиротворение постепенно охватывало его существо. Подойдя, он опустился перед ней на колени и понял, постиг, что Богородица Врубеля знает о том, какая мученическая смерть ждет ее Сына. Но она знает и то, что только через Его распятие будет спасен род человеческий. Василию в тот миг показалось, что Богородица разделяет с ним и его горе. Понял он и то, какое неземное страдание довелось ей пережить. И на сколько ее потеря, ее горе страшнее всех несчастий их, обычных людей.

Выйдя из храма, Василий безучастно опустился на деревянную скамью возле его стены. Сквозь тонкую ткань летних брюк почувствовал тепло нагретых солнцем деревянных реек. Развернувшись лицом на северо-восток, туда, где за степями, за лесами, за озерами и реками находилось Поморье, — его далекая родина, — Василий погрузился в воспоминания. Он вдруг осознал, что с этого дня выходит уже на финишную прямую. Со смертью матери он перестает быть чьим-то сыном и в чем-то ребенком. Теперь Василий только глава семьи, только муж и отец!

Вспомнил он и последнюю встречу с матерью. Это произошло весной того же года. Василий был в командировке в Москве. Он любил первопрестольную. Ему часто доводилось бывать в ней, в детстве и в юности. Тетя его матери, происходившая из старых русских интеллигентов, Вера Павловна Грузинская по мужу, а в девичестве Рюмина, приглашала Василия пожить у нее во время школьных каникул.

Он называл ее бабушкой. Отец Василия отбывал в ту пору тюремный срок на Колыме как враг народа. Матери приходилось туго с тремя детьми. А Вера Павловна любила маленького Васю и охотно забирала его на лето: подкормить, поводить по театрам и музеям, да и просто скрасить ее одиночество. В тот год осталась она вдовой.

Он помнил, как Вера Павловна водила его по театрам и музеям, как перед каждым таким походом рассказывала, что они сегодня увидят, как настойчиво заставляла его учиться. Вера Павловна, как юная девочка заветному подарку, о котором страстно и долго мечтала, радовалась его университетскому диплому.

Уже давно покоилась Вера Павловна рядом со своим мужем Алексеем Петровичем на Средне-Калитниковском кладбище

Москвы. Василий, приезжая в столицу, всегда приходил на могилу дорогих ему людей, возлагал на плиты надгробий цветы и мысленно давал бабушке отчет о своем житье-бытье.

Как всегда по утрам, он звонил из московской редакции в Донецк жене. На третий день командировки Татьяна сообщила, что пришло письмо от матери, в котором она пишет, что находится в больнице и просит его приехать.

Василий сразу же отправился на Ярославский вокзал, сел в поезд «Северное сияние» и на следующее утро был в Вельске. Не заходя к сестре, он на такси поехал в больницу. Мать лежала в кардиологии.

Быстро нашел лечебный корпус. Это было новое деревянное двухэтажное строение. Внутри крепко пахло лекарствами и пихтовой стружкой. Мать лежала в четырехместной палате. За то время, что он не видел ее, она словно уменьшилась в росте и заметно усохла, похудела. Ее седые, как выбеленный лен, волосы были собраны в тугий узел на затылке. На бескровном лице радостью засветились синие, не выпцветшие от прожитых лет, глаза.

Мать тяжело поднялась, увидав его. Темно-синий вельветовый халат, в который она была одета, висел на ней, как на девочке-подростке.

— Не чаяла, что ты так скоро обернешься-то, — по северному «окая», говорила мать, целуя Василия.

— Я был в Москве, — пояснил он, осторожно обнимая мать загруженными сумками руками. — Потому-то так быстро и приехал!

Василий прошел к столу, поставил на него разноцветные сумки, набитые ранними овощами, апельсинами, бананами, купленными им перед самым отъездом из Москвы и, обращаясь к женщинам в палате, сказал:

— Угощайтесь, пожалуйста! Витамины тут. Они вам будут полезны.

Они медленно пошли с матерью на берег Ваги, сели на скамейку, стоящую под тенистой старою елью. Василий поцеловал ей руки и еще раз сказал: «Здравствуй, мама!»

— Здравствуй, сынок, здравствуй! Извини, что вот я так срочно оторвала тебя от дела. Но очень повидать хотела и поговорить с тобой. Может, последний раз свидимся-то.

— Ну что ты, мама! — горячо возразил он.

— Я не боюсь того, что будет! Пришло время уходить и

моему поколению. Чувствую, что мне пора уже собираться к отцу. Ждет он наверное, не дожидется. Мы ведь при жизни-то много лет врозь прожили и очень скучали друг по другу. Так, видимо, было нам на роду написано. То — война, то — тюрьма, то в голодные годы на заработки уезжал: в Архангельск на лесопилки, в Ярославль на стройки. Семью надо было кормить. Только вы со мной и оставались. Да и тебя-то тетя Вера забирала, чтобы подкормить, да поучить. Любила она тебя!

— И я любил ее, мама. Даже диплом об окончании университета ей первой привез показать, а уж потом и к вам с ним явился.

— Ну да ладно! Рассказывай, как Татьяна, как внучек Алешенька поживают?

— Мама, о нас ты не беспокойся, мы живем дружно. За двадцать три года мы с Татьяной худого слова друг другу ни разу не сказали. И в этом не моя заслуга.

— Да и ты у меня тоже не скандалист. Умеешь терпеть и быть упорным. Умеешь семью беречь. Я благодарна тебе за это. Я знала, что у тебя в семье все хорошо будет еще в то время, когда ты школьником был. Помнишь, как в пятый, шестой и седьмой класс вы с ребяташками аж за десять верст в школу ходили. Бывало, ни свет ни заря поднимала тебя зимами, снаряжала, а сама едва слезы сдерживала. Вы и в пургу, и в мороз становились на лыжи и бежали на учебу.

— Мама, я же в пургу у тети Таисии оставался ночевать, а она рядом со школой жила, — напомнил Василий.

— Ты оставался ночевать у Таисии, когда в школе тебя непогода заставляла. А после выходных бежал на занятия в любую непогодь. Я не отпускала, а ты все равно убежал. Но я не об этом сейчас вспомнила и заговорила.

Однажды ко Дню Советской Армии вам в школьном буфете продали по килограмму конфет-подушечек. В 1951 году это было. Я на всю жизнь запомнила. Ты, как все дети, сладкое очень любил. В те годы и обычный сахар был большой редкостью. А в доме у нас все почаевничать, да посидеть за самоваром любили.

Ты пришел домой замерзший, голодный, но ни одной конфетки в дороге не съел, вытерпел, победил соблазн — выдюжил. Я тогда аж расплакалась и сама не поняла от чего. То ли от нашей беспросветной бедности, то ли от того, что

ты у меня молодец: крепким парнем растешь. Ведь у наших соседей Колька Максимов, помнишь его, все конфеты тогда съел, пока до дому дошел. Мать его, Настя, сильно ругала. На всю деревню слышно было.

— Мама, а, кстати, что с ним сейчас? Где он — Колька-то?

— На механика выучился, в леспромхозе работал, да спился, семью потерял. Все на пропой из дома тащить начал. Теперь где-то шляется по свету, как неприкаянный. Много за последние годы здесь мужиков-то спилось. Стержня в душе нет. В Бога не верят. Власть не любят. Хотя ее и любить-то не за что. Пути для себя не видят. Жалко их. Да что поделаешь?

— А я другой случай из тех лет запомнил, мама. Это было где-то в августе, в 1947 году, кажется. Мы с ребятами пошли на речку искупаться, да рыбу половить. Ничего не поймали, конечно. Снастей хороших не было. А на обратном пути забрались на колхозное поле: горох там поспевал. Мы нарвали стручков.

Я целую пилотку набрал! Голодали мы тогда. Помню, как у наших соседей дочка лет семи была, Тамарой, кажется, звали. Она вначале вся распухла от голода, а потом умерла.

— Много народу-то в те голодные года померло, — горестно сказала мать и истово перекрестилась. — Царство им небесное!

— Несу тогда я домой горох и думаю, что ты меня похвалишь. А ты принялась ругать и как-то очень уж горько заплакала. Говорила мне: «Как ты посмел так сделать? Ведь горох-то это не наш. Это же воровство! Ведь не только мы голодаем. Почитай все люди бедствуют».

С той поры, мама, я копейки чужой взять ни разу себе не позволил. Соблазны, конечно, были! Но каждый раз тот горестный плач твой меня останавливал. И уважение чужим людям, и честность мне нужна не для демонстрации кому-то, как теперь это часто делается, а для себя и для тебя, мама!

Мама, я все хотел спросить тебя. Почему ты тогда со школы ушла? Ведь учительницей было бы легче работать. Там хоть какую-то зарплату, но платили?

— Не я ушла, сынок. Меня уволили! Считали, что жена врага народа не имеет права учить детей. Я ведь преподавала литературу. А это близко к идеологии. Вот и пришлось идти работать телятницей.

Проговорили они тогда часа три. Потом пришла медсестра

и позвала мать на укол. Он крепко обнял ее, приподнял, поцеловал и, отвернувшись, принялся вытирать платком закипающие в глазах слезы.

— Что с тобой, сынок? — забеспокоилась она.

«Я вчера поднял на руки мать и заплакал: так легко было тело ее», — ответил он, вытирая слезы.

— Это что-то из любимой тобой японской поэзии? — спросила она сына. — Ты подарил мне сборничек и я часто заглядываю в него. Книжка эта здесь в палате, со мной. Хорошие стихи. Нам и в школе, и в педучилище, да и потом в институте о них даже не говорили. Ты же знаешь, училась-то я заочно...

— Они самые, мама, мои любимые японские стихи, — ответил Василий и, понурился, не оглядываясь, зашагал прочь.

Но едва успел пройти шагов десять, как его окликнула мать.

— Вася, посмотри на небо! — сказала она.

Он поднял голову — вдали над городом сияли две радуги. Одна большая, яркая, как подсвеченный витраж, охватила полнеба, другая была чуть поменьше и побледнее. Они сияли над серыми тесовыми и шиферными крышами Вельска, над темной каймой далекого леса, над тихой, раздольной рекой его детства — Вагой.

Мать глядела ему вслед, улыбалась сквозь слезы и говорила: «Старики наши всегда считали радуку хорошей приметой, а тут аж две! Все будет хорошо у тебя, сын. Благословляю тебя и Танечку, и Алешеньку. Храни вас Господь!»

Он тогда успел на часок заскочить к сестре, спросил, есть ли у них обменные пункты валют. И узнав, что уже появились, оставил ей 300 долларов на лечение матери. Это было почти все, что он взял с собой в командировку из дома.

Сестра вначале никак не хотела брать валюту.

— Зачем так много? — протестовала она. — Мы же не бедствуем. Все работаем...

Но он настоял. На следующий день был в Москве. Получил в газете гонорар за несколько опубликованных статей в столичных изданиях и поехал в Донецк. Еще в дороге почувствовал, что вряд ли доведется ему еще раз увидеться с матерью. С этим тяжелым чувством надвигающейся утраты Василий

жил все лето. И случилось то, что неизбежно должно было случиться...

Все последующие годы, приезжая в Киев, он стремился попасть сюда, в Кирилловскую церковь. Теперь, после операции на сердце, путь по лестнице превращался для него в тяжелое восхождение. Но в любую погоду одолевал он подъем и не жалел об этом.

Отдышавшись на паперти, Василий открыл тяжелые двери церкви и вошел внутрь храма. Здесь было значительно теплее.

Огоньки лампочек высвечивали лики святых и иконы словно оживали. В их мигающем свете, казалось, шевелятся губы на ликах, словно молились они за нас, грешников. Оживали их глаза и они, хотя и сурово, но понимающе смотрели на прихожан. Только глаза Богородицы, переполненные неземным страданием и любовью, сочувственно встречали всех пришедших в храм людей, разделяли их беды и горести.

Василий привычно направился к иконе. Подходя, обратил внимание на стоящую на коленях женщину в дорогой шубе из голубых песцов. Голову прихожанки облегал белый оренбургский пуховый платок. На безымянном пальце левой руки сине-фиолетовым лучиком сверкнул золотой перстень с крупным аквамаринном. Перстень был надет поверх тонкой перчатки из светлой замши.

Василий встал рядом на колени и, скосив глаза, увидел чистый профиль богомолки, гладкую смуглую кожу ее щек, темно-карие глаза, с молитвенным экстазом устремленные на икону. До его слуха донесся страстный шепот: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь»

После молитвы последовал то ли вздох, то ли всхлип и снова мольба: «Богородица, помоги мне, грешной! Защити моего сына, там, в далеком Ираке. Сделай так, чтобы никто не убил его! Ты же, как и я, — Мать! Помоги мне, Богородица!»

— Мать, проси Божью Матерь о том, чтобы твой сын там никого не убил! — услышал Василий твердый мужской барион, доносившийся из-за молящейся женщины. Чуть наклонившись вперед, он увидел смутно знакомое ему лицо мужчины. Тугой, багровый, как разлохмаченный шпагат, шрам, идущий

ото лба через висок до ушной раковины, придавал ему суровую мужественность средневекового воина.

Женщина замолчала, словно смутилась оттого, что чужой человек подслушал ее тайные молитвы, узнал ее мысли. Она как-то суетливо перекрестилась и, встав с колен, торопливо пошла к выходу. Мужчина со шрамом вдруг улыбнулся ему, как старому знакомому, и спросил:

– Вася, не узнаешь? Чечня! Расстрелянный мной из пулемета внедорожник с тремя пассажирами...

– Михаил, Миша! – удивленно и обрадовано прошептал Василий, чтобы не нарушать сосредоточенную тишину в храме.

– Он самый! Рад, что тебя здесь встретил. Ты чем сейчас занят?

– Да ничем! Домой, в Донецк сегодня отчаливаю. До отхода моего поезда еще часа четыре.

– Пойдем, посидим где-нибудь, пообедаем, поговорим, – предложил Михаил. – Я на машине! – добавил он.

– Тогда, может, на вокзал махнем?

– Можно и на вокзал, – согласился Михаил.

Через полчаса они сидели в привокзальном ресторане. Вспомнили тот день, когда Василий упросил командира взвода мотопехоты старшего лейтенанта Михаила Панина взять его в патрульный рейд по дорогам мятежной республики. Шла вторая чеченская война. Из станицы Шали они направились на бронетранспортере в Ведено. Проехав километров пятьдесят, свернули на грунтовую дорогу, обсаженную стройными шеренгами тополей, и остановились на обочине под их прикрытием.

Михаил рассказал, как на этом участке совсем недавно из проезжающей машины бандиты расстреляли из гранатомета патрульный «бобик». Трое парней из их подразделения погибли сразу, а у четвертого, раненого, «духи» отрезали половые органы и забили их ему в рот и бросили на обочине истекать кровью.

Вскоре им по рации с соседнего поста сообщили, что со стороны Ведено к ним едет серебристый джип, который не реагирует на команды патрулей.

Михаил выдвинул бронетранспортер так, чтобы он был виден с дороги и приказал одному из солдат выйти на асфальт и остановить джип. Вскоре они увидели вынырнувший из-за поворота серебристый автомобиль. Стоящий на обочине сол-

дат поднял руку, жестом показывая водителю, куда встать. Автомобиль притормозил, но, подъезжая к бойцу, вдруг резко увеличил скорость и вильнул в его сторону, явно пытаясь зацепить солдата бампером.

Патрульный оказался настоящим профессионалом. Он мгновенно отпрыгнул назад и сорвал с плеча автомат.

– Отставить! – Скомандовал ему Михаил и, передвинув турель пулемета вправо, дал короткую, но точную очередь по колесам джипа.

Водитель внедорожника к тому времени резко даванул на газ, стремясь побыстрее уйти из зоны обстрела. Подбитый джип, как живое существо, с лету нырнул в придорожную канаву, вылетев из нее, сделал смертельный кульбит и юзом прополз на бок, теряя по ходу детали, до стоящего на обочине тополя.

Когда они подбежали к нему, это была бесформенная груда искореженного металла. Двое из пассажиров мертвы. Третий, сидевший сзади за водителем, сумел вцепиться в сидение, пригнуться и отделался поломанной ключицей и множеством ушибов.

Михаил срочно вызвал «скорую» и сообщил в штаб об этом случае. Погибшими оказались мальчишки из Ведено. Они решили покататься и угнали чей-то джип, потому и не реагировали на сигналы патрулей. Это были чеченцы, родители которых явно культивировали у своих юных чад патологическую нелюбовь к России и к «федералам». Так в Чечне называют солдат русской армии.

Оппозиционная пресса подняла вой. Во всем, как водится, обвинили Михаила, окрестили его профессиональным убийцей невинных детей. Журналисты раскопали, что Михаил был потомственным военным, что его отец, дед и прадед были офицерами вначале русской, потом советской армии. Даже его происхождение поставили в вину, назвав фамилию Паниных династией убийц.

Василий выступил в прессе со статьями в защиту старшего лейтенанта Михаила Панина. За это и ему тут же навесили ярлык продажного и прикормленного генералами писаки. Но, узнав, что он не является даже гражданином России, приумолкли. Суд над Михаилом учел свидетельство Василия, а судья во время процесса ссылался на его статьи и очерки.

Михаил воевал еще год. В одном из боев его тяжело ранило: осколок мины глубоко пробороздил ему кости черепа ото лба до уха. Взрыв к тому же тяжело контузил офицера. Военная карьера на этом закончилась.

— Хотя умом я понимаю, что в той ситуации не мог поступить иначе, — говорил он Василию, грея в ладонях бокал с коньяком, — но никак не могу забыть тех погибших пацанов. Дурачье. Им бы жить да жить, а они по военным дорогам покататься захотели. Ночью снятся их плачущие матери.

— Я понимаю тебя. Вижу как ты изводишь себя гибелью тех пацанов. Но и на родителях тех ребят тоже лежит вина за их гибель. Ты — боевой офицер и не имел права поступить иначе. А если бы они не воспитывали их как абреков, для которых угнать табун лошадей у соседей, или автомашину со стоянки является не воровством, а геройством. Хотя у нее под капотом тоже целый табун дремлет. Если бы воспитывали их в духе уважения к чужим людям и существующим законам, то такой трагедии никогда бы не произошло. Так что уймись и не казни себя. Тебе еще жить надо. Кстати, как ты в Киеве-то оказался? — вопросом закончил свой страстный монолог Василий.

— Да женился я после демобилизации на киевлянке. Работаю в украинском филиале российской научно-производственной фирмы компьютерщиком. Часто хожу в Кирилловскую церковь к Врублевской Богородице. Ты знаешь, я стал после тех событий верующим. А молитва помогает как-то успокоиться. Надеюсь, что еще успею отм



ПОЛДЕНЬ

Последний год
спускаются в забой
Фронтовики последнего призыва,
помеченные шахтой и войной,
и потому
в осанке горделивой
у каждого есть смысл, и правота,
и дух, и свет исполненных стремлений,
которые —
как будто провода
для связи двух соседних поколений.
Военного
и нашего с тобой,
уже отцветшего добротным цветом,
чуть припаленным огненной весной,
но исцеленным радугами лета.
И нас, по сути, не за что
другим корить,
когда мы вроде бы и сами
поединично помним все долги,
что и поныне числятся за нами.
Но заодно,
не славясь похвальбой,
мы все же знаем,
что народ, который
последний год спускается в забой,
уверен в нас,
поэтах и шахтерах.

ЗВЕЗДОПАД

В безлистом лиственном лесу
гуляли лоси на поляне
и пили светлую росу.
А вдалеке
в полутумане
сияло солнце без лучей.
Под ним — высотка с пирамидкой,
звездой увенчанной.
Ручей
к ней припадал изгибом прытким
напротив просеки.
И я
был тронут вдруг и очарован
такой разумностью ручья
в том самом тяжком и суровом,
войной истерзанном году,
когда на этой вот высотке
в крошечном явственном аду
росились лица,
сохли глотки.
А по ночам в лесную глушь
срывались звезды,
как ранеты,
как отраженья ярких душ,
угасших вместе с горьким летом.
Такого раньше никогда
здесь не видали звездопада.
И вот последняя звезда,
как будто старая награда,
посмертная,
на всех одна, —
и не горит и не лучится,
но далеко вокруг видна,
за горизонты,
за границы,
где многоликий враг притих.
Он не прошел здесь не впервые.
И траки гусениц чужих
тому свидетели живые.

СЛОВА

Слова, как цветы.
И поэты
посредством души и пера
из них составляют букеты,
каких мы не знали вчера.
Загадочна та икебана,
но с виду проста и легка.
Царевна моя, Несмеяна,
послушай, как дышит строка!
Как окает в ней неизменно
размеренный наш говорок:
отлого, полно, откровенно,
дорога, окно, городок.
И символы прежние с нею —
земля,
человек,
небеса.
Без них я и жить не умею,
без них мне краса — не краса.
И все потому,
что повсюду,
в ночи и средь белого дня
всегда они были и будут
конкретной судьбой для меня.
Земля —
значит та, по которой
великая Волга течет.
А небо —
по синим просторам
Гагарина вечный полет.
Получше всмотрись,
И меж ними
в бесхитростных этих строках
прочтешь свое древнее имя —
мою седину на висках.

* * *

Мели снега, шумела непогода.
Мороз нас обжигал со всех сторон.
И, съезжившись, тащились мы к породе
на теплый, в сизой дымке, террикон.

И, на гору вскарабкавшись повыше,
усаживались там меж глыб, дрожа,
и долго-долго слушали, как дышит
земли окаменевшая душа.

И плыли, плыли облака над нами,
и с ними вместе плыли мы вперед...
Над черными разбитыми копрами
мели снега, шел сорок третий год.

* * *

Я сызмала к шахтам привычен,
они не пугали меня
ни гулом стальных электричек,
ни скрытой стихией огня.

Меня, пацана, углекопы
в предбанник впускали зимой,
где я по крупичам их опыт
подземный вбирал и земной.

Я грелся, я слушал их речи.
Звенели копры за стеной.
И брал меня кто-то за плечи
и вел под метелью домой.

А мимо неслись эшелоны,
гремя тяжело на мостах.
И рядом росли терриконы
быстрее, чем я выросал.

* * *

Я лес сгружал, к стволу таскал,
потом — всю ночь — во сне летал!
Так высоко и далеко,
что и проснуться нелегко.

А что я видел? Облака —
такие синие, как уголь!
А что еще? Была река
внизу, как пласт, что шел на убыль.

А что еще? Еще — звезда:
она манила и светилась.
И покорялась высота —
и глубиною становилась.

* * *

Для шахтера небо — на земле,
девушка и — сад, и шум дождя.
Свет земли колыхнется во мгле
там — внизу, где скреперы гудят.

Шаг за шагом — к штреку, а потом
до ствола — по шпалам, напрямик.
На-гора пора: там сад и дом,
там весенний дождь к земле приник.

Стосковались парни по земле,
точно космонавты в кораблях.
Высший свет колыхнется во мгле
и сиренью штрек насквозь пропах!

ПОСЛЕ СМЕНЫ

Он вышел в степь. Он в небо поглядел.
Рукою грубой обласкал траву.
И над ручьем прозрачным посидел,
И мир живой увидел наяву.

Лег в чабрецы, в прохладную полынь.
Летел ковыль над головой его.
Молчала степь. В степи он был один.
И вся земля глядела на него.

НА БЫВШЕЙ «СОФИИ»

Через степь, по протоптанной тропке,
на далекие вспышки огней
мы с тобою идем неторопко,
с каждым шагом волнение сильней.

Над домами, дымами, изломом
терриконов горбатых вдали
веет снова до боли знакомым,
будто веет дыханьем земли...

Вот и домик. Калитка. Скамейка.
и акации те же стоят,
словно кто-то, шутя, под линейку
их на улочке выстроил в ряд.

Помолчим. Посидим, коль позволят.
Ну а спросят — мы скажем в ответ:
«Здесь родился Анциферов Коля,
самый лучший шахтерский поэт»

* * *

Над степом шуліка вистежує здобич,
клекоче в яру буркотун рівчакович,
і трепет не стримать, я весь — здивування,
по обрій струмиться моє існування,
по обрій дитячий неторканий рай
і марево синє, і синій курай.
Біжу і землі не торкаюсь п'ятою,
і рій золотий мерехтить наді мною,
тремтить-мерехтить і співає в польоті,
як вільна душа ще не в коконі плоті.

* * *

Як новачку, були не раді
мені в стаханівській бригаді:
не те підніс, не так подав,
і кожен в'їдливо повчав
і підганяв: «Давай, давай!
Быстрее, еханий бабай!
Да говори на человеческом!»
А я селюк, я ще не вмю.
Ніяковію і німію,
і піонером червонію,
що завинив перед отечеством.

І співчував лише Кузьмич:
«Ты не боись, всему обучим...»
І натякав, щоб я з получки
не поскупивсь на могорич.

І все було, як і повинно ...
І всі, звичайно ж, напились.
А потім в пісні обнялись,
як заспівали «Черемшину»,
яка і в нас біля бараку
вже цвіт ронила на поріг,
та я підспівувать не міг,

мені хотілося заплакати
і від горілки, і від того,
що визнали мене своїм,
і від черемхи над порогом бараку,
що нам став за дім,
а ще від того, що нічого
не зміниться в житті моїм.

* * *

Стрімкий терикон наступа на городи, —
як з неба гримить териконом порода,
і валить штахетник і дикий вишняк.
І світу не бачать запилені квіти
Від спалахів гострих
скалок антрациту.
І щоки надув коронований мак,
і віє зі степу важкий суховій
і навіює сон золотий.

А в сквері під кленами б'ють в доміно,
під пісню блатну
розливають вино.
І, може, від спеки,
а, може, і ні,
налите мій друг
допиває вві сні
на березі моря в красівом Криму,
але на похмілля так нудно йому,
такий розбитняк, що не треба нічого...

І тягнеться день так ліниво, так довго,
що, вічність проспавши, прокинеться — спека,
і високо сонце,
і вечір далеко,
і все, як було:
доміно і шмурдяк,
і ніхто не говорить, що тут щось не так.
І віє зі степу
важкий суховій
і навіює сон золотий.

В ШАХТЕРСКОЙ БАНЕ

Виктору Януковичу

Горячий душ – блаженная отрада.
Шахтерки прочь. И покурив, ребята
Идут туда, где белый пар клубится,
Чумадые от головы до пят
И, словно блики, озаря лица,
Улыбки белозубые слепят.
И надо же, намыливший чуприну,
Забойщик знаменитый наш Исай,
Широкую свою подставив спину,
Мне пробасил: «А ну-ка, погуляй!»
Шипит мочалка, как рубанок бойкий,
Крутые плечи до сиянья трет.
Такой, случись обвал, он вместо стойки
Плечом, коль надо, стойку подопрет.
Какая сила в торсе исполинском,
Спина, брат, как сама тебе держава.
А он мне, подмигнув по-сатанински,
Исчез, как бог, растаяв в клубах пара.
Я сел на лавку, обессилев даже,
И улыбаюсь: выпала же честь!
Ужели с тех, кто множит беды наши,
Не ототрем оранжевую спесь?!



ЗА ДАЛЬЮ ЛЕТ

Шахтерская, в садах багряных, Горловка
Рассветным оглашается гудком,
Покалывает спелая антоновка
Неуловимо – тонким холодком.
Я просыпаюсь – надо мной нависла
С плодами ветка, листьями шурша,
И солнечным необъяснимым смыслом
Счастливо переполнена душа.
И полон света, щебета и гама
Осенний разыгравшийся денек.
Беззлобно петуха ругает мама:
«Не видишь – после шахты спит сынок».
За далью лет все так же ветки гнутся
Под тяжестью плодов. Горит роса.
И мать жива. И мне пора проснуться,
Но неохота открывать глаза.

ЗАВАЛ

Завал душил нас духотой.
И все же на исходе суток
Мы вырвались из лап у той,
Которая не любит шуток.
Вдали уже маячил свет.
К нам торопились на подмогу
И радовались: «Слава Богу,
Теперь-то жить вам сотни лет!»
Нас выносила клеть к весне,
Где петушиный крик и зорька,
И я беззвучно, как во сне,
Орал себе: «Живешь ты, Борька!»
И было восемнадцать мне.

В ТО УТРО

*Памяти шахтеров,
погибших весной 1998 года*

В то утро рок слепой
Уже витал незримо,
Когда, шутя, гурьбой
Вы шли на шахту мимо
Бульваров и домов
Веселой птичьей звени
И цветом из садов
Вскипающей сирени.
Болела бы душа,
Что чувствовали сами,
Когда, во тьму спеша,
Качнулась клеть под вами.
И лучик солнца вам
В дверном проеме узком
Ударил по глазам
Перед последним спуском...
В то утро весть, как мгла,
Нас всех застигла разом.
И скорбные крыла
Протерлись над Донбассом.
Их тень черна, как смоль...
Не стало вас, родимых.
Ну, кто измерит боль
Утрат невозполнимых?
И долго вам вослед,
Страданьем освященный,
Роняла белый цвет
Весна в косынке черной.

ДОНЕЦК В АПРЕЛЕ

Âîðîíáüââ îð÷àÿííàÿ ñòàÿ
Íàñóæààò àâíóâ àîïðîíü.
Íà íàðóâàò, íæáí ðàñòàòàÿ,
Ðàâííü àîñêðàòòòò ààðèíü.

Ðàííÿÿ, ïðîòàíàÿ, ñàÿòàÿ -
Â ìåâ íæè àâííà ìåâèèè àîðîá
Ðîçíàòó èâíàñòè àèòòò.
È òàíèòòò, è òàíèòòò àçîó!

Àò, Âííàè, àîèíòàâííóé ìàðòíè,
Èæ æà òü ðàñòàÿ è ðàñòàíí!
Ííàíèè, áíæàñòàííàÿ, ïðîíí
È ñòèè, íæàñòà, ó ìòíà.

* * *

Çà ìàðòííí - ìàðòíí,
Çà òàðòèííí - òàðòèíí.
Èçóíèèííü ñàííèè ìàèèòü.
Ì æèèòò ìà èíèòòèè ìàèèòü
È òàòà áààÿ à ñàòò...
Ë òò èíàà-ìåàòü ñèèòò,
òòíà ìííàè òàòòè è àÿàè
Âíèè ìòíàñòè ñàíèè ìàòòè...
Óèèè ìàçà ìòòèè ìàòòíí,
È ñííà - ñàü ñè àñòò ñòòíí.
Ìèèèòò ìàñíèèòòè èíèíí,

Àãáííàì àñèää äëÿäyò éíðíáú
È æàà:éó ìääéáííí æópò.
(Í íá ñìóùàé ìáíÿ ópð)
Áíéääò ìà ìñòáííâéå -üÿ-òí
È óéääí-èèñéíâäÿ ìàòù,
Á áääéåøáé òòñí:éå - ìèàóéå -
È ñéðíííí ñÿääò á óáíééå
È ìðéíáñò ñ ñíáíp ìàòù
Ìíéúíé áóó è çàíáð ìÿòù.
Ìíáääò óéääíí è æéúáì -
Íá òíéúéí ñòàéùp àà óáéáì.

* * *

È ñèää ìàéääò ìáíÿ ìíÿ ìá:àéü,
È ñèää çòóí:àò á ñáðääò ìíñéèòùñÿ,
ß ìðéóíæó é ìðíñíáéòó Èéúé:à
Áñòóá:àòù èpääé è äéÿáúàòùñÿ á èèà.

Òá:àò æèääÿ, óáíéäÿ òíéíà.
Ííà ìáíÿ ðàññáéääò ñòáó.
È áíò ìáðáíéääèñü ìíÿ òðííà
Ñ òàéèèèè æá, ìáéèèèèèèèèèèè èèèó.

È æé òíðíðí ìí ãíðíáó áðáñè,
È ñèää ìáá áíéíáíé ìáðòàpò çááçáí,
È ñèää ñàáú áíðíáú çàóááñè,
È á ìæèääíüà çàíáð ááøíéé áíçáóó!

Ì íé áíðíà ìíííèò ðóóíóáøéå çááíüÿ
È óéèòù á áóóòpùáì ìáíá.
Íí ìáðáíáñ òàéèè èñííòòáíüÿ,
xòí áíáñà ñ ìèè ìè:òí ìá ñòòàéíí ìíá.

НА ВУЛИЦІ АРТЕМА

Люблю твоє, Донецьк, я сьогодні,
Веселі усмішки дівчат і молодичь.
Оцю буденну круговерть щоденну
у сяєві розширених зіниць.

Сніг шарудить, як музика чарівна,
Хмарки застигли в небі без вітрил.
Мое тут серце б'ється досить рівно,
Йому для злетів не потрібно крил.

А горизонт чорніє в териконах,
І на копрах засвічують зірки.
І по степах гуркочуть ешелони,
Від них димком попахеє гірким.

Нескоро в нас заквітнуть хризантеми,
Ще не звільнилось місто від завій.
Та вже мене на вулиці Артема
Віта Артем в одежі кам'яній.

СПЛИВАЄ ВЕЧІР...

Спливає вечір в теплу ніч
І розливає синь, як повінь.
Але для мене, певна річ,
Ця райська ніч, неначе сповідь.

Як я живу в краю оцім,
Де в небі спалахи і грози?
І пахнуть млосно чебреці,
Дощів чекаючи в тривозі.

Війне із півночі вітрець,
І листям затремтять тополі,
І блисне Сіверський Дінець
Під срібним місяцем у полі.

Люблю поля... Люблю людей,
З якими хліб ділю і воду.
І по житті мене веде
Палка закоханість в природу.

ШАХТАРІ

Вони вставали рано на зорі,
І на автобус йшли бадьорим кроком.
Бронзоволиці хлопці — шахтарі,
Що побратались в вибоях глибоких.

Стаханова нащадки молоді,
Їх називали гордістю Вітчизни.
Й зірки їм прикріпляли золоті,
І почесні всім роздавали різні.

А під землею вибухав метан —
І гинула, бувало, ціла зміна.
О, горя ув очах терпкий туман,
коли і мати не визнавала сина...

Несуть на плечах шахтарі роки,
Людьми не застраховані, ні Богом.
Я б їм не тільки Золоті Зірки —
Все золото землі поклав би в ноги!

В ШАХТНОЙ БАНЕ

Выезжаем! На белом свете
нас дела приятные ждут.
Это — первая сигарета.
Это — шахтной бани уют.
Не торопимся, остывая.
На привычный пейзаж глядим.
Впереди у нас ламповая,
баня— главное! — впереди.
Сняв шахтерки, рабочие робы,
мы расслаживаемся не спеша.
Кто моложе, водичку пробует:
хороша ли? Ах, хо-ро-ша!
То-то радость подземной пехоте.
Наступает блаженства час,
и мы чувствуем, как работа
вместе с потом выходит из нас.
Год за годом обычай не меркнет:
кончил смену горняк — отдыхай.
Баня — это по общей мерке,
по-шахтерски — душевный рай.
«Пару! Пару!» — требуют поры.
Опустеет предбанник вмиг.
Начинают с парилки шахтеры,
чтобы жар до костей проник.
А потом в душевых, похохатывая,
под горячей водой крутятся,
трем мочалками, трем лохматыми
миллионнолетнюю грязь!
Пена — белая. Спины — красные.
И движения так легки...

Братцы милые, жизнь прекрасная!
С легким паром нас, мужики!

* * *

В распластанных гривах, в аллюре гудящем
ветра Приазовья летят,
как дикий табун, глазами косящий
на тонущий в море закат.
В них скифская удаль, сарматская воля
и половцев жадный прищур,
в них запах полыни бескрайнего поля,
предчувствие штормов и бурь.
В отчаянной сшибке течений воздушных
как будто живут до сих пор
ушедших племен разноликие души
и разноязычный их спор.
Гортанно и резко, протяжно и плавно,
то тихо, то громко навзрыд
под ветром шумят приазовские плавни —
то Вечность со мной говорит...

* * *

На окне в моем доме — две ветки калины.
Ранним утром — рассвет, вечерами — закат.
И от алого цвета до спелой малины
эти гроздья под солнцем неярким горят.
В них пульсирует жизнь, как в созвездиях дальних,
неподвластная серости будничных дней.
В каждой ягоде — образы, символы, тайны...
Если вдуматься, так же и в жизни моей.
Я не знаю, когда зарождаются строчки
и откуда порою приходят слова —
то стыдливо нежны, то цинично порочны —
не хранила подобных моя голова.
Почему иногда, вопреки всем законам,
ломанусь напролом, где распахнута дверь?
И зачем так любимый мной прежде зеленый
на калиновый цвет поменялся теперь?
Жизнь похожа на поле, где прячутся мины.
Каждый шаг может стать и последним уже...
На окне моем в доме — две ветки калины,
Словно кровь после взрыва в оглохшей душе.

ВЫСОТА

Поэтический репортаж

**На работу славную,
На дела хорошие
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.**

(Из песни)

А в Донбассе август – золотой...
Далеко еще до листопада,
но горят, впитав июльский зной,
золотые гроздья винограда.
Под нежарким солнечным огнем
ветки яблонь стали тяжелее,
и о бывшем золоте своем
у плетня подсолнух не жалеет.
Золотые скирды возле ферм,
сладкий дух донецких абрикосов,
тополя, нацеленные вверх,
словно бы выглядывают осень.
Золотые сполохи зарниц
(то – металл, то – скоростные плавки)
не пугают перелетных птиц,
задремавших в придонцовых плавнях.
Август – созревание бахчи,
гул рабочий золотого улья
(лишь полынь свинцовая горчит
на курганах, выжженных в июле).
Видно, под счастливою звездой
те курганы спали до рассвета
в ночь, когда отправился в забой
парень молодой.
Тридцатилетний.
Парень тот ничем не знаменит,
но идет уверенной походкой,

огонек в руке его горит
золотой — от лампочки-«надзорки».
Крепко спит шахтерский городок...
Тишина вокруг — как перед боем,
на плече — отбойный молоток:
парня он не подведет в забое...
Вот они — могучие пласты!
Свет скользит по каменным узорам.
(Нет, не зря, наверно, золотым
называют уголек шахтеры).
Придавил его
Донецкий кряж,
не дается уголек без пота,
но, глазами поискав «клеваж»,
начинает
человек
работать!
Как гремит отбойный молоток!
Как пошел отваливаться уголь!
На участке «Никанор-Восток»
даже тьма — и та забила в угол.
Уголек пошел... Поет душа
(просто жаль, что нынче не до песен),
а за ним крепильщики спешат —
и запахло в душной лаве
лесом.
Хвойный дух прибавил парню сил...
Молоток строчил скороговоркой,
и парторг
забойщику светил
неизменной лампочкой-«надзоркой».
(И на уголь, что срывался вниз,
глядя удивленными глазами,
все писал в блокноте журналист
о работе точными словами).
Шесть часов отбойный молоток
все стучал, гремел — не затихая...
И сказал восторженно парторг:
«Сто две тонны... Есть рекорд, Стаханов!»

Сталино, 1 сентября (корр. «Правды»). Кадиевский забойщик шахты «Центральная-Ирмино» тов. Стаханов, в ознаменование 21-й годовщины Международного юношеского дня, поставил новый всесоюзный рекорд производительности труда на отбойном молотке. За шестичасовую смену Стаханов дал 102 тонны угля, что составляет 10% суточной добычи шахты».

...А в Донбассе — август золотой...

Спят курганы в предрассветной дымке,
И шагает парень молодой,
и лицо сияет от улыбки.
Кадиевка. Утро. Тишина.
Он идет уверенно и гордо,
и еще не ведает страна
о его — стахановском! — рекорде.
Это будет только через день,
И о нем, герое пятилетки,
миллионы радостных людей
прочитают в «правдинской» заметке.
Помогала шахтная братва,
глядя, как берет его усталость,
как в кепчонке мятой голова
на крутую кровлю натыкалась.
Сколько лет прошло с далеких пор!
Незаметно дни в заботах мчатся,
но теперь он — опытный шахтер —
с кем угодно может потягаться.
Помогал ему тогда народ,
глядя, как работал неуклюже,
а сейчас настал его черед,
он сегодня
этим людям
нужен.
Нужен опыт, добытый в труде,
мастерство, что копится годами...
Для людей живем.
Среди людей.
И с людьми растем, и люди — с нами.
Не замкнуться в опыте своем,
накопить — и все раздать до срока,

ведь шахтеры делятся огнем
под землей...
И в этом смысл глубокий!
Как ручьи стекаются в реку,
чтобы жить могучим половодьем,
как слова сливаются в строку, –
так усилья всех
слились в рекорде!
Разрастался он и вглубь, и вширь,
и его ударною работой
поддержал шахтерский богатырь
Никита Алексеевич Изотов.
Слушая
ритмичный стук колес
на участке Лозовая – Славянск,
вел с надеждой Петр Кривонос
тяжело груженные составы.
И, очками синими глаза
прикрывая от кипящей стали,
первый свой рекорд
Макар Мазай
у печи мартеновской поставил.
Широка колхозная земля...
Чтобы стала нива колосистой,
вывела Ангелина в поля
первую бригаду трактористок.
И героев славилa страна,
и рекорды прибавляли силы,
новые являя имена:
Виноградовы, Сметанин и Бусыгин.
По стране
с донецким угольком
шли и шли груженные составы...
...Только начинался нелегко
тот рекорд,
теперь легендой
ставший.
Над газетой голову склоня,
я читал короткие заметки,

сквозь года глядели на меня
первые герои пятилетки.
Первые...
Непобедим народ,
где для подвига
всегда найдется первый,
кто шагнет решительно вперед,
разрывая пути недоверий.
Первые – у Зимнего дворца,
первые – в лавине Первой Конной;
не страшась смертельного свинца,
первыми вставали из окопов.
Первые – и будет Днепрострой,
первые – в тайге Магнитка встанет,
первые опустятся в забой,
первые дойдут до стен рейхстага.
Первые – они на целине,
первые – они прорвутся в космос,
первые живут – о всей стране
и о всей планете беспокоясь.
Как клеветают недруги на нас,
сколько злости, ярости и визга,
но – непобедим рабочий класс,
партией ведомый к коммунизму!
Мы под красным знаменем живем,
мы сильны...
Мы в трудную годину
делимся и хлебом, и огнем,
и мечта у всех у нас – едина.
Вехи есть в Истории страны,
над которыми
не власно время, –
и в забой спускаются сыны –
новое стахановское племя.
Тысячи его учеников
носят имя славное по праву...
И бегут
донецким угольком
тяжело груженные составы!

ПАША АНГЕЛИНА

Поэма-триптих

Домашние спят. Только нету Ивана –
Вновь полночь в дом возвращается брат.
– Иди умывайся! Где был ты, Ванюша?
Так долго, братишка, гулять не резон!
– Где был – там уж нету. Сестренка, послушай:
К нам трактор сегодня пригнали – «Фордзон».
– А что это – трактор? Поведай мне, братка!
И Паша к огню протянула ладонь...
– А это, сестрица, такая лошадка,
Стальной, на заводе сработанный конь.
Крестьянам он радость и пользу приносит,
В работе всегда он вынослив и спор:
Он пашет и сеет, а есть он не просит,
Внутри у него вместо сердца мотор.
– Ах, братец!
Мне так непривычно и страшно...
Позволь хоть немножечко руль поддержать!
И брат разрешил, он ее одобряет,
Он верит: сестра его милая не подведет.
Он пахоты лишь глубину замеряет,
Следит за работой и рядом идет...
Крестьяне стоят вдальке у дороги.
– На тракторе – девка, ну, будет беда!
– А как ей не быть, коль забыли о Боге?
– Не хлеб тут взойдет, а одна лебеда!
– Бензином теперь провоняется вспашка!
– А движется как он, железом гремя!
– А кто эта девка?
– Ангелина Пашка,
Кому ж еще быть там, ее окромя?!
На облачке месяц вверху отдыхает,

Калитка от ветра тихонько скрипит,
А мать на софе рядом с дочкой вздыхает
И чуть не до полночи снова не спит.
Засыпаны снегом и речка, и лес.
Бредет по сугробам Ангелина Паша:
Ей нужно сегодня сходить в МТС.
Темно еще утром, и лампа в конторе
Горит, освещая неярко окно,
И кто-то за ним в небогатом уборе
По комнате ходит, как видно, давно.
Высокий, в плечах ощущается сила:
И в поле хозяин такой, и в дому...
– Кто это? – у сторожа Паша спросила.
– Да Куров. Парторг наш.
А ты что – к нему?
Морозный гудел за окошками ветер
Поземки срывал, над землею кружил.
И Паша вошла, и парторг ее встретил,
Помог снять пальто и присесть предложил,
У ног ее кот, замурлыкав, свернулся,
Притронулась Паша рукой к кумачу.
– Пошлите меня, – попросила, – на курсы:
Я стать трактористкою очень хочу!
Парней я не хуже, ну честное слово!
Бывает, что мал человек – да удал.
А мне говорят, что на свете такого
Никто и нигде отродясь не видал.
Парторг отвечал: «Будет путь твой не розов:
Все новое трудно дается сейчас,
Ведь не было раньше, к примеру, колхозов,
И власти народной – такой, как у нас.
А стать трактористкой – что может быть краше?
Уж коль ты решила, то стой на своем!
На курсы тебя обязательно, Паша,
В район или область весною пошлем».
Ильич улыбнулся с портрета в конторе,

Глаза его были добры и мягки...
От сторожа, видно, о том разговоре
Назавтра узнали в селе кулаки.
– Совсем, получается, девка сдурела –
Избавим ее от напасти дурной!
И вскорости Пашина хата сгорела.
Случайно как будто – от искры шальной.
Тушила пожар она вместе
со всеми,
Но хату огонь подчистую слизал.
– Не выйдет по-вашему,
чертово семя,
А выйдет все так,
как мне Куров сказал!
Представим с тобой,
дорогой мой читатель,
Тот памятный миг
для крестьянской души,
Когда ей с волнением
сказал председатель:
– Вот трактор твой, Паша,
садись – и паши!
В еще не замасленном
комбинезоне
И в новой кубанке
(не девка – орел!)
Она, как джигит на коне,
на «Фордзоне»,
И солнца над ней золотой ореол.
Тянулась за сменой новая смена,
И некогда было в тени отдыхать.
С заданьем справлялась
она неизменно,
Ей больше мужчин
удавалось вспахать!
Да, слава о ней
из труда выростала,

В работе нелегкой
была рождена:
В тридцатом впервые
ударницей стала
И грамотой красною награждена.
Ударников фото наклеив
в альбоме,
Прикрыл сам парторг
за Ангилиной дверь.
— Имел о тебе разговор
я в обкоме.
Бригаду возглавить придется теперь.
Особую — женскую. Справишься, Паша?
Коль нет, откровенно об этом скажи.
Ты двигаешь дело всеобщее наше,
Поэтому голову выше держи!
— Спасибо огромное!
Наши девчата
Мечтают о тракторе
чуть ли не все.
Запишется первую Радченко Ната,
А следом за нею — и Вера Коссе.
За ними другие пойдут непременно —
Учебник уже зачитали до дыр
В кружке вечерами...
— Ну вот и отменно.
Иди-ка девчат собирать, бригадир!
Зима под сугробами землю голубит,
И дружной, веселою стайкой опять
Девчата собрались в нетопленном клубе:
Их стало сегодня уже двадцать пять!
Закончить учебу до сева им надо.
В лицо им задышит весна горячо,
И девичья выйдет на поле бригада,
Такого не видели в мире еще!
Не ездила в поезде Паша ни разу,
Еще не видала она самолет,

А тут вызывают В Москву ее сразу:
Ударников там собирают на слет!
Над улицей ветер знамена полощет,
И Паша шагает почти не дыша:
Видна за углом уже Красная площадь –
Как сердцу близка она, как хороша!
Кремлевский Дворец загудел, словно улей:
С трибуны ударников слышится речь,
И трудно рукам в возникающем гуле
Себя от горячих хлопков уберечь.
Гордится грузинка делами своими,
А тот хлопкороб – представляет Ташкент...
Но вот произносится Пашино имя,
И главный в судьбе наступает момент.
– Ангелина я. А зовут меня Пашей.
Железного я обуздала коня.
Я очень люблю Старобешево наше,
Где Кальмиус в степь убегает звеня.
Не все у нас ладно в колхозе, быть может,
Но наша артель набирается сил!
Пыталась нужда нас не раз уничтожить,
В партийцев кулак из обреза палил.
Но мы, несмотря ни на что, устояли:
Такие, как Куров, пропасть не дадут!
Нас беды теперь одолеют едва ли,
И ценят в стране по достоинству труд.
Ударница-женщина сделалась фактом,
Заботами всей мы Отчизны живем,
Девчата! Сто тысяч нас сядет на трактор,
И мы не такие возьмем рубежи!
Стояли за Пашей закаты, восходы,
Рабочие будни и девичьи сны,
И дали слова ее дивные восходы
В полях необъятных Советской страны.

*Перевод Иосифа Курлата
Газета «Новая жизнь», 1985*

ДРЕВО И УГОЛЬЩИК

Поэма-диптих

1

Когда по Артема тревожно
Несутся машины, то можно
Из тысяч узнать по сирене,
Что мчатся они не к сирени,
А к шахтным копрам, что застыли
И дышат клубящейся пылью.

Копры, словно древние прялки,
Прядут в ламповых, раздевалках
Судьбу тех, кто в бездну спустился
И с твердью подземною слился.

По квершлагу, к дальним забоям,
Несем тормозок мы с собою.
И радостно мне и ребятам,
Что завтра на шахте зарплата.
За труд, что, как в песне поется,
Шахтерскою славой зовется.

Эх слава, шахтерская слава,
Ты нас проверяешь не слабо,
Где угольный пласт тихо шепчет:
«Нельзя ли, ребята, полегче?»

Наш пласт — это наша работа,
Работа до слезного пота,
До самой последней минуты
В пластах, тех, что падают круто,
В наклонных, прямых и пологих,
Минута бывает для многих
Невиданным многозначеньем —

Победой, развязкой, мученьем,
Но в целом она как загадка.
Минута — подземная схватка
За то, чтобы лава гудела
И зрело шахтерское дело.

У каждого в жизни есть кровля,
Она, как звезда в изголовьи,
И светит, и зреет в забое,
Готовая слиться с тобою.
Но есть здесь и ложная кровля,
Она словно крышка надгробья,
Что жизнь отделяет от смерти.
Спуститесь, взгляните и сверьте.
Шахтеры сегодня не в моде,
Такое толкуют в народе,
Что лучше здоровым, богатым,
Чем злыднем в больничной палате.
Выходишь из шахты горбатой
И сам, как горбун, виновато
Несешь терриконным фантомом
Ты горб свой, как шахту, до дома.

Эх шахта, красавица шахта,
С шахтерами как на ножах ты.
Они твое чрево терзают
И многое в жизни что знают.

Здесь дыбится темень по штрекам,
За слабым крадясь человеком.
Шахтер ее режет лучами.
Бывает такое: случайно
Из черного мертвого чрева
Вдруг выпадет древнее древо
И папоротник с небосклона
Глядит на тебя обреченно:
«Зачем ты меня потревожил,
Я был не тобою положен».

Но некогда, некогда спорить.
Зевнешь — вагонетки заторят

Весь рудничный двор и, конечно,
К нему прилегающий квершлаг.

И станет, сорвется отгрузка,
И станет на сердце так грустно.
Тогда пропадай и зарплата,
И премия... И виноватых
Окажется больше, чем надо,
И скажут: сработал на НАТО.

Ах, цензор! Привет, стенгазетчик!
Начетчик, учетчик, наветчик,
Радеющий за производство
И «молнии» для руководства.

Ты жив еще, подлизоблюдец,
Снующий укромами улиц,
Живущий за счет донесений
На день непогожий осенний,
На снег, что скрипит под ногами,
На солнце закатное в раме?

Шахтерская кровля – работа,
Работа до слезного пота,
До капельки самой последней.
Я стану пред ней на колени
За то, что меня окропила,
Дав в руки упорство и силу.

Комбайн, что врезается в уголь,
Меняет зарубочный угол.
И снова грызет твердь земную
Сознательно, напропалую.

Нас много, идущих по штрекам
Походкой шахтерского века.
И кажется, что вся планета
Под нашею кровлей... Но где-то
Летят по Артема сирены,
И мчатся они не к сирени.

Какою же мерой измерить
Шахтерский каторжный труд?
Я здесь не открою америк,
А выйду, как в песне поют,
В Донецкую степь, где отвалы
Привычно зовут террикон,
Которого время позвало
Собой подпирать небосклон.

Я выйду и в профиле лета
Увижу, как катится вниз
Красивый, как вагонетка,
Натруженный солнечный диск.
Он смену свою отработал
И новой бригаде сдает
Свои неземные высоты
В реестре межзвездных широт.

Скатился и близким составом
Помчался, неся горизонт
За пригороды и вокзалы,
Не зная того, что везет
Большую работу, как шахту,
Которую взял на прицеп
И месяц вагоновожатым
Земле посылает привет.

Последнею капелькой крови
Зарделась заката игра,
Мы знаем, под кровлею ложной
Без каски ходить невозможно,
Ползти, как солдат, по забою,
Спасатель тащить за собою.
Бывает, присядешь у стойки,
Опора какая-то все-таки,
И лампою кровлю осветишь,
И, многое вспомнив, отметишь.

Не дай мне, Господь, вдруг оплошно
Быть мнимым, поддельным и ложным,
Когда ничего за плечами —
Ни книг, ни друзей, ни печали.
Не дай мне, Господь, раствориться
В чужих неопознанных лицах,
Где злые ухмылки и жесты
Опасны, пусты, повсеместны.
Пусть сердце не станет надменным,
А значит, чванливым и медным,
Чтоб радости все и печали
Мы поровну с ним отмечали.
Позволь мне, Спаситель, быть добрым,
С врагами отходчиво-строгим,
Ошибки чтоб их и старания
Да не принесли б им страдания.
Позволь, чтоб души оболочка
Не стала обычной сорочкой,
А рубищем светлых деяний
И жизненных солнцестояний.

Так думал я, сидя у стойки,
Свои вдруг почуяв истоки.
И свет фонаря, что на каске,
Мир делал большим и прекрасным.
Он одушевлял этот сумрак,
Но сбоку висящий подсумок
Спасателя ведал другое,
Он знал, что такое в забое
Задуматься, сбиться, забыться,
А главное — вдруг ошибиться.

Зовут и комбайн, и бригада,
Ведь завтра на шахте зарплата.
И высчеты все и просчеты
И звездное небо, как кровлю,
Вдруг выдала ночь на-гора.

Погруженный в нирвану забоя,
Я шатаюсь, как после запоя,

И хочу говорить я с тобою,
Но пока не могу говорить,
Потому что крепежная стойка
(Под нагрузкой такую постой-ка),
Небосвод подпирая собою,
Может очень меня огорчить.

Вот и думал я, что же мне делать?
То ль спасать свое брненное тело,
Или брать двухметровки умело
И сложить их в колодец-костер?
Я, конечно, за лаву в ответе,
Но и дома, как водится, дети,
И поскольку мне выговор светит,
Я пока отложу разговор.

Надо мною 600 по отметке,
Подо мной свои рты-вагонетки,
Как птенцы, отворили и метко
О своем лишь пекутся гнезде.
Помирать, так, как водится, с песней,
Только кровля висит все отвесней,
И добыча не в радость, коль честно,
Под такую нагрузкою мне.

Погруженный в нирвану забоя,
Я не чую земли под собою.
И не то, чтобы вовсе не чую,
А все как бы сливаюсь я с ней.
Незавидная это работа —
Уголек отделять от породы,
Я качу вагонетку с породой,
Упираясь, как жук скарабей.

Кровля дышит мазутом, и горький
Вкус ее, словно после попойки,
Как тяжелое детство без койки,
Это можно сказать только здесь.
Я тащу вагонетки и бревна,
Слышу пот, что стекает по ребрам.

Я за смену свою, безусловно,
Завалил план отгрузочный весь.

Страна, как большая поэма,
Писалась и строилась так,
Как шахты, заводы, мартены
В поселках и городах.

Одним лишь велением воли
Усамого дядьки в Кремле
Мы столько покушали соли,
Что нет ее столько в земле.

Летели странною составы
На запад, на юг и восток,
Их список посмертный составил
Архивные тысячи строк.

По тундре, тайге, по Донбассу,
Чтоб уголь добыть из глубин,
Сливались рабочие массы
В призыв пятилеток один.

В глубинках рождались герои —
Мазаи, Стахановы — им
Жилось под железной пятою
Не лучше, чем всем остальным.

Скажите кремлевскому Кобе,
Что канет все в тартарары.
И он бы проснулся во гробе,
И нам не сносить головы.

Не брать под подушку камня
Учили философы нас.
Пророчества их, как знаменье,
В песках вопиющего глас.

Я остался без ответа
В полной тьме и тишине,

Только где-то, где-то, где-то
Кто-то вспомнит обо мне.

Кровля, что у изголовья,
Вдруг обрушилась, и вмиг
Вспомнил столько разных слов я,
Вспомнил столько разных книг.

Я шахтер и я писатель,
Не ропщу и не сужу.
Из подсумка свой спасатель
Вытащил и вот дышу.

Тесно мне лежать под глыбой,
Докопаются ли, нет?
Я по жизни – не улыба,
Мне всего-то сколько лет?

Все мои перипетии
Здесь со мною, как в плену.
Мы ту кровлю породили,
Что ж накручивать вину?
Скажут разные пройдохи:
Нужно было бы вот так.
Вы, пожалуйста, эпохи
Не судите за пятак.

Хорошо вам там на воле,
Где светло, не жмет бока,
Я не то чтоб недоволен,
Приживаюсь я пока.

Вот и капелька сорвалась
С самой каски боевой,
Значит, жизнь таки осталась,
Значит, буду я с водой.

А чего, тепло, не терпко.
Руки, ноги целы – рад.
Если б это гимнастерка,

Если б это Сталинград.
Пропадай тогда, как звали,
Только бы не посрамить
Этот город, что из стали
Мог бы крепью в шахте быть.

Сорок я минут в завале,
А прошло как десять лет.
— Вы поэта не видали?
Не откапывали?
— Нет...

Мы не боялись трудностей
И осенью, и летом,
Летел на стройки юности —
Весь комсомол планеты.

Кипела жизнь баракская,
За шахтой шахта строилась,
И ордена — на лацканы,
И тормозок — за пояс.
Сиротски небо ежится
Под тучей, как в спецовке,
Ну, вот и подытожилась
Былых побед концовка.

И шахты, шахты, шахточки,
Понурые, унылые
Бомжами в серых шапочках
Глядят в окошки стылые.

Постскриптум:

Ствол шахты — подземное древо, со штреками вправо и влево, где ствол вырастает не к свету, а — в тьму, то есть к центру планеты.

Он движется как бы обратно, размеры его необъятны в теснинах пород беспредельных, в урочищах царств подземельных.

И древо, и угольщик — вместе, как музыка в начатой песне, ее и не петь невозможно, и петь беспробудно — оплошно.

Вот так достается державе сегодня, как уголь, свобода, — работа до слезного пота.

БАЛЛАДА О ДЕСАНТЕ

Освободителям Донбасса

Шарахнулось крошево к мерзлым бортам,
шуршит возле горла, скребется у рта.
Скрипит монолит
и в кипящий пролом
сгребает бегущих
точеным крылом.
Живые во льдину хребтами вмерзаем...
Над нами с крестами
фашистский мерзавец.
Пусть мы им отпеты!
Но мы — не убиты!
Толпятся накрыть нас ледовые плиты,
и лед или мрамор —
не все ли равно!
Где жили — нам жизни уже не дано:
мы все поклялись
отстоять ее
здесь.
И дело не в шансах, которые есть.
Споткнуться теперь —
словно пасть на колени.
О смерти подумать —
как об измене...

В бросках задыхаясь,
на помощь
из сада
спешили деревья.
Но била засада...
Рассветом ли, кровью
напитаны льды...
И мы вырастали
из льда

и воды.
Валились на землю, на ржавый сугроб.
Вставали на приступ,
долбили окоп.
И мертвые
долго кричали потом
в последнем «ура»
исковерканным ртом...

С коротким салютом под стертой горою
(ряд к ряду, как будто навечно построив:
затылок в затылок,
хотя — не поротно,
шеренга к шеренге,
хотя — не по росту,
плотней, чем живые в атаку ходили)
в широкой траншее
нас тесно зарыли.

Земля, что была нашей кровью полита,
сырым проросла неуютным гранитом...
Не всех и посмертно
разыщут награды.
Не надо нам почестей.
Славы — не надо.
Пусть все будет вам —
для которых мы жили,
Нам даже не важно,
чтоб нас не забыли.
И все же спасибо, что память храните!
Мы слышим цветок
и слезу на граните.
Мы знаем,
что смертью
вам боль причинили,
но тут ничего мы поделать не в силе.
До вражьего рва, до овражка, до сада
нам двадцать шагов не хватило —
досада!
Лишь двадцать шагов!
А кому-то — десяток!

До вас!
До сегодня!..
Мы были десантом
на этой горе —
на краешке
вашего дня,
на заре!..

АИСТ ЛЕТИТ НАД СЕЛОМ

Будто смежаю ресницы —
и снится:
стертый курган с порыжелым седлом,
медленно
низкое солнце садится,
аист летит над селом.

Ровные, чистые краски заката...
Нет в моем взоре
ни боли, ни лжи.
Возле оврага, дохнувшего мятой,
красные маки во ржи.

Речка
и кладка из вербы горбатой.
Тучи вдали громоздят этажи —
словно я все уже видел когда-то.
Бор и стога у межи...

С детства другие над городом птицы
будни мои осеняли крылом,
но закрываю ресницы —
и снится:
аист летит над селом.

Где бы я ни был — полет его длится...
Пересекая года, рубежи,
Запоминаю не речи, а лица,
взоры без тени и лжи.

ДОНЕЦКУ

Вновь я вижу твой взгляд молодой —
так глаза не стареют у женщин.
Я встречаюсь с тобой, как с мечтой всех,
до нынешних дней не дошедших.

Закипающих слез не тая,
возле жгучей звезды обелиска
я скорблю о твоих сыновьях,
за тебя я им кланяюсь низко.

А мальчишки окраин твоих
на друзей моих давних похожи —
на ровесников прошлой войны,
и, по сути, участников тоже...

Приходила не в гости война.
Ты сражался за линией фронта.
Мне понятны твои письма —
эта клинопись у горизонта.

Терриконы средь хлебных полей
будто врублены в небо литое.
Мой Донецк на шахтерской земле —
словно камень-алмаз на ладони.

Этот город, как детство, один.
В синеве — тополиные залпы...
Я Донецк босиком исходил —
под асфальтом следы отыскал бы.



СЛОВО

*Споконвіку було Слово, а Слово
в Бога було, і Бог було Слово.*

(Івана 1:1)

Які сміливі і крилаті
Слова приходять уві сні!
Надійні, як на тілі лати,
Як окуляри захисні.
А вочевидь?
Мов під арештом,
Залежна від пересторог,
Німує більшість душ, а решта
Хитрує, затіває торг,
Допоки зло їх в сіті злове.
І безталанно пропада
Розмінює на гроші Слово.
Як наставляв Сковорода,
Не підриваймо, наче свині,
В саду коріння у дерев,
Щоб не паплюжити святині,
У люстро дивлячись криве.
Ми й вдома, ніби на вокзалі,
В полоні у фата морган.
Іду до совісті на залік...
Трубить вітрище, як орган,
Й дороги репані, мов п'яти,
Й пустелі мертва жовтизна,
І стовп, немов Христос розп'ятий...
Кого ще зрадять?
Й Бог не зна,
Хоч відає не менше Глоби...
Дивлюсь навколо: ні душі,
Лиш на Дніпрі, немов суглоби,
Хрустять від болю комиші.

ЛЮБОВ

*«...десь Бахмут... весна... в саду гуляння...
і вона у білому вбранні...»*

*«Я згадую Бахмут, і карусель, і поле –
о синь твоїх очей!»*

*«Сплелися боротьба й кохання,
і кращий хто, не знаю я».*

Володимир Сосюра

До юності зростає відстань.
Моєї в тім нема вини...
Артемівськ спить,
Але над містом
Витає дух прадавнини.
Колись Бахмут,
Колись сторожа...
Петра й Булавина сліди,
Як і мої, взяла пороша
В полон, а з ними – і сади,
І карусель, і Дике поле,
Де терикон ледь-ледь поблід,
Де дотепер козацька воля,
Мов риба, б'є хвостом об лід,
Де я несу коханій квіти,
Й «вона у білому вбранні»...
Не знаю сам, куди подіти
І біль, і час, і вік мені.
Не знаю, що казати навіть,
Хоч заспокоїтись пора,
Не відпускає душу пам'ять,
А болем серце підпира...
Сплелися дружньо і Кохання,
І Боротьба у серці знов...
Хто кращий?
Гасне зірка рання,
І кличе до життя Любов.

ЦВІТЕ БУЗОК

Усе в бузковому тумані.
Не знаю сам, як занесло
Мене в це диво на лимані.
У наше, в дідове село.
Забув, коли тут був востаннє,
Коли толочив ковилу.
Вивідачем в чужому стані
Іду по мертвому селу.
Пощезли люди – щезли межі.
Напрям бреду поміж дерев.
Хати, немов після пожежі:
Нема ні вікон, ні дверей.
Дивлюсь... Тремтить сльоза на оці.
А де ж тепер оті майстри?!
Лише сороці-білобоці
Радію, начебто сестрі.
Відходжу трохи серед квітів,
Накритий хвилею надій.
Який чудовий брат мій квітень!
Насправді місяць – чудодій.
Як надає краси і сили!
Благає серце:
– Зупинись!
Які тут сни дівчатам снились!
Які пісні лились колись!
Як в річці хлюпалось малечі!
Як гнізда навесні вились!
Які літа лягли на плечі...
І все в минулому. Колись...
Були і річка, і дорога...
Тепер бузку і неба синь.
Кричу щосили – і нікого,
І тільки вітру голосінь.

МІЙ ПРАЩУР

Дрімала ніч під зоряним наметом,
Сюрчав цвіркун, дзюрчало джерело,
І різнотрав'я пахло диким медом,
І все навколо первісним було.

А згодом встав язичеський Ярило,
І день новий роботу протрубив –
І птиця свійська розминала крила,
Ревла корова, кінь копитом бив.

Усе було прадавнім і правічним,
Звичайним і буденним до нудьги.
І лиш господар жив непересічно
У розквіті енергії й снаги.

Йому чогось незвичного кортіло.
Він вихривсь духом, думкою світивсь.
І ось одного разу взявсь за діло
І мовчки майструвати заходивсь.

Він працював і жив одним мотивом,
Його палив і пік один вогонь –
І перше в світі колесо, мов диво,
Постало перед поглядом його.

Земля крутнулась, непорушна зроду,
Натужно заскрипіла її вісь,
Коли перед очима всього роду
Уперше покотивсь найперший віз.

Мій пращур підкрутив неквапно вуса
І бражкою утробу остудив ...
Ще не було ні Ягве, ні Ісуса,
Ні пірамід, ні різних інших див.

ЛЮБОВ

Леоніду Талалаю

Я постав не з примарних ідей,
я прийшов у цей світ від людей,
я від діда і батька прийшов
на сталєних мозолях підошов.
Я прийшов від святої землі,
Від солоної вічно ріллі,
Від скрипучої завжди гарби,
Від калини, тополі й верби.

Я прийшов від пахучих ночей,
Від квітучих дівочих очей,
Від любові, що світ огорта,
І любов – моя вища мета.
Ну, а ще Україна й Дніпро,
ну, а ще і краса, і добро...

Я повстав проти різних примар
і ідейно спотворених хмар
і веду безперервні бої,
щоб співали навкруг солов'ї,
щоб гойдався на яблунях квіт,
щоб назавжди продовжився світ...

А тоді, як під віком зігнуь,
у святу свою землю вернуь.

СВЯТОГІРСЬКИЙ СОНЕТ

Мов дуб, я вгруз у Святогір'я
і вже здичавів, наче лось.
Моє легке орлине пір'я
корою грубою взялось.

Тягну до сонця буйну крону,
спиваю зір нічних ясу
і мідну лосячу корону
на голові своїй несу.

В мені киплять німі вулкани,
об мене плющатся жакани
і розбивається гроза.

Та не для срібла, не для злата,
а для літаючих, крилатих
держу тутешні небеса.



ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДОНБАСС

Донбасс — не просто уголь и металл,
Не просто от копров степная даль —
Глубинней, шире и значимей он,
Поскольку солнцелик его огонь.
Металл, пролившись, мрак полночный губит.
Метан, взгремев, сжимает страхом губы...
Здесь уголек замешан на крови,
А человек извечно — на любви.
В краю отцов, в пространствах Дикополья
Я хлеб и слово отыщу, как долю.
Саур-Могила, Бахмут и Азовье
Откликнутся во мне былинным зовом.
Я с ним печалюсь, радуюсь, живу.
Беда — не прячу голову в траву.
Донбасс, что дышит явью и веками,
Во мне — и солью, и горячим камнем.
Я не боюсь риторики пред Ликом,
Как Эверест, как сонмы звезд, великим:
Стою ль у шахт, у Гор Святых стою —
Он в душу не вмещается мою.
Донбасс не территория — о, нет!
Он боль эпох и возрождение лет.
И это не молва, не просто гомон,
Что он, Донбасс, порожняки не гонит.
Не делится на запад и восток —
Он однолик, поэтому высок,
И в этой одноликости высокой
Любой парад не будет одиноким...
Донбасс — и наши помыслы, и суть,
Его не обмануть, не обмануть:
Он чувствует, кто агат, а кто порода.
Кто колос и причина недорода.
Он — наши стены, вишня и калитка,
И потому мы — люди, не калики.
Он — наша боль, как в поднебесье смог,

И берег наш у солнечных дорог.
Он — монолит, и потому велик,
И нам не лжесынами быть велит,
Которые подобны фарисеям,
Что в руслах родословных смуту сеют.
Но верность и любовь — одна тропа,
Но Кальмиус и Днепр — одна судьба.
Насколько хватит сердца, духа, глаз, —
Встает
Его Величество
Донбасс!

ДЕТИ ДОБРОГО ПОЛЯ

Виктору Дерипаске

Мы в шахтерских поселках грязеище месили,
Мы у Господа Бога еду не просили —
Нервом, сердцем, зубами, не только лопатой,
Вырывали ее из пластов, из агата.
Там давно на копрах не мелькают колеса,
И забой, и откатка, и ствол безголосы! —
За отвалы поспешно ушли мы, печальны,
Не забыв о своих родословных началах...
Мы по градам и весям не семенем сорным
Понеслись вместе с ветром — как зерна, как зерна...
Кто прораб, кто поэт, кто возвышен до мэра,
Все — при совести высшей, при чести и вере.
Из выносливых стай мы, для нас под запретом
Быть породой гнилой, нам по духу — быть крепью.
Кто припаян к эпохе душою, не кожей,
Может быть работягой, не может — вельможей.
Там, где мы, там и дел наших Доброе Поле —
Пусть еще горьковата славянская доля,
Но пока не в завале лежим и глазасты,
Воронье нас не сморит с Отчизной в ненастьи!
Наши помыслы давние не устарели:
Мы опора для слабых, мы — света прострелы,
Где народные судьбы во власти у тьмы, —
Из поселков шахтерских,
Из мужества мы!

МЫ НАЗАД НЕ ВЕРНЕМСЯ

Мы назад не вернемся, возврата нет —
Может, только строкою, сработанной честно.
Как железо, ржавеют вчерашние песни,
Отлетают в стремнину безжалостных лет.
Строки, книги?
А сколько же надо минут,
Чтобы все это вспыхнуло и потухло?
У костра раздобрееют и помянут,
А потом по могилкам нашим пойдут
И о сочную травку почистят туфли.
И поспешно уйдут —
Как от нас, но к нам...
Мы назад не вернемся, назад не вернемся,
На знакомые оклики не отзовемся,
Не вернемся — ни трезвыми, ни спьяна.
Мы — как сгинем в безликости ветхих оград,
Не придем, обреченные изначально,
В быт наш серенький, в нами посаженный сад
И к непонятым женщинам нашим печальным.
Наши очи разбухли и нервы трещат,
В души вторглись потерями зойки печали,
Но не взвоем, что море Земля обнищало,
Если даже сегодня
В снастях ни сулы, ни леща.
От неназванных сил наш жестокий удел —
Потому-то негоже, друзья, прохладяться
И словами, как брошечками, бросаться,
Оставляя пустые следы на воде.
Приучи-ка синицу к ладошке своей, приучи
И пусти по низам, что болотом зовутся,
Покричи-ка на друга запойного, покричи
И скажи, как ударь,
Что назад нам уже не вернуться...

* * *

Воронье перо — не воронье
В чистом поле с земли я поднял.
Неужели судьбу проворонил?..
А ведь жизни осталось — по дням.
Ну а мы все паскудим да ищем.
А чего? Или хуже — кого?..
Не жар-птичьё перо, не жар-птичьё,
И кому подарить мне его?
Что ж... на что-то надеется всякий.
Может, кто в небесах возомнил:
Чтоб во мне жажда жить не иссякла, —
Черный ангел перо обронил.
А ведь жизни осталось — по дням,
Неужели ж судьбу проворонил...
В чистом поле перо я поднял.
Слава Богу, — оно, не воронье.

* * *

Дальше годы — все тянет к пророчествам.
Страшной истины суть — забытьё.
Это не назовешь одиночеством, —
Одинокость — вот имя ее.
Что пророчества мне и пророчицы?
Я познал их надолго и впрок.
Коль один против всех — одиночество.
Одинокость — как волк, одинок.
Не помочь здесь ни лаской, ни криками,
Ни стволем, чтоб себя разменять.
Дети есть... Есть стихи, есть и критики.
И любимая есть у меня.
Есть враги, что мне бело завидуют,
И друзья, что мне мило вредят,

И пока еще женщины видные
На меня шаловато глядят.
И живу я, и верю, и верую,
Эту вечность от всех затая...
...О, жена, о вдова моя верная
Это ты — одинокость моя.

* * *

Последняя неделя февраля...
И скоро, скоро лед растает.
Придет время поздних таинств.
Как таинство создания хрусталя.
Природа спит, торжественно нема,
А ты взволнован этой зимней синью, —
Всего лишь шаг от силы до бессилья:
Ну вот и все, кончается зима.
Уйдет, как стон разбитого стекла,
А вместе с ней, а впрочем, стоп, — не стоит,
И я держусь, словно последний стоик
В проклятом ожидании тепла.
Я жить хочу, не ноя, не скуля.
День все длинней, а жизнь бежит скорее.
И все земное видится острее
В последнюю неделю февраля.

* * *

«Нужна ли я тебе — такая?» —
Печально спрашивала ты.
А я, вчерашним снегом тая,
Вдруг вспомнил прелесть высоты.
Увы, как хочется паренья:
За кругом круг, за кругом круг...
Но нет еще стихотворенья,
И нет строки, а только звук.
Точнее хрип, почти что шепот.

ВАЖКА НИВА

Світлої пам'яті Олега ОРАЧА

Відорав під вересневу осінь
Поле долі у серпневу ніч,
Щоб озима зріла у колосі,
Зелено зійшовши повесні,
Щоб родила українська нива
Батьківським і словом, і зерном...
Відорав, струсивши чубом сивим
Піт рясний на зморене чоло.
Усміхнувшись у козацькі вуса,
Втомлено пішов, щоби спочить,
Про життя-буття із другом Стусом
Тихо між зірок погомонить...
Дощ осінній йде по
Саксаганській,
Дріботить у згаслому вікні,
Забігає в погрібець із ганку,
Щоби сум втопити у вині,
І поета пом'януть у гурті
Між людей близьких і земляків...
Відорав, сховавши біль у груди,
У долоні – стиглі мозолі,
Залишившись у відбірнім слові,
Що від серця линуло у світ,
Сповнене надії і любові,
І святої віри у нарід!..
Відорав... Наділ свого таланту
На чуже плече не переклав...
Все землі віддавши до остану,
Сам її часиночкою став.

СУМНА ТИША

Пам'яті Олекси ТИХОГО

Тихо довкіл Тихого Олекси –
Стомлена за день Дружківка спить,
Над Торця затуманілим плесом
Ніч, немов безпам'ятство, стоїть...

За горою Іжівка заснула –
В бур'яні, немов у колючках...
Її у сновидіння із минулого
Хоч колись з'являється земляк?..

Спить Донбас, зомбований дурманом,
Що йому якісь там Тихий, Стус,
Коли в регіоні атаманить
Кримінал, що – переодягнувсь...

Засинає важко Україна,
Погасивши свічку уночі –
Хоч на мить згадає свого сина,
Що навек на Байковім спочив?

Тихо довкіл Тихого Олекси –
Все мовчить, немов у рот води...
Лиш верба плакуча, що над плесом,
Пам'ятником докору стоїть.



НА БАТЬКІВЩИНІ

Малотаранівка моя, мала Таранівка –
Велике селище на березі Торця,
Я знову зустрічаю рідні ранки
У маминих осінніх чебрецях.

Вітаю знову сивого сусіда я –
Ровесника юнацьких наших літ,
Він, як завжди, цікаве щось повідає
І від знайомих передасть привіт.

Розкаже про новини Одностеблівки
(Так звалось колись моє село),
Він повідомить, що в ставку за греблею
Немає риби, як колись було.

Він розповість, що трапилось із друзями,
Коли і як померли вчителі...
Постоїмо з товаришем на лузі ми –
Там, де місток втопився в ручаї.

Запалимо неквапом по цигарочці,
Помовчимо під тихий плин води...
Й розійдемося – можливо, аж до старості,
А може, що уже і – назавжди...

Дивлюсь, як мій товариш віддаляється,
І з вуст моїх услід йому зривається,
Листком осіннім, чутне ледь: «Зажди...»

* * *

Белою быть, значит, быть несвободной
от страха пред липкой смолою.
Белою быть, как актрисою быть крепостною.
Страстной в коробке хозяйского дома,
в своей оболочке.
Плавной, послушной, легко обходящей
ухабы и кочки.
Белою...
жить, опасаясь и дня, и луны.
Белою...
жить, не касаясь огня и войны.
Мягко ступать, а не бегать
галопом, рысцою,
лошадью, кошкой, вороной, овцою.
Лапкою белой играть,
и пух лебединый роняя,
мир устранять,
себя от него отстраняя.
Черной любви дожидаясь,
как пиковой масти.
Что говорить, даже Дафнис
не выдержал страсти.
Прыгнул в свободу,
а там ни любви, ни печали.
Черные волны его
белой пеной венчали.
Тихо качали,
бесстрастно и мирно сопели.
Ты в колыбели,
ты в белой своей колыбели.

* * *

Летает по ночам душа моя.
Все ищет воли.
Тут оно — коварство:
похожие на звезды светлячки —
звонящие ловушки-государства
повсюду ожиданием горят.
Вот неизбежный радужный каскад
и горных иерархий стройный лад —
минорный, тонкий, как земная ложь.
Услышь и зри!
Везде одно и то ж —
свободы нет,
есть только странный опыт
произносить незнаемое всеу.
Произносить толково, не спеша.
А в тело возвращается душа
опять ни с чем,
опять всходить во мне...
Опять бродить, как бомж,
в просторном сне.

ОЖИДАНИЕ АВГУСТА

И лето придет и меня не обидит.
Диковинок ковшик под елью оставит,
состарит, суставы растянёт в лианы.
И я — гуттаперчевая обезьяна.
И тайною легкою лето утешит,
такой обязательной, будто корона,
такою внезапною, словно безумье,
такою прозрачной, как шарф из шифона.
Ах, если бы шарф не шипел и не жалил.

Жалел бы, ласкал бы, летал — не неволил.
И волосы б вольными пахли цветами.
И тайна не стала б петлею, а стала б
любовью, любистком на платье батистовом.
А лето горит в своем танце неистовом.
И прыгать охота, а хата, что рана.
И лето всю лесть свою под ноги стелет.
Мне ноги целуют мои коростели,
лицо мне ваяют мои обезьяны.

СВЕТЛОЕ

Белый лист бумаги.
Больничная простыня.
Молочное озеро выходит из берегов.
Длинные белые старухи,
захлебываясь, как впервые,
пьют свое последнее молоко.
Льняные старцы выгребают соль,
волнующуюся на дне озера,
и несут ее к воротам замка.
Замок из сахарного песка
блестит, как золотой перстень,
наполненный ядом.
Круг солнца катится
по бесконечному снежному полю.
Боже, как светла моя жизнь!



БЕЗ НАЗВАНИЯ

Сохранила мне маму живую
и отца пощадила война.
Черноглазого сына целую
и любимому мужу нужна.

Одеваюсь на праздник нарядно.
Ставлю в храме три тонких свечи.
Жизнь моя получается складно,
хоть от радости криком кричи.

Так о чем же тот голос чудесный,
что звенит в моем тихом дому?
Различаю мотив поднебесный,
а слова, хоть убей, не пойму.

То заплачет, а то захохочет,
все на части дыхание рвет...
Только б знать мне, о чем он хлопочет,
только б знать мне, куда он зовет.

* * *

Достойным темам, право, нет числа.
Воспитанная матерью да бабкой,
я воспою внезапный блеск стекла,
протертого (простите!) влажной тряпкой.

Люблю уборку делать не спеша.
Я в холодильник складываю пищу
и радуюсь: как комната свежа,
когда паркет старательно начищу!

Погладив ворох чистого белья,
как будто что-то важное решая,
я режу лук и плачу в три ручья,
вкус будущего супа предвкушая.

Благословенна женская судьба.
Я улыбнусь блестящих чашек ряду
и, полотенцем пот смахнув со лба,
возьму тетрадь и, наконец, присяду.

И в этот миг, знакомый мне уже,
который так необъяснимо сладок,
покажется, что наступил порядок,
по меньшей мере, в собственной душе.

* * *

Сквозь яркую зелень — то синь, то сирень,
какое цветов и тонов наслоенье.
Но если пейзаж повернуть набекрень,
то станет понятно мое настроенье.

Я жду, я меняюсь в лице каждый миг,
я злюсь, я стараюсь от слез удержаться.
Но вот на аллее Ваш образ возник
и стал постепенно ко мне приближаться.

И стал постепенно бледнеть антураж...
А сердце мое наполняется светом
по мере того, как прекрасный пейзаж
становится Вашим прекрасным портретом.

* * *

Мой любимый дожил до прекрасных седин.
Мой любимый играет судьбою —
мой любимый сегодня пришел не один,
захватил свою Нежность с собою.

Наконец-то решила она воссиять
надо мною в возвышенном слоге...
Проходите, зачем на пороге стоять?
Вытирайте, пожалуйста, ноги.

* * *

І не те що від Бога, а просто болить,
І не те що дарунок — скоріше, розпука,
Як життя виробляє усе, що не слід,
Сповідаяшся вітрові, але вітер не слуха.
Важливіші є справи у нього — летить,
Коливаючи наші задріпані шати,
Серед чорних лісів лихоманка кричить,
Ходять люди веселі, криваві, багаті.
Бачиш, в кожного шкіра — дірява межа
Між жахами, які насуваються ззовні
І що пруться зсередини. І не зника,
Як закрие нам очі ця жовта бавовна.
Що безсмертному тілу до смерті душі,
Побиватися кому і плакати кому?
Помолися на вітер, як будеш живий,
Помолися на вітер, як прийдеш додому.

* * *

Що там плаче, ридає, реве,
Шарудить, шурхотить до нестями?
Ми повірили в слово. І все
Почалося, що сталося з нами.
Перетворена кров на вино,
Закривавлена твердая криця.
Кажуть, слово спочатку було,
Та й початок нарешті скінчиться.
Ще не вмер автор — п'яний заснув,
Ось Пегас — і брудний, і шалений —
Нахиляється й п'є досхочу

Самогон з джерела Іпокрени.
І хитається п'яна сльоза...
Простір, сповнений смертного дзвону...
Тихі Музи в віночках лежать
У холодних хатинках з картону.
Це не стіни з каміння — слова,
Непохитні, байдужі, пихаті.
А навколо, як квіти, стоять,
Білі вогники. Треба звикати.

* * *

Чорні хмари розкуйовджені,
Вітер свище.
Ти караш нас, о Господи, —
А навіщо?
Очі відведеш від сорому —
І караш.
Що Ти знаєш, бідний Господи,
Що Ти знаєш?
О як гаряче, як боляче,
І як дивно
Жити, жити посеред сорому
І провини.
Наші душі дзвінки і крихітні,
Наче рани,
Нам лишилися райські квіточки
Картопляні,
І летять пелюстки розметані,
Та даремно,
Ти ж бо світ відділив від темряви —
Стало темно.
Ти покинув цей рай розпечений,
Муки виніс.
Ми знайшли Тебе, боже темряви,
Ти знайди нас.

* * *

Час їхати, старий. Лишилися дрібниці —
Тверезий настрій цей підтримати до свят,
І сіно розгребти, і двері зачинити,
І вийти до воріт, і гарби вже риплять.
Затовчена земля на солонцю і охрі,
Солоне і важке повітря коло вій,
І шлях у небі наш кришталіками солі
Зростає вдалину. Час їхати, старий.
А там тече ріка — чи жовта, чи червона,
Чи втомлена, чи вже ніяк не розрізню,
І лінії сумні зливаються в покору,
І шлях провинний наш зростає вдалину.
Час їхати, старий. О вибач мені, вибач,
Бо всі в провинах ми, як вівці в реп'яхах,
Стирчать з усіх щілин, уп'ялися у шкіру
Душі моєї стид, твоєї плоті жах.
Про свій старечій світ розповідати кому?
Старечій сором свій притулимо куди?
Прочовгані до дна, похилені дороги
Блукають навмання в покинуті світи.

* * *

Як під'їхав козак до води
У ставку самоту потопити...
Як зібрати із крихіток світ,
Як у світі із крихіток жити?
Як під'їхав самотній козак
До води, і побачили його
Безпритульних хатин кістяки,
Тихі люди померлого бога.
Чи то демони в'ються вгорі,

Чи то голос життя над ланами?
Тільки шаблі та списи криві
Безтурботно з води виринали.
І, поставши над світом старим,
Зрозумів, що нема порятунку,
Притуливши до вуст мертвий спів,
Мертве пиво заливши до шлунку.
Не зібрати із крихіток світ,
Як не кров тебе — курява кличе.
Як під'їхав козак до води,
Як постав перед розпачем відчай...

* * *

Подивилася навкруги
І побачила Україну,
Де не житиму — і не слід,
Слід загинути — і загину.
Рідна мачуха, вороже мій
Любий, що це ти робиш зі мною?
Скільки зрад, скільки рад, скільки сліз
Перейшло над країною злою.
Тільки гуси голодні кричать,
Наче кров в головній порожнині,
Тільки гуси голодні летять
Далі, далі з тієї країни,
Породила що наші гріхи
І за наші гріхи розіп'ята...
Гуси, гуси, ви щезли вгорі,
Не взяли, не взяли на крилята.

СОЧЕЛЬНИК

Снег Рождества!
Какой беспутный танец.
Снег Рождества –
какой доступный глянец
навел Господь на сирую природу.
Снег Рождества!
Друг всех простудных пьяниц,
сыграй со мной в одну и ту же воду.

Снег Рождества!
Моей печали свита,
давай с тобой обманом Гераклита.
Зависни, не касаясь мокрых плит...
Там, в стороне, в сугробах прошлых лет
моя собака мертвая зарыта
и юность маской гипсовой лежит.

Там светофор, как леденец из клюквы,
и кошка лапкой ловит белых мух.
С тех самых пор меня никто не любит,
как я люблю – вся обращаясь в слух:
«Скажи мне что-нибудь».
Вся обращаясь в зренье:
«Постой, не уходи!»
Мои прикосновенья
настырны, вороваты и робки.
Любимый мой! Не убирай руки!

Когда-нибудь ты вспомнишь,
как мы плыли,

как будто Геллеспонт одолевали,
от мая выгребая к февралю.
Не выплыли, когда б не во хмелю.

Зачем я лгу?
Меня ведь не любили!
Меня ведь никогда так не любили,
как я люблю!
Мне было не дано
себя в другом без страха растворять,
нырнуть в ручей серебряной форелью,
войти в туман мельчайшей водной пылью,
в чужую жизнь, как нож — по рукоять.

Мне было не дано.
Мне остается
лишь лечь на дно.
Пусть надо мной слоится
вода Донца, белесая от мела,
и милые до слез уносит лица,
и стрелолоист стоит в ней по ключицы
и ловит стрекозу на палец. Дела
мне нет до тех, в ком жизнь не откипела,
кто умирает над ручьем от жажды.
Что мне до них?
Я тоже не сумела
войти в одну и ту же воду дважды.



* * *

Птица ночная, сбрось мне перо.
Видишь, Луна с лицом Пьеро,
видишь, Пьеро с лицом Луны
так безнадежно пьяны,
что скоро упасть должны.

Жаль тебе, что ли, пера с хвоста?
Филин в ночи хохотнул, исчез.
Пальцы дрожат, но верна черта
круг для паденья Луны с небес,
пруд для паденья Пьеро с моста.

Плавится черное серебро.
Видишь на дне затонувший дом?
Там колыбельную для Пьеро
с пьяной Луной мы вдвоем споем.

* * *

Со своей неразлучной бедой
и в одной только белой рубахе
прибрести бы к кому-то босой,
принести свои вечные страхи.

И сказать: я собой не мила,
и покой твой, наверно, нарушу,
и добра, видишь, не нажила.
Полюби за прекрасную душу.

Из какого ты стана, беглянка?
В распрощальном вокзальном чаду
я ребенка кормлю, как цыганка,
смуглой грудью у всех на виду.

* * *

Когда солнце светит,
но не греет,
когда костер не горит,
а все больше тлеет,
веет с зимнего моря соленый ветер.
Чей-то сеттер
хочет схватить за хвост голодную чайку,
а она его дразнит и поучает,
заманивает в холодную воду.
Он фыркает и хозяину не дает прохода,
вытирая мокрый обиженный бок об его брюки.
Тогда, чтобы согреть взгляд и руки,
просишь горячего вина у официантки,
хотя очень уж неудобно
отвлекать ее взгляд от моря,
откуда должен,
вот-вот приплывет кораблик
с этими самыми парусами...
А пока она возвращается из-за семи морей,
трясет головой, как зяблик,
вспоминая, куда дела штопор.
К тебе подойдет кафешная кошка
(она к каждому подходит),
покажет все свои фокусы и полоски,
потом просто прыгнет на руки...
Кошке не нужны принцы и капитаны Греи.
Разве так не теплее?

ДАЖЕ ПТИЦЫ

Даже птицы,
гнездо покидая,
облетают круг
над тем местом,
где они только что жили.
Вот и я над тобою кружила
убедиться,
что жить здесь больше нельзя.
И раз кружила, и два,
и даже мух для тебя ловила
и бабочек
и крылышки им сама обрывала,
чтобы в горлышке не застряли.
А когда стало их слишком,
столько,
что можно было нырять, как в листья,
я и нырнула.
И тут подул ветер
и крылышки разлетелись,
и я вместе с ними...

P.S. И теперь я еще летаю.



НЕ ЕШЬ НАС, МОРЕ...

Чем питаются звери?
Птицами.
Чем питаются птицы?
Рыбами.
Чем питаются рыбы?
Морем,
а море сожрало наши следы,
потому что мы
смеялись и пускали по воде плоские камешки,
забыли бросить монетку,
чтобы вернуться,
вот оно и сожрало,
пенясь от хохота,
что тут поделаешь?
Давай отойдем подальше,
давай постоим подольше,
пусть нас засыплет песком и снегом
и только когда,
почихивая и покашливая,
повиливая радостно хвостиком,
постукивая звонко сандаликами,
придет время,
нас откопают наши дети,
наши собаки и кошки.
Тогда на небе взойдет второе солнце,
запенится новое море.
И мы возьмемся за руки,
сначала войдем по колено,
а потом уйдем с головой под воду...
Наши дети, собаки и кошки
будут пытаться нас выловить удочкой.
А зачем?
Ведь нам хорошо на дне,
на дне моря
кататься верхом на рыбах,
спать в одной тесной ракушке.

* * *

Течія лица сутінкового,
піввікна у липкім дощі,
а на крильця амура голого
знов навішено два плащі.

Тінь по дзеркалу кволо ковзає.
Він заснув – а вона жива.
Пахне деревом, цвіллю, кобзою –
це ж бо, смерте, твої жнива.

* * *

Єлена Троянська тривку вишиває тишу.
Олена Троюдська щокроку вища.

– Забери мене звідси! – шепоче пані Олена.
Одсуває фіранку ночі Єлена Натхненна.

Гуркіт у небі – Атена Паллада загубила м'яча.
– Забери мене! – пані Олена під килимком шукає ключа.

– Забери! – Єлена Стоока зизо зорить у люстро.
Олена Троюдська зітхає – і губи фарбує густо.



ПАМ'ЯТІ БАТЬКА

Ваш голос, як західний вігер, тату,
мов кладете на латку ще й лату.

Обома руками – та обмаль цегли.
Обома очима – та світ хисткий.
Скажіть, що і я доросту до стелі,
пригорніть до жорстокої шоки.
Налетів навісний буревій з полуночі,
порозкидав пелюстки і цвяхи вгатив.
Завтра, таточку, день неробочий,
ненька поглядає з-під брів.

Ваш голос тьмянішає – вимовчіть, тату!

Липень струшує зорі за хату.

* * *

Нас опосіли сни, мов люстра повновиді.
Сухі рови лягли упоперек душі.
Ми бачили усіх, а нас ніхто не видів.
Товчуться у садку затяті Кайдаші.

Сон-о-сон стоїмо, пани чи посполиті,
чи на осонні люд, що зиму перебув.
Ніщо понад любов не є у Божім світі.
Розкрилив лікті в лет – і ранку не сягнув.



СОДЕРЖАНИЕ

Проза

Иван Костыря ДУМА О ЗЕМЛЯКАХ	4
Григорий Баглюк ИЛЬКО	71
Павло Байдебура ТАК БУДЕ	75
Петр Северов ПОДВИГ МАКАРА МАЗАЯ	82
Петр Чебалин СЛОВО — ЗАКОН	89
Борис Горбатов ПИСЬМА К ТОВАРИЩУ	99
Юрий Черный-Диденко ПЯТЫЙ	131
Виктор Шутов НАЧАЛО	136
Владимир Попов ПЛАВКА	150
Александр Чепижный СМЫСЛ ВСЕЙ ЖИЗНИ	159

Леонид Жариков В БОЛЬШОЙ РАЗВЕДКЕ	169
Марія Лісовська, Кость Тесленко ОЗИМІ СХОДИ	174
Анатолий Мартынов ЛЕСОГОНЫ	186
Григорий Володин В СТЕПИ ДОНЕЦКОЙ.....	193
Нина Крахмалева ХАРЛАМОВ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА	203

Поэзия

Михайло Петренко	216
Володимир Сосюра	217
Николай Анциферов	219
Кость Герасименко	221
Павел Беспощадный	222
Георгий Костоправ	223
Юрий Черкасский	224
Николай Рыбалко	226
Владимир Труханов.....	227
Григорій Кривда	229
Василь Стус	237
Евгений Кузнецов	238
Николай Бериллов	239
Сергей Посниченко	240
Владимир Демидов.....	<u>241</u>
Михаил Фролов	242
Владимир Мухин	243
Євген Летюк	244
Лідія Колесникова	245
Антон Шапурма	246

Проза

Николай Гончаров ИВАНОВА ГОРА	248
Иван Мельниченко КУЗНЕЦОВСКИЙ ПРОЛЕТ	273
Вадим Пеунов ВЛЮБЛЕННЫМ НУЖНЫ ПОЭТЫ	284
Егор Гончаров КАК ЗАБИВАЮТ ГВОЗДИ	302
Иван Білий КІНЬ У ЯБЛУКАХ	309
Леонид Астахов ЗА ИВАН-ШАХТОЙ	324
Петро Бондарчук ДОРОГА ПРАВЕДНИХ	335
Виктор Борота ЗДРАВСТВУЙ, ЗЛАТОГЛАВАЯ!	355
Анатолий Белоус СТРАСТИ ПО «АЛЬФРЕДУ»	363
Наталія Хактіна ДУШКА-2	368
Валентин Юлин МАТЕРИ	378

Поэзия

Иван Мельниченко	389
Анатолий Кравченко	392
Леонід Талалай	395
Борис Белаш	397

Елена Лаврентьева	400
Станіслав Жуковський	402
Владимир Калиниченко	404
Борис Ластовенко	406
Леонтий Кирьяков	411
Александр Яровой	416
Геннадий Щуров	425
Володимир Черепков	429
Анатолій Мироненко	432
Виктор Руденко	435
Валерий Киор	438
Юрій Доценко	440
Светлана Заготова	443
Светлана Куралех	446
Еліна Свенцицька	448
Наталья Хаткина	452
Мария Хаткина	455
Олег Зав'язкін	458

Літературно-художнє видання

ДОНЕЧЧИНО МОЯ!

*Антологія творів майстрів
художнього слова Донбасу*

Відповідальний за випуск *О. І. Соловійов*

Редактор *М. М. Марченко*

Коректор *І. О. Нікодимова*

Підписано до друку 22.04.2007. Формат 84x108 1/32.
Гарнітура NewtonС. Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.-друк. арк. 24,36. Ум. фарбо-відб. 25,25.

Обл.-вид. арк. 25,4. Тираж 5000 прим.

Вид. № 9. Зам. № 3112.

ПП «ЦСО»

Україна, 83048, м. Донецьк, просп. Тітова, 15, офіс 107.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції серія ДК № 1760 від 22.04.2004 р.

Надруковано у АТЗТ «Видавництво «Донеччина»

Україна, 83054, м. Донецьк, просп. Київський, 48